Ганс Гейнц Эверс

УЖАСЫ

27
КРОВАВЫХ ИСТОРИЙ

Екатеринбург
MCMXCII

ISBN 5-87642-004-2

СЕРДЦА КОРОЛЕЙ

Когда в конце сентября 1841 года герцог Ферднннанд Орлеаиский возвратился из летией резидеиции в свой парижский отель, камердинер подал ему на золотом подносике целую кипу корреспоиденцин разного рода, которая накопнлась за это время, — герцог ие позволял пересылать к нему в летнее уедннение ннчего, даже важных известий. Среди всех этих писем находилось одно удивнтельное посланне, которое более, чем другие, заинтересовало герцога:

«Милостивый Государь!

Я имею иамерение продать Вам миожество картии, мною написаиных. Я потребую с Вас за эти картииы беспримерио высокую цеиу; оиа, одиако, ие может идти в сравиение с теми богатствами, которые былн награблены Вашей дииастией. Вы найдете эту цеиу даже скромиой в сравненин с той исключнтельной, чнсто матернальной ценностью, которую мон картнны имеют для Королевского Дома. Вы будете таким образом благодарны мне за то, что я предлагаю Вам воспользоваться такнм случаем. Но прежде всего я сообщу Вам, что я намереваюсь делать с теми деньгами, которые получу от Вас. Я — человек старый. У меня нет семьн н нет лнчных потребностей. Я нмею маленькую ренту и не

нуждаюсь в большем. И всю сумму я назначаю «Людям с горы, которые ничего не забывают». Вы знаете, Милостивый Государь, что это за союз: это почтенные люди, которые свято хранят традиции своих единомышленников, казнивших Людовика Капета. Король, Ваш отец, конечно, изгнал этот союз из Парижа и Франции, но он имеет теперь свое местопребывание в Женеве и существует там превосходно. Надеюсь, Вы еще не раз услышите об этом союзе. Итак, этим «людям с горы, которые ничего не забывают», я отошлю эти деньги немедленно по получении, с ясно выраженным назначением обратить их на пропагандирование убийства короля. Я понимаю, что Вам может показаться очень несимпатичным такое употребление Ваших собственных денег, но Вы согласитесь со мною, что всякий может распоряжаться своими деньгами, как хочет. И я не питаю ни малейшего опасения, что подобное предназначение Ваших луидоров остановит Вас от покупки картин. Вы приобретете их, несмотря ни на какие обстоятельства. Я убежден даже, что Вы пошлете мне собственноручное, снабженное печатью Королевской фамилии, письмо, в котором Вы выскажете благодарность за мою предупредительность.

Мартин Дролинг".

Бесцеремонная откровенность этого письма, которое не имело ни числа ни адреса отправителя, произвело на избалованного герцога некоторое впечатление. Первоначальное предположение герцога, разделявшееся также и его адъютантом, что письмо написано душевно-больным, было вскоре оставлено. А любопытство, которым герцог всегда отличался и которое однажды в Алжире едва не стоило ему жизни, побудило его поручить адъютанту навести справки по поводу содержания письма и доложить ему.

Этот доклад состоялся на следующий же день. Адъютант, г.де-Туальон-Жеффрар, сообщил герцогу, что союз «Людей с горы, которые ничего не забывают», действительно существует в Женеве. Два года тому назад правительство закрыло этот союз и арестовало некоторых его членов, но, в общем, придает ему мало значения, так как дело идет, очевидно, лишь о нескольких восторженных, но совершенно безопасных болтунах. Мартин Дролинг — художник, смирный старик

лет восьмидесяти с лишком, никогда и ничем не выдававшийся. Уже десятки лет никто ничего о нем не знает и не слышит, так как он никогда не покидает своего ателье на rue des Martirs и давным давно ничего не выставляет. Но в молодости, наоборот, он был очень деятелен, написал несколько недурных картин, изображавших главным образом interieurs кухни, и одна из таких кухонных сцен была даже приобретена государством и повешена в Лувре.

Герцог Орлеанский был очень мало удовлетворен этими сведениями, лишавшими странное послание всякой романтической окраски.

— Этот господин, по-видимому, имеет слишком преувеличенное понятие об аппетитах Бурбонов, — подумал он, — раз он предполагает, что мы так интересуемся кухонными подробностями. Я не думаю, чтобы стойло отвечать этому чудаку.

— Ce drole de Droling, — промолвил он, и адъютант, как полагается в таких случаях, рассмеялся.

Но «чудак», повидимому, был совсем другого мнения относительно этого пункта. По крайней мере герцог, спустя несколько дней, опять получил от художника письмо, которое далеко оставляло за собою первое послание в смысле решительной требовательности:

«Милостивый Государь!

Совершенно непонятно, почему Вы до сих пор еще не явились ко мне? Я повторяю, что я — старый человек; поэтому для обеих сторон было бы лучше немедленно покончить с нашим делом, так как моя смерть — событие в высшей степени неприятное, но вполне возможное — может помешать нашему свиданию. Поэтому я непременно жду вас завтра утром, в половине двенадцатого, в моем ателье. Но не извольте приходить раньше этого срока, потому что я встаю поздно и не имею никакого желания ради вас сползать с постели ранее обыкновенного.

Мартин Дролинг".

Герцог показал письмо своему адъютанту.

— Опять никакого адреса. Очевидно, он полагает, что мы и без того должны знать, где он живет. Что ж, он прав: мы теперь это знаем! Как вы думаете, уж не повиноваться ли нам строгому приказанию гос-

подина Дролинга? Давайте, отправнмся завтра утром, милый Туальои, ио только так, чтобы быть у иего по крайией мере на полчаса раиьше. Я думаю, он будет забавиее в гиеве.

...Герцог и г. де-Туальои-Жеффрар, задыхаясь, одолели четыре высокие лестиицы грязного дома виутри двора и постучалнсь в большую желтую дверь, на которой была прибита старая дощечка с именем «Мартин Дролниг».

Но они стучали тщетио. Ничто ие шевелилось за дверью. Оии кричали и колотили в дверь рукоятками своих палок. Герцога забавляла эта осада, стаиовившаяся все более н более ожесточенной. В конце коицов оба посетителя подияли иастоящий адский шум.

Виезапно услышали они где-то далеко за дверью дрожащий голос: — Что там такое? Что случилось?

— Вставайте, папа Дролниг! Вставайте! К вам гости! — воскликнул герцог, чрезвычайно развеселившийся.

— Я встану, когда мне будет нужно, — послышалось в ответ, — а ие тогда, когда это угодно вам.

Но герцог был в настроеиии.

— Мы будем штурмовать крепость! — воскликнул он и скомаидовал: — Пли!

Оба стали ломиться в дверь, которая трещала по всем швам. В промежутках оии барабаиили по ией палками и снова кричали:

— Вставайте, соня! К вам гости! Вон из постели!

Изиутри послышались невнятные ругательства и звуки подпрыгивающих шагов.

— Делайте, что хотите, но вы не войдете сюда, пока я ие умоюсь, не одеиусь и не позавтракаю!

Герцог уговаривал, просил, проклиниал — все напрасно. Он ие добился никакого ответа. Наконец он покорился и уселся вместе с адъютантом иа верхней ступеньке лестиицы.

— Теперь я могу личио позиакомиться с иеприятным заиятием сидения в передиих... Но только передняя здесь чересчур плоха. Я отомщу за это.

Из мемуаров княгини Меттерних известио, что герцог в самом деле отомстил. С каким-то истинным сладострастием он потом заставлял посетителей целыми часами сидеть в его передиих. Нередко он допускал к себе иных, только-что явившихся, просителей

просто для того, чтобы доставить себе удовольствне еще дольше заставить ждать других, которые и без того уже часа три сидели в передней...

Наконец за дверью зашевелнлись. Послышалнсь звяканье ключа в замочной скважнне, отмыканне засова н глухой шум от падения тяжелой железной перекладины.

Вслед за тем дверь открылась, и показался маленький бледный человечек в костюме времен первого консульства. Его платье было когда-то элегантно, но полиняло н износилось. Морщннистое, безбородое маленькое лицо измученно выглядывало из-за огромного черного галстука. Сверху оно было обрамлено целой копной грязно-белых волос, которые в диком беспорядке торчали над головою.

— Я — Мартнн Дролинг, — промолвнл человечек. — Что вам угодно?

— Вы прнгласили нас сегодня утром к себе... — начал герцог.

Но маленькнй художник прервал его. Он вытащнл нз кармана тяжелые серебряные часы и поднес нх к носу герцога.

— Я просил вас прнйтн ко мне в половнне двенадцатого, не раньше. А сколько часов сейчас? Однннадцать часов двадцать мннут! И вы уже с полчаса выкидываете здесь ваши нелепые шутки. В наказанне за это вы заплатите за каждую мою картину на тысячу франков больше. Кто из вас господин Орлеанскнй?

Адъютанту показалось, что старнк в своем обращении с герцогом зашел уж слншком далеко. Он счел своим долгом направнть его на путь нстннный н, показывая на герцога, промолвнл значнтельным тоном:

— Господин Дролинг, перед вами его королевское высочество, герцог Орлеанскнй.

Маленькнй художник вскнпел от ярости:

— Называйте этого господина, как вам нравнтся. Мне до этого нет ннкакого дела. Но мне позвольте нменовать его так, как он зовется. Кто, собственно, вы-то сами? Не пожелаете лн назвать мне себя?

Герцог одно мгновенне наслаждался безмолвным смущеннем своего спутннка, а затем промолвнл со всею своею любезностью:

— Позвольте вам представнть, господин Дролннг: мой адъютант, г. де-Туальон-Жеффрар, подполковник второго кнрасирского полка.

Дролинг слегка поклонился:

— Я не знаю вас, милостивый государь, и не собираюсь знакомиться с вами. Я вас не приглашал и не имел в виду принимать вас. Поэтому уходите.

Как почти все члены королевских домов, герцог вполне зависел от окружающих его людей. При этом он не был настолько неумен, чтобы не сознавать этой зависимости. Поэтому он часто ненавидел своих окружающих, от которых ему не удавалось избавиться ни на минуту, и ничто так его не радовало, как если с тем или другим из них приключалось что-нибудь обидное. Манера, с которой господин Дролинг трактовал его адъютанта, так чудовищно гордившегося своею принадлежностью к рыцарству крестовых походов, настолько забавляла герцога, что он едва мог подавить улыбку.

— Ступайте, милый Туальон, — сказал он: — ожидайте меня внизу в карете. Г-н Дролинг прав: он принимает только тех людей, которые ему приятны.

В полном негодовании адъютант низко поклонился и молча направился к лестнице. Но он получил удовлетворение... То, что он услышал сейчас от Дролинга, почти примирило его с сумасшедшим художником.

Господин Дролинг именно сказал:

— Если вы воображаете, господин Орлеанский, что вы мне приятны, то жестоко разочаруетесь. Напротив, вы мне в высшей степени несимпатичны. Я пригласил вас только потому, что имею к вам дело. Войдите.

Господин де-Туальон ядовито усмехнулся, когда дверь захлопнулась. Как все адъютанты, он в глубине сердца ненавидел своего господина не менее, чем тот его.

Пока художник запирал дверь, задвигал засов и снова укреплял железную перекладину, герцог осматривал ателье. Там стояли два пустых мольберта, на стенах висели едва начатые эскизы и наброски, лежали на ящиках, стульях и подушках пожелтевшие костюмы. Все было покрыто пылью и загрязнено. Ни одной картины герцог не мог нигде найти. Разочаровавшись, он опустился на маленький стул посредине комнаты.

Но едва он сел, как у него под ухом задребезжал дрожащий, словно пение скрипки, голос старика:

— Разве я приглашал вас располагаться здесь? Вашей почтенной фамилии, господин Орлеанский, по-

видимому, неизвестны даже самые простые правила приличия. Что сказали бы вы, если бы я, будучи у вас в гостях, уселся, не дождавшись приглашения? Кроме того, это мой стул.

На этот раз герцог пришел в серьезное смущение. Он вскочил. Господин Дролинг сбросил какие-то старые лоскутья с тяжелого кожаного кресла, подвинул его немного вперед и затем церемонно промолвил:

— Прошу вас садиться!

— Прошу вас, сначала вы! — возразил таким же тоном герцог, решившийся добросовестно разыграть всю эту комедию.

Но Дролинг настаивал:

— Нет, садитесь, пожалуйста. Я здесь дома, а вы мой гость.

Герцог опустился в кресло. Дролинг заковылял к массивному старинному шкапу, открыл его и достал оттуда дивно отшлифованный венецианский графин и две рюмки.

— У меня редко бывают гости, господин Орлеанский, — начал он, — но если кто-нибудь посетит меня, я имею обыкновение угощать его рюмкой портвейна. Выпейте. Даже за столом вашего отца во дворце вряд ли вы получите лучшее вино.

Он налил рюмки доверху и подал одну из них герцогу. И, не заботясь о том, пьет тот или нет, поднял свою рюмку к свету, нежно потрогал ее рукой и стал пить маленькими глотками. Герцог тоже отпил и должен был сознаться, что вино в самом деле необыкновенное. Дролинг налил рюмки снова и имел такой вид, как будто и не собирается совсем говорить по поводу продажи картин. Тогда герцог начал:

— Вы пригласили меня сюда затем, чтобы продать мне некоторые из ваших картин. Я знаком с вашим жанром по interieur'у кухни в Лувре.

— Вы видели эту картину? — живо прервал его художник. — Ну, и что же? Как вы находите ее?

— О, она чрезвычайно хороша! — похвалил герцог. — Очень художественная картина... Удивительно богата настроением.

Но его слова произвели совсем не то действие, какое он ожидал. Старик откинулся назад на своем стуле, провел пальцами по своей белой гриве и сказал:

— Вот как! Ну, так это доказывает, что вы ничего,

ровно ничего не понимаете в искусстве. Картина, наоборот, скучна, лишена настроения, одним словом, никуда не годится. Она недурно написана, да, но с настоящим искусством не имеет ничего общего. Только в коричневом горшке с отбросами есть нечто от Людовика XIII, и потому...

— Нечто от кого? — спросил удивленно герцог.

— От Людовика XIII, — повторил спокойно Дролинг. — Но мало. Очень мало. Это была первая слабая попытка, которую я тогда сделал, беспомощное нащупывание. Очень печально, что вам понравился этот навоз, господин Орлеанский.

Герцог понял, что не имеет никакой нужды быть дипломатичным с этим придурковатым чудаком, и решил пренебречь всякими фокусами и обратился к естественной простоте.

— Простите меня, г. Дролинг, — начал он снова, — что я пытался из вежливости ввести вас в заблуждение. Я никогда не видал вашей картины в Лувре и поэтому не могу и судить, хороша она или плоха. Впрочем, я в самом деле понимаю в искусстве очень мало. Гораздо меньше, чем в вине. Ваше вино действительно замечательно.

Старик снова наполнил рюмку.

— В таком случае выпейте, господин Орлеанский. Итак, вы мне солгали, что моя картина очень хороша, и вовсе не видели ее.

Он поставил графин на пол и потряс головою.

— Фу, черт! — продолжал он. — Сразу видно, что вы из королевского дома. Ничего другого нельзя было и ожидать.

И он посмотрел на своего гостя с выражением необыкновенного презрения.

Герцог чувствовал себя очень нехорошо. Он беспокойно ерзал в своем кресле и медленно пил вино.

— Может быть, мы теперь поговорим о нашем деле, господин Дролинг? Я нигде не вижу картин.

— Вы еще увидите картины, господин Орлеанский, все до единой. Они стоят там за ширмой.

Герцог поднялся.

— Подождите еще немного, посидите. Я считаю необходимым предварительно объяснить вам, почему мои картины представляют такую ценность для вашей фамилии.

Герцог снова молча уселся. Дролниг поставил свою маленькую ногу на сиденье своего трехногого табурета и обхватил колено руками. Он походил теперь на отвратительную старую обезьяну.

— Поверьте мне, господин Орлеанский, что я обратился к вам вовсе не случайно. Я долго обдумывал это и могу вас уверить, что мне в высшей степени противно думать, что мои картины будут находиться в обладании такой гнусной фамилии, как Валуа-Бурбоны-Орлеаны. Но, видите ли, даже самый ярый любитель не заплатил бы мне за мои картины той суммы, которую заплатят Орлеаны, и это говорит само за себя. Другой кто-либо предложил бы мне известную цену, и я был бы должен принять его предложение, если бы не хотел отказаться от продажи. А вам я могу просто диктовать свои цены. К тому же династия королей Франции некоторым образом имеет право на эти картины, так как они, — правда, в несколько необычной форме, — содержат в себе то, что в течении столетий было для вашего дома самым святым и остается таким и поныне.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал герцог.

Мартин Дролниг покачивался на своем стульчике.

— О, вы сейчас поймете меня, господин Орлеанский, — усмехнулся он. — Мои картины содержат сердца королей Франции.

Герцог внезапно пришел к твердому убеждению, что он имеет дело с душевнобольным. Если все это и не могло для него быть опасным (впрочем, в Алжире он неоднократно доказал свою неустрашимость), то, по крайней мере, было бесцельно и бессмысленно. Невольно бросил он взгляд на дверь.

Старик поймал его взгляд и заметил:

— Вы мой пленник, господин Орлеанский, так же, как некогда ваш дедушка. Я имел в виду, что вы можете улизнуть, и поэтому запер дверь. А ключ у меня здесь — здесь, в моем кармане.

— Я не имею ни малейшего намерения бежать, — возразил герцог, которому показалось весьма комическим величавое обращение маленького человечка. Он был высокий, очень сильный мужчина и мог бы одним ударом повалить на пол старика и отнять у него ключ. — Не можете ли вы наконец показать мне ваши картины?

Дролинг соскочил со своего стула и заковылял к ширме.

— Да, да, я покажу, господин Орлеанский. Радуйтесь! — Он вытащил довольно большое полотно в подрамнике, поволок его за собой и поднял на мольберт так, что картина была обращена к герцогу задней стороной. Он заботливо смахнул с нее пыль тряпкой, затем встал сбоку около картины и провозгласил крикливым тоном, словно хозяин ярмарочного балагана:

— Здесь вы видите сердце одного из блестящих представителей французской королевской фамилии, одного из величайших властелинов, которых когда-либо носила земля: сердце Людовика XI.

С этими словами он повернул мольберт так, что герцог мог видеть картину. Она представляла могучее, лишенное листьев, дерево, на ветвях которого висели десятка два голых, полуразложившихся мертвецов. В темной коре дерева было вырезано сердце, носившее инициалы «L.XI».

Картина поразила герцога непосредственной жестокой реальностью. От нее, казалось, исходил отвратительный запах тления, и герцогу невольно захотелось зажать нос. Он достаточно хорошо знал историю Франции и в особенности историю королевского дома, чтобы тотчас же понять содержание картины Она представляла знаменитый «сад» его предка, благочестивого Людовика XI, большого любителя казней. То обстоятельство, что художник предложил картину для покупки не кому-нибудь другому, а именно ему, герцогу, который прославился гуманностью во время своей африканской службы и низвел до ничтожной цифры излюбленное там вешание, — это обстоятельство показалось ему по меньшей мере весьма безвкусным. Равным образом нашел он достаточно поверхностной и самую символику той картины, так претенциозно названной художником «Сердце Людовика XI». И только убеждение в ненормальности старика заставляло его и теперь оставаться учтивым.

— Я должен вам сознаться, господин Дролинг, — промолвил он, — что хотя художественные достоинства вашей картины кажутся мне выдающимися, лично моему вкусу этот исторический мотив говорит слишком мало. Культ предков в нашем доме вовсе не идет так далеко, чтобы мы восхищались всеми жестокостями

наших наполовину варварских предшественников. Я должен сказать, что я нахожу это немного...

Герцог остановился, подыскивая, по возможности, более мягкое выражение. Но художник подскочил к нему и, потирая с довольным видом руки и наступая на него, приставал:

— Ну. Ну, как, именно...

— Безвкусным! — произнес герцог.

— Браво! — осклабился старик, — браво! прекрасно! Я и сам того же мнения. Но ваш упрек не задевает меня. Ничем и ничуть не задевает. Он задевает опять-таки королевский дом. Обратите внимание: все глупое и нелепое исходит из вашего дома. Слышите, милостивый государь: эта идея принадлежит вовсе не мне, а вашему деду.

— Кому?

— Отцу вашего отца, который ныне король Франции, моему доброму другу, Филиппу Эгалите. Когда мы с ним возвращались с казни вашего дяди, шестнадцатого Людовика, он внушил мне эту мысль. Вообще, идея эта в художественном отношении плоха. Она слишком откровенна, слишком грубо трактована и неуклюжа. И я нисколько не удивляюсь, что вы заметили это. Корова и та догадается, что перед нею отвратительное сердце Людовика XI. Оно было самое большое из всех и при этом имело ужасный запах. У меня всегда болела голова, когда я употреблял его для нюханья. Кстати не хотите ли понюхать табачку? Он вытащил широкую золотую табакерку и предложил гостю. Герцог, который в самом деле очень любил нюхать табак, взял немного и запихнул в нос.

— Недурная смесь, — сказал старик: — принц Гастон Орлеанский, Анна Австрийская и Карл V. Ну-с, как вам нравится? А ведь это превесело забивать себе в нос лучшие останки ваших высокопоставленных предков!

— Господин Дролинг, — промолвил герцог, — ваш нюхательный табак я должен похвалить также, как и ваше вино. Но, простите меня, ваших слов я совершенно не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Что вы мне тут рассказываете о моих предшественниках, которые сидят в ваших картинах и в вашей табакерке?..

— Глуп, как представитель Орлеанского дома! — прокаркал старик. — Поистине, вы еще глупее, чем ваш дядя, хотя и тот был в достаточной мере осел, что он и засвидетельствовал, перейдя к жирондистам. Впрочем, он покаялся потом под ножом гильотины в этой измене. Вы все-таки не понимаете, господин Орлеанский? Так слушайте же, что я скажу: мои картины написаны сердцами королей. Поняли вы это?

— Да, господин Дролинг, но ...

— А из этой табакерки и из других табакерок я нюхаю с табаком то, что осталось от королевских сердец после моих работ. Поняли?

— Я прекрасно слышу то, что вы говорите, господин Дролинг. Вам нет необходимости так кричать. Я только не совсем уясняю себе взаимную связь...

Художник вздохнул, но ничего не ответил. Молча подошел он к шкапу, достал оттуда пару маленьких медных пластинок и протянул герцогу:

— Вот! Там на полке лежит еще тридцать одна. Я дарю их вам все. Вы получите их, как приложение к картинкам.

Герцог внимательно прочитал надписи на обоих пластинках, а потом пошел сам к шкапу и стал рассматривать остальные. Надписи свидетельствовали, что это были памятные дощечки от урн, в которых хранились сердца королей, принцев и принцесс королевского дома. Герцог понемногу стал понимать.

— Откуда вы их достали? — спросил он. Помимо его воли, в тоне его звучало нечто надменное.

— Я купил их, — ответил старик тем же тоном. — Вы знаете, художники часто интересуются разной ветошью и старым хламом.

— В таком случае, продайте мне пластинки обратно!

— Ведь я же вам подарил их. Вы можете повесить их под моими картинами. Я скажу вам, какая куда относится. Вот эта, — он взял у герцога из рук одну пластинку, — принадлежит одной из самых забавных моих картин. Вы сейчас увидите ее.

Он повесил пластинку на гвоздь внизу мольберта, снял с мольберта картину и прислонил ее к своему стулу. Затем пошел своей припрыгивающей походкой снова за ширмы и в следующее мгновение потащил за собою очень большую новую картину.

— Помогите мне, пожалуйста, господин Орлеанский. Она довольно тяжела!

Герцог поднял тяжелый подрамник и поставил его на мольберт. Когда он отошел в сторону, старик постучал пальцами по медной пластинке и продекламировал:

— Здесь вы видите сердце Генриха IV, первого Бурбона! Оно немножко повреждено кинжалом Равальяка, человека высоких и достохвальных принципов!

Картина изображала огромную кухню; большая часть ее была занята чудовищным очагом с многочисленными устьями, из которых выбивалось пламя. Над всеми этими устьями стояли кухонные горшки, и в них варились живые люди. Иные пытались выбраться, другие хватались за своих соседей, выли, корчили ужасные гримасы. Отчаянный страх, неслыханная мука запечатлелась в их изнуренных голодом лицах. На очаге было нарисовано сердце с инициалами Генриха IV.

Герцог отвернулся.

— Я ничего не понимаю! — сказал он.

Дролинг весело рассмеялся.

— А между тем вы можете в любом школьном учебнике прочитать великие слова вашего благородного предка:" Я хотел бы, чтобы каждый крестьянин в воскресный день имел в своем горшке курицу." — Взгляните сюда: вы видите здесь кур, которых король имел сам в своем горшке. Это, поистине, королевское сердце — этот кухонный очаг! Не хотите ли оценить еще и вашим обонянием этого Бурбона? — Он достал из шкапа другую табакерку и предложил герцогу. — Тут не очень уж много, — продолжал он, — но все-таки возьмите. Хорошая смесь: Генрих IV и Франц I. Попробуйте. От нее рождаются хищные мысли.

— Вы хотите сказать, господин Дролинг, — спросил герцог, — что этот табак, эта темнокоричневая пыль добыта из сердец обоих королей?

— Именно это я и хочу сказать, господин Орлеанский. У этого табака нет иного происхождения... Я сам смешивал его.

— Откуда же вы достали сердца?

— Я же их купил. Разве я не сказал вам этого? Вас интересуют подробности? Так слушайте! — Он пододвинул герцогу кресло и снова вспрыгнул на свой

стул.

— Пти-Радель... Вы слышали что-нибудь о Пти-Радель? Нет? Ну, и необразованы же вы, настоящий Орлеанский! Это я уже давно заметил... Ваш дед был очень дружен с архитектором Пти-Радель. Вот однажды Пти-Радель получил от Комитета поручение разрушить нелепые королевские гробницы в подземельях Сен-Дени и Валь де-Грас. Он исполнил это, скажу вам, очень добросовестно. Затем он должен был проделать такую же операцию и в иезуитской церкви на улице Сен-Антуан. Ваш дед уведомил меня об этом. — Ступай с ним! — сказал благородный Филипп: — там ты можешь дешево купить мумии! Вы знаете, что это такое, господин Орлеанский? Не знаете? Ну, мумия есть мумия. Это остатки набальзамированных тел, которые потом обращают в краску. И дорога же эта краска, Бог ты мой! Вы можете таким образом понять, как я был рад купить ее дешево. В иезуитской церкви мы нашли сосуды с набальзамированными сердцами королей и принцесс. Пти-Радель разбил сосуды на куски, а я купил при этом случае медные дощечки и сердца.

— И вы натерли краску из сердец?

— Да, разумеется. Как же иначе? Только на это единственно и годны королевские сердца. Нет, я должен оговориться: в качестве нюхательного табака они тоже превосходны. Неугодно ли вам: Генрих IX и Франц I?

Герцог отказался. — Очень благодарен, господин Дролинг.

Старик захлопнул табакерку. — Как вам угодно. Но вы напрасно упускаете такой случай. Вы никогда более не будете иметь возможности нюхать королевские сердца.

— Часть сердец, которая не была превращена вами в нюхательный табак, пошла на картины?

— Без сомнения, господин Орлеанский. Я думал, что вы уже давно догадались об этом. В каждой из моих картин вы найдете одно из сердец семьи Валуа-Бурбон-Орлеанов. Чье сердце вы теперь желаете видеть? — Людовика XV, — сказал герцог наудачу.

На мольберте быстро появилась новая картина. Она была выдержана сплошь в темном фоне. Даже телесные тона отличались матово-коричневым колори-

том.

— По-видимому, вы немало потратили мумии на это, господин Дролинг! — заметил герцог. — Разве сердце было так велико?

Старик рассмеялся:

— Нет, оно было совсем маленькое, совершенно детское сердце, несмотря на то, что ему стукнуло шестьдесят четыре года. Но я взял здесь еще и другие сердца: регента, герцога Орлеанского, Помпадур и Дюбарри. Перед вами раскрывается здесь целая эпоха.

Картина представляла огромное количество мужчин и женщин, которые в величайшей суматохе и давке теснили друг друга, сталкивались, ползали один по другому.

Некоторые были совершенно голые, большинство же в костюмах своего времени, в кружевных камзолах, жабо, в длинных париках с коками. Но у каждого из них вместо головы на плечах был череп, обтянутый пергаментной кожей. В их движениях было что-то звериное, собачье, но в виртуозно нарисованных фигурах и костюмах, а также в руках и плечах — человеческое. Общее же выражение, как отдельных частностей, так и всей среды, было отвратительно-животное. Эта странная смесь жизни и смерти, зверя и человека представляла такое гармоническое созвучие, что картина производила на зрителя потрясающее впечатление. Дролинг, от которого не ускользало ни малейшее движение гостя, показал ему на графин:

— Прошу вас, угощайтесь, господин Орлеанский! Ваша немая критика в высшей степени удовлетворяет меня.

— Я нахожу эту картину ужасной! — промолвил герцог.

Старик крякнул от удовольствия.

— Неправда ли? Скажите лучше тошнотворной, отвратительной! Одним словом, истинно-королевской.

Потом он вдруг сделался серьезным:

— Поверьте мне, господин Орлеанский, мне стоило неслыханных мучений писать эти картины. Ни одна из казней Дантовского Ада не может с этим сравниться — с копанием в глубине королевских сердец. Прошу вас, принесите сюда другую картину!

Герцог отправился за ширмы и увидел там целый ряд картин, натянутых на подрамники и обращенных

лицевой стороной к стене. Он взял ближайшую и поставил ее на мольберт.

— А, вы подцепили сердце Карла IX! Ни одно из них так не жаждало крови, как его сердце.

Герцог увидел широкую реку, медленно струившуюся между плоских берегов навстречу надвнгавшемуся вечеру. По мутным волнам плыл бесконечный плот, плот мертвецов. На самом переднем плаие стоял, высоко подняв голову, паромщик — тощая, закутанная в пурпурную королевскую мантию фигура, с бледным, покрытым нарывами лицом. Безумный взгляд его был тупо устремлен вперед. Он вонзал в речное дно мощный багор и гнал свой ужасный груз вниз по течению.

Следующая картина показалась герцогу еще более ужасной. Она изображала в естественную величину мужской труп, пришедший в совершенное разложение. Из глазных впадин выползали черви; насекомое, похожее на черного, усеянного желто-красными крапинами, жука, пожирало нос и рот. На разорванном животе сидели два изумительио написанных коршуна. Один из ннх погрузил глубоко в живот голову и шею, другой пожнрал вытащенные иаружу внутренности. В ногах виднелось несколько крыс, которые жадно глотали сгнившие пальцы.

Герцог отвернулся, бледный, как мертвец. Он почувствовал, что его сню мннуту стошнит. Но старик потянул его за рукав:

— Нет, нет, вглядитесь в картнну хорошенько. Она самая лучшая из всех моих картин, вполне достойная вашего велнкого предка, Людовика XIV. Вы его не узнаете? Это был он, который сказал наглое слово: «Государство — это я». Ну вот вы и видите, какое это было государство в действительности: сгнившее, сожранное, разложившееся...

Герцог опустился в кресло, повернувшись к картинам спиной. Он налил полную рюмку и выпил.

— Разрешнте, господин Дролинг! Ваше искусство действует даже и иа крепкне нервы.

Художник подошел к нему и протянул ему рюмку:

— Будьте добры, налейте и мне! Благодарю вас! Чокнемся, господин Орлеанский, за то, что я наконец нзбавился от проклятия!

Рюмки зазвенели одна о другую.

— Да, я теперь свободен! — продолжал старик,

и в его дрожащем голосе зазвенело ликованне. — Все эти ужасные сердца исписаны, а то немиогое, что от них осталось, покоится в моих табакерках. Труд моей жизни кончен. Отныне я никогда больше ие возьму в руки кисти. Когда вы распорядитесь сегодня пополудни взять мои картины, то захватнте с собою также н все мон рисовальные принадлежиости. Вы обяжете меня, еслн сделаете это! — Затем страстным тоном он воскликнул: — И никогда, иикогда больше я не буду иметь надобности видеть весь этот ужас! Я свободен! Совершенно свободен!

Он пододвинул стул вплотиую к креслу герцога и схватил обеими руками его правую руку.

— Вы — Орлеаиский, вы сын короля Франции. Вы знаете теперь, как иенавижу я вашу семью. Но в это мгиовеиие я так бескоиечио рад, что почти забываю, какие ужасиые мучеиия в течеиие целых десятилетий я испытывал из-за вашей семьи. С тех пор, как стоит земля, иикогда ни один человек не вел такой жизни. Слушайте, я хочу вам сказать, как все это произошло. Хоть один человек должен это зиать. Почему же этому человеку ие быть наследником трона нашей несчастной страны?

Я уже говорил вам, что купить королевские сердца, и таким образом дешево приобрести мумии побудил меня ваш дед, Филипп Эгалите. Он был мой добрый друг и часто посещал меня, и ему я обязан тем, что моя картина была приобретена государством для Лувра. Этот внутреиний вид кухни был первой картиной, для которой я употребил сердце. Из презрения к королю я иаписал тогда мумией — маленькой частью сердца Людовика XIII — горшок с отбросами. Дешевая и безвкусиая шутка! Впрочем, в то время мои чувства к вашему дому были не такие, как теперь. Хотя я и иеиавидел короля и австриячку, но ие более, чем все парижане. А Филипп был даже мой добрый друг. Его иенависть к собствениой семье была гораздо больше, чем моя, и иикто иной, как имеиио он, внушнл мне мысль употребить королевские сердца ие только для материального, ио и для идейного содержаиия моих картин. И это нменно ои подал мне мысль нарисовать сад Людовика XI, чтобы достойным образом изобразить сердце этого короля.

Скажу вам, господин Орлеанский, что я был тогда

восхищен идеей вашего деда. Я имел в распоряжении тридцать три сердца, и из них восемнадцать королевских сердец. Я мог написать восемнадцать картин из французской истории так, как она отражалась в сердцах этих королей, и я мог написать эти картины их собственными сердцами! Можете ли представить себе что-нибудь более соблазнительное для художника? Я тотчас же приступил к работе, начав с сердца Людовика XI, и вместе с тем стал изучать историю моей страны, с которой до того я был знаком очень мало. Ваш дед доставлял мне книги, которые он мог раздобыть, а также множество секретных актов, дневников, мемуаров, из Сорбонны, из королевского замка, из ратуши. В течение целых лет я погружался в сочащуюся кровью историю вашего дома и проследил весь жизненный путь каждого из ваших предков до последнего их дыхания. И все более сознавал я, какую ужасную работу возложил на себя. Ведь каждая картина должна была представлять собою квинтэссенцию всех сердечных движений каждого короля, а между тем все, что я ни создавал, всегда оставалось бесконечно далеко от ужасной действительности. Моя работа была так чудовищно велика, требовала такой колоссальной суммы самых ужасных мыслей и образов, какие только может вместить человеческий мозг, что я приходил в совершенное отчаяние и падал под этой гнилой, отвратительной тяжестью моей задачи. Преступления Валуа-Бурбон-Орлеанов были так чудовищно велики, что мне казалось совершенно невозможным одолеть их кистью художника. Обессиленный этой борьбой, бросался я поздно ночью на кровать, а рано утром снова начинал бороться. И чем больше погружался я в эту кровавую лужу нечестивого безумия, тем немыслимее казалось мне овладеть им.

И стала расти во мне смертельная ненависть к королевскому дому, а вместе с тем ненависть и к тому, который вверг меня в эту душевную муку. Я мог бы тогда задушить вашего деда. В течение долгого времени он был далеко от меня, и я был рад, что не вижу его. Но в один прекрасный день он вторгся, возбужденный, в мою мастерскую. Он перешел к жирондистам, сам был объявлен изменником, и его преследовали люди Дантона. Ваш отец был умнее: он остался верен якобинцам, пока не убежал с Дюмурье... И вот Филипп стал просить меня, чтобы я защитил

его — спрятал где-нибудь. О, во всем Париже он не смог бы найти другого человека, который с большим удовольствием предал бы его палачу! Я немедленно послал своего человека в Комитет, запер дверь и продержал Филиппа в плену, пока его не увели стражники. Десять дней спустя его казнили. В награду за свой патриотический поступок я выпросил себе его сердце.

Герцог прервал его:

— Но ведь вы же не могли писать свежим сердцем?

— Разумеется, не мог. Но ведь у меня было достаточно времени. Ужасающе много времени! Я должен был сначала использовать все остальные сердца. Я набальзамировал сердце вашего деда, и затем оно сохло целых тридцать шесть лет. Из него получилась превосходная краска. Это была моя последняя картина. Постойте, я покажу вам ее.

Он прыгнул к ширме и вытащил еще один подрамник.

— Вот, господин Орлеанский! То, что вы здесь видите, часто, очень часто билось тут, на том самом кресле, на котором вы сейчас сидите; это было сердце вашего деда, герцога Орлеанского, Филиппа Эгалите!

Герцог невольно схватился за грудь. У него было такое ощущение, будто он должен крепко держать свое сердце, чтобы ужасный старик не мог вырвать его и из его груди. Еле решился он взглянуть на картину.

Картина изображала на заднем своем плане железную ограду с многочисленными остриями, которая занимала всю ширину полотна. А впереди, на всем пространстве картины, виднелись сотни вбитых в землю кольев, и на каждом колу, также, как и на каждом острие ограды, была посажена человеческая голова. Колья были расставлены в форме сердца — так, что ограда двумя своими полукругами представляла как бы верхнюю границу сердца. Внутреннее пространство сердца также было утыкано кольями. И казалось, что из этого темно-красного сердца вырастают цветы смерти. Высоко над кольями виднелось как бы витающее в желтоватом тумане огромное лицо, корчившее демонически смеющуюся гримасу. И это лицо (если посмотреть внимательнее, это была тоже отрубленная голова) имело опять таки форму сердца: характерную грушевидную форму, свойственную всем представителям Орлеанского

дома. Герцог не знал своего деда, но сходство этого грушевидного лица с лицом его отца и даже с его собственным сразу бросилось ему в глаза. Все более и более охватывал его сжимавший сердце страх, но он не мог отвести взгляда от ужасного зрелища гильотинированной головы. Словно издалека доносился до его ушей голос старика:

— Да вы поглядите только внимательнее, господин Орлеанский.Ведь это все портреты! Все портреты! О, мне стоило большого труда добыть портреты всех этих господ! Вы желаете знать, чьи это головы, над которыми так сердечно радуется там наверху превратившийся в сердце ваш дед? Это головы тех, кого он отправил на гильотину. Здесь герцог Монпансье, там маркиз де-Клермон. Вот это — Неккер, это Тюрго, там Больe-Рюбэн. А вот здесь ваш двоюродный брат, Людовик Капет, которого вы называли королем Людовиком XVI. Погодите, я дам вам список.

Он пошарил в кармане и вытащил старую пожелтевшую книжечку:

— Возьмите ее, господин Орлеанский. Это — завещание Филиппа Эгалите своему внуку, наследнику французского престола. Это его записная книжка; он аккуратно вносил в нее имена всех людей, которых посылал на эшафот. Это был, изволите видеть, его спорт. Только ради этого ваш дед и был якобинцем. Вот, возьмите эту королевскую исповедь. Мне дал ее его тюремщик. Я отсчитал ему за это сто су.

Герцог взял книжку и перелистал ее. Но он не мог прочитать ни одного слова: буквы кружились перед его глазами. Тяжело опустился он в кресло. Старик подошел мелкими шажками и встал перед ним.

— Уже один вид этой картины заставил вас содрогнуться. Тот, чьим сердцем она написана, был другой человек: его сердце заиграло бы и засмеялось, если бы он увидел ее — так же, как сам он смеется, вон там! Поистине, я воздвиг ему прекрасный памятник. Итак, теперь вы, может быть, понимаете, господин Орлеанский, какое дело свершил я?

Вы понимаете: я впитал душу каждого из ваших предков. Здесь, в этом старом теле, которое сейчас стоит перед вами, поселились они все: Людовики и Генрихи, Францы и Филиппы. Я был одержим ими, как бесами, я должен был пережить все их преступ-

ления. Такова была моя работа!

И вы теперь понимаете, что я вовсе не какойннбудь простой сумасшедший, который бессознательно подчиняется той или иной безумной грезе. Нет, я должен был с величайшим напряженнем воли искусственно создавать в себе безумные видения. Я должен был употреблять целые недели и месяцы, чтобы блуждать в безднах ваших королевских фантазий и ввергаться в дышащне ядом пропасти вашнх мыслей. Нет почти ни одного средства, господин Орлеанский, которого я не нспробовал бы для этой целн. Я постился, умерщвлял плоть, бнчевал себя, чтобы вызвать в себе тот вдохновенно-кровавый экстаз, который так бесконечно далек от нашего теперешнего сознания. Я целые днн жил в тумане внннных паров, но даже в самом днком бреду ко мне приходили только добродушные фантазии безобидного Мартнна Дролинга. Тогда у меня явилась мысль сделать опыт с нюхательным табаком. Я отделнл маленькне частички от сердец и смешал их с табаком. Вы сами нюхальщик, господнн Орлеанский, вы знаете, какое действие пронзводит на слнзистую оболочку носа щекотанье хорошего тонкого табака: оно как бы очнщает мозг. Мозг как будто освобождается от тяжестн и внезапно делается легче, подвижнее...

Но я нспытал с этим своеобразно прнятным ощущением нечто совсем иное. Я почувствовал, что души королей, чьи сердца я усваивал с табаком, овладели моим мозгом. Онн крепко уселись там, прогнали душу Мартнна Дролинга в самый дальний угол н распоряжались в моем мозгу, как хозяева н короли. И у моего маленького «я» осталось снлы н властн лншь на то, чтобы нзображать на полотне их королевские причуды — краскою, добытою нз их королевскнх сердец. Да, господин Орлеанскнй, вы внднте во мне всех ваших предков! Онн все перевоплотились в моем мозгу — все, от вашего деда н до Филиппа У, первого Валуа, который окровавленными пальцами возложнл на свою голову корону Капетингов. И онн возрождают во мне — н со мной — свои души еще раз в моих картинах. Я — художник! Я как бы прообраз женщины, которой все они обладали и с которой пронзвели на свет своих н в то же время монх детей — вот эти картины... Да, да... Художник — это жен-

щина. Как женщина, привлекает он к себе идеи и образы, отдается им и служит им и рождает в ужасных муках свои произведения.

Голос старика звучал сдавленно, почти неслышно. Но он еще раз возвысил его с новой остротой и резкостью, со всею силою презрительной горечи:

— Я — живая наложница мертвых королей Франции! И теперь я представляю вам, последнему отпрыску королевского дома, счет за ночи любви... Возьмите также и их плоды. Это уж вина ваших отцов, что вышли они так некрасивы...

Он передал герцогу большой белый лист с описью картин и их стоимостью. Герцог сложил его и положил в карман.

— Я пошлю вам сегодня деньги и пришлю людей за картинами. Вы скажете им все, что нужно будет сделать. Благодарю вас, господин Дролинг... Могу я на прощание пожать вашу руку?

— Нет! — ответил Мартин Дролинг. — Вы из Орлеанского дома.

Герцог поклонился молча.

* * *

13 июля 1842 года герцог Фердинанд Орлеанский скончался вследствие несчастного падения из кареты. В его завещании обратил на себя внимание странный пункт, в котором герцог просил после смерти передать свое сердце художнику Мартину Дролингу, 34, Rue des Martirs. Король Людовик-Филипп предусмотрительно наложил свое королевское veto на это посмертное распоряжение своего сына, но нужды в том никакой не оказалось: старый художник уже скончался за несколько месяцев до того.

Его картины, по-видимому, бесследно исчезли. В завещании герцога о них не было упомянуто ни слова, а единственное место, где о них кое-что было записано, — страница из дневника адъютанта герцога, г. де-Туальон-Жеффрара, — оказалось вырезанным.

Нужно пройти в Лувр для того, чтобы увидеть то, что осталось от сердец королей Франции. Эти останки следует искать в картине Дролинга «Interieur de cuisine», по каталогу номер 4339.

Рагуза, май 1907.

СОУС ИЗ ТОМАТОВ

> **Кто вдаль пускался от угла родного,**
> **Тот видел то, о чем и не мечтал,**
> **А дома за лжеца слывет пустого,**
> **Коль на беду, что видел, рассказал.**
> **Повсюду нрава глупый люд такого:**
> **Не верит, коль рукой не осязал.**
>
> **Ариосто, Неистовый Роланд. Песнь седьмая, 1.**

В первый раз это было пять недель тому назад, во время боя быков — тогда именно, когда черный бык из Миуры проткнул руку маленькому Квинито.

В ближайшее воскресенье — снова. В следующее — тоже... Я встречал его на каждой корриде. Я сидел внизу, впереди, в первом ряду, чтобы делать фотографические снимки. Его абонементное место было рядом с моим. Маленький человек в круглой шапочке и черном сюртуке, какие носят английские священники. Бледный, безбородый, золотые очки на носу. И еще особенность: его глаза были без ресниц.

Я сразу обратил на него внимание. Когда первый бык поднял на рога гнедого клеппера, и длинный пикадор неуклюже свалился на землю, когда жалкая кляча тяжело взметнулась разорванным телом и запуталась ногами в собственных окровавленных внут-

ренностях, которые инзко свешнвались и тащнлись по песку, — тогда я услышал около себя легкнй вздох, — но какой вздох!.. Удовлетворения!..

Мы целое послеполудня сndелн рядом, но не обмолвнлнсь нн единым словом. Краснвая игра бандерильеросов ннтересовала его мало. Но когда тореадор вонзал быку в затылок свой клннок, так что рукоятка возвышалась над мощиымн рогами словно крест, — он схватывался руками за барьер и весь вытягивался вперед. Самое важное для него было garrocha. Еслн у лошадн из грудн бнла струя крови в руку толщнной, или чуло давал смертельно раненому жнвотиому последний удар в мозг своим короткнм кннжалом, еслн, иакоиец, бешеный бык кромсал иа ареие лошадиный труп н рылся рогамн в его внутрениостях — в такне моменты этот человек медленно потирал себе рукн.

Однажды я спросил его:

— Вы, должно быть, горячий поклонник боя быков? Un afficonado?

Он кивнул, ио ие промолвил ни слова. Ему не хотелось отвлекаться от созерцаиия.

Гранада ие так велика... Я скоро узнал его имя. Ои был пастором в малеиькой английской колоиии. Его земляки звали его попросту «padro». Очевидно, его считали не в своем уме, потому что ннкто с ним не разговаривал.

* * *

В одну из сред я был на петушииом бою.

Малеиький амфитеатр, совершеино круглый, с высоко вздымающимися скамейками. Посредиие ареиа, освещеииая сверху. Воиь, плевки, дикие крнки — требуется некоторая доля решимости, чтобы войти туда.

Прннесены два петуха. Оии похожн на кур, потому что у них обрезаиы гребии и перья хвоста. Их взвешнвают, а затем вынимают из клеток. И они сразу, без размышлеиия, кидаются друг на друга. Перья крутятся вокруг вихрем. Сиова и сиова налетают оба противиика один иа другого, раздирают друг друга клювом н шпорамн — н все это без единого звука. Зато человеческое стадо вокруг кричит и завывает, и стучит, и бьется об заклад. А! Желтый выклевал белому глаз, подобрал с пола и съел его!.. Головы и шеи птиц, давио ощипаниые, вытягиваются и покачиваются

над туловищами, словно красные змеи. Ни на одно мгновение они не оставляют друг друга. Перья их окрашиваются в пурпур. Едва можно различить формы: птицы кружатся, как два кровавых клубка. Желтый потерял оба глаза и сослепу зря тычет клювом вокруг себя в воздух, и каждую секунду клюв его противника раздирает ему голову. Наконец он падает. Без сопротивления, без единого крика страдания, он позволяет противнику докончить его дело. Но это свершается не так-то скоро: белый употребляет на это пять-шесть минут, сам насмерть обессиленный ударами своего врага.

И вот сидят они кругом меня — все эти человекоподобные — и смеются над бессильными ударами победителя, и кричат на него, и считают каждый удар — из-за пари.

Но вот и конец. Тридцать минут — предсказанное время — прошли. Бой кончился. Хозяин петуха-победителя поднимается и с гордой усмешкой добивает палкой побежденного петуха. Это его право. Птиц поднимают, обмывают под краном и считают их раны — из-за пари...

На мое плечо ложится чья-то рука.

— Ну, что? Каково? — спрашивает padro.

Его водянистые, лишенные ресниц глаза удовлетворенно смеются за широкими стеклами очков.

— Не правда ли, вам это нравится? — продолжает он.

На мгновение я пришел в замешательство: серьезно он говорил или нет? Его вопрос показался мне настолько безмерно-оскорбительным, что я уставился на него, не отвечая ему ни слова.

Но он понял мое молчание по-своему: он принял его за согласие. Так он был уверен в нем.

— Да, — промолвил он спокойно и очень медленно, — вот это наслаждение!

Нас оттеснили и разъединили. На арену принесли новых петухов.

* * *

... Вечером я был приглашен к английскому консулу на чай. Я был точен и явился раньше других гостей.

Я поздоровался с ним и его старой матерью, и он промолвил:

— Я очень рад, что вы пожаловали так рано. Я хотел бы сказать вам пару слов.

— К вашим услугам, — улыбнулся я.

Консул придвинул мне кресло-качалку и начал серьезным тоном:

— Я совершенно далеко от того, чтобы делать вам какие-либо предписания. Но если вы имеете намерение остаться здесь подольше и бывать в обществе, и притом не в одной только английской колонии, то я хотел бы вам дать дружеский совет.

Я был заинтригован, куда он клонит.

— Какой именно? — спросил я.

— Вас часто встречают с нашим духовным лицом, — продолжал консул.

— Виноват! — прервал я его, — я знаком с ним очень мало. Сегодня я в первый раз обменялся с ним несколькими словами.

— Тем лучше, — возразил консул, — я именно хотел бы посоветовать вам избегать, насколько можно, общения с ним. По крайней мере, публичного.

— Благодарю вас, — промолвил я, — но не будет ли с моей стороны нескромностью спросить, почему?

— Я считаю своим долгом объяснить вам это, — ответил он, — хотя и не знаю, удовлетворит ли вас мое объяснение. Padro... Вы знаете, что его так прозвали?

Я ответил утвердительно.

— Хорошо, — продолжал он. — Так вот, padro раз и навсегда осужден в обществе. Он регулярно посещает бои быков... Это еще куда бы ни шло... Но он не пропускает также и ни одного петушиного боя... Короче, у него такие вкусы, которые делают невозможным его общение с европейцами.

— Позвольте, господин консул! — воскликнул я. — Если его так строго осудили за его вкусы, то на каком же основании его оставляют в его должности, несомненно, весьма почтенной?

— Он — настоятель, — заметила старая дама, — во всяком случае это имеет значение.

— К тому же, — прибавил консул, — в течение тех двадцати лет, пока он служит здесь, он никогда не подавал ни единого малейшего повода к жалобе. Наконец, необходимо принять во внимание и то, что место пастора в нашей обители принадлежит к числу

наименее оплачиваемых на всем континенте... Нам было бы слишком трудно найти заместителя.

— Итак, вы удовлетворяетесь его проповедями? — обратился я к матери консула, с трудом подавляя лукавую усмешку.

Старая дама выпрямилась в своем кресле.

— Я никогда не допустила бы, чтобы он произнес в церкви хотя бы одно единственное слово, — промолвила она решительным тоном. — Он читает каждое воскресенье текст из «Книги проповедей Дин Гарлея».

Ее ответ поставил меня в тупик, и я замолчал.

— Впрочем, — снова начал консул, — было бы несправедливо не упомянуть также и о некоторых хороших сторонах padro. У него есть маленькое состояние, и ренту с него он употребляет исключительно на благотворительные цели. А сам живет очень скромно, почти нищенски, если только не считать его несчастной страсти.

— Хороша благотворительность! — прервала его мать. — Кому он помогает? Раненным тореадорам и их семьям. Или же жертвам Salsa...

— Жертвам чего? — спросил я.

— Моя матушка говорит о «Salsa de Tomates», — пояснил консул.

— Томатовом соусе? — снова спросил я. Padro благотворит жертвам томатового соуса?

Консул рассмеялся. Затем прибавил серьезно:

— Вы ничего не слыхали о такой Salsa? Речь идет об одном древнем ужасном обычае в Андалузии, который, несмотря на все наказания, налагаемые судом и церковью, продолжает, к сожалению, существовать и поныне. С тех пор, как я консул, в Гранаде было два доказанных случая «сальсы». Ближайшие подробности однако остались невыясненными, потому что участники сальсы, несмотря на практикуемые в испанских тюрьмах средневековые приемы допроса, предпочитали скорее откусить себе языки, чем промолвить хотя бы одно слово. Я имею обо всем этом лишь неточные и, быть может, ложные данные. Если вас интересует эта жестокая тайна, заставьте padro рассказать о ней. Дело в том, что он слывет (хотя это и не доказано точно) поклонником и приверженцем «сальсы». И подозрение это и есть главная причина, почему у нас избегают общения с ним.

Вошли гости, и наш разговор был прерван.

* * *

В следующее воскресенье, придя на бой быков, я принес padro несколько штук очень удавшихся фотографических снимков с последней корриды. Я собирался подарить их ему, но он едва взглянул на них.

— Извините меня, — промолвил он, — но это меня не интересует.

Я сделал смущенную физиономию.

— О, я вовсе не хотел вас обидеть, — поправился он, — но видите ли, я люблю только красную краску. Красную, как кровь, краску.

Слова «красную, как кровь, краску» звучали почти поэтически, выходя из уст этого бледного аскета!...

Мы вступили в разговор. И среди разговора я спросил его как бы невзначай: — Мне очень хотелось бы увидеть «сальсу». Не можете ли вы как-нибудь взять меня с собою на нее?

Он замолчал. Его бледные губы задрожали.

Потом он спросил: — «Сальса?» Вы знаете, что это такое?

Я солгал: — Конечно!

Он снова уставился на меня. Его взгляд упал на старые шрамы на моих щеках и на лбу.

И как будто эти знаки, оставшиеся от детского поранения, были для него тайным паспортом или пропускным свидетельством, он слегка прикоснулся к ним своими пальцами и торжественно промолвил:

— Я возьму вас с собою!

* * *

Прошли недели две. Вечером, часов в девять, ко мне постучали в дверь. И прежде, чем я успел крикнуть -" войдите", ко мне уже вошел padro.

— Я пришел за вами, — сказал гость.

— Зачем? — спросил я.

— Вы знаете это! — настаивал он. — Вы готовы?

Я поднялся.

— Сию минуту. Не могу ли я предложить вам сигару?

— Благодарю вас. Я не курю.

— Стакан вина?

— Благодарю, я не пью! Прошу вас, нельзя ли

поторопиться!

Я взял шляпу и последовал за ним вниз по лестнице, в лунную ночь. Молча шли мы по улицам, вдоль по берегу Гениля, под цветущими деревьями. Мы повернули налево, взобрались на гору и пошли по Полю Мучеников. Впереди сияли в теплом серебре лунного света снеговые вершины Сиерры. Кругом по склонам холмов то здесь, то там мерцали отблески из землянок, в которых живут цыгане и иной народ. Мы обогнули глубокую долину Альгамбры, наполненную почти доверху зеленью высоких вязов. Миновали могучие башни Нассаридов, затем длинную аллею вековых кипарисов и поднялись к горе, с которой последний мавританский князь, «с волосами цвета соломы», Боабдил, посылал потерянной Гранаде свой последний вздох.

Я взглянул на моего необыкновенного спутника. Его взгляд, обращенный внутрь себя, казалось, не видел ничего из всего этого ночного великолепия. Лунный свет мерцал на его тонких бескровных губах, на ввалившихся щеках и глубоких впадинах висков, — и мною вдруг овладело такое чувство, как будто я уже целую вечность знаю этого ужасного аскета. И в то же мгновение я нашел и разгадку этого ощущения: ведь это было то самое лицо, которое ужасный Цурбаран придавал своим экзальтированным монахам.

Наш путь теперь пролегал между широколистными агавами, которые протягивают вверх, на высоту роста трех человек, свои жесткие, как древесина, цветочные стебли. Мы услышали шум Дарро, бегущего между горами и ниспадающего со скал.

Навстречу нам показались трое людей в коричневых разорванных плащах. Они еще издалека поклонились моему спутнику.

— Это сторожа, — сказал padre, — останьтесь здесь, я пойду поговорить с ними.

Он направился к сторожам, которые, казалось, ожидали его. Я не мог понять, что они говорили, но речь шла, очевидно, о моей персоне. Один из них оживленно жестикулировал, недоверчиво глядел на меня, взмахивал руками и вскрикивал: «Ojo, el caballero!» Но padre успокоил его, и в конце концов тот сам кивнул мне:

— Sea usted bienvenido, caballero, — приветствовал он меня и снял шляпу. Двое из сторожей вернулись

назад к своим сторожевым местам, а третий стал сопровождать нас.

— Это — организатор или, как они называют, Manager всей этой истории, — объяснил мне padro.

Пройдя еще несколько сот шагов, мы достигли одного из тех пещерных жилищ, которые сотнями покрывают горные склоны Гренады. Перед входным отверстием, по обыкновению, находилась утоптанная площадка, окруженная густой изгородью из кактусов. Там стояло человек двадцать парней. Ни одного цыгана между ними однако не было. В углу между двумя камнями горел небольшой огонь; над ним висел котелок.

Padro потянулся в карман, вытащил один дуро, потом другой, и отдал нашему спутнику.

— Эти люди так недоверчивы, — промолвил он, - они принимают только серебро.

Андалузиец присел на корточки к огню и исследовал каждую монету. Он бросил их на камни, затем попробовал зубом. И наконец сосчитал: сто песет!

—Я должен дать им еще денег? — спросил я.

— Нет, — ответил padro, — лучше вы побейтесь с ними об заклад. Это послужит к большей безопасности для вас.

Я не понял его.

— К большей безопасности? — повторил я.- Что это значит?

Padro рассмеялся:

— О, вы тогда будете более своим человеком для этих людей и... их должником...

— Скажите, пожалуйста, — промолвил я, — почему вы никогда не бьетесь об заклад?

Он спокойно встретил мой взгляд и ответил небрежным тоном:

— Я? Я не делаю этого потому, что пари помешало бы непосредственной радости созерцания.

Между тем появилось еще с полдюжины в высокой степени подозрительных физиономий. Все они кутались в неизбежные коричневые платки, которые употребляются андалузийцами как плащ.

— Чего мы еще ждем? — спросил я одного из людей.

— Мы ждем, когда уйдет луна, кабальеро, — ответил он, — она должна сначала спрятаться.

Он предложил мне большой стакан aguardiente *. Я отказался, но англичанин насильно всунул мне стакан в руку.

— Пейте, пейте! — настаивал он, — для вас все это новость. Может быть, вы будете нуждаться в этом.

Другие тоже усердно попивали водку. Но никто не шумел, и только быстрый шепот и хриплое покашливание раздавались в ночной тишине. Луна скрылась на северо-западе, за Кортадурой. Из пещеры принесли длинные смоляные факелы и зажгли их. Затем отгородили камнями маленький круг посредине, — это была арена. Кругом нее выкопали в земле ямки и воткнули в них факелы. И в их красном мерцании стали медленно раздеваться двое молодых людей. Они остались в одних кожаных штанах и в таком виде вошли в круг и уселись друг против друга, скрестив по-турецки ноги. Только теперь я заметил, что в землю были горизонтально вкопаны два толстых бревна с железными кольцами. Между этими кольцами и расположились оба парня. Кто-то из присутствующих сбегал в пещеру и принес оттуда пару толстых веревок. Веревками обмотали туловище и ноги у каждого парня и крепко привязали каждого к его бревну. Они теперь были сжаты, как в тисках, и только верхняя часть туловища могла свободно двигаться.

Они сидели так, не произнося ни слова, затягиваясь сигаретками и опорожняли стаканы с водкой, которые затем снова наполнялись. Они были, без сомнения, уже сильно пьяны: их глаза тупо уставились в землю. А кругом, между чадившими факелами, расположились зрители.

Внезапно услышал я за собой отвратительное визжание и царапанье, которое раздирало уши. Я обернулся: некто тщательно точил на круглом точильном камне маленькую наваху. Он попробовал острие своим ногтем, отложил нож в сторону и принялся точить другой.

Я обратился к padro:

— Эта «сальса», стало быть, нечто вроде дуэли?

— Дуэли? — возразил он. — О, нет. Это нечто вроде петушиного боя.

— Как! — воскликнул я. — По какому же поводу

* — Водка.

эти люди предпринимают свой петушиный бой? Они оскорблены друг другом? Из-за ревности?

— Ничуть не бывало! — спокойно ответил англичанин. — У них нет никакого повода. Быть может, они хорошие друзья, а может быть, и совсем не знают друг друга. Они просто хотят доказать свое мужество. Они желают показать, что ни в чем не уступают ни быкам, ни петухам.

Противные губы попытались сложиться в улыбку, когда он продолжал:

— Это то же, что ваши студенческие мензуры.

За границей я всегда патриот. Этому я давно выучился у бриттов: «Right or wrong — my country».

И я ответил ему резко:

— Ваше сравнение нелепо. Вы не можете судить об этом.

— Быть может, — ответил padro, — однако я видел в Геттингене прекрасные мензуры. Много крови. Много крови.

Между тем около нас занял место патрон. Он вытащил из кармана грязную записную книжку и маленький карандаш.

— Кто держит за Бомбиту? — воскликнул он.

— Я! — Песета! — Два дуро! — Нет, я хочу за Лагартихилло! — каркали один за другим пьяные, пропитанные вином, голоса.

Padro сжал мне руку.

— Устраивайтесь с вашими пари так, чтобы вы должны были проиграть, — промолвил он. — Не скупитесь. С этой шайкой нельзя быть достаточно предусмотрительным.

Я принял участие в целом ряде предложенных пари. А так как я ставил сразу на обоих, то неизбежно должен был проиграть.

В то время, как «Manager» записывал все пари у себя в книжке неуклюжими знаками, зрители передавали друг другу остро-отточенные навахи, клинки которых едва достигали двух дюймов. Затем их передали в сложенном виде обоим борцам.

— Которую хочешь ты, Бомбита Чико, мой петушок? — смеялся точильщик.

— Давай! Давай, все равно! — бормотал пьяный.

— Я хочу свой собственный нож! — воскликнул Лагартихилло.

— Тогда и мне давай мой. Так лучше! — прохрипел другой.

Когда все пари были записаны, «Manager» подал им еще один большой стакан водки. Они выпили водку залпом и бросили свои сигаретки. Каждому принесли по длинному красному шерстяному платку, и борцы крепко обмотали им левое предплечье и руку.

— Можете начинать, ребятушки! — воскликнул хозяин, — открывайте ножи!

Клинки навах звякнули пружинами и встали торчмя. Звонкий, отвратительный звук. Но оба парня оставались совершенно спокойными. Ни один из них не шевелился.

— Начинайте же, зверушки! — повторил патрон.

Борцы сидели неподвижно и не двигались. Андалузийцы стали проявлять нетерпение.

— Хвати его, Бомбита, мой молоденький бычок! Воткни ему рожки в тело!

— Начинай, малыш! Я поставил на тебя три дуро.

— А, так вы хотите быть курицами! Куры вы! Куры!

И хор загудел:

— Куры! Куры! Яйца вам класть! Жирные куры!

Бомбита Чико вытянулся вверх и бросился на противника. Тот поднял левую руку и поймал вялый удар в толстый платок. Оба парня, очевидно, были так пьяны, что едва могли управлять своими движениями.

— Подождите, подождите! — шептал padro, — подождите только, пока они увидят кровь... Андалузийцы не переставали дразнить борцов, то подбодряя их, то бичуя насмешками. И снова кричали им в уши:

— Куры вы! Яйца вам класть! Куры! Куры!

Тогда оба бросились друг на друга, словно очертя голову. И спустя несколько минут один из них получил легкий порез в левое плечо.

— Браво, Бомбита! Браво, малыш! Покажи ему, мой петушок, что у тебя есть шпоры.

Они сделали маленькую передышку, отерли грязный пот с лица.

— Воды! — воскликнул Лагартихилло.

Им протянули большие кружки, и они стали пить медленными глотками. Видно было, как они трезвели. Равнодушные взоры становились острыми, колючими. С ненавистью смотрели они друг на друга.

— Готов ли ты, курица? — прокаркал маленький.
Его противник вместо ответа бросился на него и разрезал ему щеку. Кровь заструилась по голой верхней половине тела.

— А начинается, начинается... — бормотал padro.

Андалузийцы замолчали. Жадно следили они за движениями борцов, на которых они поставили свои деньги. И оба человека кидались и кидались друг на друга...

Светлые клинки сверкали, как серебряные искры, в красном мерцании факелов, крепко впивались в шерстяную повязку левой руки. Большая капля кипящей смолы упала одному из борцов на грудь, он и не заметил этого.

Так быстро мелькали в воздухе руки, что невозможно было заметить, достигали ли их удары цели. Только кровавые борозды, которые появлялись всюду на обнаженных телах, свидетельствовали о новых и новых уколах и разрезах.

— Стой! Стой! — закричал патрон.

Парни продолжали биться.

— Стой! У Бомбиты сломался нож! — воскликнул он снова. — Разнимите их!

Двое андалузийцев вспрыгнули, схватили старую дверь, на которой они сидели, и грубо швырнули ее между бойцами. А затем поставили ее между ними так, что они не могли видеть друг друга.

— Дайте сюда ножи, зверьки! — крикнул патрон. Оба борца охотно повиновались.

Его зоркий глаз не ошибся. Клинок Бомбиты сломался посередине. Бомбита проткнул своему противнику всю ушную раковину, и его нож сломался о жесткий череп...

Борцам дали по стакану водки. Затем им вручили новые ножи и убрали дверь.

И в этот раз они напали друг на друга, как два петуха: без рассуждений, со слепой ненавистью, удар за ударом...

Темные тела окрашивались в пурпур. Из множества ран струилась кровь. У маленького Бомбиты свешивался со лба коричневый лоскут кожи, влажные пучки темных волос торчали в ране. Его нож запутался в повязке противника, и последний нанес ему два-три глубоких удара в затылок.

— Убери свою повязку, если ты не трус! — крикнул маленький и сам сорвал зубами платок со своей левой руки.

Лагартихилло помедлил мгновение, а затем последовал его примеру. Бессознательно парировали они и после того своими левыми руками взаимные удары, и руки их в несколько минут были совершенно искромсаны.

Опять сломался клинок. Опять разъединили их гнилой дверью. Опять подали им водки и новые ножи...

— Проткни его, Лагартихилло! — воскликнул один из зрителей, — проткни его! Выпусти кишки старой клячи!

И в то мгновение, когда дверь убрали, Лагартихилло неожиданно нанес своему противнику снизу вверх ужасный удар в живот и выдернул клинок сбоку обратно. Из длинной раны буквально потекла отвратительная масса кишок.

А затем с быстротою молнии нанес он удар сверху. Он поразил противника пониже левого плечевого сочленения и разорвал большую артерию, которая питает руку.

Бомбита вскрикнул и согнулся. Толстая, в руку толщиной, струя крови из его раны брызнула другому борцу прямо в лицо. Казалось, что Бомбита сейчас бессильно поникнет; но внезапно он выпрямил еще раз свою широкую грудь, поднял руку и бросился на ослепленного кровью противника. И поразил его между двумя ребрами прямо в сердце...

Лагартихилло затрепетал руками. Нож выпал из правой руки. И могучее тело безжизненно склонилось вперед, к противнику.

И как будто это зрелище придало новые силы умирающему Бомбито, из раны которого широкою дугою брызгал на мертвого врага ужасный кровавый луч. Как безумный, продолжал он вонзать жадную сталь в окровавленную спину.

— Перестань, Бомбита, храбрый малыш! Ты победил! — промолвил спокойно патрон.

Тогда случилось самое ужасное. Бомбита Чико, последний жизненный сок которого окутывал побежденного во влажный красный саван, оперся обеими руками о землю и поднялся кверху так высоко, что из широкого разреза в его животе глубоко вниз вы-

весились желтые кишки, словно клубок отвратительных змей. Он вытянул шею, вытянул голову — и в глубоком молчании ночи раздалось триумфальное:

— «Ку-ка-ре-ку!»

Затем он склонился, как подкошенный... Это был его последний привет жизни...

* * *

На мое сознание как бы спустился внезапно красный кровавый туман. Я ничего не видел, не слышал. Я погрузился в пурпурное, бездонно-глубокое море. Кровь заливала мне уши, нос. Я хотел закричать, но едва я открыл рот, как он наполнился густой, теплой кровью... Я почти задыхался. Но еще хуже, гораздо хуже был этот отвратительный сладковатый вкус крови на моем языке. Затем я почувствовал где-то у себя резкую боль. Но прошло, как мне показалось, бесконечное время, прежде чем я понял, где у меня болит. Я укусил что-то, и то, что я укусил, именно и болело. С невероятным напряжением разжал я губы.

И только, когда я вытащил палец изо рта, я опомнился. Во время борьбы я почти до корня отгрыз ноготь и впился зубами в обнаженное мясо.

Андалузнец пожал мне колено.

— Неугодно ли вам уплатить ваши пари, кабальеро? — спросил он.

Я кивнул.

Тогда он стал очень многословно объяснять мне, сколько я проиграл, и сколько выиграл. Все присутствующие окружили нас. О трупах никто не заботился. Прежде всего деньги! деньги!..

Я передал ему пригоршню монет и просил его распорядиться ими, как нужно. Он пересчитал и с ожесточенными криками стал рассчитываться с остальными.

— Этого мало, кабальеро! — промолвил он наконец.

Я чувствовал, что он меня обманывает, однако спросил, сколько с меня следует, и снова дал ему монет.

Когда он после того заметил, что у меня в кармане еще остаются деньги, он предложил:

— Кабальеро, не хотите ли купить ножичек маленького Бомбиты? Он принесет счастье. Много счастья!

Я приобрел наваху за несообразную цену. Андалузиец засунул мне ее в карман.

После того уже никто не обращал на меня внимания. Я поднялся и, шатаясь пошел навстречу ночи. Мой палец болел. Я крепко обмотал его носовым платком. Глубокими, долгими вздохами пил я свежий воздух.

— Кабальеро! — окликнул меня кто-то. — Кабальеро!

Я оглянулся. Меня догонял один из только что оставленных мною людей.

— Меня послал патрон, кабальеро, — промолвил он, — не можете ли вы взять с собою домой вашего друга?

— Ах, да... padro! Padro!.. — В течение всего этого времени я не видел его и не думал о нем.

Я пошел обратно, пролез через кактусовую изгородь. На земле все еще лежали, привязанные к ней, кровавые массы. Над ними склонился padro и ласково поглаживал руками эти жалкие разорванные тела. Но я прекрасно заметил, что крови он не касался. О, нет. Только по воздуху двигались его руки...

И я увидел, что это были тонкие, нежные, женские руки...

Его губы шевелились.

— Прекрасная сальса! — шептал он. — Великолепный красный соус из томатов!

Пришлось силой оттащить его от трупов.

Он не мог сам оторваться от созерцания. Он заикался и пошатывался на своих тощих ногах.

— Слишком много водки! — смеялся один из зрителей. Но я знал, что padro не пил ни капли.

Хозяин снял шляпу. Остальные последовали его примеру.

— Vayan ustedes con Dios, Caballeros! — промолвили они.

Когда мы вышли на дорогу, padro добровольно пошел со мною. Он сжимал мою руку и бормотал:

— О, как много крови. Как много дивной красной крови.

Как свинцовая тяжесть, повис он на мне. С усилием дотащил я одурманенного до Альгамбры. Под башней Принцессы мы остановились передохнуть и уселись на камне.

После долгого молчания он медленно промолвил:

— О, жизнь! Какие дивные наслаждения дарит нам жизнь! Как радостно жить!

Холодный, как лед, ночной ветер обвеял наши виски. Я озяб и услышал, что и padro стучит зубами. Его кровавое опьянение медленно отлетало от него.

— Не хотите ли пойти? — спросил я.

Я снова предложил ему руку.

Он отказался.

Молча мы стали спускаться вниз, к спящей Гранаде...

УТОПЛЕННИК

Моя спутанная речь разбилась надвое.
Вальтер фон дер Фогельвейде. Утопленник

Жил-был однажды молодой человек, который смотрел на мир несколько иными глазами, чем его окружающие. Он мечтал днем и грезил ночью, но те, кому он рассказывал о своих мечтах и грезах, находили их глупейшими. Они называли его круглым дураком. Но сам он думал, что он поэт.

Когда они смеялись над его стихами, он смеялся вместе с ними. И они не замечали, как больно ему это было.

А ему было так больно, что он однажды пошел к Рейну, который плескал свои мутные весенние волны у стен старой таможни. И только благодаря случайности он не прыгнул туда. Только потому, что он встретил одного приятеля, который сказал ему:

— Пойдем в кабачок!

И он сидел в кабачке и пил с приятелем вино — сначала Иозефсгофер, а потом Максими Грюнгейзер и Форстер Кирхенштюк. И ему пришло тогда в голову несколько стихов, которые он и записал карандашом

на винном прейскуранте. А когда явились господа коллеги — секретарь и асессоры, прокурор и оба мировых судьи — он прочел им эти стихи:

Бледнея тускло-белым телом,
Немой мертвец в тумане белом
Лежал в пруду оцепенелом...

Далее в стихотворении говорилось о том, как отнеслись к появлению утопленника карпы: они беседовали между собой и терялись в догадках. Одни говорили о нем хорошее, другие — дурное. Один лишь карп был просто рад.

Он думал: «Вот попался клад!»
И, все забыв на свете белом,
Он угощался мертвым телом.
И говорил он сам с собой:
— Как упустить мне клад такой?
Ведь не найдется в свете целом
Мертвец с таким прекрасным телом!

Посмотрели бы вы на господ коллег — на секретаря и асессоров, на прокурора и обоих судей!

— Милый человек! — сказал прокурор, — не сочтите за обиду, что я вас иногда высмеивал. Вы гений! Вы сделаете себе карьеру.

— Великолепно! — воскликнул белокурый мировой судья, — великолепно! Вот что значит юридическое образование. Из такого теста можно вылепить второго Гете.

— Habemus poetam! — ликовал круглый, как шар, секретарь. И все говорили молодому человеку, что он поэт, настоящий поэт, своеобразный поэт, — поэт «Божьей милостью» и т.д... Молодой человек смеялся и чокался с ними. Он думал, что они шутят. Но когда он увидел, что они говорят совершенно серьезно, он ушел из кабачка. Он в это мгновение был снова трезв, так трезв, что едва снова не пошел топиться в Рейне. Такова была его судьба: когда он чувствовал себя поэтом, они называли его дураком. А теперь, когда он изобразил собою дурака, они объявили его поэтом.

Прокурор был прав: молодой человек сделал себе

карьеру. И в салонах, и в концертных залах, и на больших сценах, и на маленьких — везде он стал читать свои стихи. Он вытягивал губы на подобие рыбьего рта, чавкал так, как, он думал, должны чавкать карпы, и начинал:

> Белея тускло-бледным телом,
> Немой мертвец в тумане белом
> Лежал в пруду оцепенелом...

И да будет известно, что его коллеги ничего не преувеличили — ни секретарь, ни асессоры, ни оба мировые судьи, ни прокурор! Да будет известно, что его оценили всюду, и хвалили его, и приветствовали, и аплодировали ему во всех немецких городах. И драматические артисты, и чтецы, и докладчики уцепились за его стихотворение и еще более распространяли его славу. А композиторы положили его на музыку, а певцы пели, и музыка, изображая естественными звуками чавканье карпов, придала стихотворению еще более выразительности и глубины.

Да будет все это известно!... Молодой человек думал: «Это очень хорошо. Пусть их восхищаются и аплодируют и кричат о моей шутке, что это настоящая поэзия. Я получу громкую известность, и тогда мне легко будет выступить с настоящей моей поэзией.»

И поэтому он декламировал тысячам восхищенных слушателей историю о «немом мертвеце в пруду оцепенелом», и никому из людей не говорил о том, как тошнит его самого от этой истории. Он кусал себе губы, но принимал любезное выражение и корчил рыбью физиономию...

Молодой человек забыл, что величайшая добродетель немцев — верность, и что они и от своих поэтов прежде всего требуют верности: поэты должны петь всегда в том тоне, в каком они начали — никоим образом не иначе. Если же они начинают петь на иной лад, то это оказывается фальшиво, неверно и негодно, и немцы презирают их.

И когда наш молодой человек стал воспевать орхидеи и асфодели, желтые мальвы и высокие каштаны — к нему повернулись спиной и стали над ним смеяться.

Правда, не везде. Высший свет ведь так вежлив... Когда поэт выступил на-днях в домашнем концерте

на Рингштрассе вместе с оперной певицей и длиннокудрым пианистом и начал усталым голосом декламировать о душе цветов, над ним не смеялись. Ему даже аплодировали и находили, что это очень мило. Так вежливы были там! Но молодой человек чувствовал, что слушатели скучают, и не был нисколько удивлен, когда кто-то крикнул:

— «Утопленника!»

Он не хотел. Но хозяйка дома стала упрашивать:

— Ах, пожалуйста, «Утопленника!»

Он вздохнул, закусил губы... Но состроил рыбью физиономию и стал в три тысячи двести двадцать восьмой раз читать отвратительную историю. Он почти задыхался...

Но кавалеры и дамы аплодировали и восторгались. И вдруг он увидел, что одна старая дама поднялась со своего кресла, вскрикнула и упала.

Кавалеры принесли одеколон и смачивали упавшей в обморок даме виски и лоб. А поэт склонился к ее ногам и целовал ее руки. Он чувствовал, что любит ее, как свою мать.

Когда она открыла глаза, ее взор прежде всего упал на него. Она вырвала у него руку, словно у нечистого животного, и воскликнула:

— Прогоните его!

Он вскочил и убежал. Он забился в дальний угол залы и опустил голову на руки. И, пока они провожали старую даму вниз по лестнице к ее карете, он сидел там. Он уже знал все в точности. Он знал все это еще до того, как ему сказали об этом хотя бы одно слово.

Это было как бы исполнение предначертанного. Он чувствовал, что это должно было рано или поздно свершиться.

И когда они вернулись к нему со своими «Ужасно!», «Невероятно!», «Трагедия жизни!», «Жестокое совпадение!» — он не был нисколько удивлен.

— Я уже знаю это, — сказал он, — старая дама два года тому назад потеряла единственного сына. Он утонул в озере, и только через несколько месяцев нашли его ужасный, неузнаваемый труп. И она, его мать, сама должна была опознать его тело...

Они ответили утвердительно. Тогда поднялся молодой человек. И воскликнул:

— Для того, чтобы позабавить вас, обезьян, я,

дурак, причинил несчастной матери такую боль... Так смейтесь же, смейтесь же!

Он состроил рыбью физиономию и начал:

Белея тускло-бледным телом,
Немой мертвец в тумане белом
Лежал в пруду оцепенелом.

Но на этот раз они не смеялись. Они были слишком хорошо воспитаны для этого...

Берлин. Декабрь 1904.

В СТРАНЕ ФЕЙ

Евангелие от Матфея V. 5.

Пароход Гамбург-Американской линии стоял в гавани Порт-о-Пренс. В пароходную столовую со всех ног ворвался Голубой Бантик и, запыхавшись, обежал вокруг стола:

— Мамы здесь еще нет?

Нет, мама была еще в своей каюте. Но все пассажиры и пароходные офицеры вскочили со своих мест, чтобы попытаться посадить Голубой Бантик к себе на колени. Ни одна дама на борту «Президента» не была так окружена поклонниками, как смеющиеся шесть лет Голубого Бантика. Тот, из чьей чашки Голубой Бантик пил утром чай, был счастлив весь день. Девочка всегда была одета в белое батистовое платьице, и маленький голубой бантик целовал ее белокурые локоны. Ее спрашивали по сто раз в день:

— Почему тебя зовут Голубым Бантиком?

И она, смеясь, отвечала:

— Чтобы меня нашли, когда я потеряюсь!

Но она никогда не потерялась бы, если бы даже осталась одна в какой-нибудь чужой гавани. Она была дитя Техаса, умненькая, как собачка.

Никто из завтракавших не мог сегодня ее поймать. Она побежала на конец стола и взобралась на колени к капитану. И старый морской волк улыбнулся. Голубой Бантик всегда предпочитал его, и он гордился этим.

— Чаю! — промолвила девочка и стала макать бисквит в его чашку.

— Ты уже успела где-то побывать сегодня? — спросил капитан.

— О! — воскликнула она, и ее голубые глаза засияли еще ярче, чем бант в волосах. Я пойду туда с мамой. И вы все должны пойти со мной. Мы в стране фей!

— Страна фей — Гаити? — сомневался капитан.

Голубой Бантик засмеялся:

— Я не знаю, как эта страна здесь называется, но только она страна фей! Я сама видела это! Какие дивные чудовища! Они все лежат на мосту, на рыночной площади. У одного руки такие большие, — с корову! А у того, который рядом, голова — как две коровы. А ещё у одного — чешуйчатая кожа, как у крокодила. О, они еще прекраснее, еще удивительнее, чем в моей книжке со сказками! Пойдём со мной, капитан!

Потом она кинулась навстречу красивой даме, вошедшей в эту минуту в столовую:

— Мама, скорей пей свой чай! Скорее, скорее! Ты должна идти со мной, мама! Мы в стране фей...

И все пошли с ней — даже главный механик. Ему было совсем некогда: он и к завтраку не явился, потому что у него сегодня что-то не ладилось в машине. Он собрался привести ее в порядок, пока пароход стоял в гавани. Но главный механик был на хорошем счету у Голубого Бантика, потому что вырезал ему прекрасные вещицы из черепахи. Поэтому и он должен был пойти, так как Голубой Бантик командовал всем и всеми на пароходе.

— Я буду работать ночью, — сказал он капитану.

Голубой Бантик услышал это и серьезно подтвердил:

— Да, ты умеешь это. А я не умею. Я ночью сплю.

Голубой Бантик торопливо повел их, и они пошли

по грязным переулкам, прилегающим к гавани. Из окон и дверей выглядывали негритянские рожи. Путники перепрыгивали через широкие сточные канавы, и Голубой Бантик заливался смехом, когда доктор оступился, и грязная вода забрызгала его белый костюм. Они шли далее, мимо жалких лавчонок рынка, преследуемые раздиравшим уши криком и визгом негритянских женщин.

— Смотрите, смотрите, вот они! О, милые чудовища!

Голубой Бантик вырвался из рук матери и побежал вперед к маленькому каменному мосту, перекинутому через высохший ручей.

— Идите все! Идите скорее! Идите смотреть удивительных, чудных чудовищ!

Она била от восторга в ладони и прыгала по горячей пыли...

...Там лежали нищие. Они выставляли на показ свои ужасные болезни и язвы. Негр проходил мимо, не обращая на них никакого внимания. Но иностранец не может миновать их, не пошарив в своем кошельке. И они это прекрасно знают. Они даже заранее расценивают прохожих: тот, который отпрыгнул от них в ужасе в сторону, наверное даст квартер. А дама, с которой делается морская болезнь, — по меньшей мере доллар.

— О, мама, погляди только на того, который в чешуе. Ну разве он не красив?

Девочка показала на негра, у которого все тело было обезображено отвратительным разъедающим лишаем. Он был зелёно-жёлтого цвета, и засохшие струпья в самом деле покрывали его кожу треугольными чешуйками.

— А тот, вон там! Капитан, посмотри! О, как весело смотреть на него! У него голова, как у буйвола, а меховая шапка приросла у него к голове.

Голубой Бантик постукал зонтиком по голове громадного негра... Негр страдал жестокой слоновой болезнью, и его голова распухла, как чудовищная тыква. Его волосы, густые, как шерсть, были всклокочены и свешивались со всех сторон, словно толстые длинные тряпки. Капитан старался оттащить от него девочку, но она вырвалась и, дрожа от восторга, кинулась к другому.

— О, милый капитан! Видал ли ты когда-нибудь такие руки? Ну, скажи, разве они не прекрасны? Разве они не чудно-прекрасны? — Голубой Бантик сиял от воодушевления и низко склонился к нищему, у которого от слоновой болезни обе руки были страшной величины. — Мама, мама, смотри: у него пальцы гораздо толще и длиннее, чем вся моя рука. О, мама, если бы у меня были такие чудные руки! — и она положила свою ручку на широко-распростертую ладонь негра. И ручка ее шмыгала, словно маленькая белая мышка, по чудовищной темной ладони.

Красивая дама громко вскрикнула и упала в глубокий обморок на руки инженеру. Все засуетились вокруг нее; доктор смочил носовой платок одеколоном и положил его ей на лоб. Но Голубой Бантик вытащил из кармана у матери флакончик с духами и поднес ей к самому носу. Девочка опустилась на колени, и крупные слезы покатились у нее из голубых глаз и смочили матери лицо.

— Мама, милая, дорогая мама, проснись! Мама, ради Бога проснись! О, поскорее проснись, милая мама! Я покажу тебе еще много дивных чудовищ. Ты не должна теперь спать, мама. Ведь мы в стране фей!

Порт-о-Пренс (Гаити). Июнь 1906 г.

ГОСПОДА ЮРИСТЫ

Рыбам, хищным животным и птицам дозволено пожирать друг друга, потому что у них нет справедливости. Но людям Бог дал справедливость.
Isidorus Hisp. Orig. seu etym. libr. XX

— Поверьте мне, господин асессор, — сказал прокурор: — юрист, который после некоторой, скажем, двадцатилетней, практики не придет к абсолютному убеждению, что каждый уголовный приговор (хотя бы в каком-нибудь отношении) — позорная несправедливость, — такой юрист — совершенный болван. Всякий из нас прекрасно знает, что уголовное право — реакционнейшая вещь, ибо три четверти параграфов в уголовных кодексах всего мира с самого момента своего вступления в законную силу уже не соответствуют требованиям времени. «Дряхлые старцы с момента своего рождения», — как сказал бы мой делопроизводитель, который, как вам известно, самый остроумный человек в нашем городе.

— Да вы явный анархист! — рассмеялся председатель суда, — за ваше здоровье, господин прокурор!

— За ваше здоровье, — отвечал последний. — Анархист? Что ж, пожалуй. По крайней мере в нашей

компании, в среде представителей судебной магистратуры. И я руку дам на отсечение, что все вы, господа, и в особенности вы, господин председатель, совершенно разделяете мои убеждения.

— Вот в Берлине в настоящее время собираются выпустить в свет новое исправленное и дополненное издание нашего уголовного уложения, — промолвил с улыбкой председатель, — составьте докладную записку и пошлите в комиссию. Тогда, быть может, получится в самом деле что-нибудь путное.

— Вы уклоняетесь в сторону, — возразил прокурор, — и тем доказываете, что согласны со мною. Докладная записка? Какой прок от нее? Ни я, ни другой кто-либо не сможет изменить этого. Маленькие улучшения мы можем сделать: мы можем выкинуть два-три слишком глупых параграфа, но коренное улучшение невозможно. Уголовное право само по себе есть неслыханнейшая несправедливость.

— Ну, позвольте однако, — воскликнул председатель.

— Я могу повторить вам ваши собственные слова, — продолжал, не смущаясь, прокурор, — помните: банкир, которого мы на днях присудили за злостное банкротство к четырем годам смирительного дома, при объявлении приговора воскликнул: «Я не переживу этого!» И достаточно было поглядеть на него, чтобы убедиться, что он прав, и что ему уже не выйти живым из стен смирительного дома.

По другому делу мы присудили к такому же наказанию пароходного кочегара, обвинявшегося в изнасиловании. И негодяй промолвил совершенно довольным тоном: — Благодарю, господа судьи, наказание мне подходит. Это не так худо поступить на полный пансион. И вот вы тогда сказали мне, господин председатель: — Однако это явная несправедливость: то, что для одного — медленная мучительная смерть, для другого — удовольствие. Это скандал! — Ведь вы сказали это?

— Несомненно, —ответил председатель. — И я полагаю, что все присутствовавшие тогда в заседании разделяли это мнение.

— И я полагаю то же, — подтвердил прокурор, — это маленький пример вечной несправедливости всякого наказания. Вы должны, кроме того, принять в соображение еще и то обстоятельство, что мы в обоих случаях — я, как представитель обвинения, и вы, как судьи —

не были нелицеприятны: мы находились под влиянием, как будем и впредь находиться под влиянием в каждом отдельном случае до тех пор, пока окончательно не окостенеем и не превратимся в безвольные машины и ходячие параграфы. При разборе дела банкира, в гостеприимном доме которого мы бывали и которого во всех иных отношениях мы ценили и уважали, мы дали подсудимому снисхождение, назначив ему минимум наказания: меньше, как четыре года смирительного дома, мы уже не могли назначить за его преступление, которое пустило по миру сотни небогатых семей. Между тем, в другом деле наглое, вызывающее поведение кочегара с первого же мгновения восстановило нас против него, и мы назначили ему вдвое более, чем назначили бы всякому другому при таких же обстоятельствах. И, несмотря на это, банкир оказался наказанным несравненно сильнее. Что такое представляет для простого человека краткосрочная высидка в тюрьме за кражу? Ничего! Он отбудет наказание и позабудет его на другой же день. Но адвокат или чиновник, совершивший ничтожную растрату и присужденный хотя бы к одному дню ареста, уже потеряни для жизни: он будет извергнут из своего звания и в социальном отношении будет погибшим человеком. Разве это справедливость? Я могу привести еще более резкий пример. Что такое смирительный дом для человека универсального образования и наиутонченнейшей культуры, для Оскара Уайльда? Справедливо он осужден или несправедливо, относится ли осудивший его знаменитый параграф к средним векам, или не относится, — все это совершенно безразлично. Но суть в том, что то же самое наказание для него в тысячу раз тяжелее, чем для всякого другого. Все современное уголовное право построено на принципе всеобщего равенства, которого мы не имеем... и, быть может, не будем иметь никогда... И по этой причине почти каждый уголовный приговор не может не быть несправедливым. Фемида — богиня несправедливости, и мы, господа, ее слуги.

— Я не понимаю, господин прокурор, — заметил маленький мировой судья, — почему вы при таких взглядах не предпочтете повернуться к госпоже Фемиде спиной?

— И тем не менее это очень понятно, — ответил прокурор, — я не независим. У меня семья. Поверьте мне, что даже то маленькое жалованье, которое мы

все так браним, крепко привязывает к судейскому креслу огромиое большииство из иас, едва только мы прислушаемся к голосу благоразумия. А помимо того, я и на другом поприще наткнусь неминуемо на то же самое. Вся наша общественная система построена на несправедлнвости. Это основание.

— Но если все это так, —сказал председатель, — то ведь сами же вы сказали, что изменить это невозможио. В таком случае зачем же растравлять болящие раны, раз мы не можем их исцелить?

— Болящие раны? Да. Но это какая-то сладостная боль, — ответил прокурор. — После каждого приговора я ощущаю противиый горький вкус во рту. И что это у всех так — это доказывает ваше замечаиие, господин председатель, которое я только что повторил вам... Я чувствую себя машииой, рабом жалких параграфов. И по крайией мере хоть здесь, за кружкой пива, я хочу иметь право самостоятельио мыслить...

Ои поднес кружку пива к губам и опорожиил ее. И затем продолжал задумчивым тоиом:

— Видите ли, господа, в ближайший вторник мне опять придется прнсутствовать при смертной казии. И меия мороз дерет по коже при мысли...

Секретарь втянул голову:

— Ах, господин прокурор, — прервал ои его, — ие можете ли вы взять меня с собою? Мие ужасио хотелось бы увидеть казиь. Пожалуйста!

— Прокурор поглядел на иего с горькой улыбкой.

— Ну, коиечио, — промолвил он, — коиечно. Так и я кляичил в первый раз. Я отсоветую вам, ио вы будете упорствовать. А если я вам откажу, то не сегодия-завтра вас возьмет с собой другой коллега. Итак, я вас возьму, ио могу вас уверить, что вам будет стыдио, как иикогда во всю жизнь.

— Благодарствуйте, — промолвил секретарь и поднял стакаи. — Очеиь благодареи вам. Разрешите мне выпнть за ваше здоровье?

Но прокурор не слышал. Он был поглощен мрачными мыслями.

— Зиаете, — обратился он к председателю, — что самое ужасное? То, что преступление, — позориое, гнусиое преступлеиие, —приводит иас к мысли, что оно все-таки гораздо выше, еще как выше, — чем мы, якобы иепогрешимые судьи справедливости. И что оио,

при всем своем бездонном беззаконии, являет собой силу, которая развевает по ветру всю ветошь наших формул и словно огнем расплавляет железный панцирь закоиов и параграфов, прикрывающих нас. И мы, словно голые черви, ползаем пред ними в пыли.

— Любопытно, к чему вы клоиите? — промолвил председатель.

— О, я вам расскажу сейчас случай, — продолжал прокурор, — который произвел на меия самое сильное впечатление, какое я когда-либо испытывал в жизни. Это было четыре года тому назад, 17 ноября. Я присутствовал тогда в Саарбрюкене при гильотинировании разбойника Кошиаиа. — Мари, еще кружку! — прервал он себя.

Толстая кельнерша не заставила себя ждать. Она сделалась очень виимательиой, услыхав, что речь идет о разбойниках и гильотине.

— Рассказывайте! — настаивал секретарь.

— Продолжайте! — воскликнул прокурор. Он поднял стакан и провозгласил: — Я пью в память этого гнуснейшего из преступников, этого исчадия человечества, который, однако, быть может, был герой!

Медленно поставил он кружку на стол. Все молчали.

— За исключеиием вас, господин секретарь, — продолжал он, — вероятио, все вы, господа, хоть раз в жизни были свидетелями этого мрачного зрелища. Вы зиаете, как ведет себя при этом главное действующее лицо. Такой герой эшафота, какого изображает в своей «Песни о Ла-Рокетт» известный монмартрский поэт, Аристид Брюан, очень редкое исключеиие. Поэт вкладывает в уста преступнику следующие слова: «Спокойным шагом я пойду, как патер чинный. Не дрогну я, не упаду пред гильотииой. Молчать? Молиться? Плакать? Нет!.. Не буду ждать я — и пусть услышит Ла-Рокетт мои проклятья!» Это очень эффектное предисловие для убийцы, но я боюсь, что в действительности было иначе. Я боюсь, что герой «Песни о Ла—Рокетт» вел себя совершенно так же, как его берлинский коллега, Гаис Паи, который оставил такой монолог, озаглавленный им «Последняя ночь»: «Едва мигает синий газ. Уж утро брезжит за решеткой. Ну, Гаис, крепись! Пришел твой час. А жизнь прошла, как сои короткий. Они идут... Ну, что ж... Пускай!.. Взгляну в глаза я смерти прямо... Прощай же, Божий

мир! Прощай!.. Простите все... О, мама! Мама!..» Этот ужасный крик «Мама, мама!» — крик, который потом никогда не забывается, если имеешь несчастье услышать его, — есть нечто характерное для того, о чем идет речь. Бывают, конечно, исключения, но они реже редкого. Прочтите мемуары палача Краутса, и вы узнаете, что из его ста пятидесяти шести клиентов только один вел себя «как мужчина». Это был именно покушавшийся на убийство короля Годель.

— Как он вел себя? — спросил секретарь.

— Вас это так интересует? — продолжал прокурор. — Ну, так, видите ли, он предварительно побеседовал с упомянутым Краутсом и обстоятельно расспросил его обо всем, что касается казни. Он обещал палачу хорошо разыграть свою роль и просил не связывать ему рук. Краутс отклонил эту просьбу, хотя, как оказалось потом, мог бы вполне удовлетворить ее. Годель спокойно наклонился, положил голову на подставку, нагнулся немного, поглядел вверх и спросил: — Хорошо так будет, господин палач? — Немножко более вперед! — заметил последний. Преступник подвинул голову немного вперед и снова спросил: — А теперь правильно? Но на этот раз палач уже не ответил. Теперь было правильно... Блестящий топор правосудия упал, и голова, которая все еще ожидала ответа, покатилась в мешок. Краутс сознается, что он поспешил с совершением казни из страха. Он говорил, что если бы он еще раз ответил преступнику, то не имел бы силы исполнить свой долг до конца...

Итак, в этом случае мы имеем исключение. Но стоит только прочитать акты этого безумного, бессмысленного и бесцельного покушения, и тогда становится ясно, что в лице Годеля мы имеем дело с явно ненормальным человеком. Его поведение с начала и до конца было неестественно.

— А какое же бывает естественное поведение у человека, которого казнят? — спросил белокурый асессор.

— Вот это-то я и хочу сказать! —возразил прокурор. — Несколько лет тому назад я присутствовал в Дортмунде при казни одной женщины, которая с помощью своего возлюбленного отравила мужа и троих детей. Я знал ее еще до процесса, и я именно и возбудил обвинение против нее. Это была грубая, невероятно бессердечная женщина, и я не упустил сравнить ее в своей речи с Медеей, хотя в числе присяжных заседателей было три

гимназических учителя... Ну-с, так видите ли, в Дортмунде казни совершаются в новой тюрьме, которая находится за городом. А убийца содержалась в старой тюрьме, в городе. И вот в то время, когда ее перевозили в пять часов утра в новую тюрьму, она кричала в своей карете, как одержимая. Я думаю, половина Дортмунда была пробуждена этим ужасным «Мама, мама!» Я ехал с судебным врачом во второй карете; мы затыкали уши пальцами, но это, конечно, нисколько не помогало. Переезд тянулся вечность, как нам казалось, и когда наконец мы вышли из кареты, с бедным доктором приключилась морская болезнь. Да и я, сказать правду, был недалек от этого...

В то время, когда эту женщину вели на эшафот, ей удалось освободить связанные сзади руки, и она обхватила ими свою открытую шею. Она знала — удар упадет на шею, и она хотела защитить это подвергавшееся опасности место... Три помощника палача — здоровенные детины, грубые мясники — кинулись на нее и стянули ей руки. Но как только ей удавалось высвободить хоть одну руку, она с отчаянной силой схватывалась за шею. Ее ногти впивались в тело, словно звериные когти. Она была убеждена, что, пока она держит руку на шее, ее жизнь будет в сохранности. Эта позорная борьба длилась пять минут. И в течении всего этого времени утренний воздух был потрясаем ее раздирающим воплем: «Мама! Мама!»

Наконец у одного из помощников палача, у которого она почти откусила палец (доктору потом пришлось ампутировать его), лопнуло терпение. Он сжал кулак и хватил им женщину по голове. Она повалилась, на мгновение оглушенная. И, конечно, этим случаем воспользовались... Так вот видите, господин асессор, поведение этой женщины было естественное...

— Тьфу, черт! —промолвил асессор и выпил пиво.

— Полноте! —воскликнул прокурор, — я уверен, что и вы не вели бы себя иначе... И я тоже. Вы ведь были вместе со мной на последней казни? Помните, что там было? Совершенно то же было и с теми, созерцать которых имели несчастье остальные наши коллеги, и с теми четырнадцатью или пятнадцатью, при казни которых присутствовал, согласно долгу, я... Полумертвые от страха, тащились они во двор. Они не шли. Приходилось силой нести их вверх по ступеням,

к гильотине или виселице. Всегда одно и то же. Отклонения очень редки. И всегда этот отчаяний призыв к матери, как будто она может помочь здесь чем-нибудь. Я знал одного парня, который сам убил свою мать и тем не менее в эту последнюю четверть часа, как обезумевший, звал ее на помощь... Из этого явствует, что палач имеет дело не со взрослыми людьми, а с слабыми, беспомощно кричащими детьми...

— Однако, — заметил председатель, — вы совершенно отклонились от темы.

— В этом виноват секретарь, господин председатель, — возразил прокурор, — ему непременно захотелось послушать о Годеле. Но вы правы. Я должен вернуться к теме.

Он выпил свою кружку и продолжал:

— Вы согласитесь со мной, господа, что казнь на всех присутствующих производит самое ужасное впечатление. Мы можем сто раз повторять себе: с негодяем поступлено по всей справедливости, для человечества настоящая благодать, что преступнику отрубают голову, и тому подобные прекрасные рассуждения... Но мы никогда не можем отвертеться от мысли, что отнимаем жизнь у совершенно беззащитного человека. Этот крик «Мама, мама!», который напоминает нам о нашем собственном детстве и о нашей собственной матери, никогда не преминет напомнить нам, что мы совершаем постыдное, трусливое дело. И все, что мы говорим в защиту себя, кажется нам, по крайней в эти четверть часа, дурной, бессодержательной риторикой и празднословием. Ведь верно это?

— Я, со своей стороны, вполне разделяю это мнение! — подтвердил председатель.

— Очень приятно! — промолвил прокурор. — Надеюсь, что и остальные коллеги придерживаются того же мнения. Не угодно ли будет им проверить свои чувства в течении моего дальнейшего рассказа.

Итак, четыре года тому назад я передал разбойника Кошиана в руки исполнительной власти. Это был молодой человек, который, несмотря на свои девятнадцать лет, однако уже имел за собой крупную уголовную судимость. И последнее его преступление было одним из грубейших и гнуснейших, какие только прошли передо мной в моей практике. Он шел через Эйфель, встретился в лесу с другим бродягой и убил

его палкой, чтобы отобрать у него всю его наличность, семь пфенингов. Это, конечно, еще не есть нечто исключительное, но вы можете представить себе невероятную жестокость этой бестии по дальнейшим подробностям. Спустя три дня после убийства, руководимый тем необыкновенным чувством, которое так часто гонит преступника обратно к своей жертве, он снова отправился в тот же лес и нашел там своего старика. Старик был еще жив; он лежал в придорожной канаве, в которую столкнул его убийца, и тихо стонал. Каждый человек, у которого была бы хоть искорка чувства, убежал бы в этот момент в ужасе, «преследуемый фуриями», как выражается мой письмоводитель. Но Кошиан поступил иначе: он снова взял палку и разбил старику череп. После того он еще целый день оставался тут, неподалеку от жертвы, чтобы убедиться, что на этот раз он уже довел дело до конца. Он еще раз обшарил у убитого карманы — увы, тщетно! — и спокойно пошел прочь.

Спустя несколько дней он был арестован. Сначала он отпирался, но подавляющие улики привели его к циничному признанию, которому мы и обязаны всеми этими подробностями. Дело его тянулось недолго и, конечно, завершилось смертным приговором. Верховная власть не пожелала воспользоваться своим правом помилования, и таким образом, спустя короткое время, на меня опять была возложена обязанность присутствовать при совершении казни.

Было темное, сырое ноябрьское утро. Казнь была назначена ровно на восемь часов. Когда я, в сопровождении врача, вошел на тюремный двор, палач Рейндль, привезенный накануне вместе с гильотиной из Кельна, давал своим помощникам последние указания. Как водится, он был во фраке и белом галстуке. С трудом натянув белые лайковые перчатки на грубые руки мясника, он заботливо осмотрел деревянное сооружение и машину, велел вбить еще пару гвоздей и подвинуть немного вперед мешок и слегка попробовал пальцем острие топора.

И как всегда при совершении казни, так и теперь, мне пришла на память старая революционная песенка, которую сокрушители Бастилии сложили об изобретателе убийственной машины. Невольно губы мои шептали:

Guillotin,
Medecin
Politique,
S'imagine un beau matin,
Que pendre est trop inhumain
Et peu patriotique.
Aussitot
Il lui faut
Un supplice
Qui sans corde ni couteau
Lui fait du bourreau
L'office...

Мне помешали. Старик тюремный директор пришел ко мне с известием, что все готово. Я приказал привести преступника, и вскоре вслед за тем отворилась дверь, ведущая из тюрьмы во двор. Убийца, со связанными назад руками, шел в сопровождении полудесятка тюремных сторожей. К нему подошел священник, но он отверг его напутствие в грубых выражениях. Он шел с очень веселым видом, сохраняя надменное и наглое выражение лица, которое было у него и во время слушания его дела. Он пытливо осмотрел сооружение, а затем бросил острый взгляд на меня. И, словно угадав мои мысли, он вытянул губы и громко засвистал: — Та-та-та, ти-ти-ти, та-та-та! — Меня подрал мороз по коже! Бог его знает, откуда он подцепил этот мотив? Его подвели к ступеням эшафота. Я начал, как полагается, читать приговор: — Именем короля... — и т. д. И пока я читал, я все время слышал насвистывание революционной песенки — той самой, которая у меня самого вертелась в голове: — Та-та-та, ти-ти-ти, та-та-та!..

Наконец я кончил. Я поднял голову и предложил преступнику обычный вопрос: не имеет ли он чего-нибудь заявить? Вопрос, на который обыкновенно не ждут никакого ответа, и за которым следует: — Тогда я передаю вас в руки правосудия. — Нет ничего ужаснее этого последнего момента, этих последних секунд перед всемогущей смертью... Эти секунды так же мучительны для тех, кто совершает эту смерть и созерцает ее, как и для того, кто ее принимает. В этот момент сжимаются легкие, и застывает кровь;

горло словно стягивается шнурком, и на языке чувствуется отвратительный привкус крови.

Я видел, как разбойник бросил последний взгляд вокруг себя на все наше маленькое собрание: на священника, на врача, на меня и на тюремщиков. Он громко засмеялся и невыразимо презрительным тоном воскликнул:

— Все вы...

Он произнес отвратительное площадное слово. Помощники палача бросились на него, свалили его, стянули ремнями и подтолкнули вперед. Палач нажал кнопку. Топор с тихим шелестом покатился вниз, и голова прыгнула в мешок. Все это делается так чудовищно быстро...

Я услышал около себя тихий вздох, в котором звучало как бы освобождение. Это вздохнул тюремный священник, чувствительный, слабонервный человек, который после каждой казни лежал больным целую неделю.

— Черт возьми! —воскликнул старый директор: — вот уже тридцать лет, как я управляю этим заведением, но сегодня в первый раз не чувствую необходимости выпить водки после этой церемонии.

Когда на другой день врач принес мне протокол для приобщения к делу, он сказал мне:

— Знаете, господин прокурор, я всю ночь думал об этом: ведь тот негодяй был господином положения.

Да, господа! Он был господином положения. И все мы были в то мгновение благодарны ему за его освобождающее слово, и если об этом пораздумать, то мы и теперь чувствуем благодарность, хотя и против нашей воли. Вот это-то и есть самое ужасное: своим освобождением от тяжкой душевной муки мы были обязаны ужасному злодею и отвратительнейшему, гнуснейшему площадному слову, какое только знает народный язык. Своим освобождением мы были обязаны сознанию, что этот мерзкий и низкий преступник с его отвратительным ругательным словом все-таки был выше нас, добродетельных судей, представителей государства, церкви, науки, права и всего того, для чего мы живем и работаем.

Берлин. Декабрь 1904.

БЕЛАЯ ДЕВУШКА

Дональд Маклин ожидал его в кафе. Когда Лотар вошел, он крикнул ему:

— Наконец! Я думал, что вы уже не придете. Лотар сел и стал помешивать лимонад, который ему подала девушка.

— В чем дело? — спросил он.

Маклин слегка наклонился к нему.

— Это должно заинтересовать вас, — сказал он, — ведь вы изучаете превращения Афродиты. Ну-с, так вам, быть может, удастся увидеть Пеннорожденную в новом одеянии.

Лотар зевнул:

— А! В самом деле?

— В самом деле! — подтвердил Маклин.

— Позвольте минутку, — продолжал Лотар. — Венера — истинная дочь Протея, но мне думается, что я знаю все ее маскарады. Я был год тому назад в Бомбее у Клауса Петерсена.

— Ну, так что же? — спросил шотландец.

— Как что же? Стало быть, вы не знаете Клауса Петерсена? Клаус Петерсен из Гамбурга — талант, может быть даже гений. Маршал Жиль де Рэ шарлатан в сравнении с ним.

Дональд Маклин пожал плечами.

— Это не есть что-нибудь исключительное!

— Конечно. Но погодите: Оскар Уайльд был, как вам известно, мой лучший друг. Затем в течении долгих лет я знал Инесс Секкель. Каждое из этих имен должно вызвать в вас целую массу сенсационных впечатлений.

— Но не все! — заметил художник.

— Не все? — Лотар побарабанил пальцами по столу. — Но во всяком случае лучшие. Итак, я буду краток: я знаю Венеру, которая превращается в Эроса. Я знаю ее, когда она надевает шубу и размахивает бичом. Я знаю Венеру в образе Сфинкса, кровожадно вонзающего когти в нежное детское тело. Я знаю Венеру, которая сладострастно нежится на гнилой падали, и я знаю также черную богиню любви, которая во время черной мессы приносит гнусную жертву Сатане над белым телом девы. Лоретт Дюмон брала меня в свой зоологический сад, и мне известно то, что знают лишь немногие — те редкостные восторги, которые творит Содом. Более того: я открыл в Женеве у леди Кэтлин Макмардокс секрет, о котором ни один живой человек ничего не подозревает... Я знаю испорченнейшую Венеру... или, быть может, я должен сказать «чистейшую» ... которая сочетает браком человека с цветами... Неужели вы после всего этого все еще полагаете, что богиня любви может надеть такую маску, которая окажется для меня новой?

Маклин медленно курил сигару.

— Я вам ничего не обещаю! — сказал он. — Я знаю только, что герцог Этторе Альдобрандини уже три дня, как вновь в Неаполе. Я встретил его вчера на Толедо.

— Я был бы рад познакомиться с ним! -сказал Лотар. — Я уже неоднократно слышал о нем. По-видимому это один из тех людей, которые умеют делать из жизни искусство — и имеют средства для этого...

— Я думаю, что сейчас не стоит много рассказывать вам о нем, — продолжал шотландский художник. — Вы можете в скором времени сами убедиться во всем этом. Послезавтра у герцога собирается общество и я хочу ввести вас туда.

— Благодарствуйте! — промолвил Лотар.

Шотландец рассмеялся:

— Альдобрандини был очень весел, когда я встре-

тился с ним. Это — во-первых. Во-вторых, он пригласил меня к себе в самое необычайное время: пять часов пополудни. Все это, очевидно, не без основания. Я уверен, что герцог готовит для друзей какой-нибудь совсем особенный сюрприз. Если мои предположения оправдаются, то вы можете быть уверены, что мы испытаем нечто неслыханное. Герцог никогда не идет протоптанными путями.

— Будем надеяться, что вы правы, — вздохнул Лотар. -Значит, я буду иметь удовольствие застать вас послезавтра дома?

— Пожалуйста! — промолвил художник.

* * *

— Largo San Domenico! — крикнул Маклин кучеру. — Palazzo Corigliano!

Они поднялись по широкой лестнице; английский слуга ввел их в салон. Там они встретили пять или шесть мужчин во фраках и среди них духовное лицо в фиолетовой сутане.

Маклин представил своего друга герцогу, который протянул ему руку:

— Я очень благодарен, что вы пожаловали сюда, — сказал он с любезной улыбкой. — Я надеюсь, что вы не будете очень разочарованы!

Он поклонился и затем громко обратился ко всем присутствующим:

— Господа, -проговорил он, — прошу у вас извинения, что я пригласил вас в такое неподходящее время. Но таковы обстоятельства: маленькая козочка, которую я буду иметь честь предоставить вам сегодня, принадлежит, к сожалению, к очень почтенной и приличной семье. Ей пришлось преодолеть величайшие затруднения для того, чтобы прийти сюда, и она должна во что бы то ни стало быть снова дома к половине седьмого, чтобы отец, мать и англичанка-гувернантка ничего не заметили. А это такое обстоятельство, господа, которое должно быть принято в соображение каждым джентльменом. С вашего позволения я вас теперь покину на минутку, так как должен сделать еще некоторые приготовления. А пока позвольте предложить вам скромное угощение!

Герцог кивнул слуге, поклонился еще раз гостям и вышел из комнаты.

К Лотару подошел господин с огромными, как у Виктора Эммануила, усами. Это был ди-Нарди, редактор политического отдела в «Pungolo», писавший под псевдонимом «Fuoco».

— Держу пари, что мы сегодня увидим арабскую комедию! — рассмеялся он, — герцог приехал сюда прямо из Багдада. Патер покачал головой.

— Нет, дон Гоффредо, — промолвил он, — мы будем наслаждаться римским ренессансом. Герцог уже целый год изучает Вальдомини — «Секретную историю Борджиа», которую ему после долгих просьб дал директор государственного архива в Северино.

— Посмотрим! — сказал Маклин. — Кстати, не можете ли вы дать мне те справки, которые обещали?

Редактор вытащил записную книжку и углубился в тихий разговор с патером и шотландским художником. Лотар медленно ел апельсиновое мороженое на хрустальном блюдечке и рассматривал изящную золотую ложечку с гербом герцога.

Спустя полчаса слуга распахнул портьеру.

— Герцог просит пожаловать! — провозгласил он.

Он провел гостей через две маленькие комнаты, затем открыл двойную дверь, впустил всех и быстро запер ее за ними.

Гости очутились в очень слабо освещенной длинной и большой комнате. Пол был затянут красным, как вино, ковром. Окна и двери задернуты тяжелыми занавесями того же цвета. В тот же цвет был выкрашен и потолок. Совершенно пустые стены были покрыты красными штофными обоями, и такою же материей были обиты немногочисленные кресла, диваны и кушетки, расставленные вдоль стен. Противоположный конец комнаты был погружен в полную тьму, и только с трудом можно было различить там нечто большое, покрытое сверху тяжелой красной тканью.

— Прошу вас, господа, занять места! — проговорил герцог.

Он сел, и все остальные последовали его примеру. Слуга торопливо ходил от одного бронзового бра к другому и гасил немногочисленные свечи.

Когда воцарилась совершенная тьма, послышались слабые звуки рояля. Тихо понеслась по зале вереница трогательных и простых мелодий.

— Палестрина! — пробормотал патер. — Видите,

как вы были неправы с вашими арабскими предположениями, дон Гоффредо!

— Ну, да! — возразил редактор так же тихо. — А вы были более правы с вашим Цезарем Борджиа?

Теперь стало слышно, что инструмент, на котором играли, был старый клавесин. Простые звуки пробудили у Лотара странное ощущение. Он вдумывался, но никак не мог в точности определить, что это было, собственно, такое? Во всяком случае это было что-то такое, чего он уже давно-давно не испытывал.

Ди Нарди наклонился к нему, так что его длинные усы защекотали щеку Лотара.

— Я понял... — прошептал он Лотару на ухо. — Я и не знал, что еще могу быть таким наивным...

Лотар почувствовал, что он прав.

Через некоторый промежуток времени безмолвный слуга зажег две свечи. Тусклое, почти неприятное мерцание разлилось по зале.

Музыка зазвучала далее...

— И несмотря на это, — прошептал Лотар своему соседу, — несмотря на это, в тональностях чувствуется странная жестокость. Я мог бы сказать: невинная жестокость.

Молчаливый слуга зажег еще две свечи. Лотар пристально вглядывался в красный полусумрак, который наполнял все пространство, словно кровавый туман.

Этот кровавый цвет почти душил его. Его душа устремлялась к звукам, которые пробуждали в ней ощущение тускло светящейся белизны. Но красное выступало на первый план, побеждало: все более и более свечей зажигал безмолвный слуга.

Лотар услышал, как редактор пробормотал сквозь зубы:

— Этого невозможно более выносить...

Теперь зала была наполовину освещена. Красное, казалось, все покрыло своим властным сиянием, и белое невинных мелодий становилось все слабее, все слабее...

И вот от клавесина выступила вперед белая фигура — молодая девушка, закутанная в большое белое покрывало. Она тихо вышла на середину залы, словно сверкающее белое облако в красном зареве.

Молодая девушка вышла на середину залы и ос-

тановилась. Она раскинула руки, и белое покрывало упало вокруг нее. Словно немой лебедь оно целовало ее ноги, и белизна обнаженного девичьего тела засверкала еще более.

Лотар склонился вперед и невольно поднял руку к глазам.

— Это почти ослепляет, — прошептал он.

Это была молодая, едва развившаяся девушка, восхитительно незрелая, как чуть распустившаяся почка. Властная, не нуждающаяся ни в какой защите невинность — и в то же время откровенное обещание, которое заставляло бодрствовать жгучие безграничные желания. Иссиня-черные волосы, разделенные посредине пробором, струились по вискам и ушам, чтобы сплестись сзади в тяжелый узел. Большие черные глаза смотрели прямо на присутствующих, но безучастно, не видя никого. Они, казалось, улыбались, так же, как и губы, — странная бессознательная улыбка жесточайшей невинности.

И лучистое белое тело сияло так сильно, что все Красное кругом, казалось, отступало. И музыка звучала торжеством и ликованием...

И только теперь Лотар заметил, что девушка держала на руке белоснежного голубя. Она слегка склонила голову и подняла руку, и белый голубь вытянул головку вперед.

И белая девушка поцеловала голубя. Она гладила его и щекотала ему головку и тихонько сжимала ему грудь. Белый голубь приподнял немного крылья и прильнул крепко-крепко к сияющему телу.

— Святой голубь! — прошептал патер.

И вдруг — внезапным, быстрым движением белая девушка подняла обеими руками голубя прямо над своей головой. Она закинула голову назад — и тогда, и тогда сильным движением рук она разорвала голубя пополам. Красная кровь хлынула вниз, не задев ни единой каплей лица, и потекла длинными ручьями по плечам и груди, по сверкающему телу белой девушки.

Кругом со всех сторон надвинулось Красное. И казалось, что белая девушка тонет в мощном кровавом потоке. Дрожа, ища помощи, она склонилась на колени. И вот отовсюду пополз пламенный страстный жар, пол раскрылся, как огненный зев — и ужасное Красное

поглотило белую девушку...

Через секунду зияющий провал сомкнулся. Безмолвный слуга задвинул портьеры и быстро вывел гостей в переднюю комнату.

Ни у кого не было охоты промолвить хотя бы одно слово. Все молча надели пальто и вышли. Герцог исчез.

* * *

— Господа! — обратился на улице редактор «Pungolo» к Лотару и шотландскому художнику, — пойдемте ужинать на террасу Бертолини!

Все трое отправились туда. Молча пили они шампанское, молча созерцали жестокий и прекрасный Неаполь, погруженный последними лучами солнца в огненный, пылающий блеск.

Редактор вытащил записную книжку и записал несколько цифр.

— Восемнадцать — кровь. Четыре — голубь. Двадцать один — девушка, — промолвил он. — На этой неделе я поставлю в лото прекрасное terno!

Неаполь. Май 1904.

КОНЕЦ ДЖОНА ГАМИЛЬТОНА ЛЛЕВЕЛИНА

Несколько лет тому назад сидели мы как-то в клубе и беседовали о том, каким образом и при каких обстоятельствах каждый из нас встретит свою смерть?

— Что касается меия, то я могу надеяться иа рак желудка, — проговорил я, — хотя это и не бог весть как приятио, но это — иаша добрая старинная семейная традиция. По-видимому, едииствеииая, которой я останусь верен.

— Ну, а я рано илн поздно паду в честном бою с двенадцатью миллнардами бацилл. Это тоже установлено! — заметнл Христиаи, который уже давно дышал последией оставшейся у него половиной легкого.

Так же мало романтичны были н другие виды смерти, которые былн предсказываемы с большей или меньшей определенностью остальными собеседииками. Банальные, инчтожиые виды, за которые всем иам было весьма совестно.

— Я погибиу от женщииы, — сказал художинк Джои Гамильтон Ллевелин.

— Ах, иеужелн? — рассмеялся Дудли.

Художиик на мгновение смутнлся, но затем продолжал:

— Нет, я погибиу от искусства.

— И в том и в другом случае приятный род смерти.

— А может быть и нет?..

Разумеется, мы высмеяли его и убеждали его, что он очень плохой пророк.

Пять лет спустя я встретился с Троуэром, который тогда тоже был с нами в «Пэль-Мель».

— Снова в Лондоне? — спросил он.

— Уже два дня.

Я спросил его, пойдет ли он сегодня вечером в клуб? Нет, он сегодня весь день занят в суде. Я думаю, что Троуэр вне клуба представляет собою что-то вроде прокурора... Не пожелаю ли я отобедать у него? Конечно. У Троуэра отличный стол.

Около десяти часов мы покончили с кофе, и слуга подал виски. Троуэр протянулся в кожаном кресле и положил ноги на каминную решетку. И начал:

— Ты встретишь в клубе лишь очень немногих из прежних знакомых. Очень немногих.

— Почему?

— Многие поспешили оправдать свои предсказания. Ты помнишь, однажды ноябрьским вечером мы разговаривали о том, кто из нас и как умрет?

— Конечно. На другой же день я уехал из Лондона, и только теперь снова очутился здесь.

— Ну так Христиан Брейтгаупт был первый. Спустя полгода он умер в Давосе.

— Ловко. Впрочем ему было легко сдержать свое слово.

— Труднее было сдержать слово Дудли. Кто бы мог подумать, что его полк покинет Лондон. Он получил под Спионскопом пулю в лоб.

— Он пророчествовал тогда, что умрет от раны в грудь. Впрочем, это почти тоже самое.

— Нас было тогда восемь. Пятеро уже готовы, и каждый на свой лад. Сэр Томас Уаймбльтон — третий. Разумеется, воспаление легких. В четвертый раз. Он не пожелал упустить случая поохотиться на уток и простоял пять часов по пояс в Темзе. Черт знает, что за удовольствие.

— А Баудли?

— Этот еще жив. Ты его встретишь в клубе: здоров и свеж, вроде меня с тобой. Но надолго ли? А Макферсон тоже умер. От удара — два месяца тому назад.

Он был жирен как рождественский индюк, но все-таки никто не думал, что он так скоро покончит свое существование. Ему было всего только тридцать пять. Совсем юноша.

— Остается художник. Что с ним случилось?

— Ллевелин сдержал слово лучше, чем кто-либо из нас. Он погибает от женщины и от искусства.

— Он погибает? Как понять это, Троуэр?

— Он уже десять месяцев, как в сумасшедшем доме в Брайтоне. В отделении для неизлечимых. Его молодая модель, лет около двадцати тысяч от роду, превратилась в ничто от его горячего поцелуя. Это так подействовало на его мозг, что он впал в безумство.

— Я просил бы тебя, Троуэр, прекратить свои шутки, в особенности, когда они так нелепы, как эта. Смейся, если хочешь, над толстым Макферсоном и бледным Христианом, над красивым Дудли или охотами Уамбльтона, но оставь Гамильтона в покое. Над мертвыми можно смеяться, но не над живыми же, которые сидят в сумасшедшем доме.

Троуэр медленно стряхнул пепел с сигаретки и налил себе новую порцию виски. Затем он взял щипцы и помешал в пылающих поленьях. Его черты немного изменились, нижняя губа вытянулась.

— Я знаю, художник был тебе ближе, чем мы, остальные. Но это не мешает попробовать улыбнуться и тебе, когда ты узнаешь историю. Бывают трагедии, от расслабляющего влияния которых мы можем спастись только шуткой. И где ты найдешь историю, которая не заключала бы в себе хоть какого-нибудь смешного момента? Если мы, германцы, научимся галльскому смеху, мы станем первой расой в мире. Ты можешь прибавить: еще более первой, чем теперь.

— А что же Джон Гамильтон?

— Его история вкратце такова, как я уже сказал: молодая дама, с которой он писал портрет и в которую был влюблен, при первом же его поцелуе расплылась от блаженства в ничто. И он от этого сошел с ума. Даме же этой было от роду всего только двадцать тысяч лет. Вот и все. Если ты желаешь, я могу дать некоторые дальнейшие объяснения.

— Пожалуйста. Значит, ты знаешь эту историю в точности?

— Чересчур точно... Точнее, чем хотелось бы. Я

производил по поводу нее официальное дознание. Я ломал себе голову на все лады, соображая в чем предъявить обвинение к Ллевелину: в краже ли со взломом, в повреждении ли чужого имущества, или в кощунстве над трупом, или Бог знает, в чем еще?.. Но его тем временем отправили в сумасшедший дом, и моему дознанию пришел конец.

— Это становится все более и более удивительным.

— Это настолько удивительно, что ты должен собрать все свои силы, чтобы поверить.

— Рассказывай же!

— Джон Гамильтон Ллевелин работал в Британском музее. Насколько это мне известно, он получил чрез посредство лорда Густентона заказ на стенную живопись в третьей зале заседаний. В общем, он едва справился только с одной стеной, и работа так и осталась незаконченной. Вряд ли скоро найдут когонибудь, кто мог бы заменить его. Ллевелин имел талант и фантазию. Они-то и привели его в сумасшедший дом...

Приблизительно в это же время Британский музей получил посылку неслыханной ценности. Ты, наверное, читал несколько лет тому назад известие, которое обошло все газеты и привлекло живейшее внимание всего мира. Ламутские юкагиры нашли во льдах Березовки, в Колымском уезде, взрослого, совершенно сохранившегося мамонта. Только хобот был немного поврежден. Якутский губернатор немедленно послал об этом извещение в Петербург. По представлению Академии наук русское правительство командировало на крайний север известного исследователя, Отто Герца, вместе с препаратором петербургского зоологического музея, Фитценмейером, и его коллегой, Аксеновым. После четырехмесячного путешествия и двухмесячной работы участникам этой экспедиции удалось доставить на берега Невы сибирское чудовище в полной сохранности. Этот мамонт является ценнейшим сокровищем музея и единственным из ископаемых этого рода, какие только известны нашему времени.

Я должен, впрочем заметить, что вся та область изобилует этими чудовищами, хотя все они встречаются в виде отдельных кусков. Сибирское предание называет их «мамманту», что значит «землекопы», и утверждает, что это — чудовищные подземные звери, которые по-

гибают, едва только увидят дневной свет. Китайцы, славящиеся работами из слоновой кости, уже тысячи лет пользуются для своих изделий исключительно клыками сибирских мамонтов, выкапываемыми из земли. Равным образом, в 1799 году был найден в устье Лены довольно хорошо сохранившийся мамонт, который 7 лет спустя был доставлен в Петербург Адамсом. Отдельные части этого мамонта теперь рассеяны по музеям всего света.

Вскоре после того, как упомянутая экспедиция благополучно прибыла в Петербург, правление Британского музея получило некое весьма секретное письмо, которое и побудило ее немедленно пригласить автора письма в Лондон. И автор этот оказался ни кто иной, как знаменитый Аксенов. Этот господин заработал своим гениальным воровством несколько миллионов и теперь прокручивает их в Париже.

Добывая вместе с тунгусами из сибирских льдов мамонта, Аксенов сделал там еще одну драгоценнейшую находку. Ни своим товарищам по экспедиции, ни своему правительству он не сказал об этом ни словечка. Он оставил свой клад спокойно лежать на том самом месте, где он лежал уже не одну тысячу лет, и, как ни в чем не бывало, вернулся вместе с экспедицией и откопанным толстокожим в Петербург. Нужно сказать правду: он исполнил гигантскую работу за все это время. И понятно, он был страшно разозлен, когда его товарищи по экспедиции — конечно, немцы — получили солидную денежную награду и важный орден, а ему пришлось довольствоваться только четвертой степенью этого ордена. Кто знает, быть может, без этого обстоятельства Аксенов и не написал бы своего письма Британскому музею. Во всяком случае он именно этим и мотивировал свое предложение. Правление музея охотно откликнулось: отчего не взять хорошую вещь, когда ее дают? Нужно брать свое добро всюду, где его находишь, и не распространяться о том, откуда оно взялось... В особенности, когда управляешь Британским музеем...

Аксенов предложил музею свою вторую находку из сибирских льдов, которую он брался лично доставить в Лондон. За это он получал немедленно по доставке 300.000 фунтов. Риска для музея не было почти никакого, если не считать сравнительно небольшой сум-

мы, которая требовалась Аксенову для организации новой экспедиции. На всякий случай, впрочем, с ним отправили двух надежных людей из служащих музея. Экспедиция отправилась на английском китоловном судне в Белое море, высадилась там где-то на побережье, и, оставив корабль крейсировать у берегов и ловить китов и тюленей, Аксенов со своими английскими спутниками и несколькими нанятыми тунгусами отправился внутрь страны. Эта экспедиция была для Аксенова, конечно, несравненно опаснее, чем первая: тогда он был снабжен открытым листом, обеспечивающим ему всевозможную помощь и содействие, и находился в обществе старших товарищей. Теперь же он должен был рассчитывать только на самого себя, и ему, кроме того, приходилось измышлять тысячу хитростей, чтобы не попасться в руки русского правительства. Роберт Гарфорд, сын лорда Уильфорса, который был посвящен во все тайны этой экспедиции, рассказывал мне о ней. Это была дьявольская история! Ловкий парень был этот русский... Аккуратно в назначенное время он явился с компанией в укромное местечко, где его поджидал корабль, и, спустя десять недель, корабль уже входил в Темзу. Тайна была так хорошо сохранена, что никто из корабельного экипажа не знал, какой именно груз следует на судне. Между тем в музее потихоньку, без всякого шума и не привлекая ничьего внимания, приготовили особое помещение для драгоценной находки. Там она должна покоиться целых тридцать лет, так, чтобы ни один человек, за исключением интимного кружка посвященных, ничего не подозревал о том, какое новое сокровище таится в Лондоне. Через тридцать лет — ну, тогда можно было бы показать его всему свету: тогда уже умерли бы замешанные в этом деле люди, и не было бы основания опасаться политических осложнений с Россией, так как нельзя было бы восстановить обстоятельств дела. Да что!.. Через тридцать лет эта кража превратилась бы в героический поход аргонавтов за золотым руном!

Так рассчитало правление этого мирового дома сокровищ, и расчет его наверно исполнился бы, если бы наш друг Джон Гамильтон Ллевелин не перечеркнул его резкою чертой... Он принадлежал к тем немногим смертным, которые были удостоены приветст-

вовать азиатскую принцессу при ее вступлении на английскую землю. Следует сказать, что таинственная находка представляла собою не что иное, как колоссальную глыбу льда, внутри которой была заключена — быть может, уже в течении многих тысяч лет, — прекрасно сохранившаяся нагая молодая женщина. Молодая дама попала туда, по всей вероятности, таким же способом, как и ее ровесник, петербургский мамонт. Как именно — ответить на это не так-то легко. И по поводу мамонта многие великие ученые тщетно ломали себе головы, а с нашей принцессой дело обстояло еще сложнее.

Комната, которая была предназначена для молодой дамы в качестве ее будущего местожительства, была весьма замечательна. Она находилась во втором подвале и была вышиною в двадцать метров, шириною и длиною в сорок. Вдоль стен стояли четыре аппарата для выделки искусственного льда, закрытые высокими, в половину высоты всей комнаты, ледяными стенами. Для высокой гостьи с далекого севера было сделано и еще кое-что: подземная зала, посредине которой была поставлена глыба с принцессой, была превращена в настоящий ледяной дворец с постоянной температурой в 15 градусов ниже нуля. Пол был покрыт гладким и ровным слоем льда, и то здесь то там вздымались колонны изо льда, капители которых были унизаны длинными ледяными сталактитами. Искусно расположенные электрические лампочки освещали этот ледяной дворец.

Сюда вела единственная железная дверь, непроницаемая для воздуха, прикрытая изнутри ледяной глыбой. Снаружи, за этой дверью, находилась уютно обставленная передняя, и там у яркого камина посетитель мог отогреться после своего визита к ледяной принцессе. Смирнские ковры, турецкий диван, удобные кресла-качалки — все здесь было в такой же мере уютно и приветливо, в каком мере неуютно и неприветливо, было там, в ледяном дворце.

Итак, красавица была благополучно водворена в ее ледяной дворец. Аксенов получил из секретного фонда музея деньги и уехал. Первоначальное волнение по поводу сокровища понемногу улеглось. Два почтенных господина были единственными регулярными посетителями ледяного дворца: лондонский антрополог

н его коллега, эдинбургский профессор. Они производили измереиия или, по крайней мере, пытались производить их, насколько можно измерить предмет, находящийся внутри ледяной глыбы в двеиадцать кубическнх метров. Эдинбургский ученый, сэр Джонатан Ганикук, провел около месяца в Петербурге, где он изучал мамонта. Он давал нашей молодой даме столько же лет, как и мамонту, а именно, двадцать тысяч лет. Он клялся, чем угодно, что и тот и другая замерзли в один и тот же час. Эта гнпотеза согласовалась с показаниями Аксенова, который утверждал, что обе находкн лежали одиа от другой на расстояиии менее, чем одного ружейного выстрела, и что они находились обе в старом русле Березовки. К сожалению, гипотеза эдинбургского профессора не встретила сочувствия у его лондонского коллеги, славного ученого Пеннифизера. Последний находил чисто случайным то обстоятельство, что оба сокровища лежали на близком расстоянии друг от друга. По его мнению, дама была по меиьшей мере на три тысячн лет моложе, чем мамоит, что показывала вся ее внешность. Человеческие современники мамонта должны были выглядеть совсем иначе. Он представил своему коллеге множество рисуиков, изображающих этих человекоподобных. В самом деле, наша принцесса выглядела совсем иначе. В актах того дела, которое было потом возбуждено против Ллевелина, находились целый ряд рисунков и один большой портрет работы Ллевелина. А он был единственный человек, который видел ее без ее ледяиого покрова. Молочио-белая, с чисто розовым оттенком нежной, словно персик, кожи, с глубокими голубыми глазами и белокурыми локонами, со стройным телом, — она могла служить моделью Праксителю. Пеннифизер был прав: оиа была совсем не то, что скуластые, узкоглазые первобытные жеищины на его рисунках. Но его эдинбургский коллега не сдавался: — Кто исполнял эти рисунки? — спрашнвал он. — Во всяком случае, люди, которые никогда в глаза не видали подобных существ. Жалкие теоретики, которые с помощью обезьяньих физиономий и невероятно неэстетичной фантазии пустили в научный обиход эти рожи... Первобытная женщина, это — та, которая заключена в ледяной глыбе, и издатели научных киит не могут сделать ничего лучшего, как только выкинуть

из всех аитропологических сочинений те ндиотские чудовищные картнники. Пеннифнзер на это возразил, что Ганнкук — осел. Тогда Ганикук дал Пеннифизеру пощечину. Затем Пеннифизер стал бокснровать Ганикука в живот. Затем Ганнкук принес жалобу в суд. Затем Пеннифнзер также прниес жалобу в суд. Затем судья оштрафовал Пеннифизера, равно как и Ганикука, на десять фунтов, а дирекция Брнтанского музея закрыла для Пеиифизера, равно как н для Ганнкука, свои двери...

После этого маленького эпизода снбирская принцесса получила на иекоторое время отдых от назойлнвых посетителей. Но потом явился тот, чье посещение было столь же роковым для нее, как и для иего самого.

Я уже говорил, что Джон Гамильтон был одним из тех немногих, которые присутствовали при вступлеиии принцессы в музей. При этом случае было сделаио иесколько фотографических снимков с нее, ио все они в большей или меньшей степени оказалнсь иеудачиыми. Вследствие своеобразной преломляемости ледяиого панциря, иа иегатнвах получались такие пятна и уродливости, что юная принцесса выглядела на них, как в смехотворном магическом зеркале. Тогда представители музея обратились к Ллевелину с просьбой попытаться нарисовать принцессу. Художиик, сам очень заинтересоваиный всем этим, охотно пошел навстречу просьбе и сделал иесколько рисунков. Сеансы проходили в присутствии служащих музея. Ллевелину, как видио, удалось иайти удачиое положеиие для созерцания чопорной красавицы, потому что его рисункн в высшей степени тонкн н отчетливы.

Во время этих сеансов с Гамнльтоном, очевидно, произошло что-то необычайиое. Служащие музея впоследствни на допросе показали, что они виачале не замечали ничего особенного, но на последних сеансах им броснлось в глаза, что художник целыми минутамн пристально глядел на ледяную прннцессу, оставнв рнсованье. Как будто оцепенев от холода, он едва держал карандаш н лишь с большим усилием мог оканчнвать рисунок. Однажды во время последних сеансов он потребовал у служащих и даже прямо приудил их уйти в переднюю комиату. Оин сначала не нашли в этом ннчего необыкновеииого и припнсали требование художиика исключительио его любезности: он, по-ви-

днмому, просто не хотел, чтобы онн зяблн в холодном помещеннн. Однако им показалось странным, что он предложил нм тогда чрезмерно крупные деньги иа чай с тем, чтобы они оставилн его одного в ледяной зале. Два-три раза после того, иаходясь в передией комнате, онн слышали, как в ледяиой зале кто-то говорил, и узнали голос художиика.

Около этого же времени Ллевелнн явился к днректору музея и проснл предоставнть ему ключ от помещення ледяной принцессы. Он собирался писать с нее большой портрет и поэтому желал иметь доступ к ней в любое время. Прн всякнх нных обстоятельствах его просьба наверное была бы удовлетворена, так как Ллевелнн все равно был посвящен в тайну. Но поведеиие художника во время этого визнта н странная манера, с которой он нзложил свою просьбу, былн настолько необычайиы, что у днректора возннкло подозреиие, н он хотя н учтнво, но весьма определенно отказал Ллевелниу. Тогда художннк вскочнл, задрожал всем телом и, не прощаясь, выбежал вои. Разумеется, это иеобычайное пронсшествне еще более укрепнло ннстиитивиое подозреине днректора, и ои отдал строгнй прнказ всем служащнм, чтобы отныне без его особого письмениого разрешеиия оии ие пропускалн в подземные помещеиня инкого.

Спустя некоторое время в музее стал ходнть слух, что кто-то пытался подкупнть иекоторых служащнх, чтобы проннкнуть в ледяное помещенне. Слух дошел до днректора. И так как последннй был ответственным лнцом во всей этой нсторней с прннцессой, то он распоряднлся пронзвестн строгое дознанне. Нечего добавлять, что таннственный «кто-то», пытавшнйся подкупить сторожей, был все тот же наш друг, Джон Гамильтон.

Директор отправился в зал заседаиий, где Гамнльтон в то время работал. Он нашел его там в самом жалком виде: художиик забился в дальний угол, скорчнлся на скамейке и спрятал голову в руки. Днректор заговорил было с ним, но Гамнльтон весьма вежлнво попросил его выйти как можио скорее из этой комнаты, в которой хозяйскне права в настоящнй момеит прниадлежат ему, Гамильтоиу. Директор понял, что художник иедоступен ни для каких слов н убеждеиий. Он пожал плечамн и в самом деле вышел. И лишь

приказал повесить на дверь подземной комнаты три секретных замка, а ключи от них положил в денежный шкаф в своем кабинете.

В течении трех месяцев после того все было спокойно. Два раза каждую неделю директор лично навещал заколдованную принцессу в сопровождении двух служащих, на обязанности которых лежал присмотр за машинами, выделывающими лед. И это были единственные посетители у нее. Ллевелин каждый день являлся в зал заседаний, который он расписывал, но он больше уже не работал. Краски сохли на палитре, а кисти лежали немытые на столе. Он целыми часами сидел неподвижно на скамейке или принимался ходить большими шагами взад и вперед по зале. Дознание установило с достаточной точностью все, что он делал в это время. Несколько странными и подозрительными были визиты, которые он тогда делал известным лондонским ростовщикам. Он пытался, впрочем, без успеха, занять не менее десяти тысяч фунтов под ожидаемое в весьма далеком будущем большое наследство. В конце концов он достал только пятьсот фунтов под большие проценты у Гельплес и Некрайпер на Оксфордской улице.

Однажды вечером Гамильтон появился после долгого отсутствия снова в клубе. Как я позднее установил, это было в тот самый день, когда он достал денег. Он наскоро поздоровался со мной в библиотеке и спросил, здесь ли лорд Иллингворс? Иллингворс, как ты прекрасно знаешь, самый отчаянный игрок во всех трех королевствах. Услышав, что лорд явится только поздно вечером, Ллевелин согласился поужинать вместе со мной, но был так молчалив, что мы все обратили на это внимание. Потом мы беседовали в клубной комнате. Ллевелин был так нервен, что невольно заряжал своей нервностью всех собеседников. Он поминутно смотрел на дверь, вертелся в кресле и пил виски одну порцию за другой. Около двенадцати часов он вскочил и бросился навстречу вошедшему Иллингворсу. — За вами мой реванш! — воскликнул он. — Вы играете сегодня со мной?

— Конечно!- рассмеялся лорд. — Кто еще с нами?

— Разумеется, Стендертон был с ними, а также Крауфорд и Баудли. Мы пошли в игорную комнату. Когда служитель принес карты для покера, Иллингворс

спросил:

— Ну, сколько же вы желаете сегодня проиграть, Гамильтон?

— Тысячу фунтов наличными и все то, что я вам задолжаю! — ответил художник и вынул бумажник.

Очевидно, кроме денег, добытых у ростовщика, он принес с собой и все то, что оставалось у него из своих денег.

Баудли ударил его по плечу.

— Ты с ума сошел юноша? В твоем положении не ведут крупной игры!

Ллевелин сердито отошел в сторону.

— Оставь меня в покое! Я знаю, чего хочу! Или я выиграю сегодня десять тысяч фунтов или проиграю все, что имею.

— Желаю счастья! — рассмеялся Иллингворс. — Не желаете ли смешать, Крауфорд?

И игра началась...

Гамильтон играл по-ребячески. В три четверти часа он потерял все свои деньги до последней кроны. Он попросил у Баудли тысячу фунтов, и так как тот был в выигрыше, то не мог отказать ему. Ллевелин стал продолжать игру и в четверть часа снова потерял все. На этот раз он обратился с просьбой о деньгах ко мне. Я не дал ему ничего, так как был уверен, что он все проиграет. Он клянчил и умолял меня, но я был тверд. Он вернулся к игорному столу, поглядел с минуту на играющих, а затем сделал мне знак рукой и вышел.

Так как игра перестала теперь интересовать меня, то я отправился в читальню. Я прочел две-три газеты и поднялся, чтобы отправиться домой. И в это время, когда слуга уже подавал мне пальто, в швейцарскую вошел Ллевелин и бросил на вешалку свою шляпу. Он заметил меня и спросил:

— Там играют еще?

— Не знаю.

Но он почти не слышал моих слов и со всех ног побежал в игральную. Я разделся и последовал за ним. Гамильтон сидел за игральным столом, и перед ним лежало около двухсот фунтов. Как я узнал впоследствии, он успел за это время съездить в Рояль-Яхт-Клуб и там занял у лорда Гендерсона на честное слово до следующего дня эту сумму.

На этот раз он играл достаточно счастливо, но так как ставки были сравнительно маленькие, то в течеиии часа он едва сколотил тысячу фунтов. Он пересчитал два раза банковские билеты и выбранился сквозь зубы.

Лорд Иллингворс рассмеялся.

— Вы хотите сегодня силой разбогатеть, Ллевеллин, — произнес он, — покер тянется слишком медленно для вас. Не желаете ли сыграть в банк?

Художник взглянул на него с такой благодарностью, как будто лорд спас ему жизнь.

Крауфорд заложил новый банк, и началась игра в баккара. Наэлектризованный Ллевелином лорд тоже разгорячился, и ставки все повышались и повышались.

— Это не очень изящно — пересчитывать постоянно свои деньги! — проворчал Баудли.

— Я знаю! — ответил Гамильтон, сконфузившись, словно школьник, но сегодня я должен делать это. И он торопливо пересчитал еще раз. Он проигрывал и выигрывал, и однажды у него оказалось почти восемь тысяч фунтов. Так как остальные игроки оставались в скромных границах, то в конце концов вся игра свелась к дуэли между художником и лордом Иллингворсом.

Гамильтон еще раз пересчитал свои деньги. Он только-что получил две крупных ставки.

— Еще пятьдесят фунтов! — пробормотал он.

Но он не приобрел этих пятидесяти фунтов. Его противник стал бить у него карту за картой, и вскоре Гамильтон был снова гол как крыса.

Игра кончилась, и присутствующие стали расходиться. Но Гамильтон все еще сидел за столом. Он пристально смотрел на рассыпанные карты и нервно барабанил по столу своим портсигаром.

Лорд Иллингворс неожиданно вернулся и ударил его по плечу.

Гамильтон вскочил.

— Вы нуждаетесь в десяти тысячах фунтов для какой-нибудь цели?

— Это вас не касается!

— Не так резко, юноша! — рассмеялся лорд. — Я покупаю за эту цену вашу картину, которую этим летом видел в Париже на Марсовом поле. Вот деньги!

Он пересчитал банковые билеты и выложил их на стол.

Ллевелин схватил их, но лорд удержал его за руку.

— Не спешите. Я ставлю условие. Я беру с вас честное слово, что вы никогда более не будете играть.

— Никогда более! — воскликнул художник и протянул лорду свою правую руку.

Он сдержал это слово, равно как и то, которое дал лорду Гендерсону, которому он на другой же день отослал его деньги.

А спустя два дня я был поставлен в неприятную необходимость написать на заголовке нового, только-что возникшего, уголовного дела:

«..... «протнв

Джона Гамильтона Ллевелина и соучастников".

Дело было возбуждено по жалобе правления Брнтанского музея. Кроме нашего друга, обвинение было предъявлено еще к некоему натурщику и к одному из низших служителей музея. Последнего сцапали тотчас же, тогда как тому, уже неоднократно судившемуся и прошедшему огонь и воду, детине удалось благополучно улизнуть. Служитель во всем сознался. Ллевелин подкупил его двумя тысячами фунтов закрыть глаза во время его ночного дежурства. Но служитель решился на это лншь после того, как Ллевелин поклялся ему на Евангелии, что ничего не будет украдено. Около девяти часов вечера художник вместе с другим человеком, которого он назвал Джеком, пришел в музей. Служитель впустил их, и они прошли в бюро дирекции. Дверь туда открыл упомянутый Джек посредством отмычки; затем он вытащил из кармана множество ключей и набойнnков н попытался отпереть денежный шкаф. Это ему удалось без особого труда, так как шкаф был старой снстемы, с многочисленными недостатками. Из шкафа художник взял только ключ н затем снова запер его.

Тогда все трое отправнлись вниз, в подвал. Там они отперли хитроумные замкн и вошли в переднюю комнату. Художник приказал служнтелю развести огонь в камине, и скоро по всей комнате распространилась прнятная теплота. В это время Джек расставил принесенные им с собой складной мольберт и ящнк с красками. После того художннк вручил служителю обещанные деньги, а Джеку дал еще более денег, но сколько — он не знает. Очевндно, это был остаток суммы, полученный с лорда Иллингворса, потому что

у Гамильтона потом не было найдено ни одного шиллинга. Затем художник приказал обоим уходить, и они ушли, а он запер за ними изнутри двери. Оба компаньона отправились в помещение к швейцару и распили там по стакану грога в воздаяние своих заслуг. Натурщик после этого откланялся, а служитель заснул сном праведника и проспал до шести часов утра, пока не явился на смену ему другой сторож. Он пошел домой, поспал там еще часа два, а затем стал раздумывать, как бы ему поступить далее? Несомненно, история рано или поздно должна всплыть наружу. Несомненно так же и то, что его потянут тогда к ответу. Но, впрочем, что ж из того? Ведь он не совершил ничего такого, что может поставить его в неприятное столкновение с законом. Украдено, наверное, ничего не было: в этом ему поклялся художник самою святою клятвою. Деньги же на всякий случай припрятаны в надежном месте...

И он сел и в самом благодушном настроении написал в правление музея донесение, в котором обстоятельно описал все, как было. Свое описание он сам и отнес в музей. Это было в пять часов пополудни. Директор собирался уходить домой. Он прочел письмо, осмотрел шкаф, убедился в пропаже ключа и кинулся с несколькими служащими в подвал, чтобы узнать, что там делается. Но железная дверь с хитроумными замками не поддавалась. Директор приказал позвать слесаря и заодно послал за полицией. После четырехчасовой работы удалось с помощью отверток и молотков выставить дверь, и она с грохотом упала в переднюю комнату. Директор и служащие кинулись туда... Но на них пахнуло таким ужасным зловонием, что все они, словно одурманенные, невольно попятились назад. Директор завязал себе носовым платком нос и рот и пробежал через переднюю комнату в ледяной зал. Ледяная глыба была расколота поперек, а ее обитательница... исчезла.

И вдруг откуда-то из угла послышался жалобный стон, в котором едва можно было узнать человеческий голос. Крепко стиснутый двумя глыбами льда, почти замерзший, с темною запекшеюся кровью на лице и руках, в одной сорочке, сидел там Джон Гамильтон Ллевелин. Глаза у него выходили из орбит, губы были покрыты пеной. С большим трудом удалось вытащить

его из льда. На все вопросы он отвечал лишь бессмысленным лепетом. Когда его привели в переднюю, он закричал, как одержимый, и стал отбиваться руками и ногами. Четверо служителей должны были взяться за него.

Но когда они приблизились к двери, он снова с диким воем вырвался у них и бросился в самый отдаленный угол. Безумный страх перед передней комнатой придавал такую энергию его полузамерзшему, почти безжизненному телу, что служителям не оставалось ничего другого, как только связать его по рукам и ногам и вынести как колоду. И даже тогда он вырвался из их рук и с ужасающим криком упал на пол перед дверью. Он сильно ударился головой об лед и потерял сознание.

Только в таком состоянии его и могли отправить в больницу. Оттуда через четыре месяца он был переведен в дом умалишенных в Брайтоне. Я навестил его там; он имел самый плачевный вид: оба уха и четыре пальца левой руки у него были отморожены. Ужасный хриплый кашель непрерывно сотрясал все его тело. Очевидно, он к довершению всего схватил в ту ужасную ночь в ледяной зале еще и чахотку, и мне стало ясно, что конец его близок. Способность речи так к нему и не возвратилась. Он не имеет даже светлых промежутков. И день и ночь его мутит жестокий бред преследования, так что он ни на одно мгновение не может остаться без присмотра.

— Что же однако произошло в ту ночь под сводами Британского музея?

— Мне стоило немалого труда собрать и сопоставить все, даже незначительнейшие, моменты, чтобы составить ясную картину всего происшедшего. Я исследовал все его папки и портфели. Там нашелся рисунок, здесь две-три строки, объясняющие его фантазии... Конечно, очень многое покоится целиком на гипотезах, но я думаю, что и в этих гипотетических основаниях ошибочного не так уж много.

Джон Гамильтон Ллевеллин был фантаст. Или философ, — что, в сущности, то же самое. Однажды вечером, несколько лет тому назад, я встретил его на улице: он только-что вскочил в кэб и поехал в обсерваторию. Я тогда последовал за ним. Он был там хорошо знаком со всеми, так как посещал обсерваторию

с самого своего детства... И как у всех астрономов, так и у него смешивались представления о времени и пространстве. Астроном видит звезды, которые в одну секунду пробегают тысячи миллионов миль. Колоссальные величины, которыми он привык оперировать, неизбежно делают его мозг менее чувствительным к убогим горизонтам нашей земной жизни. А если наблюдатель звезд в то же время еще и художник, одаренный воображением и фантазией, как Гамильтон, то борьба его духа с материей должна вырасти до грандиозных размеров. Только исходя отсюда — от этой точки зрения — ты сможешь понять его удивительные картины, которые приобрел в наследство Баудли.

Так проходил свой жизненный путь Гамильтон, всегда с отпечатком бесконечности в сердце. Все окружающее казалось ему пылью секунд: грязь из уличной лужи и дивная красавица — совершенно одинаково. Этот взгляд предохранял его от той духовной реакции, которую принято называть любовью. Если бы ему преподнесли на блюде женщину дивной красоты и сказали: «пожалуйста!», наш белокурый художник с мечтательными глазами рассеянно ответил бы: «благодарствуйте!» и стал бы грезить далее...

Для того, чтобы его завоевать, должно было сбыться что-нибудь совершенно несбыточное. Должна была явиться красавица, которая стояла бы превыше времени и пространства, как он сам. И это невозможное сбылось. Странствующий рыцарь нашел в недрах туманного, вонючего Лондона спящую красавицу, заколдованную принцессу. Не поразительно ли это? Молодая прекрасная женщина, которая за много тысяч лет перед тем жила где-то в Сибири, явилась к нему в Лондон, чтобы стать его моделью. Иногда ему казалось, что она смотрит на него долго, нежно, не опуская ресниц. Что она хочет сказать ему? Не то ли, что она непременно прошла через невероятную мглу столетий, чтобы найти его ? Как спящая красавица, она покоилась мертвым сном в сибирских льдах, ожидая своего рыцаря ...

«Но ведь она мертвая?» — быть может, говорил он себе. Но что же из того? Если она мертвая, то значит ли это, что ее нельзя уже любить? Пигмалион любил же статую и вдохнул в нее жизнь. Христос своей всечеловеческой любовью подарил мертвой до-

чери Иаира жизнь. Чудо? Да, чудо! Но разве эта спящая во льду красавица не чудо? И наконец, что мертво? Разве мертва земля, дающая жизнь цветам? Разве мертв камень, творящий кристаллы? Или капля воды, которая создает на замерзшем окне чудные папоротники и мхи? Смерти не существует... Эта женщина победила всемогущее Время. Несмотря на тысячи лет, она сохранила свою красоту и молодость. Цезарь и Клеопатра, великий Наполеон и Микель-Анджело, Шекспир и Гете — величайшие и сильнейшие люди всех столетий — были растоптаны ногою Времени, как черви на дороге. А эта маленькая, хрупкая красавица ударила Время по лицу своей белой ручкой и заставила этого величайшего убийцу отступить перед нею.

Художник мечтал и удивлялся и... влюбился...

Чем чаще он посещал ледяной дворец, чтобы рисовать свою прекрасную возлюбленную, тем яснее рисовалась в его воображении картина, которую он задумал создать; великая картина его жизни: победа человеческой красоты над бесконечностью. Это была миссия заколдованной принцессы. Для этого она и пришла к нему. В его мечтательной душе вырастал и распускался тот великолепный цветок, который только однажды в тысячу лет расцветает для человечества — любовь и искусство, соединенные в одном чистом восприятии.

Но не в ледяной глыбе хотел он изобразить в своей картине возлюбленную. Свободная, смеющаяся должна была она покоиться на скале, с легким прутиком в руке. А пред нею — убийственное Время, бессильное, укрощенное ее победной молодостью. Эта картина должна была дать людям сознание их божественности — прекраснейший подарок, который они могли получить когда-либо! Он — со своей переливающейся через край творческой силой в груди, и она — эта прекраснейшая женщина, победившая Время, — они осуществят вдвоем невероятное.

Мало-помалу в нем зрела таким образом мысль освободить ее из ледяной глыбы. Трудности, которые приходилось преодолеть для этого, только пришпоривали и возбуждали его. Его фактотум Джек, из тех натурщиков, которые на все руки мастера, единственный человек, посвященный в его план, сумел пред-

ставить ему этот план еще более опасным и трудным, чтобы выжать из своего патрона как можно больше денег. Джек внушил ему мысль, что служащих музея можно подкупить только чудовищными суммами. Отсюда все его безнадежные попытки добыть денег у ростовщиков. Между тем, по распоряжению директора, ему был закрыт доступ в ледяную залу, и Ллевелин неистовствовал в своей зале заседаний; и его желание освободить свою возлюбленную и создать вместе с ней величайший подарок для человечества разрасталось в нем в эти одинокие часы до бесконечности.

И вот пришла ночь, когда он попытался покорить судьбу в клубе с картами в руках. Судьба посмеялась над ним и отняла у него все, что он имел. Но подобно тому, как прекрасная дама, долго сопротивлявшаяся назойливым ухаживаниям своего возлюбленного, неожиданно отдается ему, когда он уже пришел в совершенное отчаяние и потерял всякие надежды, — так и судьба нежданно улыбнулась наконец Гамильтону и доставила ему через посредство лорда Иллингворса ту сумму, которая была необходима ему. И тогда он не терял уже ни одного мгновения — и в следующую же ночь приступил к осуществлению своего плана. По счастливому совпадению, в эту ночь в подвале музея дежурил тот самый сторож, который был подговорен Джеком. Ключи были добыты, ледяная зала отперта, Гамильтон дал обоим своим соучастникам самый крупный «на чай», который когда-либо получали привратники.

Он трижды повернул ключ в входной двери. Итак, теперь он был один. Он постоял, прислушался к шагам, которые замирали в коридоре. Вот он уже не слышал ничего. Он глубоко вздохнул, — а затем решился и быстрыми шагами прошел в ледяную залу.

Вот и она! Почему же она не выбежала навстречу ему из своей ледяной глыбы? Но ее глаза, казалось, смотрели на него, ее рука, казалось, пошевелилась... Он полез в боковой карман и вынул небольшой, остро наточенный топорик.

— Прости меня за мое нетерпение! — шептал он. — Прости, если я обеспокою тебя неловким ударом!

И он приступил к работе, которая должна была оказаться очень нелегкой для его несовершенного инструмента. С бесконечной осторожностью и любовью

пробивал он дорогу к своему счастью, не замечая холода, сковывавшего его пальцы. Как несказанно медленно продвигалась его работа. Ему казалось что он работает уже несколько долгих часов. Но красавица как будто ободряла его время от времени:

— Терпение, мнлый! Скоро я буду в твонх объятиях!

Со звоном разлетались во все стороны ледяные осколки. Еще один легкий удар, н еще однн, и еще... Он боялся одно мгновение, что волосы на ее голове и маленькие волосики на ее теле окажутся крепко приставшими к ледяной массе. Но нет. Тело было натерто тонким благоухающнм маслом, так что он мог поднять ее с ее ледяной постели целой и невредимой. Его рукн дрожали, все его тело содрогалось от холода. Быстро внес он ее на своих руках в теплую, восхитительно уютную переднюю комнату. Красное пламя камнна напевало там свою странную песенку. Тихо, с величайшей осторожностью, положнл он ее на диван. Ее веки были сомкнуты, она, казалось, спала.

Теперь скорее подрамник, мольберт, краски! Он принялся за работу с жаром, с воодушевлением. Еще ни один художник не чувствовал себя так перед своей картиной. Часы летели и казались ему секундами. А мощное пламя в камине поднималось все выше и выше. В комнате разливалась тяжелая жара. Крупные каплн пота выступили на его лбу; он подумал, что ему сделалось жарко от охватившего его возбуждения, снял сюртук н продолжал работать в одной сорочке.

И вдруг... Неужели ее губы пошевелились? Он всмотрелся внимательнее: в самом деле: ее губы как будто собирались в неуловимую улыбку... Гамильтон провел рукой по глазам, чтобы рассеять бред. Но вот опять... что же это такое?.. Ее рука медленно медленно скользит вниз... Она манит его к себе... Он бросил кисть и кинулся к дивану. И, склонившись перед ней, схватил маленькую белую руку, на которой выступали тонкне голубые жнлкн. Она спокойно оставила свою руку в его руках... И он пожал ее и поднял голову и еще раз взглянул на нее. С легким криком он броснлся к ней и стал целовать ее щекн, губы и шею н ее сняющую белоснежную грудь...

И вся его так долго сдержнваемая любовь и вся его бесконечная страсть к красоте н искусству вылились в этих поцелуях на груди его спящей красавицы...

Но вслед за этим мгновением наступило самое ужасное. Влажная, противная слизь потекла ему на лицо. Он вскочил, отступил несколько шагов назад. Линии ее тела расплылись... Что это было такое, что лежало там на диване? Противное, нестерпимое зловоние подступило к нему и, казалось, принимало видимый облик в красном сиянии камина. И из превратившегося в слизистый студень трупа перед ним поднялось ужасное привидение, простиравшее к нему свои бесчисленные, словно у полипа, руки... Жестокое чудовище Время отомстило за себя!

Он бросился бежать, натолкнулся на дверь.

— Ключи! Ключи!..

Он не находил их, рвал и дергал дверь, исцарапал руки, ударился о дверь головой; кровь выступила на его лице... Железо не поддавалось. А ужасное привидение вздымалось все выше, все разрасталось. Он уже чувствовал, что присасывающиеся щупальца проникают ему в рот и нос. Он закричал, как одержимый, бросился в другую дверь — в ледяную залу и в смертельном страхе забился там в самый отдаленный угол.

Там и нашли его: маленького, жалкого человека, который вообразил, что он может попрать ногами Бесконечность.

Остров Капри. Январь 1903.

МЕРТВЫЙ ЕВРЕЙ

Когда пробило двенадцать часов, актер продекламировал:

— И вот настал тот день, в который мы...

Но тот, кому он сказал это, прервал его:

— Оставьте, пожалуйста. Этот день для меня в высшей степени неприятен.

— Ах, вы начинаете впадать в сентиментальность. Плохо дело! — рассмеялся актер.

Но его собеседник возразил:

— Вовсе нет. Но у меня с этим днем связаны воспоминания...

— ...Столь страшные, что цепенеет кровь?.. Как и все ваши воспоминания! Так облегчите же себя. Сложите с себя на нас тяжелый груз ваших воспоминаний.

— Мне очень не хотелось бы. Все это до такой степени грубо и дико...

— Ах, какие нежности! С какого это времени вы стали заботиться о наших нервах? В то время, когда все мы ходим по шелковистым коврам, ваши ноги тонут в запекшейся крови. Вы — помесь жестокости и безобидности.

— Я не жесток.

— Это дело вкуса.
— В таком случае я предпочту молчать.
Актер протянул ему через стол свой портсигар.
— Рассказывайте, рассказывайте. Иной раз бывает очень невредно припомнить, что кровь и доныне еще струится в этом прекраснейшем из миров. А кроме того, совершенно неверно, что вы не хотите рассказывать. Вы хотите рассказывать, и мы будем слушать. Итак, мы слушаем!
Блондин открыл портсигар.
— Английская дрянь! — проворчал он, — все дрянь, что идет из этой проклятой страны. — Он закурил свою папиросу. И затем начал:
— Это было уже давно. Я был тогда еще совсем зеленым фуксом, семнадцати лет от роду. Я был так же невинен, как кенгуренок в сумке у его матери, но изображал циничного прожигателя жизни. Должно быть, это выходило забавно...
Однажды ночью в дверь ко мне сильно постучали.
— Вставай! — закричал кто-то, — сию же минуту вставай!
Я очнулся от сна. Кругом была совершенная тьма.
— Да просыпайся же! Долго ли ты еще будешь заставлять меня ждать?
Я узнал голос моего товарища по корпорации.
— Войди! — ответил я, — дверь не заперта.
Дверь с грохотом отворилась. Длинный медик ворвался в комнату и зажег свечку.
— Долой из постели! — крикнул он.
Я бросил отчаянный взгляд на часы.
— Но позволь. Еще нет и четырех. Я и двух часов не спал.
— А я и совсем не спал! — рассмеялся он. — Я пришел сюда прямо из пивной. Долой из постели, я тебе говорю, и живо одевайся, фуксик.
— Да что такое случилось? Честное слово, я не вижу в этом никакого удовольствия.
— Да никакого удовольствия и нет. Одевайся, я расскажу потом.
Пока я с усилием смывал с своих глаз сон и, стуча зубами, натягивал штаны, он уселся, сопя, в кресло и закурил свою ужасную бразильскую сигару. Я закашлялся и плюнул.
— Ты не переносишь дыма, фуксик? — прохрипел

он, — ничего, привыкнешь. Итак, вникай: сегодня утром у нас дуэль за городом, в Коттеновском лесу. Я — секундант. Госслер тоже хотел идти со мной. Мы с ним, чтобы не проспать и быть на месте вовремя, всю ночь провалаидались в пивной, и он в конце концов раскис. Вот и все. Не мешкай!

Я прервал приятеля:

— Все это так, но я-то тут при чем?

— Ты? Господи Боже, какая ж ты телятина! Я не имею никакого желания тащиться туда целые часы наедине сам с собой. И поэтому беру тебя с собой. Ну, живо!

Это была отвратительная ночь: дождь, ветер, грязь. Мы побежали по пустынным переулкам к нашей корпоративной квартире, где нас ожидала карета. Остальные уже уехали вперед.

— Ну, конечно! — бранился мой товарищ. — Вот мы и остались ни с чем, как свиньи. Служитель увез с собой корзину с провизией. Беги наверх, фуксик, посмотри, не найдется ли в буфетной бутылочки коньяку!

Я звоню, жду, проклинаю, дрогну от холода. Но вот наконец добываю коньяк. Мы влезаем в карету, и кучер хлещет лошадей.

— Сегодня третье ноября, — проговорил я, — день моего рождения. Нечего сказать, славно оно начинается.

— Пей! — провозгласил мой коллега.

— И к тому же у меня неприятность. Да еще какая!

— Пей же, бегемот! — крикнул он и пустил мне в лицо тошнотворное облако дыма, так что я едва не получил морскую болезнь. — Погоди, младенец, — ухмыльнулся он, — я прогоню твои неприятности.

И он пустился в рассказы. Медицинские истории с секционного стола. Он был мастер на это! Он вообще не стеснялся с такими вещами: ел завтрак прямо в мертвецкой, не вымыв рук, в промежутке между двумя препарированиями. Отрезанные руки и ноги, выпотрошенные мозги, больные печени и почки — все это было ему одно удовольствие. Чем гнилее, тем лучше...

Разумеется, я пил. Один глоток за другим из нашей бутылки. Он рассказал мне десятка два историй, и та из них, в которой фигурировала разложившаяся

селезенка, была еще сравнительно наиболее аппетитной. Ничего не поделаешь: этому учат в корпорации — быть господином над своими нервами...

Два часа езды. И вот карета остановилась. Мы выползаем из кареты и шлепаем в сторону от дороги, в лес. Бредем в тусклом утреннем тумане под голыми, безлистными деревьями.

— Кто, собственно, стреляется сегодня? — спросил я.

— Заткни глотку. Еще успеешь узнать! — проворчал товарищ. Он внезапно сделался молчаливым. Я слышал, как он громко икал, и его хмель проходил. Мы вышли на лужайку. Там стояло человек десять.

— Факс! — крикнул товарищ.

Наш корпоративный служитель подбежал к нему.

— Содовой!

Служитель принес корзину. Товарищ выпил три бутылки содовой воды.

— Этакая мерзость! — пробормотал он и отплюнулся. И я прекрасно видел, что он теперь совершенно трезв.

Мы подошли к собравшимся и раскланялись. Здесь были два врача с перевязочными материалами. Один из них, старик, был наш корпоративный доктор. Далее, три корпоранта из «Маркин» и их служитель, который болтал с нашим. А в стороне, прислонясь к дереву, одиноко стоял маленький еврей.

Я уже знал теперь, в чем было дело. Это был Зелиг Перльмуттер, студент философского факультета, и он должен был стреляться с длинным Меркером. Трактирная история! Меркеры с компанией сидели в пивной, и в это время туда же вошел Перльмуттер с двумя товарищами. Они были встречены яростным: «долой жидов!» Двое ушли, но Перльмуттер уже повесил шляпу на крюк, он не захотел уступить — уселся и спросил пива. Тогда Меркер вскочил и выдернул из-под него стул, так что тот упал на пол под громкое гоготанье корпорантов. Затем Меркер схватил с крюка его шляпу и выкинул ее за дверь в грязь. «Пошел вон, жидюга!» Но маленький еврей, побледнев, как мел, подпрыгнул к длинному Меркеру и, бац! — закатил ему пощечину. После этого, разумеется, его отколотили и выкинули вон из пивной. На следующий день Меркер послал к нему секундантов, и еврей при-

нял вызов: пять шагов дистанция, стрелять до трех раз.

Зелиг Перльмуттер обратился со своим делом в нашу корпорацию.

— Что ж поделаешь? — говорил мой товарищ, который в качестве второго уполномоченного разбирал все дуэльные дела. — Нужно давать защиту чести каждому благородному студенту. А благородный студент тот, который, черт меня возьми, еще ни разу не украл ни одной серебряной ложки. Если б даже его звали Зе-зелиг П-п-перльмуттер...

Маленький еврей в самом деле так заикался, что никогда не мог, как следует, выговорить собственную фамилию. Вероятно, в корпорации ему понадобилось не менее получаса, чтобы изложить благополучно свою просьбу...

Он стоял, прислонившись к дереву, в затасканном пальто, с поднятым воротником. Боже мой, до чего он был безобразен. Грязные башмаки со стоптанными каблуками сидели криво и косо на его ногах. Над ними болталась бахрома брюк. Огромное никелевое пенсне с длинным черным шнуром криво висело над его чудовищным носом, который почти прикрывал толстые сизокрасные губы. Его лицо было изрыто оспой и имело желтый и грязный оттенок. Руки были глубоко засунуты в карманы пальто. Он упорно уставился в глинистую землю.

Я подошел к нему и протянул руку:

— Добрый день, господин Перльмуттер!

— П-по-почему, с-с-соб-ственно... — возразил он, заикаясь.

— Фукс, принеси сию же минуту ящик с пистолетами! — резко крикнул мой товарищ.

Я крепко пожал грязную руку, которую наконец протянул мне еврей, затем побежал к нашему служителю, взял ящик с пистолетами и подал его моему коллеге.

— Ты с ума спятил? — прошипел он, — что тебе вздумалось болтать с этим болваном?

Первый уполномоченный, пруссак, представлявший собой внепартийное лицо, поговорил с секундантами, а затем отмерил длинными шагами дистанцию. Обоих противников пригласили занять их места.

— Господа! — начал пруссак, — мой долг, как

внепартийного, сделать хотя бы попытку покончить дело миром.

Он сделал маленькую паузу.

— Я, п-п-пож-жалуй... — тихо заикнулся маленький еврей, — ес-сли...

Мой товарищ гневно взглянул на него и яростно закашлялся, так громко, как только мог. Еврей смутился и замолчал.

— Итак, противники отклоняют примирение, — быстро постановил внепартийный, — я прошу их обратить внимание на мою команду. Я буду считать: раз, два, три. Противники могут стрелять между «раз» и «три», но отнюдь не до начала команды и не после «три».

Пистолеты были обстоятельно заряжены. Секунданты кинули о них жребий, и мой коллега подал один из пистолетов еврею.

— Господин Перльмуттер, — промолвил он официальным тоном, — я передаю вам оружие нашей корпорации. Вам делается честь, что вы решили завершить ваше столкновение по рыцарски-студенческому способу вместо того, чтобы бежать к судье. Я надеюсь, что и здесь, на этом месте, вы окажете честь нашему оружию.

Он всунул пистолет ему в руку. Господин Перльмуттер взял пистолет, но рука его так дрожала, что он едва мог держать в ней оружие.

— Черт возьми, да не вертите вы им во все стороны! — продолжал мой товарищ. — Опустите пистолет. По команде «раз» поднимайте его с быстротою молнии и стреляйте. Не вздумайте целить в голову: так вы никогда не попадете. Цельте в живот — это самое надежное. А после того, как вы выстрелили, держите пистолет высоко перед лицом: это ваше единственное прикрытие. Пользы от него, конечно, не много, но все-таки может случиться, что ваш противник, если он выстрелит после вас, попадет вместо вашей персоны в пистолет. И побольше хладнокровия, господин Перльмуттер.

— Бла-бла-годарю, — промолвил еврей.

Мой товарищ взял меня под руку и отошел со мной в сторону, в лес.

— Я, честное слово, желал бы, чтобы наш еврейчик взгрел Меркера, — проворчал он, — я не выношу

этого болвана. А кроме того, он, по всей вероятности, сам еврей.

— Но ведь он самый свирепый жидоед во всем студенческом корпусе! — возразил я.

— Вот именно поэтому. Я давно подозреваю Меркеров. Погляди только на его нос. Может быть, он крещеный, и родители его тоже, но только все-таки он еврей. Наш заика ничто иное, как помесь прокислого пива и плевков, но он будет мне форменным образом симпатичен, если он пригвоздит длинного Меркера. И, в сущности, это просто скандал, что мы притащили сюда этого беднягу, как теленка, на бойню.

— Да, но ведь он хотел пойти на примирение, — заметил я, — и если бы ты не закашлял...

Но он оборвал меня:

— Заткни глотку! Ты этого еще не понимаешь, фукс!

Все присутствующие отошли в сторону, в кустарники, и только оба противника стояли на лужайке в тусклой полумгле ненастного утра.

— Внимание! — воскликнул внепартийный, — я начинаю: раз!.. два!..

Меркер выстрелил. Его пуля шлепнулась о дерево. Перльмуттер даже не поднял своего пистолета. Все поспешили к дуэлянтам.

— Я спрашиваю, последовал ли со стороны «Норманнии» выстрел? — спросил секундант Меркера.

— Со стороны «Норманнии» выстрела не последовало! — констатировал внепартийный.

Мой товарищ гневно накинулся на еврея:

— Сударь! — вскипел он, — вы с ума сошли? Неужели вы думаете, что из-за вас мы станем заносить в дуэльный журнал такое свинство? Стреляйте куда хотите, но стреляйте, черт побери! Не понимаете вы разве, что вы срамите всю корпорацию, оружием которой пользуетесь?

— Я, п-пож-жалуй... — заикнулся маленький еврей. На его лбу выступили крупные грязные капли.

Но на него уже никто не обращал внимания. Противники получили новые пистолеты, и снова все разошлись в кусты.

— Раз... Два... и... три!

Сейчас же после команды «раз» Меркер выстрелил. Его пуля ударилась в пень, в каких-нибудь трех шагах

от его противника. Перльмуттер и на этот раз не поднял пистолета. Его рука нервно дергалась.

— Я спрашиваю, последовал ли на этот раз выстрел со стороны «Норманнии»?

— Представитель «Норманнии» и на этот раз предпочел не стрелять.

Меркеры оскалили зубы, пруссак улыбался во весь рот. Мой товарищ киндал на иих яростные взоры.

— Ну и шайка! — хрипел он, — какое свинство, что я не могу сейчас дать всем им по шее!

— А что? — спросил я.

— Бог мой! Так глуп может быть только зеленый фукс! — накинулся он иа меня. — Ведь ты же должеи знать, что здесь сейчас царит мир, и что во время дуэли нельзя показывать когти. Но сегодня же вечером все три господина из «Маркии» получат от меня каждый по вызову. Бьюсь об заклад, что у них тогда будут другие рожи. И вздую же я их, черт возьми. Посмотри только, как оии паясничают, какой триумфальный вой подняли над нашим оборваицем!

К еврею на этот раз он подошел с другого рода убеждениями:

— Господии Перльмуттер, я апеллирую не к вашему мужеству, — мне кажется, что это бесполезно — но к вашему рассудку, — спокойно промолвил ои. — Послушайте, вы наверное, не имеете никакого желания, чтобы вас здесь прикончили, как борова! Ну, так, изволите видеть, у вас нет никакой другой возможности избежать этого, как только путем иападения. Это вам должно было бы подсказать чувство самосохранения. Если вы прострелите вашему сопернику брюхо, то я гарантирую вам, что ои уже ничего не сможет вам сделать. А кроме того, вы этим сделаете еще доброе дело.

Затем мой товарищ прибавил почти сеитиментальным тоном:

— Ведь наверное для вас будет в тысячу раз приятнее, если вы уйдете отсюда с неповрежденной кожей, господин Перльмуттер. Подумайте только о ваших бедных родителях.

— У м-меня н-нет ро-род-дителей, — промолвил еврей.

— Ну тогда подумайте о вашей возлюбленной... — продолжал мой коллега и вдруг запнулся, взглянув

на безобразиую физиономию еврея, которая вдруг расплылась в ужасио унылую гримасу. — Извините, господин Перльмуттер, я поиимаю, что вы с вашей... иу, как бы это сказать, — с вашим ликом не можете иметь возлюблеииой. Извините меня, я вовсе не хотел вас обидеть. Но ведь кто-иибудь у вас наверное же есть? Ну, может быть... может быть... собака?

— У меня есть м-мал-леиькая с-соб-бака...

— Ну вот видите, господин Перльмуттер, у каждого человека есть что-ннбудь. У меия тоже есть собака, и я уверяю вас, что я иикого так ие люблю, как ее. Итак, подумайте о вашей собаке. Подумайте, какая будет радость для вас, когда вы вернетесь домой целым и невредимым, и ваш песик будет прыгать иа вас и визжать и махать хвостом. Подумайте о вашей собаке и... по команде «раз» — стреляйте!

— Я б-буду стрелять! — с трудом промолвил маленький еврей.

Две крупные слезы покатились по изрытым оспою щекам и оставили на них светлые полосы. Он крепко сжал пистолет, который подал ему мой товарищ, н взглянул на моего коллегу с унылой мольбой, как будто его мучило какое-то желание.

— Е-если я... — заикаясь, начал он.

Мой товарищ помог ему:

— Вы хотите попросить меня позаботиться о вашей собаке, если с вамн случнтся что-нибудь? Не так ли, господин Перльмуттер?

— Да! — ответил маленький еврей.

— Ну, так я даю вам слово и сдержу его, как честиый студеит. Собаке будет хорошо, можете быть иа этот счет спокойиы.

Ои протяиул ему руку, и еврей крепко пожал ее.

— Бла-благ-годарю!

— Стороиы готовы? — спросил виепартийный.

— Готовы! — воскликнул мой товарищ. — Стреляйте, господин Перльмуттер, стреляйте!.. Это самооборона. Подумайте о вашей собаке и стреляйте!

Мы снова пошлн за деревья. Внепартнйный стоял бок о бок со мной. Я ие сводил глаз с маленького еврея.

— Вниманне! Раз!..

Перльмуттер вздернул пистолет вверх и выстрелил. Пуля пролетела где-то над ветками. И он словно за-

стыл, растопырив руки.

— Браво! — пробормотал мой товарищ.

— Два!..

— Если Меркер имеет хоть искру совести в башке, он выстрелит в воздух, — снова пробормотал он.

— И... Тррри!

В этот момент трахнул выстрел Меркера.

Зелиг Перльмуттер раскрыл рот. Чисто и ясно раздались его слова. В первый раз в своей жизни он не заикался.

Нет, честное слово, он запел. И запел громко и чисто:

...Век наш юный краток,
Быстро пролетит...

Пистолет выскользнул у него из руки, и он упал лицом на землю. Мы подбежали к нему. Я осторожно перевернул его лицом вверх.

Пуля попала ему в самую середину лба. Маленькая, круглая дыра...

— Я исполню то, что обещал ему! — шептал мне товарищ. — Я велю Факсу сегодня же привести собачонку. Пусть ее подружится с моим Неро. Оба пса будут в восторге, когда я на днях расскажу им, как я раскатал благородных господ из «Маркии». Спокойной ночи, Зелиг Перльмуттер, — продолжал он еще тише, — ты был грязная перечница и отнюдь не делал чести своему имени, но, черт меня побери, все-таки ты был благородный студент, и Меркеры заплатят мне за то, что они тебя так безобразно ухлопали. Это мой долг перед твоей собакой. Надеюсь, что у нее не так уж много блох!..

Врачи подошли и занялись Перльмуттером. Они промыли рану и вложили в нее газовый тампон, чтобы остановить кровотечение.

— Напрасный труд! — сказал наш старый доктор, — ничего другого не остается, как только писать свидетельство о смерти.

— Пойдемте завтракать! — предложил беспартийный.

— Благодарствуйте! — ответил мой товарищ официальным тоном, — мы должны исполнить наш долг по отношению к нашему товарищу. Берись, фукс!

Мы подняли тело и с помощью служителя отнесли его через дорогу и положили в карету.

— Кучер, вы не знаете тут где-нибудь убежища?

— Не знаю.

— Но ведь где-то тут в лесу есть общинная больница?

— Да, сударь, есть, Денковская. Большая больница.

— Далеко отсюда?

— Часа два езды.

— Поезжайте туда. Это ближе всего. Там мы сбудем его с рук.

Мы уселись на заднее сиденья. Служитель сел против меня, а другое переднее место занял Зелиг Перльмуттер. Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы привести его в сидячее положение. Лошади дергали, и приходилось крепко держать его, чтобы он не сваливался вперед.

— Видишь, как хорошо я сделал, что закалял твои нервы, фукс. Вот теперь тебе это и пригодится. Факс, откройте корзину с провизией.

— Спасибо! — сказал я, — я не стану есть.

— Что-о? — продолжал товарищ, — ты отказываешься? А я тебе скажу, что ты будешь есть и пить так, что только за ушами затрещит. Я отвечаю за тебя, малыш, и не имею никакой охоты привозить домой в состоянии коллапса. Prosit!

Он налил мне большой стакан коньяку, и я опрокинул его в рот. Я давился бутербродом с ветчиной. Я думал, что не смогу одолеть и одного, но съел четыре и залил их коньяком.

Дождь хлынул с новой силой. Он хлестал ручьями в дрожащие стекла кареты. Карета вязла в грязи. Один из нас должен был попеременно сидеть против мертвеца, чтобы поддерживать его. Мы должны были приехать на место в десять часов и поминутно вынимали часы... Никто не говорил ни слова. Даже мой приятель прекратил балагурство. Только «Prosit! Prosit!» раздавалось в нашей карете. И мы пили.

Наконец мы были у цели нашего путешествия. Служитель побежал через сад в дом, а мы в это время дали кучеру есть и пить.

Из дома к нам вышли два сторожа, а за ними пожилой господин — управляющий заведением. Мой товарищ представился ему и изложил свою просьбу, которая показалась врачу, очевидно, в высшей степени тягостной.

— Уважаемый коллега, — промолвил он, — это крайне неприятное обстоятельство для нас. Мы совершенно не подготовлены для таких случаев. Я совершенно не знаю, куда мы денемся с трупом. Нельзя ли вам...

Но мой товарищ настаивал:

— Невозможно, доктор! Куда же мы-то денемся?.. Впрочем, вы обязаны взять у нас тело и составить протокол. Дуэль происходила в пределах вашего округа.

Врач поиграл своей цепочкой и спросил кучера:

— Не можете ли вы описать мне место?

Кучер описал место, и мрачная физиономия у врача просветлела.

— О, я чрезвычайно сожалею, господа, но эта лужайка лежит вне нашей границы. Она принадлежит общине Гуген. Поезжайте туда в провинциальную лечебницу для душевнобольных, и там у вас возьмут тело.

Мой товарищ стиснул зубы:

— Долго ехать туда?

— Ну, два с половиной или три часа, смотря по тому, как поедете.

— Ага. Смотря по тому, как поедем. Это значит, по меньшей мере, четыре часа. В такую погоду и на усталых лошадях, которые уже с пяти часов утра в работе...

— Мне это очень грустно, господа.

Мой товарищ начал новую атаку:

— Господин доктор, неужели вы в самом деле хотите спровадить нас в таком состоянии? Могу вас заверить честью, что наши нервы по дороге к вам совершенно измочалились...

— Мне это очень грустно, — повторил врач, — но все-таки я не могу принять от вас труп. Вы должны обратиться в соответствующую общину. Я не могу взять на себя ответственность...

— Знаете, доктор... на вашем месте я все-таки в подобном случае взял бы на себя ответственность...

Пожилой господин молча пожал плечами.

Мой товарищ молча раскланялся с ним:

— В таком случае поезжайте, кучер, в провинциальную лечебницу в общину Гуген!

На этот раз забастовал кучер. Он де не сумасшед-

шний, чтобы замучить лошадей до смерти. Мой товарищ искоса взглянул еще раз на врача, но тот опять пожал плечами. Тогда мой коллега подступил к козлам:

— Вы поедете! Понимаете это? Что выйдет из ваших лошадей — безразлично. Это уже мое дело. А вы получите сто марок на чай, если мы через четыре часа приедем в Гуген.

— Хорошо, сударь! — промолвил кучер.

К нам подошел наш служитель.

— Если господам все равно, так нельзя ли мне сесть на козлы? Это будет удобнее для вас троих. Вчетвером внутри так тесно...

Мой товарищ рассмеялся и схватил его за ухо.

— Ты предусмотрителен, Факс, но и мы не останемся у тебя в долгу. Ты простудишься там наверху под дождем, и твоя хозяйка будет горевать. А поэтому марш в карету!

Он обратился еще раз к врачу чрезвычайно холодным тоном:

— Покорнейше прошу вас, доктор, рассказать нашему кучеру, как ехать.

Пожилой господин потер себе руки.

— Охотно, уважаемый коллега. От всего сердца. Все, что только смогу для вас сделать...

И он описал кучеру путь до мельчайших подробностей.

— Бессовестная каналья! — шипел мой товарищ, — и я не могу никак вызвать его на дуэль!..

Мы снова уселись в карету. С помощью ремней, в которых была упакована корзина с провизией, и наших подтяжек, мы накрепко привязали мертвеца в его углу, чтобы по крайней мере освободиться от противной обязанности поддерживать его. Затем мы забились в наши углы.

Казалось, что день сегодня так и не наступит. Все более и более воцарялись эти тоскливые серые сумерки. Облачное небо, казалось, опустилось до самой земли. Дорога была так разжижена дождем, что мы на каждом шагу застревали в грязи. Грязь брызгала на окна желтыми глинистыми ручьями. Наши старания разглядеть сквозь оставшиеся незамазанными части стекла, где мы едем, были тщетны, — мы едва могли различать деревья по сторонам дороги. Каждый из нас всеми силами старался быть господином своего

настроения, но это не удавалось. Отвратительный, холодный и промозглый воздух, спертый внутри маленького помещения, заползал в ноздри и рот и оседал по всему организму.

— Мне кажется, он уже пахнет, — промолвил я.

— Ну, это с ним, вероятно, случалось и при жизни, — ответил товарищ. — Зажги сигару.

Он поглядел на меня и на служителя: я думаю, наши лица были также бледны, как и у мертвеца...

— Нет, — промолвил он, — так нельзя... Надо устроить маленькую выпивку.

Бутылки с красным вином были откупорены, и мы стали пить. Товарищ командовал:

— Прежде всего мы споем официальную песню: «Юность заботы не знает».

И мы запели:

Юность заботы не знает.
Братья, нам утро сияет
Солнцем надежд золотых.
Да, золотых...
Песнями юность прославим,
С песней и жизнь мы оставим,
Тихо уйдя от живых.
Да, от живых, -
В тень кипарисов немых...

— Прекрасная песня. За здоровье веселых певцов!

Да, мы пили. Одну бутылку за другой мы откупоривали и пили. И снова пели. Мы пили и пели. Мы пьянствовали и орали.

— Траурная саламандра в честь нашего тихого гостя, господина Зелига Перльмуттера! Ad exercitium salamandris, раз, два, три... Salamander ex est! Факс заканчивает. Остатки долой.

— Черт возьми, Перльмуттер, старый пивопийца, вы могли бы по крайней мере хоть сказать prosit, раз в вашу честь воздвигли саламандру. Пей же, тихоня! — Мой товарищ поднес ему к носу стакан. — Ты не желаешь, дружок? Ну, погоди же. — И он вылил красное вино ему на губы. — Получай. Вот так. Prosit!

Служитель, уже совершенно пьяный, крякал от удовольствия:

— Хе-хе, не желаете ли покурить? — Он стара-

тельно зажег длинную виргинию и всунул ее мертвецу между зубами: — Вино да табак — славная жизнь!

— Тысяча чертей, ребята! — воскликнул товарищ, — у меня с собой карты. Мы перекинемся в скат. Вчетвером. Один пасует.

— Пасовать будет, очевидно, главным образом господин Перльмуттер? — заметил я.

— С чего ты это взял? Он играет так же хорошо, как и ты. Вот увидишь. Готово! Сдавай, фукс!

Я сдал карты и взял десять себе.

— Не так, фуксик. Ты дашь карты господину Перльмуттеру. Воткни их ему в пальцы, пусть он играет сам. Конечно, он сегодня немножко вял, но мы не будем принимать это в дурную сторону. Поэтому ты должен помочь ему.

Я поднял руку мертвеца и всунул ему карты между пальцами.

— Пас! — сказал товарищ.

— Вскрыть! — провозгласил служитель.

— Большой с четырьмя валетами! — объявил я за господина Перльмуттера.

— Черт побери! Вот везет, как утопленнику.

— Объявляю открытый! — продолжал я.

— Вот ведь счастье! — ворчал мой коллега, — этот еврей сколотит себе состояние даже после своей смерти.

Мы играли одну игру за другой, и еврей все время выигрывал. Ни одной игры не потерял он.

— Господи Боже! — бормотал служитель, — если бы он хоть на половину так удачно стрелял сегодня утром. Хорошо еще, что нам не придется ничего платить ему.

— Не придется платить? — вскипел мой товарищ. — Ты не хочешь платить, бесстыдная блоха? Если этот бедняк мертв, так ты хочешь улизнуть от расплаты? Сию же минуту вынимай деньги и клади ему в карман! Сколько ему следует, фукс?

Я сделал подсчет, и каждый из нас сунул по серебряной монете в карман мертвецу. Мой взор случайно упал на конверт с моей фамилией: это было приглашение, полученное мною от одного знакомого семейства, меня звали на обед, устраиваемый в мою честь по случаю дня моего рождения. Я невольно вздохнул.

— Что с тобой? — спросил мой товарищ.

— Ах, ничего. Мне просто опять вспомнилось, что сегодня день моего рождения.

— Да, в самом деле? Я об этом совсем и забыл. Prosit, фуксик! Будь здоров! Поздравляю!

— И я тоже поздравляю, — промолвил служитель.

И вдруг из угла раздался заикающийся голос:

— И я т-тож-же п-поз-здравляю!..

Стаканы выпали у нас из рук. Что это было такое? Мы поглядели в угол: мертвец по-прежнему оцепенело висел в ремнях. Тело его качалось, но лицо было совершенно неподвижно. Длинная виргиния все еще торчала между зубов. Тонкая черная полоса крови текла сбоку по его носу и бледным пепельно-серым губам. Лишь никелевое пенсне, забрызганное грязью (он его не потерял даже при падении) слегка дрожало на носу.

Мой товарищ первый опомнился.

— Что за дикость? — промолвил он, — мне показалось, что... Давай другой стакан!

Я достал из корзины новый стакан и налил его.

— Prosit! — воскликнул он.

— P-p-rosit! — раздалось из угла.

Товарищ схватился рукою за лоб, а затем быстро выплеснул вино.

— Я пьян, — пробормотал он.

— Я тоже... — заикнулся я и забился покрепче в угол, по возможности, подальше от ужасного соседа.

— Это ничего не значит! — громко сказал мой товарищ. — Мы будем продолжать игру. Факс, сдавайте!

— Я не могу больше играть, — простонал служитель.

— Трус! Чего вы боитесь? Боитесь проиграть еще раз?

— Пусть он возьмет все мои деньги, но только я больше не притронусь к картам!

— Шляпа! — воскликнул товарищ.

— Ш-ш-шляпа... — раздалось из угла.

Меня охватил невыразимый страх.

— Кучер! — закричал я. — Кучер! Стойте! Ради Бога, стойте!.. — Но тот не слышал ничего и погонял лошадей сквозь дождь и мглу.

Я видел, как мой товарищ закусил себе нижнюю

губу. Две капли крови упали на подбородок. Он резко выпрямился и наполннл снова свой стакан.

— Я покажу вам, что корпорант «Норманнии» не знает ннкакого страха. — И он обратился к мертвому, с трудом отчеканивая каждое слово: — Господин Зелиг Перльмуттер, я сегодня убедился, что вы в высшей степеии благородиый студент. Разрешите мие выпить за ваше здоровье? — И ои залпом выпил красное вино. — Так! А теперь, милый Перльмуттер, я очень прошу тебя не беспокоить нас. Правда, мы совсем пьяны, но некоторая доля понимания у меня еще осталась, и я в точности знаю, что мертвый еврей уже не может говорить. Итак, заткни, пожалуйста, глотку!

Но Перльмуттер оскалил зубы и громко засмеялся:

— Ха-ха-ха...

— Молчи! — закричал товарищ — Молчи ты, собака, или...

Но Зелиг Перльмуттер ие уиимался:

— Ха-ха-ха...

— Пистолеты!.. Где пистолеты?.. — Мой товарнщ вытащил из-под сидеиья плоский ящик н выхватил оружие. — Я застрелю тебя, падаль, если ты скажешь еще хоть одно слово! — воскликнул он в безумиом бешенстве.

Но Зелиг Перльмуттер продолжал каркать:

— Ха-ха-ха-ха...

Тогда тот прицелился ему прямо в лицо и выстрелнл. Трахнуло так, что, казалось, вся наша карета рассыплется на кускн.

Но сквозь пороховой дым еще раз зазвучал ужасный хохот Зелига Перльмуттера. И долго-долго хохотал он, как будто так-таки и не хотел совсем остановиться...

— Ха-ха-ха-ха...

... Я видел, как мой товарищ со стоиом упал вперед на колени мертвецу. Я слышал из другого угла жалобиое внзжание служителя.

И целые столетия ехали мы все дальше и дальше в этих ужасных, дождливых сумерках...

... Как мы приехали в лечебиицу — все это я припоминаю лишь словно в тумане. Я знаю, что у нас взяли мертвеца, а заодно с ним вытащили из кареты и моего товарища. Я слышал, как он кричал и рычал, я вндел, как он бил окружающих, и как у него на губах выступила пена. Я видел, как на

него надели смирительную рубашку и увели в больницу. Он и теперь все еще там. Врачи определили у него острую паранойю, развившуюся на почве хронического алкоголизма.

Собаку я взял к себе. Это был безобразный ублюдок. Десять лет я держал его у себя, но он все-таки не мог привыкнуть ко мне. Что я ни делал, чтобы заслужить его благоволение — все было тщетно. Он рычал и кидался на меня. Однажды я нашел его в моей постели, которую он всю перепачкал. Когда я стал гнать его оттуда, он укусил мне до крови палец. И я задушил его своей рукой.

Это было четыре года тому назад — в памятный для меня день — третьего ноября...

Теперь, господа, вы понимаете, почему это число имеет для меня такое страшное значение.

Рагуза. Март. 1907.

ЕГИПЕТСКАЯ НЕВЕСТА

> Я видел в свете много чудесного
> Вальтер фон дер Фогельвейде

Искать комнату! Что может быть неприятнее этого занятия? Вверх по лестнице, вниз по лестнице, из одной улицы в другую, всегда одни и те же вопросы и ответы... О, Боже ты мой!

Я отправился на поиски в десять часов, а теперь было уже три. Разумеется, я устал, как карусельная лошадь.

Однако еще раз наверх — в третий этаж.

— Нельзя ли посмотреть комнату?

— Пожалуйста.

Хозяйка повела меня через темный коридор и открыла дверь.

— Здесь!

Я вошел. Комната была высока, просторна и не очень скудно меблирована. Диван, письменный стол, кресло-качалка — все, как следует!

— А где спальня?

— Дверь налево.

Хозяйка отворила дверь и показала мне помещение.

Даже английская кровать. Я был восхищен.

— А цена?

— Шестьдесят марок в месяц.

— Прекрасно! А на рояле у вас играют? Маленькие дети у вас есть?

— Нет, у меня всего только одна дочь. Она замужем в Гамбурге. На рояле тоже никто не играет. Даже внизу.

— Слава Богу, — сказал я, — в таком случае я нанимаю комнату.

— Когда хотите вы переехать?

— Если вам удобно, то сегодня же.

— Конечно, удобно.

Мы снова вошли в первую комнату. В противоположной стене была еще одна дверь.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я хозяйку, — куда ведет эта дверь?

— Там еще две комнаты.

— Там вы живете?

— Нет, я живу по другую сторону. Комнаты эти сейчас не заняты. Они тоже отдаются жильцам.

Меня вдруг озарило.

— Но те комнаты, надеюсь, имеют отдельный выход в коридор?

— К сожалению, нет... Господин доктор уж должен согласиться на то, чтобы другой жилец проходил через его комнату.

— Что? — вскрикнул я. — Благодарю покорно! Я должен пускать через свою комнату чужих людей? Нечего сказать, прекрасно!

Итак, вот почему комната была так дешева! Поистине трогательно. Я едва не лопнул от досады, но так устал от беготни, что даже не мог выбраниться, как следует.

— Возьмите, коли так, все четыре комнаты, — предложила хозяйка.

— К чему мне четыре комнаты? — проворчал я. — Черт бы побрал их.

В это мгновение позвонили. Хозяйка пошла отворять и оставила меня одного.

— Здесь отдаются меблированные комнаты? — услышал я.

«Ага, еще один!» — подумал я. И я заранее радовался тому, что скажет этот господин в ответ на

милое требоваиие хозяйки. Я быстро вошел в комнату иаправо, дверь в которую оставалась открытою. Это было средней величины помещение, служащее одновременно и спальней и жильем. Узенькая дверь на противоположной стороне вела в маленькую, пустую комнатку, скудно освещеииую иебольшим окном. Это окошечко, как и другие окиа этой комнаты, выходило в огромный парк, один из немногих, которые еще сохраиились в Берлине...

Я вернулся в первую комнату. Предварительные переговоры были исчерпаны, и новый наниматель должен был сию минуту увидеть обратную сторону медали. Но я ошибся. Не спросив даже о цене, он объявил, что ему эта комната не годится.

— У меня есть еще две другие комнаты, — сказала хозяйка.

— Не можете ли вы показать мне их?

Хозяйка и иовый наниматель вошли в комнату, где был я. Он был мал ростом, в коротком черном сюртуке. Окладистая светлорусая борода и очки. Он имел совершенно бесцветный вид, — один из таких людей, мимо которых проходят, ие замечая их.

Не обращая на меня иикакого внимания, хозяйка показала ему обе комнаты. К большой комиате ои не проявил почти никакого интереса, но маленькое помещение, наоборот, он осмотрел очень внимательно, и оно, по-видимому, ему весьма понравилось. А когда он заметил, что окна выходят в парк, у него на лице даже выступила довольная улыбка.

— Я хотел бы взять обе эти комнаты, — объявил он.

Хозяйка объявила цену.

— Хорошо! — сказал малеиький господин. — Я сегодня же привезу сюда свои вещи.

Он поклонился и повернулся к выходу.

— А куда выйти?

Хозяйка сделала безиадежиую физиономию.

— Вам придется проходить через предыдущую комнату.

— Что? — сказал господии. — У этой комиаты иет отдельного выхода? Я должеи всегда ходить по чужой комнате?

— Возьмите, в таком случае, все четыре комнаты! — простоиала хозяйка.

— Но для меня это слишком дорого — четыре комнаты... Господи Боже! Значит, опять приходится начать беганье.

У бедной хозяйки побежали по щекам крупные слезы.

— Я никогда не сдам комнат! — сказала она. — За последние две недели приходило до ста нанимателей: всем им нравились комнаты, но все отказывались брать их, потому что глупый архитектор не сделал двери в коридор. Этот господин тоже совсем было уж остался.

Она указала на меня и вытерла глаза фартуком.

— Вы тоже хотели нанять эти комнаты? — спросил меня маленький господин.

— Нет, другие. Но я, конечно, отказался от удовольствия постоянно пускать к себе в комнату посторонних людей. Впрочем, вы можете утешиться: я тоже уже с десяти часов утра в поисках.

Наше короткое собеседование возбудило в хозяйке опять некоторую надежду.

— Господа так хорошо понимают друг друга, — промолвила она, — может быть, господа нашли бы возможным взять четыре комнаты сообща?

— Покорно благодарю! — возразил я.

Маленький господин внимательно поглядел на меня и затем обратился ко мне:

— Я совершенно изнемог от поисков, — промолвил он, — а эти две комнаты подходят для меня, как нельзя более. Что, если бы мы сделали попытку...

— Но ведь я вас совсем не знаю! — сказал я раздраженно.

— Мое имя Фриц Беккерс. Я очень тихий человек и почти не буду вам мешать. Если же окажется, что вам это неудобно, вы можете всегда уехать. Ведь это не брак.

Я молчал. Он продолжал:

— Я предложу вам следующее: общая цена за все эти комнаты девяносто марок. Будем класть на каждого по половине. Я беру эти две комнаты, вы берете две другие. Я должен иметь право свободного прохода через вашу комнату, а кроме того, я хотел бы по утрам пить кофе в вашей комнате. Я не люблю завтракать в той комнате, в которой сплю.

— Пейте кофе в том маленьком помещении.

— Оно будет мне служить для... для другой цели. Но я еще раз уверяю вас, что я никоим образом не буду вам в тягость.

— Нет! — промолвил я.

— Ну, тогда, — возразил господин Беккерс, — тогда, конечно, ничего не поделаешь. Тогда нам обоим не остается ничего другого, как отправиться на охоту.

Снова вверх по лестнице, вниз по лестнице... Приятнее разбивать камни на большой дороге...

— Погодите! — обратился я к нему. — Я, пожалуй, попробую сделать этот опыт.

— И отлично!

Хозяйка сияла:

— Сегодня счастливый день.

Я подписал условие и попросил ее послать за моими вещами. Затем я распрощался. Я чувствовал адский голод и отправился где-нибудь пообедать.

Но уже на лестнице я стал сожалеть о своем решении. Всего охотнее я вернулся бы и взял бы свои слова обратно.

На улице я встретился с Паулем Гаазе.

— Куда? — спросил я.

— Я не имею местопребывания. Я ищу.

Я пришел сразу в хорошее настроение. По крайней мере, у меня теперь было «местопребывание». Я отправился с художником в ресторан, и мы очень основательно поели.

— Пойдемте сегодня вечером на праздник художников, — предложил мне Гаазе. — Я приду за вами.

— Хорошо!

Когда я вернулся в мое новое жилище, мои чемоданы уже были там. Хозяйка и артельщики пришли ко мне на помощь, и часа через два все было благоустроено: олеографии и безделушки были убраны, и комната до некоторой степени приобрела характер ее нового жильца.

В дверь постучали.

Вошел художник.

— А, у вас здесь очень недурно... Вы устроились с толком и со смыслом, — решил он. — Но пойдемте. Уже девять часов.

— Что? — Я взглянул на часы. Он был прав.

В это мгновение в дверь снова постучали.

— Войдите!

— Извините, это я.

В комнату вошел Беккерс; двое артельщиков тащили за ним огромные ящики.

— Кто это такой? — спросил Пауль Гаазе, когда мы уже сидели в трамвае.

Я открыл ему секрет моей комнаты.

— Ну, вы, кажется, сели в лужу... Впрочем, нам здесь выходить...

На другое утро я поднялся довольно поздно. Когда хозяйка принесла чаю, я спросил ее, завтракал ли уже господин Беккерс.

— Еще в половине восьмого, — ответила она.

Это было мне очень приятно. Если он всегда встает так рано, то он не будет мне в тягость. И в самом деле, я вообще не видел его. Я прожил в своем новом жилище две недели и почти совсем позабыл о своем сожителе.

Однажды вечером, часов около десяти, он постучался в дверь, разделявшую наши владения. Я крикнул: «войдите», и Фриц Беккерс отворил дверь и вошел в мою комнату.

— Добрый вечер! Я вам не мешаю?

— Ничуть. Я как раз только что покончил с моим писаньем.

— Значит, я могу на минутку зайти к вам?

— Пожалуйста. Но только с одним условием: вы курите длинную трубку, а у меня душа не переносит ее. Сигар или сигареток я могу предложить вам, сколько угодно.

Он вернулся в свою комнату, и я слышал, как он выколачивал трубку об окно. Затем он снова явился и закрыл за собою дверь. Я пододвинул к нему ящик с сигарами.

— Пожалуйста.

— Благодарствуйте. Короткую трубку вы тоже не можете переносить?

— Напротив, переношу очень хорошо.

— В таком случае, позвольте, я набью ее.

Он вытащил из кармана короткую английскую трубку, набил ее и зажег.

— Я в самом деле не мешаю вам? — снова спросил он.

— Да нет же, ничуть. Я дошел в своей работе до мертвой точки и, так или иначе, но должен прекратить

ее. Мне требуется опнсание праздника Озириса. Завтра утром я схожу в библиотеку. Там я, наверное, найду что-нибудь.

Фриц Беккерс улыбнулся.

— Может быть, я мог бы вам помочь?

Я задал ему несколько вопросов, и он дал мне на них весьма подробные и обстоятельные ответы.

— Вы ориенталист, господин Беккерс?

— Немного, — ответил он.

С этого дня он стал иногда заходить ко мне. Он являлся ко мие, по большей частн поздно вечером, выпнть стакаи грога. Иногда я сам звал его. Мы очень охотно беседовали друг с другом о самых разнообразных предметах. Фриц Беккерс, по-видимому, был сведущ во всех областях. Только о себе самом он отклонял всякне разговоры.

Он был немного таинственен. Перед дверью, которая вела в мою комнату, он повесил тяжелый персидский ковер, который совершеино заглушал всякий шум. Когда он выходил нз дома, то крепко запирал за собою дверь, и хозяйка могла входить к нему в комнату только утром для приборки, пока он завтракал в моей комнате. Во время субботней всеобщей чистки он упорно оставался дома, садился в кресло и курил трубку, пока хозяйка не кончала своей возин. При этом в его комнате не было ничего такого, что бросалось бы чем-нибудь в глаза. Коиечно, за исключением маленькой комнатки, где могли скрываться самые невероятиые вещи. Дверь в эту комнатку тоже была завешена тяжелым ковром, а кроме того, он велел сделать на ней два крепких железных засова, которые запирал американскими иаборными замками.

Хозяйка, разумеется, проявляла ужасающее любопытство к таинственной комнатке, в которой Беккерс работал целый день. В один прекрасиый деиь она отправнлась в большой парк напротив; она с большим трудом завела знакомство с садовником для того только, чтобы хоть разик взглянуть оттуда на маленькое окно.

Может быть, она увиднт в нем что-нибудь?

Но она не увидела ничего. Окно было выставлено, чтобы дать больший доступ свежему воздуху, но изнутрн оно было все-такн завешено чериым платком.

Однажды при случае хозяйка задала своему жнль-

цу вопрос:

— Почему, собственно, вы всегда завешиваете маленькое окно, господин Беккерс?

— Я не люблю, чтобы меня наблюдали посторонние за моей работой.

— Но ведь напротив нет никого. Никто не может вас видеть.

— А вдруг кто-нибудь залезет в парке на высокий вяз?

Вне себя от удивления хозяйка передавала мне этот разговор. Что ж это был за такой таинственный человек, который мог думать о подобных возможностях?

— Вероятно, он фальшивомонетчик, — сказал я.

Начиная с этого дня, каждая марка и каждый грош, выходившие из рук господина Беккерса, подвергались тщательному исследованию. Хозяйка с умыслом попросила его разменять несколько билетов, и все деньги, которые он ей дал, отнесла показать знакомому банковскому чиновнику. Их рассматривали под лупой, но между ними не оказалось ни одной фальшивой монетки. К тому же господин Беккерс каждое первое число получал с почты двести марок и никогда не тратил всей этой суммы. С производством фальшивой монеты, таким образом, было покончено.

Посетителей у господина Беккерса вообще не бывало никаких. Но он постоянно получал большие и маленькие ящики самых разнообразных форматов. Их приносили ему всегда посыльные. Что в них было такое — хозяйка не могла узнать, несмотря на все свои усилия. Беккерс запирался, вынимал из ящиков содержимое и потом отдавал пустые ящики ей на растопку.

Однажды после обеда ко мне пришла моя маленькая подруга. Я сидел за письменным столом, она лежала на диване и читала.

— Послушай, там раза два позвонили.

— Пускай, — проворчал я.

— Однако не открывают.

— Не беда...

— Твоей хозяйки, должно быть, там нет?

— Нет. Она ушла из дома.

В этот момент снова позвонили очень энергично.

— Я пойду открою! — сказала Анни. — В конце концов, это, может быть, что-нибудь для тебя?

— Ну, открой, если это доставляет тебе удовольствие. Но только будь осторожна.

Она вскочила.

— Не беспокойся! — промолвила она. — Я сначала загляну в замочную скважину.

Минуты через две она вернулась.

— Это посылка для тебя. Дай мне немножко мелочи. Надо дать посыльному на чай.

Я дал денег, посыльный поставил в моей комнате четырехугольный ящик, поблагодарил и ушел.

— Посмотрим, что там такое! — воскликнула Анни и захлопала в ладоши.

Я встал и посмотрел посылку. На ящике не было никакого адреса.

— Я совершенно не знаю, от кого это может быть? — промолвил я. — Быть может, это ошибка.

— Как так? — воскликнула Анни. — Посыльный имел при себе записку, и в ней было написано: «Винтерфельдштрассе, 24, третий этаж, у госпожи Петерсен». А кроме того, он сказал: «для господина доктора». Ведь ты доктор?

— Да! — сказал я. Неизвестно, почему, но я совершенно не подумал в эту минуту о Беккерсе.

— То-то и есть. Давай распаковывать ящик. Там, наверное, какие-нибудь вкусные вещи!

Я попробовал вскрыть крышку ящика моим старым кинжалом. Но клинок сломался. Я поглядел кругом, но нигде не было никакого инструмента, который я мог бы употребить в дело.

— Ничего не выходит! — сказал я.

— Ты глуп! — рассмеялась Анни.

Она побежала на кухню и принесла оттуда молоток, щипцы и долото.

— Все это лежало в ящике кухонного стола. Ты ничего не знаешь.

Она опустилась на колени и принялась за работу. Но это было нелегкое дело: крышка сидела крепко. Бледные щеки Анни покраснели, а сердце стучало так, что почти слышны были его удары.

— Возьми! — сказала она, передавая мне инструменты и прижимая обе руки к груди. — Ах, глупое сердце.

Она была самое милое создание во всем мире, но такое хрупкое! С ней нужно было обращаться крайне

осторожно: ее сердце было в большом беспорядке.

Я вытащил несколько гвоздей и приподнял крышку. Трах! Она, наконец, отскочила. Вверху лежали опилки. Анни проворно засунула обе руки внутрь, а я в это время повернулся, чтобы положить инструменты на стол.

— Я уже нашла! — вскрикнула она. — Это что-то мягкое!

Вдруг она испуганно вскрикнула, вскочила и повалилась навзничь. Я подхватил ее и положил на диван. Она лежала в глубоком обмороке. Я торопливо расстегнул ей блузу и расшнуровал корсет. Ее бедное сердечко опять дало знать о себе. Я взял одеколону и стал тереть ей грудь и виски, и, мало-помалу, сердце стало опять стучать.

В это время в наружную дверь постучали.

— Кто там?

— Это я.

— Войдите, но только проходите поскорее! — вскрикнул я, и Беккерс вошел.

— Что это такое? — спросил он.

Я рассказал ему, что произошло.

— Этот ящик прислан мне, — сказал он.

— Вам? Но что же в нем такое? Почему малютка так испугалась?

— О, ничего особенного.

— Там мертвые кошки! — воскликнула Анни, придя в себя. — Весь ящик битком набит мертвыми кошками!

Фриц Беккерс взял крышку, чтобы снова накрыть ящик. Я подошел и бросил беглый взгляд внутрь. Действительно, там были мертвые кошки. На самом верху лежал большой черный кот.

— Черт возьми, на что они вам?

Фриц Беккерс улыбнулся и медленно промолвил:

— Знаете ли, говорят, что кошачий мех очень помогает против ломоты и ревматизма. У меня есть старая тетка в Уседоме: она очень страдает ревматизмом, и вот я и хочу послать ей кошачьи шкуры.

— Ваша противная старая тетка в Уседоме, наверное, чертова бабушка! — воскликнула Анни, которая уже сидела на софе.

— Вы думаете? — промолвил Беккерс.

Он учтиво раскланялся, захватил ящик и ушел в

свою комнату.

Неделю спустя снова пришла посылка на его имя, на этот раз по почте. Хозяйка пронесла ее через мою комнату и многозначительно кивнула мне. Вернувшись затем в мою комнату, она подошла ко мне, вынула из кармана записку и протянула мне.

— Вот что в посылке! — объявила она. — Я списала это с почтовой декларации.

Посылка была из Марселя и содержала двенадцать кило... мускуса! Количество, совершенно достаточное для того, чтобы обеспечить этим продуктом всех жриц Венеры в Берлине лет на десять.

Поистине, замечательный человек был этот господин Фриц Беккерс!

В другой раз, когда я, вернувшись домой, только что переступил порог, хозяйка, крайне взволнованная, кинулась ко мне:

— Сегодня утром он получил огромный ящик — метра в два длиной и полметра вышиной. Наверное, там гроб!

Но Фриц Беккерс через несколько часов вытащил ящик из комнаты и отдал его на дрова. И несмотря на то, что хозяйка во время уборки комнаты самым старательным образом совала свой нос всюду, она не могла открыть ничего такого, что имело бы хотя бы отдаленное сходство с гробом.

Мало-помалу, наш интерес к тайнам Фрица Беккерса исчез. Он продолжал получать иногда таинственные ящики, по большей части маленькие — вроде того, в котором были мертвые кошки. Порой появлялись и длинные ящики, но мы отказались отгадывать эту загадку, тем более, что Фриц Беккерс не имел в себе решительно ничего, бросающегося в глаза. Иногда вечером попозднее он заходил ко мне часа на два, и я должен сознаться, что беседовать с ним было большое удовольствие.

И вот тогда произошла со мной в высшей степени неприятная история.

Моя маленькая подруга становилась все капризнее. Памятуя об ее больном сердце, я принимал по отношению к ней всевозможные меры предосторожности, но она с каждым днем становилась все раздражительнее. Фрица Беккерса теперь она совсем не переносила. Если Фриц Беккерс заходил ко мне на минутку

в то время, когда она сидела у меня, то каждый раз происходила сцена, кончавшаяся тем, что Анни падала в обморок. Она падала в обморок так же часто, как другие чихают. Она постоянно падала в обморок — по всякому поводу, а очень часто и без всякого повода. И обмороки эти становились все длиннее и внушали все большие опасения. Я все время теперь боялся, что она умрет на моих руках. Бедное милое создание!

Однажды под вечер она пришла ко мне веселая и довольная.

— Тетя уехала в Потсдам! — промолвила она. — Я могу пробыть у тебя до одиннадцати часов.

Она заварила чай и уселась ко мне на колени.

— Дай мне прочитать, что ты написал.

Она взяла исписанные листки и прочла их. И осталась довольна написанным и в награду за это крепко поцеловала меня. Наши маленькие подруги — самая благодарная публика для нас.

Она была весела и здорова сегодня.

— Ты знаешь, я думаю, что моему глупому сердцу гораздо лучше. Оно стучит совсем спокойно и правильно.

Она взяла мою голову обеими руками и прижала мое ухо к своему сердечку, чтобы мне было слышнее.

Вечером Анни озаботилась составлением меню нашего ужина. Она записала все, что надо было: хлеб, масло, ветчину, франкфуртские сосиски и яйца, и позвонила хозяйке.

— Вот! Ступайте и принесите все это! — приказала она. — Но только смотрите, чтобы вам дали хороший товар.

— Вы останетесь довольны, барышня; я позабочусь обо всем, как следует, — ответила хозяйка.

И она ласково погладила мозолистой рукой атласную ручку Анни. Я нахожу, что все берлинские квартирные хозяйки без ума от подруг их жильцов.

— Ах, как славно сегодня у тебя! — смеялась Анни. — Если бы только этот отвратительный Беккерс не приходил сюда!

И вот как раз именно он и явился. Тук-тук...

— Войдите!

— Я мешаю?

— Да, конечно, мешаете. Разве вы не видите, что вы мешаете! — воскликнула Анни.

— Я сию минуту уйду.

— Ах, вы уж все равно помешали нам... Едва только вы просунете сюда голову, как уже становится противно. Уходите же... Уходите же наконец! Чего же вы еще ждете? Вы — убийца кошек!

Беккерс уже взялся за дверную ручку, чтобы уйти. Он не оставался в комнате и минуты, но для Анни и это был слишком долгий срок. Она вскочила, ее белые руки схватились за край стола.

— Разве ты не видишь, что он хочет силой остаться здесь, этот человек. Вышвырни его вон! Защити же меня! Выгони его, эту гадкую собаку!

— Пожалуйста, выйдите отсюда, — обратился я к Беккерсу.

Он остановился в дверях и кинул на Аини еще один взгляд. Долгий, странный взгляд...

Анни пришла в неистовство.

— Вон! Вон, собака! — кричала она. — Вон!

Ее голос оборвался, глаза выступили из орбит. Судорожно сжатые пальцы медлеиио выпустили край стола, она безжизненно повалилась иа диван.

— Ну вот и готово! — воскликиул я. — Опять обморок! Этн истории с ее сердцем становятся совершеино несносиыми. Извините, господин Беккерс, она ведь серьезно больна, бедиая малютка.

Как всегда, я расстегнул ее блузу и корсет и стал растирать ее одеколоном. Она не приходила в себя.

-Беккерс! — позвал я. — Принесите, пожалуйста, уксусу из кухни.

Он принес уксус, но и растиранне уксусом не помогло.

— Постойте! — промолвил он. — У меия есть коечто другое.

Он ушел в свою комнату и возвратился с пестрой коробкой.

— Зажмнте себе нос платком, — сказал он.

Затем взял из коробки кусок персидской камфары и поднес его девушке к иосу. Камфара пахла так сильно, что у меня побежалн по щекам слезы.

Анни вздрогнула. Продолжительная сильная судорога потрясла ее тело.

— Слава Богу, помогает! — вскрикиул я.

Оиа приподиялась, глаза ее широко раскрылись. И она увидела иад собою лицо Беккерса. Ужасный

крик вырвался из ее посиневших губ, и тотчас же она упала снова в обморок.

— Новый обморок! Вот еще несчастье.

Снова пустили мы в ход все средства, какие только знали: воду, уксус, одеколон. Мы держали под самым ее носом персидскую камфару, запах которой заставил бы расчихаться мраморную статую. Она оставалась безжизненной.

— Черт возьми, славная история!

Я приложил ухо к ее груди и не мог расслышать ни малейшего удара. Легкие тоже не работали: я взял ручное зеркало и приставил его к полуоткрытым губам — ни единое легчайшее дыхание не помутило его поверхности.

— Я думаю... — сказал Беккерс. — Я думаю...

Он прервал сам себя:

— Надо позвать врача.

Я вскочил.

— Да, конечно. Сию же минуту. Напротив в доме есть врач... Ступайте туда. А я побегу на угол, к моему приятелю, доктору Мартенсу. Он, наверное, дома.

Мы вместе кинулись вниз по лестнице. Я слышал, как Беккерс уже звонил у подъезда напротив. Я побежал со всех ног и вот, наконец, стоял у двери доктора Мартенса и нажимал кнопку. Никто не являлся. Я позвонил еще раз. Наконец, я нажал кнопку и продолжал держать ее пальцем, не отпуская. Все еще никого. Мне казалось, что я стою здесь уже целые тысячелетия.

Наконец, показался свет. Мне открыл сам доктор Мартенс в рубашке и туфлях.

— Что значит этот набат?

— Да я жду тут без конца...

— Извините. Прислуга ушла, я был совершенно один и, как видите, занимался туалетом. Я собираюсь уходить в гости. Что у вас такое случилось?

— Пойдемте со мной, доктор! Сию же минуту!..

— Как? В рубашке? Я должен, по крайней мере, надеть хоть брюки. Зайдите. Я буду одеваться, а вы в это время расскажете, что у вас случилось.

Я прошел за ним в его спальню.

— Вы ведь знаете маленькую Анни? Вы, кажется, встречали ее у меня. Так вот...

И я рассказал ему, в чем было дело. Наконец, он

был готов. О,небо! Теперь он опять зажигает сигару.

На улице навстречу нам попался Беккерс.

— Ваш врач уже там, наверху? — спросил я его.

— Нет, но он должен прийти каждую секунду. Я поджидаю его здесь.

Когда мы подходили к дому, из противоположного дома вышел господин, — это был другой врач. Мы все четверо поспешили вверх по лестнице.

— Ну, где же наша пациентка? — спросил Мартенс, который вошел в мою комнату первым.

— Там, на диване, — сказал я.

— На диване? Там никого нет!

Я вошел в комнату — Анни там уже не было. Я онемел...

— Может быть, она очнулась от обморока и легла рядом на постель? — заметил другой врач.

Мы вошли в спальню, но и там никого не было. И даже кровать была совершенно нетронута. Мы прошли в комнату Беккерса, но Анни не было и там. Мы искали в кухне, в комнате хозяйки, во всем этаже — повсюду... Она исчезла...

Мартенс смеялся:

— А ведь вы напрасно всполошили нас... Она преспокойно ушла домой, пока вы рассказывали нам, мирным гражданам, ваши страшные истории.

— Но в таком случае, ее должен был увидеть Беккерс. Ведь он все время был внизу, на улице.

— Я ходил то туда, то сюда, — сказал Беккерс. — Могло случиться, что она как-нибудь и проскользнула за моей спиной из дома.

— Но это же совершенно невозможно, — воскликнул я. — Она лежала без всякого движения, в состоянии полного оцепенения. Сердце не работало, легкие не действовали. Никто в таком состоянии не сможет ни с того, ни с сего встать и благодушно уйти домой.

— Она разыграла перед вами комедию, ваша Анни, и, наверное, от души хохотала над вами, пока вы носились в полном отчаянии по лестницам за помощью...

Врачи, смеясь, ушли. Вскоре после того вернулась хозяйка.

— Ах, барышня уже ушла?

— Да, — сказал я, — она ушла домой. Со мной будет ужинать господин Беккерс. Могу я вам пред-

ложить, господин Беккерс?

— Благодарствуйте! — промолвил он. — С удовольствием.

Мы ели и пили.

— В высшей степени интересно было бы знать, что все это значит?

— Вы будете ей писать? — спросил Беккерс.

— Да, конечно. Всего охотнее я сам бы сходил к ней завтра же. Предлог можно найти всегда. Если б только я знал, где она живет.

— А вы не знаете, где она живет?

— Не имею никакого представления. Я не знаю даже, как ее зовут. Я познакомился с нею месяца три тому назад в трамвае, а потом несколько раз встречался с нею в выставочном парке. Я знаю только, что она живет в ганзейском квартале, что у нее нет родителей, но зато есть богатая тетка, которая адски за ней надзирает. Я зову ее Анни, потому что это имя очень подходит к ее фигурке. Но она может называться Ида, Фрида, Паулина — почем я знаю.

— Как же вы в таком случае переписываетесь с ней?

— Я пишу ей, — впрочем, довольно редко, — на имя Анни Мейер, почтамт, 28. Не правда ли, какой хитроумный адрес?

— Анни Мейер, почтамт, 28, — задумчиво повторил Фриц Беккерс.

Итак, prosit! — господин Беккерс. За наши дружественные отношения. Хотя Анни терпеть вас не могла, все-таки сегодня вечером она уступила вам место.

— Prosit!

Стаканы зазвенели один о другой. Мы пили и болтали, и было уже очень поздно, когда мы расстались.

Я вошел в спальню и подошел к открытому окну. Внизу под окном расстилался большой сад. Лунный свет играл на листьях, слегка трепетавших под тихим ветром.

И вдруг мне показалось, будто там, внизу, кто-то позвал меня по имени. Я внимательно прислушался — вот опять послышалось это... Это был голос Анни.

— Анни! — крикнул я в ночной тишине. — Анни!

Но ответа не было.

— Анни! — еще раз крикнул я. — Ты там, внизу?

Никакого ответа. Как она могла попасть в парк? И в такое время?

Несомненно, я был пьян.

Я лег в постель и в один мгновение заснул. Часа два я спал очень крепко, но затем мой сон стал неспокоен, я начал грезить. Я должен заметить, что со мною это бывает редко. Очень редко.

Она снова позвала меня...

Я увидел Анни: она лежала; над нею склонился Беккерс. Она широко открывала испуганные глаза. Маленькие ручки поднимались, чтобы оттолкнуть его. И вот бледные губы пошевелились, и из ее уст с несказанным усилием вырвался крик... мое имя.

Я проснулся. Я отер со лба пот и прислушался. И теперь снова я услышал: тихо-тихо, но совершенно ясно и отчетливо она позвала меня. Я вскочил с постели и подбежал к окну:

— Анни! Анни!

Нет! Все было тихо. И я уже хотел снова лечь в постель, как она в последний раз позвала меня — громче, чем прежде, и как бы в безумном страхе.

Не было никакого сомнения — это был ее голос. Но на этот раз он раздавался где-то в комнате.

Я зажег свечу и стал искать под кроватью, за драпировками, в шкапу. Но совершенно напрасно. Там никто не мог бы спрятаться. Я вошел в кабинет. Но нет, ее нигде не было.

А если Беккерс... Но эта мысль была уж слишком абсурдна. Впрочем, разве это невозможно? Не раздумывая долго, я подошел к его двери и повернул ручку. Она была заперта. Тогда я со всею силою навалился на нее: замок сломался, и дверь широко распахнулась. Я схватил свечку и ворвался туда.

— Что случилось? — спросил Фриц Беккерс.

Он лежал в кровати и протирал заспанные глаза. Мое подозрение оказалось, поистине, ребяческим.

— Извините меня за эти глупости! — промолвил я. — Я потерял рассудок из-за дурацкого сна.

И я рассказал ему, что мне приснилось.

— Замечательно! — промолвил он. — Я видел во сне совершенно то же самое...

Я взглянул на него: в его чертах сквозила высокомерная насмешка.

— Вам совершенно не для чего поднимать меня на смех! — проворчал я и вышел.

На другое утро я стал писать Анни длниное письмо. Фриц Беккерс вошел ко мне, когда я надписывал адрес. Он поглядел через мое плечо и прочитал: «Анни Мейер, почтамт, 28, до востребования».

— Если б вы только получили скорее ответ! — рассмеялся он.

Но я не получил никакого ответа. Спустя четыре дня, я написал еще раз, а еще через две недели — в третий раз.

Наконец, я получил ответ, но написанный совершенно чужим почерком:

«Я не хочу, чтобы отныне у вас в руках были письма, писанные моей рукой, и поэтому я диктую эти строки моей подруге. Я прошу вас немедленно возвратить мне все мои письма и все, что остается еще у вас на память обо мне. Вы можете сами догадаться о причине, почему я ничего не хочу более о вас знать: если вы предпочитаете мне вашего отвратительного друга, то мне ничего не остается другого, как уйти самой».

Подписи не было. К письму были приложены нераспечатанными мои последние три письма. Я написал ей еще раз, но и это письмо получил , спустя несколько дней, обратно нераспечатанным. Тогда я решился... Я уложил туда же еще кое-какие мелочи и послал все это по ее адресу до востребования.

Когда я вечером сообщил об этом Беккерсу, он спросил меня:

— Вы все возвратили ей?

— Да, все.

— Ничего не оставили у себя?

— Нет, решительно ничего. Почему вы спрашиваете об этом?

— Просто так. Так гораздо лучше, чем таскать с собой всюду всевозможные воспоминания.

* * *

Прошло месяца два, и однажды Беккерс объявил, что он съезжает с квартиры.

— Вы уезжаете из Берлина?

— Да, — отвечал он, — я еду в Уседом, к моей тетке. Это очень красивая местность Уседом.

— Когда вы уезжаете?

— Я, собственно, уже должен был бы уезжать, Но послезавтра один мой старый друг празднует юбилей, и я должен был обещать прийти к нему. Я был бы очень рад, если бы вы доставили мне такое удовольствие и отправились вместе со мной.

— На юбилейное празднество вашего друга?

— Да. Вы там увидите нечто совсем особенное. Совсем не то, что вы представляете себе. Впрочем, мы прожили вместе почти семь месяцев в полном мире, и я надеюсь, что вы не откажете мне в моей маленькой просьбе провести последний вечер вместе со мной.

— Упаси Боже! — ответил я.

Вечером около восьми часов Беккерс зашел за мной.

— Сию минуту! — промолвил я.

— Я пойду вперед, чтобы нанять извозчика. Я буду ждать вас внизу. Не могу ли я еще попросить вас надеть черные брюки, сюртук, цилиндр и захватить также черные перчатки? Вы видите, и я одет точно так же.

«Вот еще», — проворчал я про себя, — " хорошенький юбилей, нечего сказать".

Когда я вышел на улицу, Беккерс уже сидел на извозчике. Я уселся рядом с ним, и мы поехали через весь Берлин. Я не обращал внимания, по каким улицам мы едем. После долгой, почти часовой езды мы остановились. Беккерс расплатился с извозчиком и повел меня сквозь высокую арку ворот на длинный двор, окруженный высокою стеною. Он толкнул низенькую дверь в стене, и мы очутились около маленького домика, который прилегал вплотную к стене. Кругом расстилался великолепный сад.

— Смотрите, пожалуйста. Еще один большой частный сад в Берлине. Никогда не узнаешь всех секретов в этом городе...

Но я не имел времени на более подробный осмотр. Беккерс был уже наверху каменной лестницы, и я поспешил за ним. Дверь была открыта. Из темной передней мы прошли в маленькую, скромно убранную комнату. Посредине стоял накрытый белой скатертью стол, а на нем большой кувшин с крюшоном. Направо и налево от него горели свечи в двух высоких церковных светильниках из тяжелого старинного серебра. Два

таких же высоких пятисвечных светильника стояли на превращенном в буфет комоде и бросали свет на большое блюдо с сандвичами. На стенах висели две-три старых олеографии, на которых едва можно было различить краски, и множество венков с прекрасными широкими шелковыми лентами. Юбиляр был, очевидно, оперный певец, или актер. И какой замечательный! Такого количества венков я не видел ни у одной, хотя бы даже самой популярной, дивы. Они висели от полу до потолка — по большей части старые и выцветшие, но среди них были и совсем свежие, очевидно, только что поднесенные юбиляру по случаю его юбилея.

Беккерс представил меня:

— Я вам привел моего друга, — промолвил он, — господин Лауренц, его супруга и семейство.

— Отлично, отлично, господин Беккерс! — произнес юбиляр и потряс мне руку. — Это высокая честь для нас!

Я видал немало редких типов, расцветавших и отцветавших на сцене, но такого, признаюсь, не видал... Вообразите себе: юбиляр был необычайно, исключительно мал и имел, по меньшей мере, семьдесят пять лет от роду. Его руки были так же мозолисты и жестки, как старая солдатская подошва. При этом, несмотря на то, что он по случаю юбилея, очевидно, предпринял самую энергическую чистку их, они были темно-коричневого, землистого цвета. Его высохшее лицо походило на картофельную кожуру, которая два месяца лежала на солнце. Его длинные уши торчали, словно семафоры. Над его беззубым ртом свешивались растрепанные седые усы, топорщившиеся от нюхательного табаку. Тонкие волоски неопределенного цвета были приклеены то здесь, то там на его бледном черепе;

Его жена, особа почти одних лет с ним, налила нам вина и поставила перед нами тарелку с сандвичами, колбасой и ветчиной. Сандвичи, впрочем, имели очень аппетитный вид, и это отчасти примирило меня с нею. На ней было черное шелковое платье, черная брошь и черные же браслеты. Остальные присутствующие — человек пять-шесть — были тоже в черном. Один из них был еще меньше ростом и еще старше, чем юбиляр, другие могли иметь лет сорок-пятьдесят.

— Ваши родственники? — спросил я господина

Лауренца.

— Нет. Вот только тот — одноглазый — мой сын. Остальные — мои служащие.

Итак, это были его служащие! Таким образом мое предположение, что господин Лауренц был звездою сцены, оказалось неверным. Но в таком случае, откуда же он получил все эти великолепные венки? Я прочел посвящения на шелковых лентах. На одной — черно-бело-красной — ленте было напечатано: «Нашему храброму начальнику. Верные гренадеры крепости С.-Себастиан». Стало быть, он был гарнизонный командир! На другой ленте я прочел: «Избиратели в рейхстаг от Христианского Центрального Комитета». Значит, он играл роль в политике! «Величайшему Лоэнгрину всех времен...» Итак, он все-таки был оперный певец! «Незабвенному коллеге. Берлинский клуб печати.» К тому же еще и человек пера?.. «Светочу немецкой науки, украшению немецкого гражданства. Союз свободомыслящих.» Поистине, выдающийся человек , этот господин Лауренц! Мне сделалось стыдно, что я никогда не слыхал о нем. Красная, как кровь, лента имела надпись: «Певцу свободы — люди труда.» На другой — зеленой — можно было прочесть: «Моему дорогому другу и соратнику. Штеккер, придворный проповедник.»

Что же это был за редкий человек, который знал и умел все и пользовался одинаковым почетом во всех сферах и областях? Посреди стены висела огромная лента с тремя вескими словами: «Величайшему сыну Германии...»

— Извините меня, господин Лауренц, — скромно начал я, — я глубоко несчастлив, что до сих пор ничего не слыхал о вас. Могу я предложить вам вопрос?

— Конечно! — промолвил весело Лауренц.

— Какой, собственно, юбилей празднуете вы сегодня в таком восхитительно-тесном семейном кругу?

— Стотысячный! — ответил Лауренц.

— Стотысячный? — спросил я.

— Стотысячный! — повторил Лауренц и плюнул мне на сапог.

— Стотысячный! — задумчиво произнес одноглазый сын. — Стотысячный.

— Стотысячный! — повторила госпожа Лау-

ренц. — Могу я налить вам еще стакан вина?

— Стотысячный! — сказал Лауренц еще раз. — Не правда ли, хорошенькое число?

— Очень хорошенькое! — сказал я.

— В самом деле, это очень хорошенькое число! — сказал Фриц Беккерс. Он встал и поднял свой стакан. — Сто тысяч. Исключительно прекрасное число. Сто тысяч. Вы подумайте только.

— Чудесное число! — произнес тот гость, который был еще меньше и старше господина Лауренца. — Совершенно чудесное число. Сто тысяч.

— Я вижу, вы понимаете меня, господа, — продолжал Фриц Беккерс, — и поэтому я считаю лишним распространяться по данному поводу. Я ограничусь только одним словом: сто тысяч. А вам, милый юбиляр, я желаю еще сто тысяч!

— Еще сто тысяч! — воскликнули жена господина Лауренца, и его сын, и его служащие, и все чокнулись с юбиляром.

Меня озарило: Лауренц накопил первые сто тысяч марок или талеров и поэтому угощал вином.

Я тоже взял стакан и чокнулся с ним:

— Позвольте и мне с искренним сердцем присоединиться к пожеланию, высказанному господином Беккерсом. Еще сто тысяч. Prosit! Non olet!

— Что он сказал? — обратился юбиляр к Беккерсу.

— Non olet.-Не пахнет, — пояснил тот.

— Не пахнет? — Лауренц рассмеялся. — Знаете что, молодой человек, вы могли бы с полным основанием заткнуть себе нос. Почти все пахнут. М н е вы можете поверить...

Каким же, спрашивается, плутовским способом этот старый грешник мог приобретать свои капиталы, если он так цинично говорил об этом?..

Беккерс снова поднялся и взял пакет, который он перед тем положил на комод.

— Я позволю себе предложить вам, господин Лауренц, маленький знак моей признательности, а вместе с тем воспоминание о нашей дружбе и о вашем прекрасном юбилее.

Он вынул из пакета большой белый череп, красиво оправленный в серебро. Верхняя часть черепа была отпилена и снова прикреплена на свое место посредством шарнира, так что могла двигаться подобно крыш-

ке пивной кружки.

— Дайте мне ложку! — воскликнул он. — Затем он наполнил череп до верху вином, выпил и протянул юбиляру. Тот в свою очередь выпил и передал череп соседу. И таки образом череп сделал круг.

— Знаешь, старуха, — рассмеялся юбиляр, — он годится для моего утреннего пива.

Фриц Беккерс посмотрел на часы.

— Четверть одиннадцатого. Я должен поспешить: мой поезд скоро отходит.

— Дорогой друг и благодетель, — промолвил юбиляр, — еще немножко. Еще хоть четверть часика. Прошу вас, дорогой друг и благодетель.

Фриц Беккерс был благодетелем этого знаменитого человека. Это становилось все загадочнее.

— Нет, не могу, — энергично сказал благодетель и протянул мне руку. — До свидания.

— Я иду с вами.

— Для вас это будет слишком большой крюк. Мне надо на Штеттинский вокзал. Я дойду до ближайшей стоянки извозчиков и пошлю извозчика также и для вас. Adieu! Я должен поспешить, иначе я прозеваю поезд.

Все вышли проводить его. Я остался один и пил вино. Старик вернулся, чтобы налить мне еще стакан.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Если вам понадобится что-нибудь, пожалуйте ко мне. Я обслуживаю своих клиентов очень хорошо. Вы можете спросить об этом у Беккерса. Только свежий товар...

Итак, это был купец. Наконец, я выяснил это.

— Хорошо. Если будет нужно, я обращусь к вам. Но в данный момент у меня есть поставщик...

— Ка-а-ак? Кто же такой? — юбиляр почему-то очень испугался.

По правде сказать, я не имел ни малейшего представления о том, чем, собственно, он торгует.

— Вертгейм, — сказал я. Это имя показалось мне наиболее надежным.

— О, эти универсальные торговли! — простонал он. — Они разоряют маленьких людей. Но вас обслуживают, наверное, недостаточно хорошо? Попробуйте у меня. То, что вы получаете у Вертгейма, вероятно, очень неважно по качеству. Гнилые рыбы...

А, так он был рыботорговец! Наконец! Я уже почти

собрался сделать ему заказ, но мне вспомнилось, что теперь конец месяца.

— До первого числа я еще не нуждаюсь, но на следующий месяцы можете послать мне что-нибудь.Дайте мне ваш прейскурант.

Старик был очень смущен.

— Прейскурант? Разве у Вертгейма есть прейскурант?

— Конечно, есть. Умеренные цены и хороший товар. Совершенно свежий. Живой.

Юбиляр в ужасе вскочил и почти без сознания упал в объятия к своей жене.

— Старуха! — простонал он. — В е р т г е й м п о с т а в л я е т ж и в ы х!

В этот момент я услышал, что к дому подъехали дрожки. Я воспользовался смятением, выбежал из комнаты, схватил пальто и шляпу и ускользнул из дома. Быстро сбежал я вниз по каменной лестнице, пролез через калитку в стене и вскочил на извозчика.

— Кафе Secession! — сказал я ему.

Лошади тронулись. Я бросил назад беглый взгляд и увидел сбоку у двери маленькую белую вывеску. Я прищурил глаза, чтобы лучше видеть, и с некоторым трудом прочитал:

Якоб Лауренц.

Могильщик.

...Тысяча чертей! Юбиляр был могильщик.

* * *

Через несколько месяцев после отъезда Беккерса я тоже собрался съезжать из своей комнаты. Хозяйка помогала мне укладывать чемоданы и ящики. Я стал заколачивать гвоздями ящик с картинами, как вдруг рукоятка молотка сломалась.

— Ах, черт! — воскликнул я.

— У меня есть еще другой молоток, — сказала хозяйка, которая в это время артистически укладывала мои костюмы. — Погодите, я принесу.

— Оставайтесь. Я сбегаю сам. Где он у вас лежит?

— В кухонном столе, в выдвижном ящике. Но только в самом низу.

Я отправился в кухню. Ящик кухонного стола был битком набит нужными и ненужными предметами. Всевозможные инструменты, иголки, нитки, кнопки, двер-

ные ручки, ключи... Вдруг мне бросилась в глаза голубая ленточка с маленьким золотым медальоном. Неужели это был медальон Анни? Я открыл его; там была выцветшая маленькая фотография — портрет ее матери. Она всегда носила это единственное воспоминание об умершей на своей груди, как амулет.

— Я хочу взять его с собой в могилу, — сказала мне она однажды.

Я унес медальон с собой в комнату.

— Откуда вы его достали? — спросил я хозяйку.

— Это я нашла намедни, когда прибирала комнату господина Беккерса. Он лежал в маленькой комнатке в темном углу. Я хотела сохранить его для господина Беккерса: может быть, он снова приедет сюда.

— Я возьму его себе, — сказал я.

Я положил медальон в мой бумажник, и он лежал там в течение нескольких лет. А позднее я пожертвовал его в музей естествознания на улице Инвалидов. Это было совсем недавно — неделю тому назад.

Дело было так.

Я сидел в кафе Монополь и читал газеты. Вдруг в кафе влетел маленький Беерман из «Биржевого Курьера».

— Кофе по-венски, сударь? — спросил его кельнер.

— Кофе по-венски!

Он уселся за маленький столик и стал протирать пенсне. Затем надел его и огляну лся.

— А, это вы? — воскликнул он, заметив меня. — Фриц, подайте кофе на тот столик.

Он уселся ко мне, и кельнер подал ему кофе.

— Вы, венцы, ужасные люди. Ну как можно пить такую бурду?

— Вы находите? — промолвил он. — Я очень рад, что встретился с вами. Вы должны оказать мне большую услугу.

— Гм... — промычал я. — Я не имею сегодня вечером абсолютно никакого времени.

— И все-таки вы должны помочь мне. Непременно. Кроме вас, здесь сейчас нет никого, а я должен сейчас снова уйти.

— А в чем дело?

— Мне нужно быть на первом представлении в «Немецком театре». А между тем я вспомнил, что мне предстоит еще одно дело сегодня вечером, о котором

я совсем было позабыл.

— Что именно?

— Сегодня вечером профессор Келер делает в Музее естествознания доклад о новых египетских приобретениях этого музея. Очень интересная вещь. Весь Двор будет там сегодня.

— Чрезвычайно интересно.

— Не правда ли? Так сделайте мне такое одолжение, пойдите туда. Я буду вам очень благодарен.

— Мне надо подумать об этом... Впрочем, знаете что! Меня это вовсе не интересует.

— Пожалуйста! Это же самая последняя злоба дня. Все новые находки будут показаны публике. Я очень несчастен, что не могу попасть туда.

— Давайте устроимся так: вы пойдете в музей, а я в театр?

— Невозможно. К сожалению, совершенно невозможно! Я обещал моей кузине взять ее сегодня в театр.

— Что же вы раньше не сказали?

— Ну пожалуйста. Сделайте мне такое одолжение. Вы не будете сожалеть. Вы выведете меня из очень затруднительного положения.

— Но...

Он вскочил и бросил на стол мелочь.

— Фриц, получите за кофе. Вот вам билеты. Два. Вы можете еще кому-нибудь другому доставить удовольствие.

— Приятное удовольствие, нечего сказать... Я...

— Да, еще вот что: не забудьте ваш отчет о докладе сунуть в почтовый ящик еще сегодня же, чтобы я нашел его в редакции с первой же почтой. Очень благодарен. Готов служить вам всегда...

И он исчез.

Билеты лежали передо мной. О, небо! Я в самом деле должен был исполнить его просьбу: он так часто оказывал мне одолжение. Ужасный человек.

Я даже не пытался передать билеты кому-нибудь другому. Я прекрасно знал, что это не удастся.

Разумеется, я отправился в музей только тогда, когда уже три четверти доклада были прочитаны. Я подсел к одному из корреспондентов и попросил у него его заметки. Я узнал из них, что музей, благодаря царственной щедрости господ коммерции советников

Брокмюллера ("Яволь") и Лнлненталя ("Одоль"), получил счастливую возможность купить за огромную сумму все великолепные иаходкн, добытые в пирамидах Тогбао и Кума. Эти почти совершеиио разрушенные пнрамнды былн открыты одиим молодым исследователем в нескольких сотнях километров к югу от озера Чад, в стране Рабех, где молодой немецкнй ученый был в течеиие долгих лет плеииником. 22 апреля 1900 правитель этой страны был убит французами в бнтве прн Ламн, н голова его была доставлена нндийскнм стрелком во фраицузскнй лагерь. Сын убитого, Фадель-Аллах, бежал в страну Борну и захватил туда с собою н немецкого ученого. Там, в страие Борну, правнтельница этой страны, сестра Фадель-Аллаха, воинственная амазонка Хаиа, взяла молодого иемца себе в мужья. Когда затем 23 августа 1901 года аигличаие напали ночью под Даигевилем на туземиый лагерь, где иаходилнсь Фадель-Аллах и наш немец, н перебили сонных туземцев всех без остатка, — молодой учеиый наконец получил свободу. Он отправился к племени Сенусси, глава которого прннял его, как немца, весьма любезно и оказал ему всевозможные услугн, так как эти фаиатические мусульмаие, заключившие союз с иенавистинками французов, туарегами, совершенно нзменилн теперь свою полнтнку по отношеиию к Франции. С помощью этих людей иемецкому учеиому удалось сберечь найдениые им сокровища н переправить их через севериый Камерун на афрнканское побережье, а оттуда в Германию.

К сожалеиию, сам ученый ие присутствовал иа докладе: несколько недель спустя после своего прнбытня в Европу , он снова уехал в цеитральиую Африку.

Зато, слава Богу, здесь присутствовали оба коммерции советника. Оии оба сидели рядышком в первом ряду и так и раздувалнсь от славы и сознания, что оии участвовали в отыскаиии следов древне-египетской культуры на берегах озера Чад...

— Теперь я попрошу вас, — закончнл свой доклад профессор Келер, — подойти поближе и лнчио осмотреть иаши бесцеиные приобретеиия.

И он отдернул заиавес, за которым скрывались все эти сокровнща.

— Вероятно, вам небезызвестно, что в древием

Египте кошки считались священными животными, так же, как крокодилы, ибисы, кобчики и все те млекопитающие, которые были посвящены Пта, т.е. имели белое треугольное пятно на лбу. Вследствие этого все эти животные, подобно фараонам, верховным жрецам и знатным людям, подвергались после своей смерти бальзамированию. Почти во всех пирамидах встречаются мумии кошек. Наша находка в этом последнем отношении чрезвычайно богата — доказательство того, что египетские колонисты в области озера Чад происходили из кошачьего города Бубастис. Мы насчитываем не менее как двести шестьдесят восемь экземпляров этих реликвий из седого прошлого.

И профессор гордо указал на длинные ряды маленьких мумий, которые имели вид высохших грудных младенцев в пеленках.

— Далее вы видите, — продолжал он, — тридцать четыре человеческих мумии — великолепнейшие экземпляры, которые отныне несомненно послужат предметом зависти для всякого другого музея. А именно, эти мумии ничуть не походят на мемфисские — черные, высохшие и легко рассыпающиеся мумии, но имеют сходство с фиванскими — желтыми, отливающими матовым блеском. Можно поистине удивляться изумительному искусству древне-египетских бальзамировщиков. А теперь я перехожу к прекраснейшему перлу нашего богатого собрания, к лучшему украшению нашего музея: перед вами лежит настоящий тофар. Тофар-мумия или «тофар-невеста»...

Только три таких мумии знает современный свет: одна была пожертвована в 1834 году лордом Гэйтгорном в лондонский South-Kensington-Museum. Другая, по-видимому, супруга фараона Меревра, из шестой династии, жившего за 2500 лет до Рождества Христова, находится в обладании Гарвардского университета, будучи подарена последнему известным миллиардером Гуллем, который купил ее у хедива Тевфика за огромную сумму в восемьдесят тысяч долларов. Наконец, третий экземпляр имеется теперь в нашем музее, благодаря великодушной щедрости и высокому уважению и любви к науке господ коммерции советников Брокмюллера и Лилиенталя.

«Яволь» и «Одоль» сияли своими жирными физиономиями.

— «Тофар-мумия», — продолжал профессор, — является памятником одного своеобразнейшего и вместе с тем ужаснейшего обычая, какие только знает мировая история. Подобно тому, как в древней Индии существовал обычай, согласно которому вдова следовала за своим мертвым супругом на могильный костер и сгорала заживо, так в древнем Египте считалось знаком величайшей супружеской верности, если супруга скончавшегося следовала за ним в жилище вечного успокоения и обрекала себя на бальзамирование в живом виде... Я прошу вас принять во внимание то обстоятельство, что бальзамированию подвергались только трупы фараонов и знатнейших лиц; примите далее во внимание также то, что это неслыханное доказательство супружеской верности было добровольным, и, что таким образом, лишь немногие женщины решались на это, — и вы поймете, как невероятно редки такие мумии. Я утверждаю, что во всей египетской истории церемония подобного жертвоприношения совершалась всего лишь шесть раз. «Тофар-невеста», как ее называли египетские поэты, в сопровождении большой свиты спускались в подземный город мертвых и там поручала свое молодое тело ужасным бальзамировщикам. Эти последние проделывали с нею те же манипуляции, что и с трупами, но только с тем различием, что они совершали свою работу очень медленно — с тем расчетом, чтобы тело как можно дольше сохраняло свою жизнь. Способ и искусство бальзамирования египтяи нам еще мало известны. Мы знаем об этом лишь кое-что , почерпнутое из весьма скудных заметок Геродота и Диодора. Одно можно считать совершенно установленным: тофар-невеста превращалась в мумию в живом виде и с величайшими страданиями. Правда, для нее существовала некоторое слабое утешение: ее мумия не подвергалась засыханию. Ее тело оставалось таким же , каким оно было при жизни, и не теряло ни единой своей живой краски. Вы можете убедится в этом сами: можно подумать, что эта прекрасная женщина только что сейчас заснула.

С этими словами профессор отдернул отдернул шелковое покрывало.

— А!..-Ах!-А-а! — раздалось вокруг.

На мраморном столе лежала молодая женщина,

завернутая по грудь в тонкие полосы полотна. Плечи, руки и голова были свободны, черные локоны вились над ее лбом. Тонкие ногти маленьких рук были выкрашены, а на левой руке на третьем пальце было надето кольцо с изображением священного жука. Глаза были закрыты, черные ресницы тщательно удлинены подрисовкой.

Я подошел к ней вместе с другими совсем близко, чтобы получше рассмотреть...

Праведный Боже! Это была Анни!..

Я громко вскрикнул, но мой крик потонул в шуме толпы. Я хотел говорить, но я не мог пошевелить языком и в безмолвном ужасе смотрел на мертвую.

— Это тофар-невеста, — продолжал между тем профессор, — несомненно, никоим образом не феллахская девушка.Черты ее лица представляют собою явный тип индо-германской расы. Я подозреваю, что это — гречанка. И факт этот вдвойне интересен: он указывает нам на следы не только египетской, но и эллинской культуры на берегах озера Чад, в центральной Африке.

Кровь застучала у меня в висках. Я схватился за спинку стула, чтобы не упасть. В этот момент на плечо мне легла чья-то рука.

Я повернулся и увидел перед собой гладко выбритую физиономию... О, небо! Я все-таки сразу узнал его. Это был Фриц Беккерс.

Он взял меня за руку и вывел из толпы. Я последовал за ним почти безвольно.

— Я подам на вас жалобу прокурору, — прошипел я сквозь зубы.

— Вы не сделаете этого. Это было бы совершенно бесцельно, и вы только сами нажили бы себе неприятности. Я — никто. Абсолютно никто. Если вы всю землю просеете сквозь решето, вы и тогда не найдете Фрица Беккерса. Так назывался я только на Винтерфельдштрассе.

Он засмеялся , и его лицо приняло отвратительное выражение. Я не мог смотреть на него, отвернулся и стал глядеть на пол.

— А впрочем, — прошептал он мне на ухо, — разве не лучше так?.. Ведь вы поэт... Неужели ваша маленькая подруга не милее для вас в таком виде,

в снянин вечной красоты, чем прожранная червями на берлннском кладбище.

— Сатана! — бросил я ему в упор. — Гнусный сатана!

Я услышал за собой легкне удаляющиеся шаги. Я взглянул и увндел, как Фрнц Беккерс проскользнул в дверь и нсчез.

Профессор кончнл доклад. Раздались громкие рукоплескания. Его поздравляли, к нему тянулись для рукопожатия бесчнсленные руки. Точно так же были чествуемы и господа коммерции советники. Толпа стала теснпться к выходу. Ннкем незамеченный, я подошел к мертвой. Я вынул из кармана медальон с портретом ее матери и тихонько положил его на ее молодую грудь, под холщовую пелену. Затем я склонился над нею и тихо поцеловал ее между глаз.

— Прощай, милая маленькая подруга! — сказал я...

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ СТАНИСЛАВЫ Д'АСП

Isot ma ma mie, Isot ma drue,
En vous ma mort, en vous ma vie...

Нет сомнения в том, что Станислава д'Асп в теченне двух долгих лет самым ужасным образом обращалась с графом Виинценцом д'Оль-Оннвалем. Он неизменно каждый вечер сндел в партере, когда она пела свои сентнментальные песни, н чуть не ежемесячно переезжал вслед за нею из одного города в другой. Его розамн она кормила белых кроликов, с которыми выступала на эстраде, его бриллианты она закладывала, чтобы приглашать к себе своих коллег н вообще всех прихлебателей богемы. Однажды он вытащнл ее из канавы, в которую она свалилась, возвращаясь пьяная домой с одним маленьким журналистом. При этом она расхохоталась ему в лицо:

— В таком случае пойдемте вместе, по крайней мере вы нам посветнте.

Она не щадила его, и не было таких оскорблений, которымн она не осыпала бы его. Ругань, подчерпнутая в атмосфере вонючих притонов портовых городов, жесты — такие бесстыдные, что онн заставили бы покраснеть любого сутенера, сцены, занмствованные из

киг при помощи врожденного инстинкта развратницы — вот, что выпадало на долю графа, едва только он осмеливался приблизиться к ней.

Мелкие людишки варьете любили его, они бесконечно жалели этого несчастного шута. Правда, они принимали деньги, разбрасываемые развратницей, но тем глубже они презирали ее, эту проститутку, которая компрометировала их благородное артистическое сословие, искусство которой не стоило и выеденного яйца, и которая не имела за собой ничего кроме ослепительной красоты. Старший из «Five Hobson Brothers», Фриц Якобскеттер из Пирны, раз как-то разбил даже об ее голову бутылку из-под красного вина, так что ее белокурые волосы слиплись от крови.

И вот однажды вечером, когда она снова так охрипла, что не могла больше вызвать ни одного звука из своей пересохшей гортани, и когда театральный врач после короткого освидетельствования грубо объявил ей, что у нее чахотка в последнем градусе — что она, впрочем, уже давно сама знала — и что она месяца через два отправится к дьяволу, если будет продолжать такую жизнь, она велела позвать к себе в уборную графа. Когда он вошел, она плюнула в сторону и сказала ему, что теперь согласна сделаться его содержанкой. Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но она оттолкнула его и расхохоталась. Однако, этот короткий ядовитый смех вызвал раздражение в ее больных легких, и она вся согнулась от приступа удушливого кашля. Когда припадок прошел, она склонилась над туалетом, уставленным банками с румянами и пудрой, и со стоном вытерла рот шелковым платком. Граф нежно положил руку на ее белокурые локоны; тогда она вскочила:

— Так берите же меня!..— Она поднесла к самому его носу платок, пропитанный кровью и желтой мокротой. — Вот, милостивый государь, этого я еще достойна.

Вот какая была Станислава д'Асп. Однако, надо сознаться, что эта проститутка сейчас же превратилась в настоящую даму. Граф возил ее по всей Европе, из одной санатории в другую. Она повиновалась ему во всем и делала все, что предписывали ей доктора; при этом она никогда не жаловалась и не произносила ни одного слова возражения. Она не умерла; она жила

еще месяцы и годы, и здоровье ее понемногу восстанавливалось, очень медленно, но все-таки ей становилось все лучше и лучше. И все чаще и чаще взгляд ее останавливался на графе. Вместе с покоем, вместе с этой тихой, вечно однообразной жизнью в ее сердце зародилось чувство благодарности, которое все росло.

Когда они уезжали из Алжира, врач сказал, что можно надеяться на ее полное выздоровление. Граф отвернулся, но она все-таки заметила слезинку, скатившуюся по его щеке. И вдруг у нее явилось желание еще увеличить его радость, и она дотронулась до его руки. Она почувствовала, как трепещет все его тело, тогда она улыбнулась и сказала:

— Винценц, я хочу выздороветь для тебя.

В первый раз она сказала его имя, в первый раз она сказала ему «ты» и в первый раз она до него дотронулась. Он посмотрел на нее — и выбежал из комнаты, не владея больше собой. Но когда она посмотрела ему вслед, то на ее лице снова появилось выражение досады и горечи.

— Ах, если бы он только не плакал!

И все-таки ее благодарность и сострадание к нему все росли в ее сердце. К этому присоединялось чувство собственной виновности, сознание долга отплатить за эту великую любовь. Вместе с тем она проникалась мало-по-малу уважением к этому безграничному чувству, она восхищалась этой необыкновенной любовью, которая в одну секунду порождала так много, что этого могло хватить на целую человеческую жизнь. И вот она убедилась наконец в том, что для этой любви нет ничего невозможного, что на ее долю выпало чувство, такое великое, такое прекрасное, такое необыкновенное, какое проявляется только однажды в течение целых столетий. И позже, когда в ней зародилась любовь — и когда она полюбила — то она все-таки любила не его, а его великую любовь.

Этого она ему не говорила, она знала, что он не поймет ее, но она делала все, чтобы он был счастлив. И только единственный раз она сказала ему «нет».

Это было, когда он попросил ее стать его женой.

Однако, граф не сдавался, и борьба между ним и ею продолжалась целые месяцы. Наконец она сказала ему, что напишет его семье, если он не перестанет просить ее об этом. Тогда он сам написал своим родным

и сообщил им о своем обручении. Сперва к нему приехал двоюродный брат, потом дядя; оба они объявили, что она очаровательна и очень благоразумна, а он дурак. Граф расхохотался и сказал, что он все-таки поставит на своем. Тогда приехала к нему его старая мать, и тут Станислава д'Асп поставила свою самую крупную ставку. Чем она была, это хорошо знал граф, и он сам мог рассказать об этом своей матери. Но она показала свои бумаги и сказала, что ее зовут Леа Леви, и что она незаконнорожденная. К тому же она еврейка и останется еврейкой на всю жизнь. Да! И если после этого граф Винценц д'Оль-Онневаль, маркиз Роивальский, благочестивый сын одного из самых благородных христианских домов в Нормандии все-таки хочет жениться на ней, то пусть женится. Сказав это, она вышла из комнаты, оставив вдвоем сына и мать, вдовствующую графиню.

Она хорошо заранее обдумала свой поступок. Она хорошо знала графа, и знала, как глубока в нем его детская вера; она знала также, что он никогда не вставал с постели и не ложился спать, никогда не приступал к трапезе и не вставал из-за стола, не произнеся молитвы. О, он молился очень тихо, совсем незаметно, и ни один чужой человек не мог бы заметить этого. Ей было известно также и то, что он ходил к обедне и к причастию, и что все это он делал вследствие глубокого и искреннего чувства. Она хорошо знала, как он был привязан к своей матери, как он любил и почитал ее. Эта умная, старая женщина, конечно, заставит его внять голосу благоразумия, она еще раз скажет ему, как невозможен этот брак, в какое смешное положение он поставит себя перед своими людьми, и какой великий грех он совершит перед своей матерью и своей верой...

Она стояла у себя на балконе и ждала. Она хорошо знала каждое слово, которое должна была произносить мать, она сама повторяла все ее доводы. Она охотно присутствовала бы при этом разговоре, чтобы подсказывать матери, и чтобы та совершенно ясно и убедительно говорила с сыном и ничего не забыла. Да, целый океан невозможности лежит между нею и его любовью, и неужели же — неужели же он все-таки...

Вдруг у нее в голове пронеслась новая мысль. Быстро выбежала она из своей комнаты и направилась

в комнату графа. Она с силой распахнула дверь и вошла в кабинет, в котором уже начали сгущаться сумерки; она задыхалась и не находила слов. С минуту она стояла перед старой графиней, потом у нее вырвалось по складам резко и сухо:

— И мои дети — если у меня когда-нибудь будут дети — будут евреями, евреями, как и я сама.

Она не ждала ответа, она снова прибежала в свою комнату и тяжело упала на кровать. Ну, теперь, наконец, все кончено! О, конечно, он будет побежден на этот раз, он не устоит, этот большой, глупый мальчик, этот сентиментальный аристократ из другого мира, этот христианский брат милосердия с его верой и его любовью. И ею овладело чувство удовлетворения при мысли о том, что наконец-то она нашла железные врата, несокрушимые даже для этой великой, беспредельной любви, которую она всегда чувствовала, но никогда не могла как следует понять.

Она была уверена, что теперь ей придется покинуть его, что она уйдет, снова поступит в варьете или же просто бросится с Сортентской скалы — это одно и тоже. И в ней явилось чувство гордости и сознание своей мощи, когда она вспомнила, как в силу безотчетного инстинкта она когда-то оплевывала графа и осыпала его грязными словами словно пощечинами. Граф проиграл свою ставку, и она снова превратилась в проститутку, в жалкую, несчастную проститутку, и никакими силами небесными ее нельзя больше вырвать из всей этой грязи.

Но вот растворилась дверь. Она вскочила с постели, и на лице ее уже готова была появиться ее прежняя улыбка. С ее уст уже готовы были сорваться грязные слова, которые она давно уже забыла, и которые в эту минуту снова всплыли в ее памяти, о, она знала, как она встретит графа.

Но к ней вошла старая графиня. Тихо подошла она к молодой женщине, присела к ней на постель и привлекла ее к себе. Станислава слышала ее слова, но едва ли она понимала их. Ей казалось, что где-то в отдалении тихо играет орган. И эти звуки говорили ей, и она только чувством угадывала, что они означают.

Пусть она делает все, что ей заблагорассудится, все, все, что ей угодно. Пусть только она выйдет замуж за ее сына и сделает его счастливым. Она сама, его

мать, пришла просить за него. Ибо любовь его так велика.

Станислава встала и повторила:

— Ибо любовь его так велика.

Она позволила отвести себя к графу. Она позволила ему и его матери поцеловать себя. У нее было такое чувство, словно это было освобождением от чего-то тяжелого и выздоровлением. Выздоровлением тела и души. Ибо отныне жизнь ее была сосудом для драгоценного содержимого, для веры в его великую любовь.

Станислава вышла замуж за графа. Странную жизнь вели они за эти месяцы. Она не любила его, она хорошо сознавала это. Но ей казалось, что она тихо нежится перед камином на пушистых мягких шкурах, и ровное пламя нежно ласкает ее холодное тело. Она всегда чувствовала истому, такую сладкую истому; и его согревающая любовь погружала ее в дремоту, и она тихо улыбалась про себя; он думал, что теперь она счастлива. Но не счастье вызывало ее улыбку, а все та же мысль об этой непонятной любви, которая была беспредельна, как мир, и которая обвевала ее со всех сторон и окружала теплом и негой, словно лист, нежно поднятый полуденным ветерком. В это время в ней умерли все желания, заглохли все воспоминания о былом. А вера ее росла, и она проникла твердой уверенностью в том, что нет на свете ничего, чего бы не совершила ради нее его любовь.

Время от времени — о, лишь очень редко — она стучалась в эту необыкновенную любовь, в эту таинственную силу, для которой ничего не было невозможного. На скачках в Отейле она поставила несколько золотых монет на одну плохую лошадь.

— Не ставь на нее, — сказал граф, — она ничего не стоит.

Станислава посмотрела на него, она посмотрела ему прямо в глаза долгим взглядом:

— Но, не правда ли, Винценц, она все-таки выиграет? — Мне так хотелось бы, чтобы она выиграла.

Когда начались скачки, она не смотрела на лошадей, она не сводила глаз с графа и видела, как он сложил руки, и как его губы тихо шевелились. Она поняла, что он молится. И когда выяснилось, что любимцы публики все остались за флагом, а жалкая лошадь, на которую все смотрели с презрением, пришла

первой, — она приписала это его молитве и силе его великой любви.

Но вот настало время, когда на ее жизненном пути появился Ян Ольеслагерс. Это был друг графа еще со школьной скамьи, который с тех пор так и остался его другом. Он вечно странствовал по всему свету, и никогда никто не знал, где он находится. Но время от времени от него приходила совершенно неожиданно открытка из Кохинхины, из Парагвая или из Родезии. Теперь он находился в Европе, и граф пригласил его в свой замок в Ронваль.

Все произошло необыкновенно быстро. Фламандцу понравилась эта женщина, а он привык брать все, что ему нравится. Впоследствии, гораздо позже, кто-то упрекнул его в том, что он отнял у своего друга жену, которую он даже и не любил. Он ответил на это:

— Да, он был моим другом, но разве это помешало ему быть ослом? А затем: неужели одна только женщина целовала мои губы? Отчего же только один мужчина должен владеть ею?

Он взял Станиславу, как брал у графа лошадь для верховой езды, велосипед, как он ел его хлеб и пил его вина. То, что он сделал, вышло само собой и без особого интереса с его стороны. И, в сущности, было так же естественно, что эта женщина отдалась ему сразу, без колебания, без сопротивления.

Но она отдалась ему не потому, что в ней хотя бы на мгновение проснулась старая проститутка. Ян Ольеслагерс покорил графиню д'Оль-Ониваль, а не Лею Леви. Последняя вряд ли обратила бы на него внимание и наверное не влюбилась бы в него, тогда как графиня прониклась к нему самой пламенной любовью. И не потому, что он был прекрасным наездником — граф ездил верхом гораздо лучше его. Но, сидя верхом на лошади, фламандец превращался совсем в другого человека, — о, в ее глазах он был совсем не таким, каким был за минуту до этого! Граф был всегда один и тот же, на охоте ли, или за карточным столом. А этот человек всегда был другим, что бы он ни делал. Все для него было игрой, и всегда он играл одинаково хорошо. Не было ничего на свете, что он принимал бы серьезно; его все интересовало, но , в сущности, он, по-видимому, находил, что ничто не достойно интереса, за исключением одного: его са-

мого и того, что он живет. Для него это было центром всего, и этот единственный инстинкт настолько укоренился в нем и был так силен, что он на все окружающее переносил свое «я».

Быть может, в этом и крылась причина его победы. Когда он был далеко, то его быстро забывали, но в его присутствии нельзя было устоять против него — тогда он был властелином.

Станислава д'Асп нашла в нем новый, более широкий мир. Мир, полный загадок и таинственности, полный замкнутых дверей и калиток, которые ему, по-видимому, и в голову не приходило раскрывать. В графе все было ясно и просто; в его душевном мире она вращалась так же свободно, как в тихом парке замка. Она знала каждую клумбу и каждый розовый куст, но лучше всего она знала тот могучий дуб, который не в силах была бы вырвать самая сильная буря, и который стоял гордо и непоколебимо: его великую любовь. А душа другого была для нее заколдованным лабиринтом. Она выбирала одну дорогу, которая казалась ей гораздо прекраснее дорог во дворцовом парке. Ей казалось, что дорога эта ведет в бесконечную даль, а между тем, стоило сделать лишь несколько шагов, как оказывалось, что путь прегражден непроходимой живой колючей изгородью. Она сворачивала в сторону на другую дорожку, но тут ей не позволяло идти дальше какое-нибудь странное животное. И она блуждала, как впотьмах, в удушливой атмосфере, которая возбуждала ее дремавшие чувства...

Что же касается фламандца, то он ничего не искал у этой женщины, ничего от нее не добивался. Однажды вечером, во время ужина, он сказал, что провел несколько восхитительных недель в этом тихом замке, и что он от всего сердца благодарен своему другу и любезной графине, но что теперь, ему пора уезжать снова в широкий свет, и что завтра он отправляется в Бомбей. Все это он сказал небрежным тоном, как бы между прочим, но в действительности все было так, как он говорил. Граф старался уговорить его остаться подольше, но графиня не произнесла ни слова. Когда они встали из-за стола, и граф отдал слугам приказание все приготовить на следующее утро к отъезду его друга, графиня попросила гостя последовать

за нею в сад.

Там она сказала ему, что поедет вместе с ним. Ян Ольеслагерс приготовился к той или другой сцене, но этого никак не ожидал. А потому он на мгновение потерял обычное самообладание и, стараясь найти слова, которые хоть бы сколько-нибудь походили на доводы благоразумия, сказал нечто такое, что он, может быть, не сказал бы при других обстоятельствах. У него не хватило духу сказать ей, что он не желает, чтобы она сопровождала его, что он не питает к ней никакого чувства, и что в большом замке его воспоминаний она занимает лишь маленькую каморку, что она не более как цветок, который он сорвал мимоходом и воткнул в петлицу дневного костюма, чтобы бросить его, переодеваясь к вечеру. И вот ему пришел наконец в голову единственный правдоподобный довод, который он мог привести графине. Он начал с того, что сказал с некоторым чувством, что долго боролся, и что сердце его разрывается на части. Но к несчастью, он слишком привык к широкой жизни и хорошо знает, что он уже не в силах изменить своим привычкам. Состояния его однако едва хватает на него одного и далеко не соответствовало бы потребностям графини. Оба они до такой степени привыкли к роскоши и комфорту, что малейшее лишение... И в конце концов им все-таки пришлось бы расстаться, а потому-то он и решил уехать теперь, чтобы позже не делать разлуку еще тяжелее...

Как и всегда, он в эту минуту верил сам тому, что говорил, и он был убежден в том, что графиня верит каждому его слову. Она молчала, и он нежно обнял ее, его верхняя губа слегка дрогнула, еще несколько слов: не надо плакать... злой рок... возможное свидание... вздох и слезы... — и все обойдется.

Но графиня удивила его. Она выпрямилась во весь рост, посмотрела открытым взглядом прямо в его глаза и сказала спокойно:

— Винценц даст нам все, что нам необходимо.

Он не мог произнести ни слова, он с изумлением смотрел на нее и наконец пробормотал едва внятно:

— Что? Ты с ума...

Но она его больше не слушала, она медленно пошла к замку. И она была так уверена в своей удаче, так непоколебимо верила во всемогущую любовь графа,

который должен был принести ей и эту жертву, самую большую из всех, — что она сказала, с улыбкой оборачиваясь к фламандцу с высокой лестницы:

— Подожди здесь минутку.

В ее последнем жесте было столько царственного величия, что Ян Ольеслагерс готов был снова признать эту женщину обворожительной. Он ходил взад и вперед по дорожкам парка, залитым лунным светом, и смотрел на замок, стараясь найти хоть одно освещенное окно. Но ни в одном окне не было света. Он подошел ближе к замку, надеясь услышать хоть какие-нибудь голоса, крик или истерические рыдания. Но он ничего не услыхал. Ни на минуту ему в голову не пришла мысль войти в замок, — он питал инстинктивное отвращение ко всему неприятному. Он только обдумывал, что ему предпринять, чтобы отделаться от этой женщины, если бы графом овладело безумие, и он отдал бы ему ее вместе с приданым. Как отделаться от нее, не будучи грубым и резким? Раза два он расхохотался, — он сознавал весь комизм этой глупой истории. Однако и этот комизм показался ему в конце концов слишком ничтожным для того, чтобы им наслаждаться. Ему стало скучно; взвесив все и не придя ни к какому заключению, он потерял интерес к этому вопросу. Побродив по тихому парку несколько часов, он совершенно успокоился, и ему стало казаться, что все это ничуть не касается его. Что все это произошло в незапамятные времена, или что все это случилось с кем-то другим, а не с ним. Он начал зевать и наконец вошел в замок и направился в свою комнату через длинные коридоры и лестницы. Здесь он разделся, тихо просвистал уличную песенку и улегся в постель.

Рано утром его разбудил камердинер и, сказав, что автомобиль ждет его, помог ему уложить вещи. Ян Ольеслагерс не спросил про господ, но он сел писать письмо графу. Он написал подряд три письма — но разорвал все. Когда автомобиль с пыхтением выехал из ворот парка и понесся по дороге в утреннем тумане, он со вздохом облегчения воскликнул:

— Слава Богу!

* * *

Он уехал в Индию. На этот раз он не посылал больше открыток. Через полтора года он получил одно

письмо, которое долго путешествовало вслед за ним. Письмо было адресовано ему в Париж, и адрес был написан рукою графа; в конверте было только напечатанное извещение о смерти графини. Ян Ольеслагерс сейчас же ответил; он написал красноречивое, умное письмо, которым остался очень доволен. Он ничем не выдал себя в этом письме, но вместе с тем был искренен и чистосердечен. Одним словом, это было письмо, которое должно было произвести впечатление на того, кому оно предназначалось. Однако на это письмо он не получил ответа. Только год спустя, когда он снова очутился в Париже, он получил второе письмо от графа.

Письмо было очень короткое, но сердечное и теплое, как в былые времена. Граф просил его именем их старой дружбы при первой же возможности приехать к нему в Ронваль. Эта просьба была в связи с последней волей графини.

Ян Ольеслагерс был неприятно поражен: от такого путешествия он не мог ожидать ничего хорошего. Его ничуть не интересовала развязка этой семейной драмы, к которой он уже давно не имел никакого отношения. Но он уступил просьбе графа только в силу действительно сохранившегося в нем чувства дружбы.

Граф не встретил его на вокзале. Но слуга, который приехал за ним и привез его в замок, попросил его пройти в библиотеку, где его ожидал граф. Ян Ольеслагерс заключил по этому приему, что на этот раз пребывание в замке друга едва ли доставит ему удовольствие. Он не пошел сейчас же к графу, а пошел в приготовленную ему комнату, говоря себе, что все неприятное лучше узнавать как можно позже. Потом он принял ванну, медленно переоделся и, почувствовав голод, велел подать себе в комнату чего-нибудь поесть. Был уже поздний вечер, когда он со вздохом решил наконец пойти поздороваться со своим другом.

Он нашел его в библиотеке у камина; граф сидел без книги, без газеты, а между тем, по-видимому, он уже долго сидел так — перед ним стояла пепельница, переполненная папиросными окурками.

— А, наконец-то ты пришел, — сказал он тихо. — Я уже давно тебя жду. Хочешь чего-нибудь выпить?

Это приветствие показалось фламандцу малосимпатичным. Однако он чокнулся с другом. Три — четыре

стакана крепкого бургундского, и он снова приобрел обычную уверенность. Он пускал клубы табачного дыма в огонь и чувствовал себя прекрасно в мягком глубоком кресле. В голосе его была даже некоторая снисходительность, когда он сказал:

— Ну, теперь рассказывай.

Однако он сейчас же раскаялся в своем грубом тоне, и его даже охватило чувство сострадания, когда он услышал неуверенные слова:

— Извини... но не расскажешь ли ты мне сперва.

Тут Ян Ольеслагерс был близок к тому, чтобы сделаться сентиментальным и покаяться — mea culpa.

Однако граф избавил его от этого. Едва его друг пробормотал первое слово, как он его прервал:

— Нет, нет. Извини, я не хочу мучить тебя. Ведь Станислава все рассказала мне.

Фламандец повторил несколько неуверенно:

— Она тебе все рассказала?

— Да, конечно, в тот вечер, когда она рассталась с тобой в парке. Впрочем — все это я сам давно уже должен был сказать тебе. Было бы чудо, если бы ты не полюбил ее.

Друг сделал легкое движение в своем кресле.

— Не говори ничего... А что она полюбила тебя — то это так же естественно. Итак, я виновен во всем: я не должен был тогда приглашать тебя сюда. Я сделал вас обоих несчастными. — И себя также. — Прости мне!

На душе у фламандца стало очень нехорошо. Он бросил в огонь только что закуренную папироску и закурил другую.

— Станислава сказала мне, что вы друг друга любите. Она просила у меня дать вам средства, которых у тебя не было. Разве это не было прекрасно с ее стороны?

Фламандец проглотил слова, которые готовы были сорваться у него с губ. Он с усилием произнес только:

— Господи...

— Но я не мог этого сделать. Да вначале я и не понял как следует, насколько велико и сильно было ее желание. Я отказал ей и позволил тебе уехать. Каким несчастным ты должен был чувствовать себя, мой бедный друг, — можешь ли ты простить мне? Я знаю, как можно было страдать по ней, как можно

было любить эту женщину.

Ян Ольеслагерс наклонился вперед, взял щипцы и стал мешать ими в камине. Его роль в этой комедии была невыносима, и он решил положить этому конец. Он сказал резко:

— Черт возьми, и я это знаю.

Однако граф продолжал все в том же тихом, скорбном тоне:

— Верю, что ты это знаешь. Но я не мог, не мог отпустить ее. У меня не хватило сил на это. Можешь ли ты простить мне?

Ян Ольеслагерс вскочил с кресла и резко крикнул ему прямо в лицо:

— Если ты сейчас же не перестанешь дурачиться, то я уйду!

Но граф схватил его за руки:

— Прости, я не буду тебя больше мучить. Я хотел только...

Тут только Ян Ольеслагерс увидел, что его друг одержимый, и он уступил ему. Он крепко пожал ему в ответ руку и сказал со вздохом:

— Во имя Господа, я прощаю тебя!

Тот ответил ему:

— Благодарю тебя.

После этого оба замолчали.

Немного погодя граф встал, взял с одного стола большую фотографию в раме и протянул ее своему другу:

— Вот это для тебя.

Это был портрет графини на смертном одре. У изголовья стояли два великолепных канделябра из черного серебра, подарок Людовика XIII одному из предков графа. Черная гирлянда, висевшая между колонками кровати, бросала легкую тень на лицо покойницы. Быть может, благодаря этой тени получалось впечатление, будто лежит живая. Правда, глаза были закрыты, черты лица застыли, и выражение не соответствовало дремлющему человеку. Но полуоткрытые губы улыбались странно и насмешливо...

Кружевная сорочка была застегнута до самого ворота, широкие рукава ее ниспадали до самых пальцев. Длинные узкие руки были сложены на груди, и прозрачные пальцы сжимали Распятие из слоновой кости.

— Она приняла католичество? — спросил фла-

мандец.

— Да, в последние дни она обратилась, — подтвердил граф. — Но, знаешь ли, — продолжал он тихо, — мне кажется, она сделала это, чтобы придать еще больше силы моей клятве.

— Какой клятве?

— Накануне смерти она заставила меня поклясться, что я буквально исполню ее последнюю волю. В этой воле нет ничего особенного, дело касается только ее погребения в часовне замка; она это сказала мне тогда же, хотя ее завещание я вскрою только сегодня.

— Так она, значит, еще не похоронена?

— О, нет! Разве ты никогда не бывал в нашей часовне в парке? Почти все мои предки были сперва похоронены на маленьком кладбище, среди которого стоит часовня. И только по прошествии нескольких лет останки их вырывали из могил, клали в урны из обожженной глины и ставили урны в часовню. Существует такой нормандский обычай, который, как говорят хроники, происходит со времен Роже Рыжего. Я думаю, что этот обычай установился в силу необходимости, так как едва ли хоть один из этих искателей приключений умирал дома. И вот товарищи умершего приносили домой его останки вдове. В нашей часовне покоятся кости Филиппа, который пал под Яффой, и Отодорна, которого называли Провансальцем, потому что мать его была графиней Оранской. Король Гаральд нанес ему поражение при Гастингсе. Там покоится также прах Ришара Батара, которого кальвинист Генрих казнил, потому что он на двадцать лет раньше попытался нанести удар кинжалом, более удачно нанесенный впоследствии Равальяком. Ночью его родной отец сам снял искалеченное тело сына с колеса, и впоследствии, когда король принял католичество и совершал свой торжественный въезд в Париж, отец, в виде искупления за ужасную смерть сына, получил графства Ла-Мотт и Круа-о-Бальи. Все мои предки покоятся там, как мужчины, так и женщины, все без исключения. И, конечно, туда я поставил бы также и останки Станиславы, не дожидаясь, чтобы она сама попросила об этом. Но она не доверяла мне после того, как это случилось, она думала, быть может, я откажу ей в этой чести. Вот почему она заставила меня поклясться.

— Она не доверяла тебе?

— Да, до такой степени, что мое обещание и моя клятва не показались ей достаточными. Во время своей болезни она мучительно ворочалась на подушках, тяжело вздыхала и часто скрипела зубами. Но вот однажды она вдруг попросила меня позвать священника. Я послал за ним, и она с нетерпением ждала его прихода. Когда он наконец пришел, то она спросила его, какая клятва считается для христиан наиболее священной;он ответил: «Клятва, произнесенная над Распятием». Потом она спросила его, разрешает ли Церковь от клятвы, данной неверующему. Старый деревенский священник пришел в смущение: он не знал, что ответить, и наконец сказал, что каждая клятва священна, но что, может быть, церковь при известных обстоятельствах... Тут графиня ухватилась за него обеими руками, приподнялась с постели и воскликнула:

— Я хочу сделаться христианкой!

Священник колебался и ответил не сразу. Но графиня была настойчива,не отставала от него и крикнула ему:

— Разве вы не слышите? Я хочу сделаться христианкой!

Рассказывая все это, граф ни разу не поднял голоса, но он задыхался, и на лбу у него выступили капельки пота. Он взял стакан, который ему протягивал его друг и осушил его. Потом он продолжал:

— Священник стал наставлять ее, тихо и ласково, но в немногих словах. Он рассказал ей о сущности нашей веры, стараясь не слишком утомлять умирающую. После этого он крестил и причастил ее. Когда обряд был окончен, она еще раз взяла за руку священника. Голос ее был такой кроткий и счастливый, как у ангела; она сказала ему:

— Прошу вас, подарите мне это Распятие.

Священник дал ей Распятие, и она крепко охватила его обеими руками.

— Скажите, — продолжала она, обращаясь к священнику, — если христианин поклянется в чем-нибудь на этом Распятии, то ведь он должен сдержать клятву?

— Да!

— Нерушимо?

— Нерушимо...

Она тяжело опустилась на подушки.

— Благодарю вас. — Денег у меня нет, но я даю вам все мои драгоценности. Продайте их, а деньги раздайте бедным.

В этот вечер она не произнесла больше ни слова. Но утром она знаками подозвала меня к постели. Она сказала мне, что ее последняя воля находится в запечатанном конверте в ее портфеле. Я должен вскрыть его только три года спустя и в твоем присутствии.

— В моем присутствии?

— Да. Она заставила меня опуститься на колени и потребовала, чтобы я еще раз поклялся ей в точности исполнить ее последнюю волю. Я уверил ее, что сдержу клятву, данную ей накануне, ио она не удовлетворилась этим. Она заставила меня поднять правую руку, а левую положить на Распятие, которое оиа не выпускала из рук; медленно произиосила она слова, которые я повторял за нею. Таким образом, я поклялся ей два раза.

— И тогда она умерла?

— Да, вскоре после этого. Священник еще раз пришел к ней и напутствовал ее. Но я не знаю, слышала ли она его на этот раз. Только, когда он заговорил о воскресении мертвых и о том, что она увидится со мной, она слегка повернула голову и сказала: «Да, верьте этому, меня он наверное еще увидит». Это были ее последние слова. Говоря это, оиа тихо улыбнулась; и эта улыбка осталась у нее на лице после того, как она заснула вечным сном.

Граф встал и направился к двери.

— Теперь я принесу ее завещание.

Ян Ольеслагерс посмотрел ему вслед.

— Бедняга,- пробормотал он,- воображаю, какая чертовщина в этом завещании. — Он взял графии с вином и наполнил оба стакана.

Граф принес кожаный портфель и отпер его ключиком. Он вынул небольшой конверт и протянул его другу.

— Я? — спросил он.

— Да. Графиия выразила желаиие, чтобы ты вскрыл его.

Фламандец колебался одно мгновение, потом сломал печать. Разорвав конверт, он вынул лиловую бумагу и громко прочел несколько строк, написанных твердым прямым почерком:

«Последняя воля Станиславы д'Асп.

Я желаю, чтобы то, что останется от меня три года спустя после моего погребения , было вынуто из гроба и переложено в урну в дворцовой часовне. При этом не должно быть никакого торжества, и, за исключением садовника, должны присутствовать только граф Винценц д'Оль-Ониваль и его друг, господин Ян Ольеслагерс. Вынуть останки из могилы должно после полудня, пока светит солнце, и до заката солнца останки мои должны быть положены в урну и отнесены в капеллу. Пусть это будет воспоминанием о великой любви ко мне графа.

Замок Ронваль, 25. YI. 04.

Станислава, графиня д'Оль-Ониваль."

Фламандец протянул листок графу:

— Вот — это все.

— Я это хорошо знал; так и она мне говорила. А ты разве думал, что тут могло быть что-нибудь другое?

Ян Ольеслагерс стал ходить большими шагами взад и вперед.

— Откровенно говоря — да! Разве ты не говорил, что этот обычай хоронить членов вашей семьи всегда применяется оставшимися в живых родственниками?

— Да.

— И что ты во всяком случае оказал бы эту честь Станиславе?

— Безусловно!

— Но почему же тогда, скажи ради Бога, заставила она тебя дважды поклясться в том, что подразумевается само собою,- да еще так торжественно поклясться?

Граф взял в руки фотографию графини и долго долго смотрел на нее.

— Это моя вина, — сказал он, — моя великая вина. Иди, сядь здесь, я все объясню тебе. Вот видишь, графиня верила в мою любовь к ней. И когда эта любовь в первый раз обманула ее ожидания, то для нее это было то же самое, что упасть в бездну. Когда я ей отказал в том, о чем она просила меня в ту ночь, то она не хотела верить мне, она думала, что я шучу. Так она была уверена, что в силу моей любви к ней я исполню то, о чем она меня просила. И когда она увидала мою слабость, когда она убедилась в том, что я не отпущу ее, когда она потеряла то единственное, во что верила, тогда в ней произошла стран-

ная перемена. Казалось, что я лишил ее жизнь содержания. Она начала медленно чахнуть, она таяла как тень во время заката солнца.

Так, по крайней мере, я все это понимал.

В течение нескольких месяцев она не покидала своей комнаты. Она сидела на балконе, молча, мечтательно взирая на верхушки высоких деревьев. За все это время она почти не разговаривала со мной. Она ни на что не жаловалась, казалось, она изо дня в день раздумывает только о какой-то тайне. Раз как-то я застал ее в библиотеке, она лежала на полу и усердно перелистывала всевозможные книги, как бы ища чего-то. Но я не видел, какие книги она рассматривала, она попросила меня выйти. Потом я заметил, что она стала много писать, она писала каждый день по два, по три письма. Вскоре после этого со всех сторон на ее имя стали приходить пакеты. Все это были книги, но какого рода — я не знаю, она сожгла их перед своей смертью. Знаю только, что все эти книги имели отношение к токсикологии. Она усердно изучала их; целые ночи напролет я бегал по парку и смотрел на матовый свет в ее окне. Потом она снова стала писать письма, и тогда на ее имя стали приходить странные посылки, обозначаемые как пробы. На них были обозначены имена отправителей: Мерка в Дармштадте и Хейсера в Цюрихе и других известных фирм, торгующих ядами. Мне стало страшно, я подумал, что она хочет отравиться. Я собрался с духом и спросил ее об этом. Она засмеялась.

— Умереть? Нет, это не для смерти, это только для того, чтобы мне лучше сохраниться!

— Я чувствовал, что она говорит правду, и все-таки ее ответ не успокоил меня. Два раза приходили пакеты, которые необходимо было взять в таможне; я спросил ее, нельзя ли мне самому их получить. Я думал,что она откажет мне в этом, однако она ответила мне небрежно: «Почему же нет? Возьми их!» В одном пакете, который издавал сильный, хотя и не неприятный запах, оказался экстракт горького миндаля, в другом, присланном из Праги, я увидал блестящую пасту, так называемую «фарфоровую». Я знал, что она употребляла эту глазурь; в течение нескольких месяцев она по нескольку часов в день проводила за наведением на лицо этой эмали. И наверное только благодаря

этой удивительной эмали, вопреки разрушительному действию все прогрессирующей болезии, ее лицо до самого конца сохранило свою красоту. Правда, черты стали неподвижиыми и напоминали маску, но они оставались такими же прекрасными и чистыми до самой смерти. Вот посмотри сам, смерть была бессильна изменить ее!

Он снова протянул своему другу фотографию графнни.

Мне кажется, что все это служит доказательством того, иасколько она порвала все с этим миром. Ничто ие интересовало ее больше, и даже о тебе — прости — оиа никогда не упомннала ни единым словом. Только ее собственное прекрасное тело, которому, она зиала, суждеио скоро разрушиться, казалось ей еще достойным интереса. Да и на меня оиа едва обращала внимание после того, как угасла ее вера в силу моей любвн; а иногда мне казалось даже, что в ее взоре появляется огоиь непримиримой ненавистн, более ужасный, более страшиый, чем то беспредельное презренне, с которым она раньше обращалась со мной. Можно ли удивляться после этого, что она мие не доверяла? Кто теряет веру хотя бы в одного святого, вскоре будет отрекаться от Распятого и от Пресвятой Девы! — Вот почему, я думаю, она заставнла меня дать эту странную клятву!

Одиако Ян Ольеслагерс не удовлетворился этим объяснением.

— Все это хорошо, — сказал он, — это служит лишь доказательством твоей любви. Но это ничуть не объясняет странное желание графини быть непременно похороиенной в часовне замка.

— Но ведь она была графиней д'Оль-Оннваль.

* * *

— Ах, полио, она была Леа Леви, которая называла себя Станиславой д'Асп! И чтобы я после этого поверил, что ею вдруг овладело такое страстное желание покоиться в урне средн твоих предков!

— Одиако ты сам виднщь, что это так и есть, а не иначе!

Фламандец снова взял завещание и стал рассматривать его со всех сторон. Он прочел его еще и еще раз, однако не мог найти в нем ннчего особенного.

— Ну, что же делать, — сказал он, — я тут ничего не понимаю.

* * *

Ян Ольеслагерс должен был ждать четыре дня в Ронвальском замке. Каждый день он приставал к графу, чтобы тот исполнил наконец волю покойной.

— Но этого нельзя, — говорил граф, — ведь ты видишь, какое облачное небо сегодня.

Каждая буква завещания была для него строгим законом.

Наконец после полудня на пятый день небо очистилось от облаков. Фламандец снова напомнил графу о том, что пора исполнить волю умершей, и граф сделал необходимые распоряжения. Никто из слуг не должен был покидать замка, только старый садовник и два его помощника получили приказание взять с собой заступы и пойти с графом.

Они прошли через парк и обошли тихий пруд. Яркие лучи парка падали на черную черепицу часовни, играли в листве белоствольных берез и отбрасывали трепещущие тени на гладкие песчаные дорожки. Все вошли в открытую дверь часовни, граф слегка помочил пальцы в святой воде и перекрестился. Слуги подняли одну из тяжелых каменных плит и спустились в склеп. Там рядами стояли по обеим сторонам большие красные урны с гербами графов д'Оль-Ониваль. Они были закрыты высокими коронами, и на горлышке каждой урны висела на серебряной цепочке тяжелая медная дощечка с именем и датами покойного.

Позади этих урн стояло несколько пустых. Граф молча указал на одну из них, и люди взяли ее и вынесли из склепа.

Все вышли из часовни и пошли между могилами, над которыми свешивались ветви плакучих берез. Там было около дюжины тяжелых надгробных плит с именами верных слуг графов д'Оль-Ониваль, покой которых даже после их смерти тщательно охранялся. Но над могилой графини не было камня; она была только вся сплошь покрыта сотнями темно-красных роз.

Работники осторожно принялись за дело. Глубоко погружая заступы в землю, они сняли весь верхний слой и вместе с корнями роз отложили его в сторону, где стояла урна. Фламандцу показалось, что они со-

драли с могилы живую кожу, а красные розы, падавшие на землю, показались ему каплями крови.

Могила была покрыта только черной землей, и работники начали разрывать ее.

Ян Ольеслагерс взял графа за руку:

— Пойдем, походим, пока они работают.

Но граф отрицательно покачал головой, он не хотел ни на одно мгновение отходить от могилы. Его друг ушел один. Он стал медленно ходить вдоль берега пруда, время от времени снова возвращаясь под березы. Ему казалось, что садовники работают необыкновенно медленно, минуты еле ползли. Он пошел в плодовый сад, сорвал несколько ягод смородины и крыжовника, потом стал искать на грядках запоздавшей клубники.

Когда он вернулся к могиле, то увидел, что двое работников по плечи стоят в ней; теперь дело шло быстрее. Он увидел у них в ногах гроб, они снимали с него руками последние остатки сырой земли. Это был черный гроб с богатыми серебряными украшениями, но серебро давно уже почернело, а дерево превратилось в липкую труху вследствие теплого и сырого грунта. Граф вынул из кармана большой белый шелковый платок и дал его старому садовнику: в него он должен был собрать все кости.

Двое работников, стоя в глубине могилы, начали отвинчивать крышку гроба, раздался режущий ухо скрип. Однако большая часть винтов свободно выходила из сгнившего дерева, их можно было вынуть пальцами. Вынув винты, работники слегка приподняли крышку, подвели под нее веревки и перевязали ее. Один из них вылез из могилы и помог старому садовнику поднять из могилы крышку.

По знаку графа старый садовник снял белый покров с тела покойницы, и еще один маленький платок, который закрывал только голову.

В гробу лежала Станислава д'Асп — и она была совсем такая же, какая была, когда лежала на своем смертном одре.

Длинная сорочка, которая покрывала все тело, вся отсырела, и на ней были черные и ржавые пятна. Но сложенные на груди руки были словно вылиты из воска и крепко сжимали Распятие. Она не производила впечатления живой, но ее смело можно было принять

за спящую — во всяком случае выражение ее лица не напоминало мертвое. Скорее она походила на восковую куклу, сделанную искусной рукой художника. Ее губы не дышали, но они улыбались. И они были розоватые, как и щеки и кончики ушей, в которых были большие жемчужины.

Но жемчужины были мертвые.

Граф прислонился к стволу березы, потом он тяжело опустился на высокую кучу свежевырытой земли. Что касается Яна Ольеслагерса, то он одним прыжком очутился в могиле. Он низко склонился и слегка ударил ногтем по щеке покойницы. Раздался едва слышный звук, как если бы он дотронулся до севрского фарфора.

— Выйди оттуда, — сказал граф, — что ты там делаешь?

— Я только констатировал, что пражская фарфоровая глазурь твоей жены прекраснейшее средство, надо его рекомендовать каждой кокетке, которая в восемьдесят лет еще хочет изображать из себя Нинон!

В голосе его звучали грубые и даже злобные ноты.

Граф вскочил, вплотную подошел к краю могилы и крикнул:

— Я запрещаю тебе говорить так! — Неужели ты не видишь, что эта женщина делала это для меня? А также для тебя — для нас обоих! Она хотела, чтобы мы увидели ее еще раз неизменно прекрасной и после смерти!

Фламандец закусил губы. У него готовы были вырваться резкие слова, но он сдержался. Он только сказал сухо:

— Хорошо, теперь мы ее видели. — Заройте же могилу, вы там.

Но граф остановил его:

— Что с тобой? Разве ты забыл, что мы должны переложить ее останки в урну?

— Эта женщина не заслуживает того, чтобы покоиться в часовне графов д'Оль-Онваль.

Он говорил спокойно, но вызывающим тоном, с ударением на каждом слове.

Граф был вне себя:

— И это говоришь ты, — ты у могилы этой женщины? Этой женщины, любовь которой вышла за пределы могилы...

— Ее любовь? — Ее ненависть!

— Ее любовь — повторяю я. Это была святая...

Тогда фламандец громко крикнул графу прямо в лицо:

— Она была самой отвратительной проституткой во всей Франции!

Граф пронзительно вскрикнул, схватил заступ и замахнулся им. Но он не успел опустить его, так как его удержали садовники.

— Пустите! — рычал он,- пустите!

Но фламандец не потерял самообладания:

— Подожди еще мгновение и тогда ты можешь убить меня, если только тебе этого хочется.

Он нагнулся, расстегнул ворот сорочки и сорвал ее с покойницы.

— Вот, Винценц, теперь смотри сам.

Граф с восхищением смотрел в могилу. Он увидел прекрасные очертания голых рук и изящную линию шеи. А губы улыбались, улыбались без конца.

Граф опустился на колени на краю могилы, сложил руки и закрыл глаза.

— Великий Боже, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне еще раз полюбоваться ею.

Ян Ольеслагерс снова набросил на тело покойницы покров. Он вышел из могилы и положил руку на плечо друга.

— Пойдем, Винценц, теперь мы можем уйти в замок.

Граф отрицательно покачал головой.

— Иди, если хочешь. Я должен переложить ее прах в урну.

Фламандец крепко сжал его руку.

— Очнись же наконец, Винценц. Неужели ты все еще ничего не понимаешь? — Как ты это сделаешь... как ты переложишь ее в урну?

Граф посмотрел на него бессознательным взором. Ян Ольеслагерс продолжал:

— Вон твоя урна — горлышко у нее довольно узкое. А теперь посмотри на графиню...

Граф побледнел.

— Я должен сделать это, — пробормотал он беззвучно.

— Но ты ведь не можешь переложить ее прах в урну!

— Я поклялся в этом.

Эти слова прозвучали совсем глухо:

— Я поклялся в этом. И я должен переложить то, что от нее осталось, в урну и снести урну в часовню. Я должен сделать это до захода солнца. Так написано в ее завещании. Я поклялся ей на Распятии.

— Но ведь ты не можешь этого сделать, пойми же, что ты не можешь.

— Я должен это сделать, я дважды поклялся в этом.

Тут фламандец вышел из терпения:

— И если бы ты поклялся сто тысяч раз, то ты все-таки не мог бы сделать. Если только не разрезать ее тело на мелкие куски...

Граф вскрикнул и судорожно схватился за руку друга:

— Что, что ты сказал?

Тот ответил ему успокоительно, как бы раскаиваясь в том, что эти слова вырвались у него:

— Ну да, ведь иначе это невозможно. И в этом заключалось ее намерение, этого она только и добивалась — своей последней волей.

Он обнял друга за плечи.

— Прошу тебя, Винценц, уйдем теперь отсюда.

Словно пьяный, граф позволил увести себя, но он сделал не более двух шагов. Он остановился и отстранил от себя друга. Он произнес едва слышно, почти не раскрывая рта:

— Это было ее намерение — и надо его исполнить; я поклялся ей в этом.

На этот раз фламандец понял, что ему остается только молчать, что все слова тут бесполезны.

Граф повернулся, его взгляд упал на багровое солнце, которое уже низко опустилось над линией горизонта.

— До заката солнца, — воскликнул он, — до заката солнца! Надо торопиться.

Он подошел к садовнику:

— У тебя есть с собой нож?

Старик вынул из кармана длинный нож.

— Острый?

— Да, господин граф.

— Так иди и разрежь ее.

Старик с ужасом посмотрел на него. Он весь задрожал и сказал:

— Нет, господин граф, этого я не могу.

Граф повернулся к обоим работникам.

— Тогда вы сделаете это.

Однако работники не двигались, они стояли с опущенными глазами и ничего не говорили.

— Я приказываю вам сделать это, слышите?

Они продолжали молчать.

— Я сегодня же выгоню вас со службы, если вы не послушаетесь меня.

Тогда старик сказал:

— Простите, господин граф, я не могу этого сделать. Я служил в замке двадцать четыре года и...

Граф прервал его:

— Я дам тысячу франков тому, кто это сделает.

Никто не двинулся.

— Десять тысяч франков.

Молчание.

— Двадцать тысяч.

Младший из работников, который продолжал еще стоять в могиле, посмотрел на графа.

— И вы принимаете на себя всю ответственность, господин?

— Да!

— Перед судом?

— Да!

— И перед священником?

— Да, да!

— Дай мне нож, старик, подай мне также и топор. Я это сделаю.

Он взял нож и содрал с покойницы покров. Потом он наклонился и замахнулся ножом. Но он не успел даже опустить руки, как выскочил из могилы и бросил нож на песок.

— Нет, нет! — крикнул он. — Она смеется надо мной!

И он бросился бежать в кусты.

Граф повернулся к своему другу:

— Как ты думаешь, ты любил ее больше меня?

— Нет, конечно нет.

— Тогда тебе это легче сделать, чем мне.

Но фламандец только пожал плечами.

— Я не мясник... — А кроме того... — мне кажется, что это не было ее намерением.

У графа в углах рта показалась пена. А между тем губы его были совсем сухие и белее полотна. Он

спросил тоном осужденного, который хватается еще за последний слабый луч надежды:

— Так ее намерением было... чтобы я... сам?..

Никто не ответил ему. Он посмотрел на запад. Огненный диск солнца спускался все ниже.

— Я должен, я должен это сделать, я поклялся.

Одним прыжком он очутился в могиле. Руки его судорожно сжимались:

— Пресвятая Матерь Божья, дай мне силы!

Он взял топор, высоко замахнулся им над головой, закрыл глаза и со страшной силой опустил его.

Он промахнулся. Топор попал в сгнившее дерево и расщепил его на мелкие куски.

А графиня улыбалась.

Старый садовник отвернулся; сперва нерешительно, а потом все скорее и скорее он побежал от могилы. Оставшийся работник последовал за ним. Ян Ольеслагерс посмотрел им вслед и потом пошел медленно, шаг за шагом, по направлению к замку.

Граф Винценц д'Оль-Оннваль остался один. С минуту он колебался, хотел крикнуть, позвать убежавших. Но какая-то необъяснимая сила зажимала ему рот.

А солнце опускалось все ниже и ниже; оно кричало ему, — он слышал, как оно кричало.

А графиня в его ногах улыбалась.

Но эта-то улыбка и придала ему силы. Он опустился на колени и взял с земли нож. Рука его дрожала, но он воткнул нож, воткнул его в шею, которую он так любил, любил больше всего на свете!

Тут он вдруг почувствовал громадное облегчение и громко захохотал. Его хохот раздавался так громко и пронзительно в вечерней тишине, что ветви берез дрожали и покачивались взад и вперед, как в смертельном испуге. Казалось, будто они вздыхают и рыдают и хотят бежать, далеко бежать от этого страшного места. Но они все-таки должны были стоять на своих местах, должны были видеть и слышать все, прикованные к почве своими могучими корнями...

Ян Ольеслагерс остановился там, у пруда. Он слышал этот страшный хохот, которому не было конца, слышал, как рубил топор, как скрипел нож. Он хотел уйти дальше, но что-то приковало его к земле, какая-то неодолимая сила удерживала его на месте, словно и он прирос к земле, как березы. Его слух обострился

до невероятности, и ему казалось, что сквозь громкий смех он слышит, как трещат кости, как разрываются жилы и мускулы.

Но среди всего этого в воздухе вдруг раздались какие-то новые звуки. Нежные, серебристые, как будто сорвавшиеся с губ женщины. Что это такое?

Вот опять — и опять... Это было хуже ударов топора, хуже безумного хохота графа.

Звуки продолжали раздаваться все чаще и яснее... Но что же это такое?

И вдруг он сразу догадался — это смеялась графиня.

Он вскрикнул и бросился бежать в кусты. Он заткнул пальцами уши, открыл рот и вполголоса смеялся сам, чтобы заглушить все другие звуки. Он забился в кусты как загнанный зверь, не осмеливаясь перестать издавать эти бессмысленные звуки, не осмеливаясь отнять руки от головы. Он широко раскрыл глаза и смотрел на дорогу, на лестницу, которая вела к открытой двери часовни.

Тихо, неподвижно.

Он ждал, затаив дыхание, но он знал, что когда-нибудь этому ужасу настанет конец. Когда там, сзади, исчезнут последние тени в темной чаще вязов, когда наконец зайдет солнце.

Все длиннее и длиннее становились тени; он видел, как они растут. И вместе с ними росло его мужество. Наконец-то он осмелился: он закрыл рот. Он ничего не слышал больше. Он опустил руки. Ничего.

Тихо, все совершенно тихо. Но он все еще продолжал стоять, ожидал, притаясь за ветвями.

Вдруг он услышал шаги. Близко, все ближе, совсем рядом.

И он увидел в последних багровых лучах заходящего солнца графа Винценца д'Оль-Ониваля. Он шел мимо него, он не смеялся больше, но его застывшее лицо ухмылялось широко и самодовольно. Словно он только что проделал самую удивительную и невероятную штуку.

Твердыми, уверенными шагами он шел по дороге, держа в высоко поднятых руках тяжелую красную урну. Он нес в склеп своих праотцов останки своей великой любви.

Париж. Август. 1908.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОМЕРАНЦЕВОГО ДЕРЕВА

**Волшебников, волшебниц в мире много...
они средь нас, но мы не знаем их.
Ариосто. Неистовый Роланд,
песнь VIII, I**

Если я иду навстречу вашему желанию, уважаемый доктор, и заполняю страиицы той тетради, которую вы мне дали, — то поверьте, что я делаю это по зрелом размышлеиии и с достаточно продуманным намерением. Ведь, в сущиости, дело идёт о своего рода борьбе между вами н мной: вами, главиым врачом этой частиой лечебиицы для душевнобольных, и мною, пациентом, которого трн дия тому иазад привезли сюда. Обвииенне, на основаиии которого я подвергнут насильствениому приводу сюда, — простите, что я в качестве студента-юриста предпочитаю употреблять юридические термины, — заключается в том, что будто бы я «страдаю иавязчивой идеей, что я помераицевое дерево». Итак, господин доктор, попытайтесь теперь доказать, что это — навязчивая идея, а ие действительный факт. Если вам удастся убедить меия в этом вашем мнении, то я «выздоровею», не правда ли? Если вы докажете мне, что я — человек, как и все

другие, и только вследствие расстройства нервной системы подпал болезненной мономании, подобно тысячам больных во всех санаториях мира, то, доказав это, вы вернете меня снова в мир живых людей, и «нервная болезнь» будет устранена вами с моего пути.

Но, с другой стороны, я, в качестве обвиняемого, имею право приводить доказательства своей собственной правоты. В этих строках я именно и ставлю своей задачей убедить вас, уважаемый доктор, в неоспоримости моих утверждений.

Вы видите, что я рассуждаю совершенно трезво и спокойно взвешиваю каждое слово. Я искренне сожалею о тех выходках, которые я позволил себе третьего дня. Меня чрезвычайно огорчает, что я своим нелепым поведением нарушил покой вашего дома. Вы, кажется, приписываете такое поведение моему предыдущему возбуждению? Но я думаю, уважаемый доктор, что если бы вас или иного здорового человека внезапно хитростью привезли в сумасшедший дом, то и вы и он вели бы себя немногим лучше. Долгое собеседование, которое вы вели со мной вчера вечером, однако, совершенно успокоило меня; я теперь сознаю, что мои родственники и товарищи по университету, поместив меня сюда, желали мне исключительно только добра. И не только «желали», но я думаю, что это и в самом деле добро для меня. Ведь если мне удастся убедить в справедливости моих положений такого европейски знаменитого психиатра, как вы, то тогда и самый величайший скептик должен преклониться пред так называемым «чудом».

Вы просили меня изложить в этой тетради возможно полную биографию моей персоны, а также и все мои мысли по поводу того, что вы называете моей «навязчивой идеей». Я очень хорошо понимаю, хотя вы этого и не высказали, что вам, как верному своему долгу служителю науки, было бы желательно получить «из уст самого больного возможно более полную картину болезни»... Но я хочу исполнить все ваши желания, вплоть до самых мельчайших, в надежде на то, что впоследствии, убедившись в своей ошибке, вы облегчите мне мое превращение в дерево — превращение, принимающее с каждым часом все более и более реальные формы.

В моих бумагах, которые сейчас находятся у вас,

вы, уважаемый доктор, найдёте обстоятельный curriculum vitae, приложенный к моему университетскому свидетельству. Из него вы можете почерпнуть все биографические данные, и поэтому сейчас я буду в этом отношении краток. Из упомянутого документа вы узнаете, что я сын рейнского фабриканта. На восемнадцатом году я выдержал экзамен зрелости, затем служил вольноопределяющимся в гвардейском полку в Берлине, а после того наслаждался юной жизнью в разных университетских городах в качестве студента юридического факультета. В зависимости от этого я проделал несколько больших и маленьких путешествий и наконец остановился в Бонне, где и стал готовиться к докторскому экзамену.

Все это, уважаемый доктор, представляет для вас так же мало интереса, как и для меня. История же, которая нас интересует, начинается с 22 февраля прошлого года. В этот день я познакомился на одном масленичном балу с волшебницей (я боюсь показаться смешным, употребляя это выражение!), которая превратила меня в померанцевое дерево.

Необходимо сказать несколько слов об этой даме. Госпожа Эми Стенгоп была необыкновенным явлением. Она привлекала к себе всеобщее внимание. Я отказываюсь описывать ее красоту, потому что вы можете высмеять подобное описание, сделанное влюбленным в нее человеком, и счесть его жесточайшим преувеличением. Но вот вам факт: среди моих друзей и знакомых не было ни одного, которого она не приворожила бы к себе в одно мгновение, и который не был бы счастлив от одного ее слова или улыбки.

Госпожа Эми Стенгоп поселилась в Бонне сравнительно недавно. Она жила тогда на Кобленцерштрассе, в обширной вилле, которую убрала и обставила с величайшим вкусом. Она вела открытую жизнь, и у нее каждый вечер собирались офицеры королевского гусарского полка и представители наиболее выдающихся студенческих корпораций. Правда, у нее никогда не бывало ни одной дамы, но я убежден, что это происходило только потому, что Эми Стенгоп, как она в том неоднократно признавалась, не выносила женской болтовни. Равным образом, она не бывала ни в одном боннском семействе.

Понятно, что городские сплетники и сплетницы в

самом непродолжнтельном временн занялись блестящей незнакомкой, которая каждый день каталась по улнцам на своем белом, как снег, «64 HP. Mercedes». Вскоре сталн передаваться нз уст в уста самые невероятные слухи о ночных оргнях на Кобленцерштрассе. Местная клерикальная газетншка даже напечатала идиотскую статью под заглавием «Современная Мессалииа», н уже первые слова этой статьн: «Quosque tandem!» — свндетельствовалн о «высоком образованни» господниа редактора... Но я должен удостовернть, — н я убежден, что это же сделают все те, кто имел честь быть принятым у госпожи Стенгоп, — что в ее доме ннкогда не пронсходило ннчего такого, что выходило бы из самых строжайшнх граииц общественных прнличий. Единственио, что она разрешала своим поклоиникам — н притом всем — это целовать у иее руку. И только однн маленький гусарский полковиик имел привилегню прикладываться своими воинственными устами к ее белой ручке немного повыше, чем все остальные. Госпожа Эми Стенгоп держала всех иас в таком строгом послушанни, что мы служили ей, как малеиькие благоиравные пажи, н наше ухаживание прнннмало почтн рыцарски-романтические формы.

И тем не менее случилось, что дом ее опустел. Произошло это в высшей степени внезапио. 16-го мая я уехал домой ко дию рождения моей матери. А когда я возвратился, то к удивленню узнал, что по приказу полковника дальиейшее посещение внллы на Кобленцерштрассе господам офицерам гусарского полка строжайше воспрещено. Корпорацин со своей стороны немедленно последовали тому же примеру. Я спрашивал товарнщей по корпорации, что это зиачит, н получил ответ, что полковой прнказ обязателен и для них, так как невозможио, чтобы студенты-корпоранты посещали дом, которого нзбегает офнцерство. В сущиости, это имело известиый смысл, так как большнство корпорантов собиралось служить в этом полку вольноопределяющнмися илн же принадлежало к иему в качестве офицеров запаса.

На каком осиоваиии полковинк сделал свое распоряжеиие, иикто ие зиал. Даже офицерам это не было нзвестно. Подозревалн одиако, что приказ полковиика стоит в связн с виезапиым исчезиовением лейтеианта барона Болэна, который скрылся куда-то —

тоже по совершенно неизвестной причине.

Так как Гарри фон Болэн был мне лично близок, то я в тот же вечер отправился в казино, где собирались гусары, чтобы узнать какие-нибудь подробности. Полковник принял меня очень любезно и пригласил выпить с ним шампанское, но от разговора на интересовавшую меня тему уклонился. Когда я наконец поставил ему вопрос ребром, он вежливо, но вполне категорически отклонил его. Я сделал последнюю попытку и сказал:

— Господин полковник, ваши распоряжения и постановления нашего корпорационного совета, несомненно, обязательны для ваших офицеров и для корпорантов. Но для меня они необязательны: я хочу сегодня же выйти из корпорации и таким образом становлюсь хозяином своих поступков.

— Поступайте, как вам угодно! — небрежно промолвил полковник.

— Прошу вас, полковник, терпеливо выслушать меня! — продолжал я. — Кому-нибудь иному, быть может, и не было особенно тяжело покинуть дом на Кобленцерштрассе: он вспомнит с легким сожалением о прекрасных вечерах и в конце концов позабудет о них. Но я...

Он прервал меня:

— Молодой человек! — вы четвертый обращаетесь ко мне с подобной речью. Двое моих лейтенантов и один ваш корпорант еще третьего дня были у меня. Я уволил обоих лейтенантов в отпуск, и они уже уехали. Вашему корпоранту я посоветовал сделать то же. Ничего другого я не могу сказать и вам. Вы должны забыть. Слышите вы это. Достаточно одной жертвы.

— В таком случае разъясните мне все это по крайней мере, — настаивал я, — ведь я ничего не знаю и нигде ничего не могу узнать. Имеет связь с вашим приказом исчезновение Болэна?

— Да! — промолвил полковник.

— Что случилось с ним?

— Этого я не знаю! — ответил он, — и боюсь, что никогда не узнаю этого.

Я схватил его руки.

— Скажите мне то, что вы знаете! — умолял я. И я почувствовал, в моем голосе задрожала нотка, которая должна была побудить его к ответу. — Ради Бога, скажите мне, что случилось с Болэном? Из-за

чего вы сделали ваше распоряжеине?

Ои высвободился от меия и сказал:

— Черт возьми, с вами дело обстоит в самом деле еще хуже, чем с другими!

Ои иаполнил оба стакана и подвинул мне мой.

— Пейте! Пейте! — сказал он.

Я отпил и подвинулся к иему.

— Скажите-ка мие, — промолвил ои, зорко поглядев на меня, — это вы тогда читали ей стихотворения?

— Да, — запиулся я. — Но...

— В то время я почти завидовал вам, — задумчиво продолжал он. — Наша фея позволила вам два раза поцеловать ей руку... Это были ваши собствеиные стихи? В иих было столько всяческих цветов...

— Да, я сочииил эти стихи, — созиался я.

— Это было совершенное безумие! — сказал он как бы сам себе. — Извиииите меня, — громко продолжал он, — я иичего ие поиимаю в стихотвореиях, решительно ничего. Может быть, они были и прекрасны. Фея иашла же их прекрасиыми...

— Господин полковиик, — заметил я, — что значат теперь мои стихотвореиия... Вы хотели...

— Я хотел рассказать вам иечто иное, совершенно верио, — прервал он меня, — ио имеино по поводу всех этих цветов. Говорят, что люди, сочиияющие стихи, все мечтатели. Я подозреваю, что этот бедняга Болэн тоже сочинял тайиым образом стихи.

— Итак, что же с Болэном? — настаивал я.

Ои как будто не слыхал моего вопроса.

— А мечтатели, — продолжал он нить своих мыслей, — а мечтатели, очевидио, подчииняются ей всего легче. Я предостерегаю вас, милостивый государь, самым иастоятельиым образом, как только могу!

Он выпрямился.

— Итак, слушайте же! — проговорил он совершенно серьезно. — Семь дней тому назад лейтенант Болэн не явился на службу. Я послал за ним на дом — он исчез. С помощью полиции и прокурора мы пустились на поиски. Мы сделали все, что можно, но без всякого успеха. И, несмотря на то, что с момента его исчезновения прошло еще очень немного времени, я убежден в совершенной бесплодности всех дальнейших попыток. Никаких внешних причин здесь не имеется. Болэн имел хорошее состояиие, не имел долгов,

был совершенно здоров и очень счастлив по службе. Он оставил коротенькое письмо на мое имя, но содержание этого письма во всех его подробностях я сообщить вам не могу.

Меня охватило безграничное разочарование, отразившееся, должно быть, на моем лице.

— Погодите, — продолжал полковник, — надеюсь, что вам будет достаточно и того, что я вам скажу. По крайней мере, достаточно для того, чтобы спасти вас... Я думаю, что лейтенант Болэн умер... что он наложил на себя руки в помрачении рассудка.

— Он пишет об этом? — спросил я.

Полковник покачал головой.

— Нет! — ответил он. — Ни слова. Он пишет только одно! «Я исчезаю. Я уже не человек более. Я миртовое дерево».

— Что? — переспросил я.

— Да, — промолвил полковник, — миртовое дерево. Он думает, что волшебница — госпожа Эми Стенгоп — превратила его в миртовое дерево.

— Но ведь это глупый бред! — вскрикнул я.

Полковник снова устремил на меня пытливый и сострадательный взгляд.

— Бред? — повторил он. — Вы называете это бредом? Это можно также назвать и безумием. Но как-никак, а наш бедный товарищ свихнулся на этом. Он вообразил, что его околдовали. Но разве все мы не были немножко околдованы прекрасной дамой? Разве я, старый осел, не вертелся кругом нее, как школьник? Я скажу вам, что на меня каждый вечер нападало страстное желание пойти на ее виллу, чтобы приложиться своими седыми усами к ее мягкой ручке. И я видел, что и с моими офицерами творится то же самое. Обер-лейтенант, граф Арко, которого я третьего дня отправил в отпуск, признался мне, что он пять часов скитался взад и вперед под ее окнами при луне. И я боюсь, что он был не единственный в этом роде. Теперь я с юмором висельника сражаюсь с моими сокровенными желаниями, каждую ночь остаюсь в казино до самых поздних часов и подаю хороший пример другим... Уверяю вас, что никогда еще не было у нас так много выпито шампанского, как в эту неделю... Но оно не идет впрок никому... Пейте. Пейте же! Бахус — враг Венеры.

Он снова налил бокалы доверху и продолжал:

— Итак, вы видите, молодой человек, уж если такой прозаический человек, как я, не мог отказаться от посещений Кобленцерштрассе, уж если такой избалованный дамский герой, как Арко, предавался уединенным лунным прогулкам, то не имел ли я основания бояться, что случай с Болэном не останется единственным? Благодарю покорно... Чего доброго, весь мой офицерский корпус превратился бы в миртовый лес...

— Благодарю вас, господин полковник! — промолвил я. — Со своей стороны вы поступили безукоризненно правильно.

Он рассмеялся.

— Вы очень любезны. Но вы еще более обязали бы меня, если бы последовали моему совету. Я был старшим среди вас и даже, так сказать, предводителем во время наших шабашей на Кобленцерштрассе, и теперь у меня такое чувство, как будто я ответственен не только за моих офицеров, но и за всех вас. У меня есть предчувствие — не более, как простое предчувствие, — но я не могу от него отделаться: я убежден, что от прекрасной дамы следует ожидать еще несчастий... Называйте меня старым дураком, болваном, но обещайтесь мне никогда более не переступать порога ее дома!

Он сказал это так серьезно и проникновенно, что я внезапно почувствовал странный страх.

— Да, господин полковник, — произнес я.

— Самое лучшее, если вы отправитесь месяца на два путешествовать, как это сделали другие. Арко с вашим корпорантом уехал в Париж; отправляйтесь и вы туда же. Это вас рассеет. Вы позабудете волшебницу.

Я проговорил:

— Хорошо, господин полковник.

— Вашу руку! — воскликнул он.

Я протянул ему свою руку, и он крепко потряс ее.

— Я сейчас же уложу вещи и с ночным поездом выеду, — сказал я твердым тоном.

— Отлично! — воскликнул он и написал несколько слов на визитной карточке. — Вот название отеля, в котором остановились Арко и ваш друг. Кланяйтесь им обоим от меня, забавляйтесь, ругайте меня не-

миожко, но все-таки потом опять иавестите меня, но только уже без этой мрачной усмешки.

Ои провел пальцем по моей губе, как бы желая разгладить ее.

Я тотчас же отправился домой с твердым намерением сесть через три часа в поезд. Мои чемодаиы стояли еще не распаковаиными. Я вынул кое-какие вещи и уложил их в дорогу. Затем я сел за письменный стол и иаписал отцу коротенькое письмо, в котором сообщал ему о своем путешествии и просил выслать мне денег в Париж. Когда я стал искать конверт, мой взгляд упал на тоненькую пачку писем и карточек, полученных за время моего отсутствия. Я подумал:

— Пускай остаются. Приеду из Парижа — прочитаю. — Одиако я протянул к ним руку и опять отдернул ее. — Нет, я не хочу читать их! — сказал я. Я вынул из кармана монету и задумал:" Если будет орел, я их прочитаю". Я бросил моиету на стол, и она упала орлом вниз. — И прекрасно! — сказал я, — я не буду их читать. — Но в то же мгновение я рассердился на себя за все эти глупости и взял письма. Это были счета, приглашения, малеиькие поручения, а затем фиолетовый конверт, на котором крупным прямым почерком было написано мое имя. Я тотчас же поиял, поэтому-то и не хотел разбирать письма! Я испытующе взвесил конверт в руке, но все равно уже чувствовал, что должен прочесть его. Я никогда не видел ее почерка и, тем не менее, знал, что письмо от нее. И внезапно я проговорил вполголоса:

— Начинается ...

Я не подумал иичего другого при этом. Я ие знал, что именно начинается, но мне стало страшно.

Я разорвал коиверт и прочитал:

«Мой друг!

Не забудьте принести сегодня вечером померанцевых цветов.

Эми Стеигоп".

Письмо было послаио десять дией тому иазад, в тот день, когда я поехал домой. Вечером, накануне отъезда, я рассказывал ей, что видел в ораижерее у одиого садовика распустившиеся померанцевые цветы, и она выразила желаиие иметь их. На другой день утром, перед тем, как уехать, я заходил к садовнику и поручил ему послать ей цветы вместе с

моей карточкой.

Я спокойно прочел письмо и положил его в карман. Пнсьмо к отцу я разорвал.

У меня не было ни одной мысли о том обещаннн, которое я дал полковнику.

Я взглянул на часы: половина десятого. Это было время, когда она начинала прием верноподданных. Я послал за каретой и вышел из дома.

Я поехал к садовнику и приказал нарезать цветов. А затем я наконец был у подъезда ее виллы.

Я попросил доложить о себе, и горничная провела меня в маленький салон. Я опустнлся на дnван и стал гладить мягкую шкуру гуанако, которая здесь лежала.

И вот волшебница вошла в длинном желтом вечернем платье. Черные волосы ниспадалн с гладко причесанного темени и закручивались наверху в маленькую коронку, какую носили женщины, которых изображал Лука Кранах. Она была немного бледна. В ее глазах мерцал фнолетовый отблеск.

«Это потому, что она в желтом!» — подумал я.

— Я уезжал, — сказал я, — домой ко дню рождения моей матери. И вернулся только несколько часов тому назад, сегодня вечером.

Она на мгновенне удивилась.

— Только сегодня вечером? — повторила она. — Так, значит, вы не знаете... — она прервала себя. — Но нет, разумеется, вы знаете. В два-три часа вам уже все рассказали.

Она улыбнулась . Я молчал н перебирал цветы.

— Разумеется, вам все сказали, — продолжала она, — и вы все-таки нашли дорогу сюда. Благодарю вас.

Она протянула руку, н я поцеловал ее.

И тогда сказала она очень тихо:

— Я ведь знала, что вы должны прийти.

Я выпрямился.

— Сударыня! — сказал я, — я нашел при моем возвращении ваше письмо. И я поспешил принести вам цветы.

Она улыбнулась.

— Не лгите! — воскликнула она. — Вы прекрасно знаете, что я послала вам письмо уже десять дней тому назад, и вы тогда же послали мне цветы.

Она взяла из моей руки ветку и поднесла ее к своему лицу.

— Померанцевые цветы, померанцевые цветы! — медленно молвила она, — как дивно они пахнут!

Она пристально посмотрела на меня и продолжала:

— Вам не нужно было никакого предлога, чтобы прийти сюда. Вы пришли потому, что должны были прийти. Не правда ли?

Я поклонился.

— Садитесь, мой друг, — промолвила Эми Стенгоп. — Мы будем пить чай.

Она позвонила.

Поверьте мне, уважаемый доктор, я мог бы обстоятельно описать вам каждый вечер из тех многочисленных вечеров, которые я провел с Эми Стенгоп. Я мог бы передать вам слово за словом все наши разговоры. Все это внедрилось в мое сознание, словно руда. Я не могу забыть ни одного движения ее руки, ни малейшей игры ее темных глаз. Но я хочу восстановить лишь те подробности, которые являются существенными для желаемой вами картины.

Однажды Эми Стенгоп сказала мне:

— Вы знаете, что случилось с Гарри Болэном?

Я ответил:

— Я знаю только то, что об этом говорят.

Она спросила:

— Вы верите, что я в самом деле превратила его в миртовое дерево?

Я поймал ее руку, чтобы поцеловать.

— Если вы этого хотите, — рассмеялся я, — то я охотно поверю в это.

Но она отняла руку. Она заговорила, и в ее голосе зазвучала такая уверенность, что я вздрогнул:

— Я верю в это.

Она выразила желание, чтобы я каждый вечер приносил ей померанцевые цветы. Однажды, когда я вручил ей свежий букет белых цветов, она прошептала:

— Астольф.

Затем промолвила громко:

— Да, я буду называть вас Астольфом. И если вы желаете, вы можете называть меня Альциной.

Я знаю, уважаемый доктор, как мало досуга имеет наше время, чтобы заниматься старинными легендами и историями. Поэтому оба эти имени наверное не

скажут вам ровно ничего; между тем мне они в одно мгновение открыли близость ужасного и вместе с тем сладкого чуда. Если бы вы познакомились с Людовико Ариосто, если бы вы прочитали кое-какие героические сказания пятнадцатого века, то прекрасная фея Альцина оказалась бы для вас такой же старой знакомой, как и для меня. Она ловила в свои сети Астольфа английского, мощного Рюдигера Рейнольда Монтальбанского, рыцаря Баярда и многих других героев и паладинов. И она имела обыкновение превращать надоевших ей возлюбленных в деревья.

...Она положила обе руки мне на плечи и посмотрела на меня:

— Если бы я была Альциной, — сказала она, — хотел бы ты быть ее Астольфом?

Я не сказал ничего, но мои глаза ответили ей. И тогда она промолвила:

— Приди!

Вы — психиатр, уважаемый доктор, и я знаю что вы признанный авторитет. Я встречал ваше имя во всевозможных изданиях. О вас говорят, что вы внесли в науку новые мысли. Я думаю нынче, что человек сам по себе, один, не создает так называемой новой мысли, но что таковая возникает в одно и то же время в самых различных мозгах. Но, тем не менее, я питаю надежду, что ваши новые мысли относительно человеческой психики, может быть, совпадут с моими. И вот это чувство и побуждает меня относиться к вам с таким безграничным доверием.

Не правда ли, мысль ведь это примитив, начало всякого начала? Ведь она единственное, что истинно? Детски-наивно понимать материю, как нечто действительное. Все, что я вижу, постигаю, усваиваю, — даже с помощью несовершенных вспомогательных средств, — я познаю как нечто совсем иное, чем если я исследую его своими личными чувствами. Капля воды кажется моим жалким человеческим глазам маленьким, светлым, прозрачным шариком. Но микроскоп, которым даже дети пользуются для забав, учит меня, что это арена диких побоищ инфузорий. Это уже более высокое воззрение, но не высочайшее. Ибо нет никакого сомнения, что через тысячу лет наши — даже самые блестящие и совершенные — научные вспомогательные средства будут казаться такими же смешными, какими

кажутся иам теперь иниструменты Эскулапа. Таким образом, то познанне, которым я обязан чудесным научным инструментам, столь же малодействнтельио, как и восприиятое моими беднымн чувствамн. Матерня всегда оказывается чем-то иным, чем я ее представляю. И я не только никогда не могу узиать вполне сущность материи, ио оиа вообще не нмеет никакого бытия. Еслн я брызгаю водой на раскаленную печку — вода в одио мгновение превращается в пар. Еслн я бросаю кусок сахара в чай — сахар растворяется. Я разбиваю чашку, нз которой пью, — и я получаю осколки, но чашки уже не существует более. Но если бытие одним взмахом руки превращается в небытие, то ие стоит труда н считать это бытием. Небытие, смерть — вот настоящая сущиость материи. Жнзиь есть лишь отрнцанне этой сущиости на бесконечный промежуток временн. Но мысль капли нлн кусочка сахара остается непреходящей: ее нельзя разбить, расплавить, превратить в пар. Итак, ие с большим ли правом следует считать действнтельностью эту мысль, чем изменяемую, преходящую материю?

Что касается, далее, иас, людей, уважаемый доктор, то и мы, конечно, такая же материя, как и все окружающее нас. Каждый химнк легко скажет, из сколькнх процентов кислорода, азота, водорода и т.д. мы состоим. Но если в нас обнаружнвается мысль, то какое право имеем мы утверждать, что она не должна обиаружнваться в другой материи?

Я постоянно употребляю выраженне «мысль». Это делаю я на том осиованин, уважаемый доктор, что слово это мие личио кажется наиболее подходящим для того понятня, которое я имею в виду. Подобио тому, как в различных языках существуют различиейшие слова для определеиия одного и того же предмета, подобио тому, как одиу и ту же часть лица нтальяиец называет «bocca», англичанин «mouth», француз «bouche», немец «mund», точно так же н различные науки и искусства нмеют особые выражения для одного и того же понятия. То, что я изываю «мыслью», теософ мог бы назвать «божеством», мистик — «душою», врач — «сознанием». Вы, уважаемый доктор, вероятно, избрали бы слово «психика». Но вы должны согласиться со мной, что это понятне, как его не называй, представляет собою нечто первичное, единст-

венно-истиииое.

Но если это безграиичиое поиятне, которое имеет все свойства, приписываемые теологами Божеству, т.е. бескоиечиость, вечиость и т.д., открывается в вашем мозгу, то почему ие разрешить ему появляться и в другнх предметах с таким же удобством? По крайней мере я могу представить гораздо более приятное местопребывание для иего, чем мозг многих людей.

Все это, в общем, не есть что-либо иовое. Ведь верили же миллиарды людей во все времеиа (да и теперь еще верят), что животные тоже имеют душу. Ученне Будды, например, признает даже переселение душ. Что же мешает иам сделать еще один шаг далее и прнзиать душу у источннков, деревьев, скал, как это делалось (хотя, быть может, только из эстетически-поэтических осиований) в древией Элладе? Я верю, что пришло время, когда человеческий разум доходит до такой степени развития, что стаиовится способиым позиавать души нных оргаиических существ.

Я уже говорил вам о моих стихотворениях, которые я читал Эми Стенгоп, и которые полковиик иазвал ужасным безумством. Может быть, оии в самом деле заслуживают такого определеиня — я ие могу судить об этом. Но так или ииаче, оии представляют собою попытку — правда, очень слабую — изобразнть человеческим языком души иекоторых растеиий.

Отчего эвкалиптовое дерево внушает художиику мысль о голых жеиских руках, распростертых для страстиого объятия? Почему асфоделни невольио напоминают нам о смерти? Почему глицинии вызывают у нас образ белокурой дочки пастора, а орхидеи наводят на мысль о черных мессах и дьявольскнх шабашах?

Потому что в каждом из этих цветов и деревьев живет мысль об этом.

Неужелн вы считаете простым совпадеиием, что у всех иародов мира роза служит символом любви, а фиалка олнцетворяет скромиость? Есть сотии малеиьких душнстых цветов, которые цветут так же скромно и так же прячутся в укромиых местах, как фиалка, одиако ни одии из иих не производит иа иас такого впечатлеиня. Сорвав фиалку, мы иепремеиио сейчас же инстиктивио подумаем: — «скромиость»! И следует заметить, что это страииое ощущение исходит вовсе ие от того, что мы считаем характернейшим для даииого

цветка: не от ее запаха. Если мы возьмем флакон «Vera violetta», запах которого так обманчив, что в темноте мы не сможем отличить его от запаха большого букета фиалок, — мы никогда не получим этого ощущения.

Равным образом чувство, которое мы испытываем, находясь близ цветущего каштанового дерева, и которое вызывает в нас мысль о всепобеждающей мужественности, не стоит ни в какой связи с тем, что прежде всего приковывает наш взор: с мощным стволом, широкими листьями, тысячами сверкающих цветов. И мы должны прийти к убеждению, что здесь все дело в неуловимом дыхании дерева. Это дыхание и открывает нам мысль, т.е. душу дерева.

Понятие, которое я называю «мыслью», очевидно может принимать все формы и образы. Один тот факт, что я или кто-либо другой может сознавать это, уже служит достаточным доказательством того.

Ибо так как мысль вообще не знает никаких границ, то материя не может представлять для нее никаких ограничений. Ни один вдумчивый человек не может нынче игнорировать истин монистического мировоззрения (которые, конечно, лишь относительны, как и всякие другие истины). Согласно этому мировоззрению, мы, люди, как материя, ничем не отличаемся от всякой другой материи. И если я должен допустить это, и если, с другой стороны, бытие мысли (бытие в собственном, мощном значении этого слова) понуждает меня в каждое мгновение к самосознанию, то я могу прийти к одному только выводу, подтверждаемому тысячью примеров, — а именно, что «мысль» может одухотворять не только людей, но и всякую другую материю, а значит — также и цветы, и листья, и ствол померанцевого дерева.

Учение веры, принятое культурными народами, для многих философов заключается лишь в своих начальных словах: «В начале было Слово». И все они запинаются за это и никогда не смогут переступить этот таинственный «Logos», пока в один прекрасный день он не откроется в чьей-нибудь голове во всем своем величии...

Но неправильно думать, как думают мистики и вообще люди, верующие в такое откровение «Логоса», что откровение это придет внезапно, как молния. Оно придет, и оно уже приходит, медленно, шаг за шагом,

как выступает из облаков солнце, как развивается из первичной амебы человек. Оно бесконечно и никогда не закончится, и поэтому оно никогда не будет совершенно...

Не проходит ни одного часа, ни одной секунды, в течении которых мысль не открывалась бы полнее и величественнее, чем до этого. Все более и более познаем мы это понятие, которое есть все.

И вот одна такая — большая, чем у кого-либо иного — степень познания стала свойственна и моему мозгу. О, я вовсе не воображаю, что я единственный человек в этом роде... Я уже сказал вам, доктор: я не верю, чтобы мысль оплодотворяла только один какой-нибудь мозг. Но у большинства семена духа засыхают, и только у немногих они вырастают и дают цвет.

Однажды женщина, которую я называл Альциной, покрыла все наше ложе апельсинными цветами. Она обняла меня, и тонкие ноздри ее носа, которые она прижала к моей шее, задрожали.

— Мой друг, — сказала она, — ты благоухаешь, как цветы.

Я рассмеялся. Я подумал, что она шутит. Но позднее я убедился, что она права.

Однажды днем женщина, у которой я жил, вошла в мою комнату. Она потянула в себя воздух и сказала:

— О, как хорошо пахнет! У вас тут опять померанцевые цветы?

Но я уже в течении нескольких дней не имел ни одного цветка в комнате.

Я сказал сам себе: мы оба можем ошибаться. Человеческий нос слишком плохо развитой орган.

Но моя охотничья собака никогда не ошибется. Ее нос непогрешим.

И я сделал опыт: я заставлял мою собаку приносить мне в саду и в комнате померанцевую ветку. Затем я тщательно прятал ветку и учил собаку отыскивать ее по команде: — " Ищи цветы!" — И она всегда находила ветку даже в самых сокровенных местах.

Я переждал после того несколько дней, в течении которых в моей комнате не было ни одного цветка. И после того однажды утром я отправился с собакой в купальню. Выкупавшись и выйдя из воды, я крикнул ей:

— Али! Апорт! Ищи цветы!

Собака подняла голову, понюхала воздух кругом и без всякого колебания устремилась прямо на меня. Я пошел в раздевальную и дал ей понюхать мое платье, которое, быть может, сохранило некоторый запах. Но собака едва обратила на него внимание. Она снова стала обнюхивать меня: запах, который она искала и нашла, исходил от моего тела.

Итак, уважаемый доктор, если такая история случилась с собакой, обладающей высокоразвитым органом, то неудивительно, что вы впали в ту же ошибку, когда вы заподозрили меня, что я держу у себя цветы. После того, как вы вчера вечером вышли от меня, я слышал, как вы приказали служителю тщательно обыскать мою комнату, когда я буду на прогулке, и убрать из нее померанцевые цветы. Я не ставлю вам этого в упрек. Вы думали, что я прячу у себя эти цветы, и сочли своим долгом удалить от меня все то, что напоминает мне о моей «idee fixe». Но вы могли бы, доктор, не отдавать слуге вашего приказания: он может целыми часами рыться в моей комнате, но он не найдет в ней ни одного цветка. Но если вы после того снова зайдете ко мне, вы опять услышите этот запах: он исходит от моего тела...

Однажды мне приснилось, будто я иду в полдень по обширному саду. Я прохожу мимо круглого фонтана, мимо полуразрушенных мраморных колонн. И иду далее по ровным, длинным лужайкам. И вот я увидел дерево, которое сверху донизу сверкало красными, как кровь, пылающими померанцами. И я понял тогда, что это дерево — я.

Легкий ветер играл моею листвой, и в бесконечном желании простирал я свои ветви, обремененные плодами. По белой песчаной дорожке шла высокая дама в широком белом одеянии. Из ее глубоких темно-синих очей упали на меня ласкающие взоры.

Я прошелестел ей своей густой листвою:

— Сорви мои плоды, Альцина!

Она поняла этот язык и подняла белую руку. И сорвала ветку с пятью-шестью золотыми плодами.

Это была легкая, сладкая боль. Я проснулся от нее.

Я увидел ее около себя: она склонилась предо мной на колени. Ее глаза странно глядели на меня.

— Что ты делаешь? — спросил я.

— Тише! — прошептала она, — я подслушиваю твои грезы.

Как-то раз после обеда мы переехали на ту сторону Рейна и прошли от Драхенфельза вниз, к монастырю Гейстербах. Среди руин, где гнездятся совы, она легла на траву. Я сел рядом с нею; я пил полными глотками аромат цветущей липы, вздымая грудь и широко раскинув руки.

— Да! — сказала она и закрыла глаза, осененные длинными ресницами. — Да, раскинь свои ветки! Как хорошо покоиться здесь в твоей прохладной тени!

И она стала рассказывать...

О, целые ночи напролет она рассказывала мне. Старинные саги, сказки, истории. При этом она всегда закрывала глаза. Ее тонкие губы слегка приоткрывались, и, как звон серебряных колокольчиков, падали жемчужными каплями слова из ее уст:

— Ты похитил у меня мой пояс! — сказала Флерделис своему рыцарю, — так принеси мне другой, который был бы достоин меня.

Тогда оседлал белокурый Гриф своего коня и понесся во все страны света, чтобы добыть для своей повелительницы пояс. Он бился с великанами и рыцарями, с ведьмами и некромантами и отвоевал великолепный пояс. Но он бросил его в пыль, на колена ниц и воскликнул, что это жалкая тряпка недостойна украшать чресла его дамы. И когда он отнял у могучего Родомонта собственный пояс Венеры, он разорвал его и поклялся, что он добудет такой пояс, какого не имели и богини. Он убил волшебника Атласа и завладел его крылатым конем. Сквозь бурю и ветер полетел он на воздух и смелой рукой сорвал с неба млечный путь.

Он пришел к госпоже и поцеловал ее белые ноги. И обвил вокруг ее бедер пояс, на котором, словно драгоценные каменья, засияли тысячи тысяч звезд..."

— Прочитай мне, что ты написал об орхидеях, — сказала она.

Я прочитал ей:

Когда дьявол женщиной явился,
Когда Лилит
Сплела в тяжелый черный узел кудри

И окружила бледные черты
Кудрявыми мечтами Боттичелли,
Когда она с улыбкой тихой
На пальцы тонкие свои
Надела кольца с яркими камнями,
Когда она прочла Бурже
И полюбила Гюисманса
И поняла молчанье Метерлинка
И окунула душу
В Аннунцио сверкающие краски, —
Тогда она однажды рассмеялась.
И вот, когда она смеялась,
Из уст ее
Прыгнула маленькая царственная змейка.
Прекраснейшая дьяволица,
Красавица Лилит
Ударила змею, —
Ударила Лилит змею-царицу
Унизанным перстнями пальцем,
Чтобы она вкруг пальца обвилась
И обвивалась и шипела,
Шипела, шипела —
И ядом брызнула своим.
И капли яда собрала Лилит
И сохранила в медной тяжкой вазе.
Сырой земли
Черной, мягкой, тучной,
Бросила она туда.
Своими белыми руками
Она коснулась тихо
Тяжелой медной вазы.
Чуть слышно пели бледные уста
Старинное проклятье.
Как песня детская оно звучало —
Так тихо, томно, мягко,
Так томно, словно поцелуи,
Которые пила земля сырая
Из уст ее...
И жизнь затеплилась в тяжелой вазе:
Разбужены лобзаньем томным,
Разбужены волшебным пеньем,
Восстали к свету в темной, тяжкой вазе
Орхидеи...
Та, которую люблю я,

Обрамляет бледное лицо
Перед зеркалом кудрей волнами.
Рядом с ней из тяжкой медной вазы
Выползают, словно змеи,
Орхидеи,
Орхидеи — адские цветы.
Старая земля
Родила их, сочетавшись браком
С ядом змей.

СИНИЕ ИНДЕЙЦЫ

Отцы ели кислый виноград,
А у детей на зубах оскомина.

Я познакомился с доном Пабло, когда в бытность мою в Оризабе я должен был застрелить старого осла. Оризаба — маленький городок, который служит местом отправления для людей, совершающих восхождение на вершину горы Оризаба, про которую нам в школах говорили, что она называется Попокатепетль. Я был тогда совсем юным птенцом и при всяком удобном и неудобном случае примешивал к моему испанскому языку множество ацтекских и тласкаланских слов; тогда мне это казалось необыкновенно «мексиканским». К сожалению, мексиканцы не ценили этого и предпочитали смесь с английским жаргоном.

Итак, Оризаба прелестный городок...

Однако у меня нет желания распространяться относительно Оризабы, городок этот не имеет никакого отношения к этому рассказу. Я должен был упомянуть о нем только потому, что я пристрелил там одного старого осла, который также не имеет никакого отношения к этому рассказу. Впрочем, этот старый осел мне нужен, потому что благодаря ему я познакомился

с домом Пабло, а о доне Пабло я должен говорить, так как благодаря ему я попал к синим индейцам.

Так вот, старый осел стоял в отдаленной части парка.

Парк этот квадратный и не очень большой и находится в конце города. Там много высоких деревьев, и дорожки заросли травой, так как туда никогда не заглядывает ни один человек: обыватели Оризабы предпочитают городскую площадь, которая находится в самом центре города, — там играет музыка. Был уже поздний вечер, шел сильный дождь, когда я отправился в городской парк; в задней части парка, где поднимаются стены гор, я увидел старого осла. Он был совсем мокрый и пасся в сырой траве; я хорошо заметил, что он посмотрел на меня, когда я проходил мимо.

На следующий вечер я снова пошел в городской парк, дождь продолжал идти. Я нашел старого осла на том же месте. Он не был привязан, вблизи не было ни дома ни хижины, где могли бы жить его хозяева. Я подошел к нему; тут только я заметил, что он стоит на трех ногах, левая задняя нога болталась в воздухе. Он был очень стар, и у него было много ран и нарывов от слишком узкой подпруги, от ударов хлыста и от уколов остроконечной палкой. Задняя нога была сломана в двух местах, вокруг нее висела грязная тряпка. Я вынул носовой платок и сделал, по мере возможности, перевязку.

На следующее утро мы поехали в город, но повернули обратно через два дня, промокнув до костей от непрекращавшегося дождя. Мы продрогли, и у нас зуб на зуб не попадал в этом промозглом холоде. Старый осел не выходил у меня из головы все время; я отправился в парк прямо на своей кобыле, не дав ей отдохнуть в конюшне. Осел все еще стоял на старом месте; он поднял голову, когда увидел меня. Я спешился, подошел к нему и стал его гладить, ласково приговаривая. Это мне было очень тяжело, потому что от него исходило страшное зловоние; я прикусил себе губы, чтобы подавить тошноту. Я наклонился и поднял его больную ногу, она была поражена гангреной, мясо разложилось и издавало зловоние, гораздо более невыносимое, чем...

Этого я рассказывать не буду. Довольно, если я

скажу, что я это выдержал, и я знаю, чего мне это стоило. Старый осел смотрел мне в глаза, и я понял, о чем он меня просит. Я вынул браунинг и нарвал пригоршню травы: «Ешь», — сказал я ему. Однако бедное животное не могло уже больше есть. Оно только смотрело на меня. Я приставил револьвер ему за ухо и спустил курок. Выстрела не раздалось. Еще и еще раз, но выстрела не было. Револьвер давал осечку, отсырел и заржавел в мокром кармане. Я обнял голову осла и обещал ему снова прийти. Он посмотрел на меня большими измученными глазами, в которых был написан страх: «Но придешь ли ты? Наверное ли придешь?»

Я вскочил в седло и хлестнул свою кобылу. В эту минуту с ветвей ближайших деревьев снялись коршуны, сторожившие момент, когда их жертва свалится, чтобы наброситься на нее, — они не ждут, чтобы она издохла. А между тем они терпеливо ждут целые дни напролет и не теряют из виду больного животного, пока оно наконец не свалится. Животное падает, потом опять встает, дрожит перед тем ужасом, который его ожидает, и снова падает; о, оно хорошо знает свою участь. Если бы оно могло еще издохнуть где-нибудь в укромном месте, одно, подальше от этих страшных птиц! Но коршуны подстерегают свою жертву и сейчас же слетаются к ней, как только она падает и уже не имеет больше сил подняться на ноги. Хищные птицы должны ждать еще несколько дней возле павшего животного, пока, под напором гнилостных газов в трупе, не лопнет шкура, которую они не в силах проклевать. Но едва животное падает, они сейчас же набрасываются на самый лакомый кусочек, на изысканную закуску: глаза живого животного... Я повернулся в седле:

— Смотри, стой и не сдавайся, — крикнул я, — держись крепко! Я скоро вернусь.

Грязь брызгала во все стороны, когда я скакал по размытым дождем улицам; я приехал в гостиницу словно какой-то бродяга. Я вошел в общую залу; за угловым столом пили наиболее почетные гости — немцы, англичане, французы.

— Кто даст мне ненадолго револьвер? — крикнул я. Все взялись за карманы, только один спросил:

— Для чего?

Тогда я рассказал о моем старом осле. Все вынули

руки из карманов, никто не дал мне своего браунинга.

— Нет, — ответили они мне, — нет, этого мы не должны делать, это принесет вам много хлопот и неприятностей.

— Но ведь осел никому не принадлежит, — вскрикнул я, — по-видимому, хозяин выгнал его и предоставил ему разлагаться заживо и быть съеденным коршунами!

Пивовар засмеялся:

— Совершенно верно, теперь он никому не принадлежит. Но стоит вам только его пристрелить, как сейчас же найдется хозяин, который потребует от вас в виде вознаграждения за понесенный убыток такую сумму, на которую вы могли бы купить двадцать лошадей.

— Я вышвырну его за дверь.

— Ну, конечно, в том-то вся и штука. Но этот человек обратится к содействию полиции и судьи — тогда посмотрим, как вы откажетесь удовлетворить его иск. Кроме того, с вами будут обращаться хуже, чем в Пруссии, а это едва ли вам понравится. На следующий день вы будете подвергнуты аресту, и нам придется пустить в ход все наше влияние, чтобы выручить вас, — вот чем может окончиться вся эта история. Верьте, что в Мексике тоже существуют законы.

— Вот как? — воскликнул я. — Законы?

И я указал на несколько следов пуль в стене:

— Нечего сказать, хороши законы. А это что?..

Английский инженер прервал меня:

— Это? Но ведь мы вам вчера рассказывали. Вон тот застрелил в этой комнате в шутку двух женщин и трех мужчин, но это были индейцы и проститутки, которые далеко не стоят того, чего стоит осел. Убийцу присудили к заключению в тюрьме на полгода, но он отделался тем, что пробыл в больнице дня два. Недурно, но не забывайте: это был мексиканец и племянник губернатора. Законы существуют в этой стране для иностранцев, и тогда они применяются самым строгим образом. Я уверен, что вы были бы обречены на долголетнее заключение в тюрьме из-за вашего старого осла,если бы мы не вступились за вас, — а это стоило бы нам не одну тысячу: и полицмейстер, и судья, и губернатор — никто не пропустит такого удобного случая. Отказывая вам в револьвере, мы

только бережем наши деньги.

Так никто и не дал мне браунинга. Я просил, но меня высмеяли, и я в бешенстве выбежал из залы. Четверть часа спустя кто-то постучал в дверь моей комнаты, — это был дон Пабло.

— Вот вам мой револьвер, — сказал он. Потом он сделал мне несколько намеков:

— Уложите ваши чемоданы, пойдите как можно позже в парк, займите место в поезде, который отправляется в три часа ночи. Это мне будет особенно приятно, так как я отправляюсь с этим поездом, и тогда у меня будет попутчик.

* * *

Действительно, я оказался его попутчиком, и не на один только день. Дон Пабло таскал меня по всей Мексике в течение нескольких месяцев. Словно один из своих семи сундуков. Дело в том, что он был коммивояжером из Ремшейда.

В той стране, по которой он разъезжал, прекрасно знают, что это означает; но те, кто читает мою книгу, понятия не имеют об этом, а потому я расскажу, что это такое. Коммивояжер торговой фирмы в Реймшейде говорит на всех языках и на всех наречиях. У него в Америке в каждом городе, начиная с Галифакса и кончая Пунта-Аренас, есть хорошие друзья и приятели, он в точности знает кредитоспособность каждого купца. Его патрон в отчаянии, что должен платить ему 50.000 марок в год, но в то же время он очень доволен тем, что тот вознаграждает его за это в десять раз; рано или поздно, но дело всегда кончается тем, что глава фирмы делает такого коммивояжера своим компаньоном. Это передвижной Вертхейм *, его сундуки с образцами товаров наполняют два вагона. И чего только в них нет! Тут и подвязки, и иконы, и кастрюли, и зубные щетки, и части машин и т.п. И коммивояжер хорошо знает, где лежит каждый образец, он знает свои сундуки не хуже той страны, по которой путешествует. Тем, кому выпадает на долю путешествовать с ним, нет надобности в путеводителях, он наизусть знает все, что написано в путеводителях, а кроме того, еще много другого.

---

* **Громадный торговый дом в Берлине.**

Моего ремшейдца звали Пауль Беккер, но я буду называть его доном Пабло, потому что так его называют по всей Мексике, да и сам он так называет себя там. Я иемного замешкался и пришел на вокзал в последнюю мниуту; второпях, вскакивая в вагон, я оборвал свои подтяжкн. Дон Пабло сейчас же подарил мне иовые в счет своей фирмы. Потом он выругал меня за то, что я купил себе бнлет. Сам он, вместо того, чтобы предъявить кондуктору билет, подарнл ему старый карманный ножик.

Сперва дон Пабло повез меня в Пуэбло, потом в Тласкала. Мы разъезжали по всем штатам, былн в Юкатане и в Соиоре, в Тамаулнпасе, в Ялнско, в Кампехэ и в Коахиле.

Пока можно было пользоваться железными дорогами, я молчал. Но когда пришлось иагружать двадцать семь тяжелых сундуков иа мулов и медленно тащиться то в гору, то под гору, — мне скоро это надоело. Несколько раз я уже собирался забастовать, но дои Пабло говорил в таких случаях с возмущением:

— Что? Но ведь вы не видели еще рунн Митлы!

И я снова запасался терпением недели на две. Но этому не было коица: мне постояиио надо было вндеть еще и еще что-нибудь интересное. Одиажды дон Пабло сказал мне:

— Ну, теперь мы отправляемся в Гуэрреро.

Я ответил ему, что пусть он едет туда одии, что мне уже в достаточной степени надоела Мексика. На это он возразнл, что я должен обязательно видеть иидейцев штата Гуэрреро, иначе у меня будет весьма несовершенное понятие о Мексике. Я наотрез отказался от дальнейшего путешествия и сказал, что видел уже более сотни индейских племен и что я ничего не выиграю, если увижу еще одно лишнее племя.

— Голубчик, — воскликнул дон Пабло, — уверяю вас, что вам необходимо посмотреть индейцев Гуэрреро, если вы вообще когда-ннбудь собираетесь разговаривать об индейцах. Дело в том, что индейцы Гуэрреро...

— Очень глупы, — прервал я его, — как н все индейцы.

— Конечно, — подтвердил дон Пабло.

— И страшно леиивы.

— Само собою разумеется.

— И очень хорошие католики и утратили все свои

старинные обычаи.

— Совершенно верно.

— Какой же интерес они могут представлять для меня, скажите, ради Бога?

— Вы должны только посмотреть их самих, — сказал дон Пабло с гордостью. — Дело в том, что там есть племя совершенно синих индейцев.

— Синих?

— Да, синих.

— Синих?

— Ну, да, синих, синих! Они такие же синие, как мантии на мадоннах, изображения которых я вожу с собой. Ярко-синие. Васильковового цвета.

Ну, хорошо, мы купили себе новых лошадей, ослов и мулов и, выехав из Толуки, направились через Сьерра-Мадре. Раза два мы останавливались, чтобы демонстрировать наши образцы; в то время, как дон Пабло заезжал в Тикстлу, я удостоился чести вести переговоры с клиентами в Чилапе. Вообще же мы совершили это путешествие сравнительно быстро: уже недели через три мы были на берегу Тихого океана, в Акапулько, столице штата, в которой оказалась настоящая гостиница. Я высматривал всюду синих индейцев,но не нашел их, хотя дон Пабло и уверял, что здесь их часто можно встретить. Он призвал хозяина гостиницы, итальянца, в свидетели; и тот подтвердил, что действительно синие момоскапаны появляются иногда в городе. Всего только несколько месяцев тому назад два французских врача возвратились из Истотаситы, места жительства этого племени, они пробыли там полгода, изучая «синюю болезнь», по мнению врачей, синий цвет кожи этих людей — болезненное явление. Эти два врача сказали ему, что момоскапаны, кроме своей синей окраски, отличаются еще поразительной памятью, распространяющейся на самое раннее детство, что главным образом объясняется тем обстоятельством, что это маленькое племя с незапамятных времен питается исключительно рыбой и моллюсками. Впрочем, хозяин посоветовал мне лучше съездить самому посмотреть на это племя, которое живет при впадении Момохушки в море, днях в десяти езды от города.

Дон Пабло поблагодарил и отказался ехать туда, так как был уверен в том, что среди момоскапанов

не найдет ни одиого клиента, могущего доставить хоть какую-ибудь прибыль его фирме. Тогда я отправился один, взяв с собой только трех индейцев, из которых один был узаматольтек с Сьерра-Мадре, понимавший немного по- ислапекски. Можио было предполагать, что кто-нибудь из сииих индейцев понимает немного этот язык соседиего им племенн.

То, что я хотел видеть у момоскапанов, я увидел уже в четверти часа езды от города. Я мог констатировать, что они действительно синие, что уже до меня, по всей вероятиости, заметили сотии других путешественннков. Основным цветом их кожн, конечно, был желтоватый, свойственный всем мексиканским индейцам, одиако от этого цвета остались лншь небольшие пятна, величииой с ладонь, большей частью на лице. Но сииий цвет кожи был преобладающим, в противоположность тигровым индейцам из Санта-Марты в Колумбии, у которых яркий желтый цвет преобладает над ржаво-коричневым. Несмотря на это, мне кажется, между этими двумя случаямн нгры природы есть много общего, хотя бы то, что индейцы из Саита-Марты также питаются исключительно продуктами моря. К сожалению, в накожных болезиях я также мало смыслю, как имперский немецкий посланник в дипломатнн; в киигах также мне никогда не приходилось ничего читать относнтельно сиието цвета момоскапанов, иначе я охотно вплел бы сюда несколько научных сентенций. Это наверное произвело бы выгодное впечатление. Но, глядя на этих удивительных людей, я мог только вытаращить глаза и сказать:

— Гм, — странно!

Когда я был в шестом классе, то по дороге в гимназию всегда встречал банкира Левенштейиа. Он возвращался с прогулки верхом, на нем была шапка, на ногах гамаши, н он размахивал хлыстиком. Он был малеиький и толстый, в левом глазу носил монокль, а вся правая сторона его лица была покрыта темнофиолетовым пятном. Глядя на него, я думал: «Вот потому-то он и носит монокль, если бы он носил пеисне, то при каком-нибудь неловком толчке оно могло бы оцарапать ему правую, синюю сторону носа.»

И потом я уже никогда не мог больше отделаться от мучительной мыслн: «Если ты подойдешь к нему слишком близко, то ты можешь задеть своей верхией

пуговицей за его щеку, -ах, н тогда ты ему сразу сдерешь всю кожу со щеки!»

Эта мысль мешала мне даже во сне и во время занятнй в школе, завидя его издалека, я сворачивал в сторону, а в конце концов начал ходить другой дорогой.

Такие же синие, почтн фиолетовые, как пятно на щеке банкира Левенштейна, были и синие индейцы. И с первого же мгновения при виде их у меня снова явился страх, который я нспытал двадцать четыре года тому назад — как бы верхняя пуговица моего сюртука не разодрала нм кожу. Я был до такой степенн во власти этого детского впечатления, что в теченне нескольких недель, прожитых мною среди момоскапанов, нн разу не мог заставить себя дотронуться хотя бы до одного из ннх.

А между тем я хорошо видел, что это вовсе не кровоподтеки. Кожа была гладкая и блестящая и была бы даже красива, если бы не светлые пятна, которые пестрнли кожу. И только моя странная, непреодолимая мания мешала мне привыкнуть к оригинальной окраске кожи этих индейцев.

Раз я уже был в Истотасинте и раз не знал, что мне делать с синнми феноменами, то я решил, по крайней мере заняться другой загадкой, то есть поразнтельной памятью синих нндейцев, о которой говорнли французские врачн моему хозяину в Акапулько.

Предоставляю науке установнть, действительно ли и в какой степенн повлияло пнтание исключительно рыбой на сннюю окраску кожи момоскапанов, предоставляю науке же разрешить аналогичный вопрос, до снх пор мало исследованный, относительно красного цвета индейцев Санта-Марты. Эти колумбнйскне тнгрокожне едят очень много черепах, а мекснканские сннекожие совсем не едят нх,- может быть, какой-нибудь исследователь сделает из этого особый вывод. Пусть наука также установит прнчнну все возрастающей человеческой памяти прн преобладающем нли исключительном пнтанни морскими продуктамн, — для меня это уже не нмеет особого значения. В течение целого полугода я производнл над собой этот опыт и достиг того, что во мне вновь возродились некоторые исчезнувшие воспомннання нз моего раннего детства, к которым я, впрочем, был вполне равнодушен. А

потому я прекратил эти опыты к великой пользе моего сильно пострадавшего желудка и глотки. Среди индейского племеии момоскапаиов я ие иашел ни одиого индивида, который не помиил бы до мельчайших подробностей все, что ему пришлось пережить в своей, к сожалению, очеиь однообразной жизии; миогие помнили свою жизнь, иачиная с первого года. Особенно удивляться этому нечего, особенно если принять во внимаиие то обстоятельство, что это малеиькое племя с незапамятных времен, из поколеиия в поколение, никогда ие питалось ни мясом, ни плодами, ни зеленью, а исключительно только дарами моря и главным образом особого рода моллюсками, содержащими в себе громадиое количество фосфора. Одиако иадо сказать, что этот обычай ничего не имеет общего с требоваииями религии, и продукты земли, идущие в пищу, отиюдь не подвергаются какому-либо «табу»; сииие иидейцы не пользуются этой пищей только потому, что на этом пустыниом, бесплодном берегу ничего ие водится и не растет. Синие индейцы иичего не имели против иекоторого разнообразия в пище и с величайшей благодарностью принимали остатки моих консервов.

Как и большая часть мексиканских индейцев, момоскапаны очеиь ленивы, иеразвиты и крайие миролюбивы, — оии не зиают даже употреблеиия оружия. Благодаря посещению французских врачей, которые сделали им много подарков, оии иесколько привыкли к иностранцам и, когда узнали о причиие моего посещения и поняли, что мне иадо, сразу проявили величайшую предупредительность по отиошеиию ко мне и сами стали приводить ко мне тех из своих соплеменииков, которые отличались особенной памятью. Однако, мне скоро надоело выслушивать эти однообразные исповеди, причем очень часто мне приходилось прибегать к помощи двух переводчиков, к моему узамагольтеку и еще одному старому кацику, который в самой иезначительной степени владел изальпекским языком. Но вот однажды мне привели подростка, который крайне удивил меня. Сперва он рассказал мне всякие пустяки о своем раинем детстве, но потом заговорил о своей свадьбе и о том, что поймал тридцать больших рыб и зажарил их, и что вскоре после этого ои был со своей женой в Акапулько. И ои подробно описал Акапулько. В этом не было иичего особенного,

но замечательно было то, что подростку едва ли было тринадцать лет, и что он наверное не был женат и никогда не был за пределами Момохучики. Я заметил ему это через переводчика. Он глупо посмотрел на меня и ничего не ответил. Но старик сказал, ухмыляясь:

— Пала (отец).

Должен сознаться, что в эту ночь я не спал, хотя меня и не кусали москиты. Одно из двух: или мальчик налгал мне, или же я открыл изумительный феномен — память, которая заходила за пределы жизни человека и захватывала случаи из жизни предков.

Почему бы это было невозможно? У меня зеленые глаза, как у моей матери, и выпуклый лоб, как у моего отца. Все может быть наследственно, каждая склонность, каждый талант. А разве память не может переходить по наследству? Самый маленький котенок, на которого лает собака, выгибает спинку и фыркает. Потому что у него вдруг совершенно инстинктивно является воспоминание, унаследованное им от тысячи предыдущих поколений, о том, что это — лучшее средство защиты. Еж, — ах, стоит только раскрыть Брема, — и на каждой странице можно найти какую-нибудь странную привычку, которой животные не могли бы выучиться сами, но по памяти унаследовали от бесконечного множества предыдущих поколений. В этом-то и заключается инстинкт — в воспоминании, унаследованном от предков. А эти индейцы, мозг которых был освобожден от всякой другой работы, эти синие индейцы, предки которых питались исключительно пищей, удивительным образом развивающей память, конечно, должны были обладать еще более развитой памятью — перешедшей к ним от родителей.

Родители продолжают жить в своих детях. В самом деле? Но что же продолжает жить? Быть может, лицо. Дочь музыкальна, как отец, а сын левша, как мать. Случайность. Нет, нет, мы умираем, а наши дети совсем, совсем другие люди. Мать была уличной потаскухой, а сын сделался известным миссионером. Или: отец был обер-прокурором, а дочка поет в казино. Нам приходится утешать себя бессмертием души, которая поет «аллилуйя» на зеленых лугах в небесном селении — на этой земле жизнь наша кончена, на этой земле, которую мы знаем и любим. Кончена.

И мы не хотим умирать. Мы делаем невероятные

усилия для того, чтобы как-нибудь продолжить нашу жизнь в воспоминании — мы умираем спокойно, если имя наше напечатано в энциклопедическом словаре. Мы счастливы только тогда, когда сознаем себя бессмертными хотя бы на одну секунду в течение двухсот лет. Всякому хочется жить в воспоминании человечества или своего народа, или, по крайней мере, своей семьи. Вот почему толстый бюргер хочет иметь детей — наследников своего имени.

* * *

Нечто живет — и, может быть, лучшее. Многое умерло — и, может быть, лучшее. Как знать? Ибо все умерло, что так или иначе не сохранилось в воспоминании. Тот совершенно умер, кто забыт, а не тот, кто умер. Но в том-то все дело: люди начинают понимать, что не воспоминание хорошо, а забвение. Воспоминание, это — домовой, это — изнурительная болезнь, отвратительная чума, душащая живую жизнь. Мы не должны больше наследовать от отца и матери, не должны смотреть на них вверх, нет, мы должны смотреть на них вниз, в самую глубину, ибо мы больше их, выше их. Мы должны разбить «вчера» потому, что живем сегодня, и потому, что наше «сегодня» лучше. В этом наша великая вера, настолько сильная, что мы вовсе не думаем о том, что это великое «сегодня» уже завтра превратится в жалкое «вчера», достойное быть брошенным в мусорную кучу. Вечная борьба с вечным поражением: только когда мысли наши отходят в область прошедшего, они побеждают.

Мы — рабы понятий наших отцов. Мы мучимся в этих оковах, задыхаемся в узкой темнице жизни, — в темнице, которую создали наши праотцы. Но мы строим новую, более обширную храмину и только в момент нашей смерти мы заканчиваем эту постройку, — и тогда оказывается, что потомки наши попали в наши оковы.

Но не ошибся ли я в выводе? Что, если сегодня я в одно и то же время представляю себя самого, моего отца и моего праотца? Что, если то, что содержит мой мозг, — не умрет, если оно будет жить дальше, разрастаться в моем сыне и внуке? Что, если я могу примирить в себе самом вечный переворот?

* * *

Я отдал приказаиие приводить ко мне всех, чья память переходила за пределы собствеииого рождеиия; и каждый деиь ко мие приводили кого-иибудь — мужчииу, жеищииу или ребеика. Я коистатировал, что способиость воспомииаиия у детей распростраияется как иа жизиь отца, так и иа жизиь матери, последиее преобладало. Однако во всех случаях эта способиость ограиичивалась воспомииаиием событий из жизии родителей до рождеиия детей, свидетельствующих о иих, и по большей части воспомииаиия эти касались какой-иибудь случайиости иа свадебиом торжестве или какого-иибудь события из последиего года перед зачатием ребеика. В некоторых случаях я мог иаблюдать, что воспомииаиия отиосятся к жизии предшествующего поколения. Так, иапример, одии иидеец, мать которого умерла при его рождеиии и который был ее едииствеиным сыном, рассказывал мие подробиости о других рождеиих, которые, повидимому, отиосились к жизии его бабушки или прабабушки. Все эти исповеди были, конечно, малоиитересиы, все оии повторялись в том же порядке и давали маленькую картииу соииой, мирной и однообразиой жизии этих ихтиофагов. Из целого сборника моих заметок я могу отметить только два момента, которые представляют собой некоторый иитерес и имеют зиачение. Никто из тех, кто приходил ко мие исповедоваться, никогда ие говорил: «Мой отец сделал то-то», «Моя мать, моя бабушка сделала то-то», каждый рассказывал только про самого себя. Очень иемиогие пожилые люди, как, иапример, кацик, который помогал мие в качестве переводчика, уясиили себе, что миогие воспоминаиия отиосятся не к жизии тех, кто их рассказывает, а к жизии их предков; одиако, большая часть сииекожих и главиым образом те, память которых переходила за пределы их рождеиия, были убеждены, ие отдавая себе в этом отчета, что все деяиия их родителей отиосятся к иим самим. Второй момеит, который я отметил, заключается в том, что все эти люди никогда ие вспомииали о смерти отца или матери, так как их воспомииаиия относились только к жизии родителей. Но так как миогие из иих собствеиными глазами видели, как умирали их родители, то, быть может, вследствие этого и создалась

бессознательная тенденция относить к себе самим все воспоминания, касающиеся жизнн родителей. Таким образом, получнлись эти маленькие qui pro quo, которые производили нногда забавное впечатленне; так, напрнмер, когда мальчнк, который никогда не покидал своего песчаного берега, начинал восхвалять великолепне Акапулько, или когда какой-нибудь десятилетний мальчик с серьезным выражением на лице старой опытной повитухи повествовал о своих семи родах, или когда маленький ребенок со слезами рассказывал, что у него утонул во время рыбной ловли маленький братец, который роднлся и умер до его рождения.

В моих записках значится: 16 нюля, Терезита, дочь Элии Митцекацнхуатль, 14 лет.

Ее отец привел ее ко мне в хижину н с гордостью объявил, что дочь его говорит по-испански. Она недавно вышла замуж, была хорошо сложена и была беременна; цвет ее кожи был почти сплошь синий, только единственное пятно на спине велнчиной с ладонь напомннало еще о ее первоначальном цвете. Хотя, по—видимому, она очень горднлась тем, что ей позволили предстать передо мной, она все-такн проявляла большое смущение и страх, чего я до сих пор не заметил ни в одном из момоскапанов. На все наши просьбы говорнть она отвечала гримасой и упорно молчала. Даже ее муж, который только что возвратился с рыбной ловли и угрожал подкрепить увещевания отцовской палкн концом своего каната, достнг только того, что ее смущенная улыбка перешла в жалобное завывание. Тогда я показал ей большую безобразную олеографию св. Франциска и обещал подарить ей ее, если она наконец заговорнт. Тут ее черты немного прояснели, но она все-таки не заговорила, н только после того, как я обещал подарить ей также и св. Гарнбальди, — ремшейдская фирма приобрела где-то целую партию олеографий Гарибальди по очень дешевой цене, и нх-то дон Пабло продавал за св. Алоизия, изображения которого уже были все распроданы, — только тогда я победил наконец Терезнту, и она сдалась при виде всех этнх великолепнй. Я начал осторожно делать обычные вопросы, н она, занкаясь, стала рассказывать обычные глупые детскне воспомннания, которые я уже слышал бесконечное множество раз. Мало-помалу она перестала бояться, начала говорить свободнее н рас-

сказала некоторые факты, относившиеся к жизни матери и бабушки. Потом, совершенно неожиданно, маленькая индианка крикнула вдруг громко и пронзительно, но вместе с тем низким голосом, как и до сих пор:

— Алааф!

Едва она произнесла это слово, как запнулась и замолчала; она потирала колени руками, покачивала головой из стороны в сторону и не произносила больше ни слова. Отец, чрезвычайно гордый, что его дочь «заговорила наконец по-испански», стал уговаривать ее, грозил ей, но все было напрасно. Я видел, что в этот день от нее больше ничего не добьешься, отдал ей ее картинки и отпустил ее. На следующий вечер меня постигла с нею та же неудача, как и в два последующих дня. Терезита рассказывала все те же пустяки из детских воспоминаний и замолкала на первом иностранном слове. Казалось, будто она до смерти пугается каждый раз, как другое существо в ней резко выкрикивает «Алааф». С большим трудом мне удалось добиться от ее отца, что ее способность говорить на иностранных языках далеко не проявляется каждодневно, только раза два в своей жизни, при исключительных обстоятельствах, когда она бывала особенно возбуждена, она говорила по-испански, как, например, накануне своей свадьбы, во время пляски на ночном празднестве. Сам он никогда не произнес ни одного испанского слова, но как его отец, так и его старшая сестра умели объясняться на этом языке.

Я каждый день дарил Терезите и ее родным всякую мелочь, обещал им еще много прекрасных вещей, зеркало, изображения святых, бусы и даже отделанный серебром кушак, если только Терезита заговорит наконец на «чужом» языке. Алчность всей семьи была возбуждена до крайности, а бедная девочка мучилась больше всех, так как все набрасывались на нее одну. Старый касик чутьем угадал, что Терезита заговорит только под влиянием сильного возбуждения, как бы в состоянии экстаза, а потому я предложил ему подождать до одного праздника, на котором предполагалась пляска, и который должен был состояться на следующей неделе. На это мне однако возразили, что беременные женщины отнюдь не могут принимать участия в подобных празднествах, моя настойчивая прось-

ба, подкрепленная заманчивыми обещаниями, хоть раз сделать исключение, ни к чему не привела. Доказательством тому, что отказ этот не обусловливался гуманными чувствами, было его предложение бить Терезиту до тех пор, пока в ней не появится необходимое возбуждение. Это, конечно, привело бы к желанной цели и не слишком повредило бы индианке, так как женщины в этой стране привыкли к побоям и переносят их лучше всякого мула. Однако, несмотря на то, что Терезита позволила бы десять раз избить себя до полусмерти, чтобы только получить серебряный кушак, я отклонил это предложение. Я уже готов был отказаться от дальнейшей попытки заставить заговорить Терезиту, как вдруг касик сделал мне новое предложение: он решил дать Терезите пейот. Этот любимый индейцами опьяняющий яд употребляется мужчинами в торжественных случаях, но строго воспрещается женщинам. Я очень хорошо понял, почему касик, за хорошее вознаграждение, конечно, в этом случае был сговорчивее, чем в первом: если бы Терезита, вопреки запрещению, приняла участие в пляске, то все племя увидало бы это; тогда как напоить ее опьяняющим напитком можно было в моей хижине, втайне от всех. Да и приготовился старик к этому очень тщательно: он пришел ко мне глухой ночью, велел двум индейцам, находившимся у меня в услужении, лечь у самого порога моей двери, а отца Терезиты, ее мужа и одного из ее братьев, который тоже был посвящен в эту тайну, расставил вокруг хижины в виде караульных. А чтобы успокоить также и свою совесть, он одел молодую женщину в мужское платье; она имела очень смешной вид в длинных кожаных штанах своего отца и голубой рубашке мужа. Ради шутки я взялся дополнить ее туалет: в то время как варилась горькая настойка из головок кактуса, я нахлобучил ей на глаза мое сомбреро и подарил один из пунцовых кушаков дона Пабло которые пользуются таким успехом у индейцев. Сидя на полу на корточках, молодая женщина выпила большую чашу отвара; мы сидели вокруг нее и курили одну папиросу за другой, ожидая действия яда.

Прошло довольно много времени. Наконец, верхняя часть ее туловища начала медленно отклоняться назад, она упала с широко раскрытыми глазами и погрузи-

лась в тот своеобразный сон, который является результатом отравления пейотом. Я наблюдал за тем, как ее взоры жадно глотали дикие краски галлюцинаций, но очень сомневался в том, что она в состоянии этого пассивного опьянения проявит какой-нибудь активный экстаз. И действительно, губы ее были плотно сжаты. Старый кацик не мог не видеть, что его план не удался, что опьянение при помощи пейота произвело на молодую женщину то же действие, какое производило на него самого и его соплеменников. Но, по—видимому, в нем заговорило желание поставить на своем: он стал варить вторую порцию отвара с таким количеством головок кактуса, что этим отваром можно было сбить с ног целую дюжину сильных мужчин. Потом он приподнял опьяневшую женщину и поднес к ее губам чашу с горячим напитком. Послушно втянула она в себя первый глоток, но ее горло отказалось проглотить горький напиток, и она выплюнула его. Тогда старик, шипя от ярости, схватил ее за горло, плюнул на нее и сказал, что задушит ее, если она не выпьет всю чашу. В смертельном страхе она схватила чашу и, сделав над собой невероятное усилие, проглотила ядовитый отвар и упала навзничь. Последствия эти были ужасны, все ее тело приподнялось, скорчилось, словно какая-то бесформенная змея, ноги ее переплелись друг с другом в воздухе. Потом она прижала обе руки ко рту, и видно было, что она делает невероятные усилия, чтобы удержать в себе отвратительный отвар. Но это не удалось ей. Страшная судорога приподняла ее вверх, и она извергла из себя яд. Старый кацик задрожал от ярости; я видел, как он схватил кинжал, которым разрезал головки кактуса, и как с криком бросился на несчастную женщину. Я успел схватить его за ногу, и он плашмя упал на глиняный пол. Однако Терезита успела заметить его движение и остолбенела, словно приросла к соломенной стене, потом она издала протяжный стон, как изголодавшийся пес. Ее зрачки закатились под самый лоб, и видны были почти только одни белки, которые ярко светились на ее фиолетовом лице; из судорожно сжатого рта еще сочилась коричневая жидкость. Но вот ее колени слегка задрожали, она поднялась на ноги, встряхнула своим сильным телом, как бы собираясь с духом, выпятила грудь, с силой взмахнула руками и стала все

быстрее и быстрее биться головой о стену. Все это обещало очень банальный и совершенно нежелательный исход. Невольно я пробормотал про себя:

— Черт возьми, какое свинство!

Но вдруг с губ Терезиты раздался резкий, грубый крик:

— Дуннеркнель!

Она крикнула это не своим голосом, и казалось, будто с этим голосом прекратилась какая-то отчаянная борьба. Судороги сразу прошли, все ее тело успокоилось, уверенным жестом Терезита вытерла рукавом рубашки лицо, а потом — совсем как немецкие крестьяне — нос и рот. Тело ее отделилось от стены, на лице появилась широкая спокойная улыбка. Она твердой поступью вышла из угла и подошла к очагу, оттолкнула старика, перед которым только что трепетала в смертельном страхе, и самоуверенным жестом приказала ему встать в стороне. Тут только я увидел, что это была уже не Терезита, это был кто-то другой.

И этот другой, не спрашивая, схватил стоявшую на земле чашу с вином и залпом осушил ее.

— Благодарю тебя, брат. Пресвятая Дева защитила нашего генерала! К черту этих лютеранских свиней. Pax vobiscum!

Она взяла мой хлыст и, ударив им старика, крикнула:

— Повторяй за мной, собака: Pax vobiscum!

Старик весь сиял:

— Вот видите, вот видите; она заговорила по-испански.

Однако Терезита говорила вовсе не по-испански. С ее синих, широко улыбающихся губ срывалось чистейшее старинное нижнегерманское наречие:

— Ах, они не понимают христианского языка, это чертово отродье.

Потом она молодцевато передернула плечами:

— Клянусь святым Жуаном де-Компостелла. Я голоден, чертовски голоден, а ведь у меня брюшко не хуже, чем у виттенбергского шутовского попа. Эй, брат, раздели со мной твой паек.

Я сделал знак старику; пока я наполнял чашу вином, он принес из угла сухарей и кусок жареной рыбы. Терезита посмотрела на него:

— А, отлично! Ах, эти синие собаки! Что скажет

мие мой кельиский архиепископ, если узнает, что я проповедовал христианство этим синнм обезьяиам. Я должен ему привезти иесколько штук, ииаче ои ие поверит. Но это правда, брат, это правда: кожа у вас не выкрашеиа , она действнтельно сняя. Мы этих собак оттирали щетками и скреблн иапильником. Мы сдирали с них целые куски кожн, и оказалось, что она сииня н снаружи и виутри.

Терезита пнла н ела н беспрестаиио иаполняла чашу виином. Я начал задавать ей вопросы, очень осторожио, сообразуясь с тем, что оиа говорнла; при этом я подражал, насколько мог, ее говору, вставляя время от времеии в старогермаиское иаречне голландские слова, прибавляя к этому испанскую ругань и латинские цитаты. Виачале я плохо поннмал ее, н целые фразы проходили для меия иепоиятнымн, однако мало-помалу я привык к этому старинному иаречию. Раз я чуть было ие испортил того, чего мы добились после страшиых усилий: я спросил, как ее зовут. Как-то иевольно у меия вырвались те единственииых два момоскапанскнх слова, которым я выучился за все мое пребыванне среди сииих индейцев и которые мие так часто приходилось повторять: «Хуатухтои туаплн» (Как тебя зовут)? Тут по лнцу Терезиты прошла легкая судорога, н оиа боязлнво ответила мне иа своем языке и свонм собственным застеичивым голосом:

— Меня зовут Терезита.

Я испугался, думая, что оиа сейчас придет в себя. Одиако, того прадеда, который продолжал жить в ией, ие так-то легко было изгиать: Терезита сиова засмеялась громко и беззастеичиво:

— Хочешь пойти со мной, брат? Завтра я опять велю зажарить троих, которые слишком глупы для того, чтобы выучиться делать крестиое зиамение.

Из отрывочиых фраз Терезиты мие удалось до иекоторой степени устаиовить биографию предка сиией иидианки. Он родился иа иижием Рейие, в Кельне; в качестве францисканца он был посвящен в саи священника и затем совершал походы вместе с испаискими войсками, как полковой свящеиник; ои побывал иа Рейне, в Баварии и во Флаидрии. В Милаие он познакомился с ваи-Штратеном, который позже уехал в Мексику, где был пятым, после Кортеса, губериатором. Предок Терезиты последовал за ним в Мексику, и с

ним вместе совершил известиый поход в Гондурас. Каким-то образом, ои в коице коицов попал в Истотасинту к синим индейцам, среди которых насаждал иа свой особый лад христианскую культуру.

Терезита продолжала пить одиу чашу за другой; ее голос стаиовился все грубее и прерывистее, и болтовня полкового попа стаиовилась все развязиее. Оиа рассказала о взятии Кваитутачи, где предводительствовала с саблей в одиой руке и крестом в другой. Она рассказала о сожжеиии трехсот Майя при взятии Мериды. Она плавала в море крови и огня; она упивалась победами и оргиями с жеищииами во время разгромления храмов. Такого миожества людей еще никто не убивал.

— Hci, viva el general Santanilla, alaaf, alaaf Koln!

Голос измеиил ей, казалось, словио у нее не хватило сил выразить криком всю силу разгула этого повелителя:

— Если хочешь, брат, то я велю всех вас завтра зажарить, всех вместе, всю сииюю сволочь! Хочешь? Каждый должен сам сложить себе костер и поджечь его. Вот-то будет весело.

Оиа сиова осушила чашу:

— Отвечай же, брат! Что, ты этому ие веришь? Пресвятая Аниа, оии сделают все, все, что я хочу, эти грязные свиньи. Ты этому не веришь? Берегись, брат, я выучил их одиой хорошей штуке.

Она снова ударила кацика хлыстом.

— Иди сюда, старая языческая собака! Твой проклятый язык слишком часто молился твоим погаиым чертовским идолам, пока я не привез вам Спасителя и Пресвятую Деву! Долой этот синий обезьяиий язык, который молился Тлахукальпантекухтли, вшивой богине Коатлику-Ицтаккихуатль и Тзентемоку, грязиому богу солица, рыскающему по всему свету вверх иогами. Долой, долой твой проклятый язык, откуси его сейчас же, слышишь!

Терезита кричала: целый град момоскапанских слов, словио удары хлыста, сыпался иа старика. Потом вдруг, как если бы это бурное словоизвержеиие иа родиом языке сразу погасило в ее воспоминаиии давио прошедшие времена, она вся съежилась, и руки ее беспомощно нащупывали точку опоры, которой она так и не нашла. Медлеиио, как безжизиеииая масса,

ее тело упало на землю. Она вся съежилась в углу, и тихие рыдания потрясли ее тело. Я повернулся к ней, чтобы протянуть ей кружку с водой; тут мой взгляд упал на старого кацика. Он стоял во весь рост, закинув голову и устремив широко раскрытые глаза вверх. И язык, свой длинный фиолетовый язык, он вытягивал вверх, словно хотел поймать им на потолке муху. Из его горла вырвались гортанные звуки, руки его судорожно сжимали голую грудь, и ногти глубоко впивались в синюю кожу. Я ничего не понимал, я только смутно сознавал, что в нем происходит страшная борьба, что он отчаянно сопротивляется чему-то внезапному, чудовищному, какой-то непреодолимой силе. Сопротивляется страшной силе белого господина, которому безвольно подчинялись его отцы. Он боролся с этой адской силой, которая возродилась через сотни лет и была такой же непреодолимой, как и раньше. Этот поток страшных слов, от которых предки его когда-то терпели нечеловеческие муки, уничтожил время; вот он стоит тут, жалкое животное, которое должно само растерзать себя по первому знаку господина, — и он повиновался, он должен был повиноваться: в страшной судороге, под напором дикой нечеловеческой воли, сильные челюсти сжались и перекусили высунутый язык. Потом он подхватил окровавленный комок мяса губами и отплюнул его далеко в сторону.

Меня охватил ужас, я хотел крикнуть, потом бессмысленно ухватился за карман, как будто у меня там было средство, которым я мог помочь. В эту минуту к моим ногам, ластясь, подползла Терезита. Она поцеловала мои сапоги, забрызганные грязью:

— Господин, получу ли я теперь серебряный пояс?

Торреон (Коахила), Мексика. Март. 1906.

СМЕРТЬ БАРОНА ФОН ФРИДЕЛЬ

И боги вняли мольбам нимфы Салмакиды:
ее тело слилось воедино с телом
ее возлюбленного, прекрасного сына
Гермеса и Афродиты.

Аристобул.

Мужчина — происхождение солнца, а женщина
происходит от земли. Луна же,
которая происходит и от солнца и от
земли, создала третий пол — странный и
необыкновенный...

Эриксимах.

Нет, нет, это не правда, что барон фон Фридель покончил жизнь самоубийством. Гораздо вернее сказать, что он застрелил ее, баронессу фон Фридель. Или наоборот: что она его убила, — не знаю. Знаю только, что о самоубийстве тут и речи быть не может.

Я хорошо знаю всю его жизнь, я встречался с ним во всевозможных странах; в промежутках между этими встречами до меня доходили слухи о нем от знакомых. О подробностях его смерти я, конечно, не знаю более того, что знают другие: то, что писали в газетах и что рассказывал мне его управляющий, — а именно, что он наложил на себя руки в ванне.

Вот некоторые моменты из жизни барона. Осенью

1888 года барон Фридель, цветущий юноша, желтый драгун в чине лейтенанта, участвовал в скачках с препятствиями. Это было в Граце. Я хорошо помню, как гордился им его дядя, полковник этого полка, когда он первый прискакал к флагу.

— Посмотрите-ка на этого молодца! А ведь без меня он превратился бы в старую бабу!

Тут он рассказал нам, как около года тому назад разыскал своего племянника, которого воспитывала его сестра, старая дева, живущая в провинции.

Там, в замке Айблинг, вырос осиротевший мальчик, его воспитывали три тетки, одна старая и две помоложе.

— Три сумасшедшие бабы! — смеялся полковник. — А его гофмейстер был четвертой бабой. Это был поэт, который воспевал женскую душу и в каждой развратнице видел святую. Я не хочу быть к нему несправедливым, надо отдать ему должное — он передал всю свою ученость мальчику: в пятнадцать лет тот знал больше, чем весь наш полк, считая и господ докторов. Ах, если бы только он знал одни науки! Но чему его только ни учили там — становится прямо страшно. Эти женщины выучили его вышивать, вязать и другим очаровательным женским рукоделиям. Это был настоящий маменькин сынок, противно было даже смотреть на него; это было то же самое, что выпить приторного миндального молока! И что за вой поднялся у этих баб, когда я утащил у них этого мальчика! Да и мальчик так ныл, что я ни за что не взялся бы за это дело, если бы не память о моем брате, которого я очень любил. Но знайте, что у меня не было ни малейшей надежды сделать из этой кисейной барышни мужчину! А теперь — что за дьявол! Разве есть у «желтых» более блестящие лейтенанты ?

С дьявольской улыбкой рассказывал дядя об успехах своего племянника. Как даже он сам во время попойки свалился под стол, а племянник продолжал сидеть, как ни в чем не бывало; и как последний вышел победителем из единоборства, здорово задав своему противнику. И фехтовал он так, как никто другой в Граце, сабля в его руке была такая же гибкая, как какой-нибудь хлыст. Ну, а что касается верховой езды — это мы только что сами видели.

А уж о женщинах и говорить нечего! Пресвятая Варвара! Такого дебюта в этой области не имел еще ни один кавалерист по обе стороны Леды. Когда он учился в Вене, в военном училище, он жил у одной хозяйки, у которой были три дочки — и все эти девицы ожидают теперь радостей материнства. Деньги на содержание он, конечно, охотно заплатит. Удивительный молодчина этот мальчишка!

Лет пять спустя я встретился с ним в маленьком городке Коломее. Он был там с... впрочем, не буду называть ее имени, она и теперь еще разъезжает по всему свету, и все провинциальные газеты восторженно отзываются о том, как она изображает классическую Медею. Но в то время ее имя гремело в императорском театре, а потому мне показалось очень странным это артистическое турне по ужасным углам Галиции. Конечно, я пошел на этот редкий литературный вечер; трагическая актриса продекламировала нам Шиллеровского Дмитрия, а барон Фридель продекламировал несколько неуверенно свои хорошенькие мелодичные стихотворения. Я аплодировал восторженно, — обитатели Коломеи приняли меня за авторитет, потому что я был в смокинге; и этот вечер имел громадный успех. Потом я ужинал с обоими участниками; было ясно, что это путешествие было свадебным. И это было очень странно, потому что барон получил от своих теток очень круглую сумму после того, как бросил военную службу; что же касается трагической актрисы, то она только и делала, что швыряла деньги, которые получала в самом неограниченном количестве. К чему же это таскание по грязным закоулкам Европы? Но загадка состояла не только в этом. Всякий знает, что... она в течение своей жизни всегда сторонилась мужчин; многие еще хорошо помнят громкий скандал, состоявший в том, что она однажды ночью похитила прекрасную графиню Шендорф. Это было года за два до того, как я встретил ее в Коломее с бароном; вскоре после этого скандала она надавала пощечин на одной репетиции управляющему театра, который упрекал ее в том, что она ухаживает за его женой. Ни до того ни после того никто не слыхал, чтобы великая Медея когда-нибудь имела Язона, а теперь я сам видел, как она целовала руки барона. Я подумал, что их

свел вместе алкоголь — ведь по Грабену ходили сотни анекдотов об этой любившей выпить героине. И на этот раз она не стеснялась и начала с того, что выпила перед супом большую рюмку коньяку. Но он не проглотил ни капельки. Оказалось, что он превратился в самого страстного сторонника умеренности. Что же это означало? Теперь я понял это странное обстоятельство, но тогда я ничего не понимал.

Потом барон Фридель очень много путешествовал; иногда мне приходилось встречаться с ним, но всегда мимолетно, — едва ли я его видел в течение нескольких часов зараз. Я знаю только, что он сопровождал Амундсена в его первую экспедицию на Северный полюс, что он потом в качестве адъютанта полковника Вильбуа-Марейля участвовал в войне с бурами, был ранен при Мафекинге, а при Харбистфонтене был взят англичанами в плен. За этот промежуток времени появился том его стихотворений и очень интересный труд о Теотокопули — это было плодом его путешествия по Испании. Это меня тем более удивило, что меня всегда поражало странное сходство между бароном и портретом этого художника, которого современники его называли «El Greco». И действительно, барон Фридель был единственный человек, который всегда вызывал во мне представление черного с серебром.

Потом мне пришлось еще раз встретиться с ним в Берлине на одном заседании научно-гуманитарного комитета. Он сидел против меня между госпожей Инэс Секкель и полицейским комиссаром, г.фон-Тресков. Он снова пил и курил, смеялся, но, по-видимому, очень интересовался докладом. Это было в то время, когда Гиршфельдское резкое подразделение индивидов на гетер и гомосексуалистов почти всеми было признано, когда думали, что научная сторона вопроса, в сущности, уже давно решена, и остается только сделать практический вывод. Я мало говорил с бароном, но помню, что он мне сказал, когда мы надевали наши пальто в передней:

— Этим господам все это представляется необыкновенно простым. Но, верьте мне... есть случаи, к которым приходится применять совсем иную точку зрения.

Далее я знаю, что Фридель некоторое время жил

в Стокгольме у одной дамы, которую Стриндберг очень забавно и не без оттенка презрения называет «Ганна Пай», и которой этот многоречивый филистер с негодованием бросает в лицо обвинение в той же мании, какую приписывают классической Медее. И в этом случае посещение барона представляет собою также странное интермеццо для обеих сторон, что не так-то легко привести в какую-нибудь удобную норму.

Вскоре после этого барон был замешан в Вене в каком-то скандальном деле, которое было замято в самом начале, и о котором даже в газетах едва упоминалось. Я почти ничего не знаю относительно этого, слышал только, что после этого родственники барона сразу прекратили выдавать ему средства на существование, что он распродал все свое имущество и уехал в Америку.

Несколько лет спустя я услышал совершенно случайно его имя в редакции одной немецкой ла-платской газеты в Буэнос-Айресе. Я стал расспрашивать о нем и узнал, что барон Фридель полгода работал при газете в качестве наборщика, а что раньше он был в Шубуте, где управлял плантацией одного немца. В последний раз его видели кучером в Розарио; однако он и оттуда исчез и говорили, будто он скитается где-то в Парагвае.

В этой-то стране я его и нашел и при очень странных обстоятельствах. Но необходимо, чтобы я сперва хоть немного рассказал о тех людях, которые любят называть Парагвай «обетованной землей». Там очень странное общество, вполне достойное того, чтобы о нем когда-нибудь написать целый роман. Однажды туда эмигрировал один человек, который хотел живьем проглотить всех евреев и думал, что спасет свет, если он изо всех сил будет орать. У него были рыжая борода и рыжие волосы, и его большие голубые глаза открыто смотрели на Божий мир. — «Ах, никогда ни один человек не был так симпатичен мне, как доктор Ферстер», — сказал мне однажды мой друг, присяжный поверенный Филипсон. И он был прав: нельзя было не любить этого человека с такой светлой верой во всевозможные идеалы и с его добродушной и детски-чистой наивностью; он был действительно самый симпатичный из всех тех, кто

отправлялся в широкий свет в поисках за цветущими лугами утопии. С ним вместе эмигрировала Елисавета, его тощая ученая супруга. Она возвратилась через несколько лет; и вот она начинает рыться в бумагах своего большого брата, разыгрывает из себя покинутую Пифию и изумляет безобидных бюргеров громкими словами: «Мой брат!» Но тот уже умер и, нет никого, кто спас бы его от сестриной любви. Еще и теперь ее бранят в Парагвае, но люди там необразованы и не имеют никакого уважения к жрице, которая стоит на сторожевом посту в храме в Веймаре. Чего только о ней не рассказывают...

Да и о нем ходит много историй, о ее муже, рыжебородом Ферстере. И над ним иногда смеются, но смеются сквозь слезы, как смеются в трагикомедии. Ах, как все это было грустно. Как много великого и искреннего вдохновения, прекрасного и наивного, как это всегда бывает, когда оно искренно; как много мужества и труда и детских недоразумений. Новая Германия в обетованной земле, свободная, великая, прекрасная — как должно было биться сердце у этого человека! А потом разочарование, а может быть, и пуля.

Это был вожак. Но и до него и с ним вместе и после него эмигрировали также и другие. Графы, бароны, дворяне, офицеры и юнкера, очень странная компания: люди, для которых молодая Германия стала слишком обширной, и которые хотели снова обрести свой старый, милый, узкий мир... в Америке. Мне пришлось видеть однажды в Тэбикуари одного гусарского ротмистра, который рыл колодец, возле него стоял его друг, кирасир, который командовал. И у обоих не было ни малейшего понятия о том, как роют колодцы, они играли, словно два мальчика, которые хотят прорыть дыру через весь земной шар. В другой раз я зашел как-то в лавку:

— Пожалуйста, коньяку. — Но мекленбургский граф продолжал спокойно сидеть на своем стуле, углубленный в чтение старого-престарого номера немецкой газеты.

— Дайте же мне бутылку коньяку. — Он не пошевельнулся.

— Черт возьми! — крикнул я, — я хочу бутылку коньяку!

Тут только он решился ответить, обеспокоенный моим криком. — Так берите же его! Вон он там стоит!...

Они очаровательны, эти люди из мертвого времени среди девственного леса. Они едва прокармливают себя тем скромным капиталом, который привезли с собой, и кое-как поддерживают свое существование земледелием и скотоводством; они, как дети, теряются перед теми требованиями, которые им предъявляет жизнь там, на чужой стороне. Они вызывают невольный смех, но смех сквозь слезы.

Везде в этих странах гостей принимают с распростертыми объятиями. Безразлично к кому попадешь: к немцам, французам, англичанам, испанцам или итальянцам — всякий рад заезжему гостю в своем уединенном имении. К услугам гостя все самое лучшее, совершенно чужой человек становится хозяином на каждой плантации; гостя просят только об одном: чтобы он как можно дольше оставался, а лучше всего — чтобы совсем не уезжал. У немцев, аристократов, конечно, также можно жить, но, само собою разумеется, при несколько иных условиях, ибо это не простые смертные. Быть принятым ими — великая честь. Однако, в таких случаях человеку, который попал к ним, не очень-то хорошо живется, а кроме того, за эту честь приходится очень дорого платить. Но хозяева никогда не называют своего дома гостиницей — это неприлично — нет, это пансион, а пансион может спокойно содержать каждая баронесса. И при этом хозяева не позаботятся даже о том, чтобы у гостя были вычищены сапоги, они только берут деньги. Почти у всех пансион... и раз в десять лет в таком пансионе поселяется непритязательный жилец.

Вот и я устроился в пансионе графини Мелани. Какая она была, вы легко можете себе представить; пойдите как-нибудь утром в Тиргартен, там вы всегда увидите такую даму верхом на лошади. На ней всегда безобразный маленький цилиндр и черная амазонка, изобретатель которой, наверное, был самым непримиримым врагом женщин. Дама всегда очень белокурая, костлявая и тощая — типичная немецкая полковая дама. Если случится познакомиться с одной такой дамой, то потом приходится кланяться всем — так

они похожи друг на друга. Увидя графиню Мелани, я подумал, что уже имел честь... но оказалось, что она это лучше знает, и что я никогда еще не имел чести...

Ей очень хотелось, чтобы ей давали не более тридцати пяти лет, а между тем она уже не менее четверти века прожила в этой страие. Оиа была богата и могла жить очень хорошо, но жила очень скромно и скверно. Свое хозяйство она вела так же, как вел ее отец, ругалась с пеоиами и скакала верхом. В черном платье и в дамском седле — это было единственное, что соответствовало ее полу. Когда она делала распоряжения, то можно было подумать, что это комаидует прусский ротмистр. Она крикнула резко и произительно, так что голос ее раздался далеко кругом: «Мари». Мари пришла, и на этот раз я ие ошибся, я узнал ее: это был не кто другой, как барон фон Фридель. На нем была чериая амазонка, такая же, как и у графини; он привел двух лошадей и остановился с ними под самым моим окиом. Графиня взяла поводья и галантно подставила ему руку. Ои поставил ногу на ее руку и вскочил в седло — в дамское, конечно. После этого графиня также вскочила на свою лошадь, и обе амазоики ускакали в лес.

Итак, графиня Мелани была последовательницей Медеи и стокгольмской экстравагантной дамы. Если первая была комедиантом, а вторая — учителем, то оиа была лейтенантом. И она была тем более мужчиной, так как солдат более мужчииа, чем какой-нибудь кандидат или юный герой. И наоборот, барон Фридель стал более женщиной, так как он теперь разгуливал в женском платье и состоял при графине в роли субретки.

В этот деиь я его ие видал больше, но иа следующее утро я встретился с иим на веранде. Он сейчас же узнал меня, и я кивнул ему. В то же мгновение ои повериулся и убежал. Час спустя ои пришел ко мне в мою комнату в мужском костюме.

— Вы иамерены долго остаться здесь? — спросил он.

Я ответил, что на этот счет у меня нет никаких определенных планов, и что я так же спокойно могу уехать сегодня, как и через несколько недель. Тогда

он попросил разрешения уехать вместе со мной; он прибавил, что лучше всего было бы уехать сейчас же. Я стал извиняться перед ним и сказал, что совершенно случайно попал сюда, и что никоим образом не хочу мешать ему в его тускулуме у амазонки. Пусть он спокойно остается на месте, а я уеду один, раз я его стесняю.

Он сказал:

— Нет, дело совсем не в этом. Дело в том, что я снова стал другим. Я должен сегодня же уехать во что бы то ни стало. Я не могу оставаться здесь больше ни одной минуты.

После этого мы с полгода не разлучались. Мы охотились в Шако. Я охотно сознаюсь, что барон Фридель заткнул меня за пояс и как наездник и как охотник. У нас было несколько приключений не совсем-то безопасного свойства, все это только оттого, что он не оставлял в покое ни одной индейской девушки, которая хоть сколько-нибудь соответствовала европейским требованиям. Одну он несколько дней таскал повсюду, посадив ее перед собой на седло. В Ассунционе в консульстве его ожидало приятное известие о том, что его последняя тетка умерла, и что он обладатель весьма значительного состояния. Мы отправились вместе в Европу, и я был очень рад, когда он сошел на берег в Булоне. Дело в том, что на пароходе он вел себя самым невероятным образом. Он играл в карты, пил и буянил каждую ночь до тех пор, пока наконец не засыпал в курительной комнате. Что касается пароходного буфета, то в этом отношении его не стесняли и даже шли ему навстречу, но несколько девушек, ехавших в третьем классе, пожаловались капитану на него, так как он слишком нахально приставал к ним. Последствием этого были скандал, сплетни и пересуды. Несмотря на это, он нашел удобный случай соблазнить молодую жену одного купца; и он сделал это так дерзко, так беззастенчиво, что я и теперь еще не могу понять, как этого никто, кроме меня, не заметил. У меня осталось такое впечатление, что будто все это он делал под давлением непреодолимого внутреннего побуждения, из страстного желания постоянно давать доказательства самому себе в своих мужских наклонностях. Должен сознаться, что это ему удавалось как нельзя лучше.

Это было за год до его смерти. Пуля сразила его в замке Айблинг, куда он удалился сейчас же по своем возвращении в Европу. Там он жил вдали от всякого общества, ведя уединенный образ жизни в полном смысле этого слова; ему прислуживали старые слуги, и кроме них он почти никого не видел. Иногда он ездил верхом по буковым лесам, но большую часть времени проводил в библиотеке замка. Все это я знаю от Иосифа Кохфиша, его управляющего, который дал мне на несколько недель заметки своего господина. Я говорю: заметки — потому, что это — единственное слово, которое хоть сколько-нибудь соответствует этому странному писанию. По всей вероятности, у барона вначале было намерение записывать в эту книгу в черном переплете свои мемуары, но вскоре вместо этого он стал вести в ней нечто вроде дневника, однако и дневник через несколько страниц прервался набросками, стихотворениями и различными наблюдениями. Потом все снова перепутывалось без всякой связи и последовательности. Эта толстая книга отличалась еще одной странностью: записи были сделаны двумя почерками. Начиналась она прямым, уверенным почерком барона, — я хорошо знал этот почерк; первые две дюжины страниц были исписаны исключительно им. Потом вдруг на следующей странице появлялся изящный мелкий дамский почерк, и им были написаны страниц двадцать подряд. Далее опять следовал энергичный почерк барона Фридель, который, однако, вскоре во второй раз сменялся женским почерком. Чем дальше, тем чаще перемешивались эти два почерка; под конец можно было встретить оба почерка в одной и той же фразе. В конце концов я мог установить, что все стихотворения — за исключением двух, — а также прекрасный очерк о музыкальном искусстве Л.ф.-Гофмана и два подражания Альфреду де-Виньи были написаны исключительно женским почерком. Но наряду с этим следующие произведения были написаны только рукой барона: целый ряд эпизодов из войны с бурами, очень точный критический разбор влияния Гофмана на французов XIX столетия, обширная критика стихотворений Вальтера Уитмана, у которого он не оставил в целости ни одного волоска, и, наконец, обстоятельная и подробная статья по поводу шахматной игры, в которой он рекомендовал новый вариант

открытия Рюи Лопеца.

Быть может, одно из стихотворений, написанных рукой барона, — другое стихотворение представляет собой настоящую пьяную, разгульную песню, — прольет некоторый свет на личность барона, а потому я привожу его здесь.

ГОСПОЖЕ ФОН-ВАРЕНС

Твои глаза волшебные ответят,
И поцелуй твой мудрый объяснит,
Как может искра, что внутри горит,
Зажечь края, где алый пламень светит?
Ты деве поцелуй дала — и вот
От уст твоих уж юноша идет,
И дочь твоя, к нему прижавшись нежно,
Ему приносит дар любви мятежной...
И все изменит в нем ее любовь,
Ее лобзаний сладостное счастье,
И женщиной к тебе порой ненастья,
О, женщина, является он вновь!

Я почти уверен, что заглавие этого стихотворения взято исключительно из воспоминаний о Руссо. У меня нет никаких данных, на основании которых я мог бы заключить, взята ли тема для стихотворения из личного переживания, или же оно представляет собой исключительно только плод фантазии: так или иначе, но содержание этого стихотворения позволяет нам довольно глубоко заглянуть в душу автора и дает яркую картину психики барона, о чем, впрочем, я уже составил себе понятие на основании всего того, что мне стало известно о его жизни. Эта картина, конечно, может показаться очень странной, однако, это все не так невероятно, как может показаться с первого взгляда. Прежде всего сексуальная жизнь барона не представляла собой ничего исключительного — если бы даже она в этой весьма ярко выраженной форме и могла показаться интересной — и, конечно, не была единичным случаем. Напротив, я утверждаю, что мне не приходилось встречать ни одного индивида, в особенности среди художников, которого можно было бы назвать психически однополым в самом узком смысле этого слова. Отдавая должное

нашей мужественности, нельзя однако отрицать, что в нас постоянно проявляется женственность — и отлично, потому что иначе это было бы большим недостатком. Также и другой момент, который у барона проявляется таким резким образом: сознание единства с женственной частью своей психики представляется странным лишь при поверхностном взгляде — в сущности же, это надо признать вполне естественным и даже нормальным. Ибо, если во вполне мужском теле с чисто мужскими сексуальными ощущениями живет психика — я беру это слово, как образ, чтобы быть проще и понятнее, — если живет такая психика, которая при известных обстоятельствах ощущает по-женски, то все-таки это ощущение не может быть достаточно сильно, чтобы побороть те преграды, которые совершенно естественно препятствуют сближению с мужчиной. Таким образом как до этого, так и после остается инстинктивное тяготение к женщине, и если даже это тяготение вопреки психике носит в себе женский элемент, то все-таки мы имеем здесь лишь кажущееся однополое чувство: в основании неизбежно остается коренное влечение мужчины к женщине, которое — в своем женском ощущении — лишь скрывается под маской однополого чувства. Итак, в случае с бароном фон Фридель я вижу не что иное, как резко выраженный наглядный пример явления, которое довольно часто наблюдал, хотя и не в такой резкой форме. Мне кажется, что доказательством верности моих выводов является тот факт, что при подобной метаморфозе сексуальной психики всегда избирается партнерша, которая, в свою очередь, уже сама по себе более или менее проявляет чувство мужчины. — Про одну из таких дам я могу с уверенностью сказать — в этом нет никакой нескромности с моей стороны, так как я от нее самой получил на это разрешение, — что она никогда в своей богатой переживаниями жизни не поддерживала связей с мужчинами, за исключением связи с бароном. Во внезапном чувстве, являющемся к тому или другому мужчине у женщин, вообще пренебрегающих мужчинами, надо предполагать известную реакцию, в силу которой снова просыпается всегда в каком-нибудь уголку скрывающееся и дремлющее женское чувство; или же надо допустить, что

такие женщины инстинктивно чуют в мужчинах с женскнм чувством нменно этот женский элемент — по всей вероятности, и то и другое вместе. Как бы то ни было, но эта странная любовь, которую старая басня Платона о трех полах из древиего времеии представляет мне в совершенно новом свете, дейст-вительно очень забавиа в том внде, в котором она является нам. Для иепритязательиого буржуа она не-что в высшей степени простое: любовь между муж-чнной и жеищииой. Однако при ближайшем рассмот-реиии чувство это оказывается вдруг чрезвычайио сложным: это любовь мужчины, чувствующего себя женщиной н, как таковая, все-такн любящего не муж-чину, а женщнну — но женщнну, которая, в свою очередь, чувствует, как мужчина, и все-таки любит не женщину, а мужчину! И эта запутанная проблема в конце концов разрешается очень просто: нормальное чувство с обеих сторон с едва заметной прнмесью нзвращения.

При всем этом нстория барона фон Фридель, ко-торая могла бы представить собой прекрасный ма-териал для пснхолога, изучающего сексуальный воп-рос, не заннтересовала бы меня так сильно, если бы в заметках бароиа не было указання на то, что под-разделение его психикн на мужские и женскне чув-ства далеко переходило через граннцы того, что мы до сих пор старались объясить. Почти все этн ука-зання находятся в конце кннги и по больше части написаны рукой бароиа, но иекоторые странццы иа-писаны жеиским почерком. Необходнмо, чтобы я их передал в последовательном порядке, хотя очень ча-сто в них пропадает внутренняя связь и существеиное попадается только изредка, словно изюм в тесте. До-стойно внимания то обстоятельство, что во всей по-следней части заметок много фантастичного, и на ме-ня это производнт такое впечатление, хотя и безот-четное, будто это пронсходнт от странной борьбы двух враждебиых нистинктов. Быть может, это-то н прн-дает отдельиым частям заметок нечто искусствениое, тогда как барои — каким по крайней мере я его знал — при всей своей способности глубоко чувст-вовать и тонко поимать, иикогда ие переступал гра-нcorrectly ннцы дилетантнзма.

* * *

Стр.884. Почерк барона.

Серые крабы быстро бежали по земле в этот вечерний час, когда сгущались сумерки. Их было бесчисленное множество; казалось, словно ожила вся земная кора: повсюду раздавалось сухое шуршанье отвратительных животных. Тут были крабы всевозможной величины: маленькие, не шире моего ногтя, а другие — величиной с тарелку, были крабы-уроды, у которых одна клешня была совсем крошечная, а другая несоразмерно большая, больше всего его тела; были тут также крабы, напоминавшие пауков, волосатые, с сильно выпуклыми глазами; были ядовитые, продолговатые крабы, словно громадные клопы. Вся земля на далеком протяжении была взрыта, из глубоких расселин вылезали все новые, новые крабы. Я не мог дальше ехать верхом и должен был спешиться и повести лошадь на поводу; она осторожно пробиралась вперед, отыскивая дорогу.

Из земли выползали все новые, новые крабы. И все ползли по одному направлению на запад, где садилось солнце. Ни один не уползал в сторону, вправо или влево; все ползли, как по нитке; эти восьминогие животные твердо держались одного направления. Я знал, почему они ползут туда: там, где-то на западе, наверное, лежит какая-нибудь падаль, которую покинули коршуны с наступлением вечера. Или же — да, да, так это и есть — крабы направляются к кладбищу, — к кладбищу Сан-Игнацио; сегодня утром там похоронили трех пеонов, которые умерли от болотной лихорадки всего за какой-нибудь час до похорон. Вчера еще я видел всех троих, они были пьяны и буянили перед трактиром. А завтра, едва взойдет солнце, на взрытой земле будут лежать только их кости, объеденные дочиста — их тела, которые я видел вчера живыми, будут разделены на миллионы желудков этих отвратительных серых крабов.

О, как они безобразны! Ни один индеец не дотронется до поганых животных, которые мародерствуют на их кладбищах. Одни только негры едят их. Они ловят их, откармливают и варят себе отвратительный суп из них. Или же они просто хватают их живьем,

отламывают у иих клешии и высасывают их. И на обезоруженное животное нападают другие крабы и пожирают его живьем: от него не остается ни одного крошечного кусочка... крак, крак, ломается панцирь и скорлупа...

Эта женщина, я знаю, не что иное, как большой, отвратительный краб. Но неужели я превратился уже в падаль, которую она почуяла, которую она хочет выкопать и сожрать, обглодать добела все кости. О, да — она хочет моего мяса, чтобы самой жить. Но видишь ли: я не хочу позволить съесть себя. Напротив, я уничтожу тебя — я отломаю у тебя клешии и высосу их, как негры..

* * *

Стр. 896. Почерк барона.

Однажды во время моего пребывания в Буэнос-Айресе я был как-то в Theater Royal. Мы сидели в ложе — Вальтер Геллииг, две кокотки и я. Мы пили шампанское, много шумели и задвинули наконец решетку. Никто из нас почти не смотрел на сцену, только иногда кто-нибудь выкрикивал из ложи в залу какое-нибудь грубое замечание... так мы острили. На сцену вышла певица — ах, да ведь это была подруга Уитлея; мы выпили за ее здоровье и крикиули ей, что желаем ей к рождению близнецов, — весь партер загоготал от восторга. Когда, наконец, на сцене появилась девушка с Looping-the-Loop, то Геллинг был до такой степени пьян, что едва издавал какие-то нечленораздельные звуки; капельдинеры стащили его вниз, и обе женщины повезли его домой. Я остался один и продолжал пить.

Потом выступили три молодых янки, глупые, безобразные парни, которые орали глупые песни. Публика свистела, шикала, бранила их и посылала к черту, но парни все-таки вернулись назад, на сцену. На этот раз они не пели, оии плясали, отбивая такт матроского танца своими твердыми каблуками. Все скорее двигались их ноги, все сильнее отбивали ноги по песчаному полу. Я посмотрел в программу, — это были трое Диксонов.

Когда я снова посмотрел на сцену, то Диксонов там больше не было — я видел только шесть ног, которые в бешеном темпе отбивали такт, семенили,

стучали друг о друга и топали по доскам. Шесть иог, шесть стройных, чериых иог.

Занавес опустился, и публика стала аплодировать. Люди ничего не заметили и теперь иичего не видели, когда — одиа за другой — к рампе подошли шесть иог, отвешивая поклоиы. Шесть чериых иог трех Диксоиов.

Кто украл у них туловища? Нет, это было ие так — наверное нужны были ноги, а не их тела. Тела ничего ие стоили, безобразные головы, впалые груди, узкие плечи и обезьяньи руки — кому все это иужио? Но эти шесть иог: со стальиыми мускулами, стройные, сильиые — шесть великолепных иог!

Моя гостииица иаходилась на улице «25 мая». Рядом, в опустевшем казиио раздавался еще шум; я зашел туда. На сцеие были три жеищииы — Грациэлла-трио — так гласила программа. Это были скучные, белокурые девушки в длиииых сииих платьях, с разрезом на боку. Оии пели какую-то песиь и во время припева высоко подиимали юбки вверх. Нижиих юбок иа них ие было, ноги были в черием трико. Это были стройиые, сильные стальиые ноги... и я сейчас же увидел, что эти ноги принадлежали трем Диксонам.

Меня охватил страх... я зиал, что и у меия чтоиибудь украдут. Не одии только ноги... все. — Но это продолжалось только одно мгиовеиие, потом я расхохотался. Мне вдруг пришло в голову: что, если Диксоны застраховали себя против кражи? Навериое, эти три женщииы дали им свои тощие, старушечьи иоги, а сами разгуливают по свету иа прекрасиых диксоновских иогах. Но как же Диксоиам доказать, что их обокрали — ведь страховое общество, коиечио, откажется уплатить им, и тогда дело дойдет до суда.

Я пошел в гостииицу и иаписал трем Диксоиам письмо. Я предложил себя в свидетели...

* * *

БОЛЬШИЕ САДЫ

Стр.914. Женский почерк.

Не в Цинтре, не в Искиа и ие в Эсте. И не тот темный в Чизльхерсте, и не в Лакроме, и не в Шверииe. И не волшебиый сад в Гаити, который развел немецкий

поэт, когда он разыгрывал консула в негритянской стране.

Нет, нет, не они. Быть может, все — и все-таки ни один из них. Быть может, каждый из них по разу — когда падает истинное слово; когда нечто, что было, сожрет то, что существует теперь; когда прошедшие времена превратятся в будущее, когда прекрасная ложь разобьет грязную правду.

Быть может, тогда.

Усталая, еду я верхом на лошади в вечерних сумерках. По полям и по лесам — где-то. Но вот я доехала до стены, до длинной, серой стены, а по обе стороны — высокие деревья. Там, там, за ней находятся большие сады.

Когда-нибудь стена разрушится; в одном месте только узкая решетка скрывает тихие тайны. Я должна посмотреть на нее. Длинные дороги, ровные луга, и все беспредельно. Густые кустарники, в которых спят сновидения, темные пруды с лебедями, которые будут петь в ночную пору. И ни одного звука, ни малейшего, едва слышного звука.

Если я увижу ворота, то сойду с седла, поцелую ноздри своего вороного коня. Хлыстом я слегка ударю по тяжелому железу — теперь, я знаю, раскроется решетка. Тихо, тихо — петли не заскрипят. Широко распахнутся громадные ворота — и меня примет в свои жадные объятия большой сад.

Вдали, под платанами, тихо идет прекрасная женщина. Когда она идет, шаги ее звенят, подобно звону синих колокольчиков; когда она дышит, ее дыхание светится, подобно серебристому туману. Когда она улыбается, соловьи забывают петь, когда она говорит, с ее губ скатывается жемчужина. «Мальчик, — говорит она мне: — милый мальчик». И я так рада, что она меня, маленькую девочку, называет мальчиком.

«Милый мальчик», — говорит она мне и целует мои руки. Когда она берет мои руки и целует их, то мне кажется, что нет ничего на свете, что могло бы сказать мне так много. Великий покой светится в глазах прекрасной женщины и великий, сладостный покой будет меня лобзать, скоро — лишь бы мне увидать ворота.

Но никогда не найти мне ворот. Когда-нибудь стена

разрушится; в одном месте только узкая решетка скрывает тихие тайны, в нее я загляну. Густые кустарники, темные пруды, длинные, длинные дороги, и все беспредельно. Потом опять стена, длинная серая стена, и по обеим сторонам высокие деревья.

Усталая, еду я верхом на лошади в вечерних сумерках. По полям и по лесам — где-то.

* * *

Стр. 919. Почерк барона.

Я хорошо знаю, что это была шутка, и я от души смеялся бы над ней, если бы это случилось с кем-нибудь другим. Я не могу переварить этой дерзкой обиды еще и сегодня, десять лет спустя. И если мне придется когда-нибудь встретиться с графиней или с тем пошлым остряком, который внушил ей эту мысль — то отхлещу их по лицу своим хлыстом.

Черт возьми — ведь графиня Изабо не была святой! Она была любовницей гусара и польского скрипача, и господина Сташинга. Я почти уверен в том, что она была также в связи со своим шофером. И Бог ее знает, с кем еще. Почему я тогда за ней ухаживал — да просто потому, что она мне нравилась, потому что она была красивая женщина и была в моде, когда я жил в Спа. Да, я много труда положил на то, чтобы добиться ее благосклонности, гораздо больше, чем ради какой-нибудь другой женщины. Наконец, во время бала в казино дело наладилось. Мы сидели в нише, и я заговорил с ней — я знаю, что говорил хорошо. Она бледнела и краснела от этих жгучих слов, которые врывались в ее изящные уши и прожигали ее мозг. Она не протянула мне даже руки, когда встала, она только сказала: «Придите ко мне в замок сегодня ночью в три часа. Вы увидите свет в одном окне, влезьте в него». И она быстро ушла, пошла танцевать кадриль с финским художником.

Ночью я перелез через решетку сада и побежал к замку. Я сейчас же увидел окно, в котором мерцал свет сквозь закрытые ставни. Я взял лестницу, которая стояла у стены, быстро влез по ней и тихо постучал в окно. Но никто не ответил мне. Я постучал еще раз. Потом я осторожно открыл окно, раздвинул ставни и вошел в комнату.

Я сейчас же увидел, что попал в роскошную спальню графини Изабо. На диване лежало ее платье, ее желтое шелковое платье, которое на ней было вечером. Она сама — ах, свеча горела там, за пологом. Там была ее кровать — она там. Тихо назвал ее по имени — ответа нет; только тихий шорох раздался из-за полога. Я быстро разделся, подошел к пологу и отдернул его. Там стояла широкая, низкая, пышная кровать графини — пустая. К ножке кровати был привязан старый, тощий козел, который таращил на меня глаза. Он поднялся на задние ноги и громко заблеял при виде меня.

Не помню, как я оделся. Лестницы у окна больше не было, и я должен был спрыгнуть вниз. Быть может, это мое воображение, но мне показалось, что я услышал, как смеялись два голоса, когда я бежал через сад.

Рано утром я уехал из Спа. Случайно я познакомился в Гамбурге с Амундсеном и отправился с ним на север.

О, нет, это вовсе не было шуткой; это было низкое, возмутительное оскорбление, это был афронт, какого я никогда еще ни от кого не получал. Тогда я еще не отдавал себе полного отчета в случившемся, я чувствовал себя оскорбленным и униженным, — вот и все. Но теперь я смотрю на это иначе. Если бы она взяла козу, то это было бы шуткой. Это была бы дерзкая, обидная шутка, но все-таки шутка, остроумная шутка. Этого нельзя отрицать. Тогда казалось бы, что она хотела мне сказать: «Глупый, самоуверенный мальчишка, ты хочешь покорить графиню Изабо? Ту, которая выбирает возлюбленных по собственному желанию? Ах, уходи, мой милый, и утешься со старой, тощей козой — она для тебя достаточно хороша!»

Но она выставила мне козла.

Она сделала это с определенной целью, наверное с определенной целью! О, никогда еще мужчина не был поруган так неслыханно!

* * *

Стр.940. Почерк барона.

У Кохфиша, моего управляющего, солитер. Несчастный уже несколько лет мучится, выходит из себя

иногда, но в общем это очень веселый человек. Он не хочет проделать простого лечения; оно, правда, неприятное, но продолжается всего только два дня. Он предпочитает мучиться и всю жизнь не расставаться с подлым животным.

Господи, Если бы я был на его месте! Но того паразита, которого я ношу в себе, никакими силами не выгнать из меня!

Прежде мне казалось, что я на подмостках. Я ходил по сцене, был весел или печален, смотря по роли; я играл довольно сносно. Потом я вдруг исчезал, погружался в забвение, а вместо меня продолжала играть женщина. Все это происходило без единого слова — я уходил, а она оставалась там. Что я делал, сходя со сцены, я не знаю, — вероятно, спал долго и крепко. Пока не просыпался — тогда я снова выходил на сцену, а женщины уже больше не было. Но когда я подумаю, как происходили эти переходы, — то ничего не могу ответить на это. Только в одном случае я могу дать себе отчет.

Это было в Монтерей, в Штате Коахила.

Круглая арена, амфитеатр — досчатый балаган, как везде. Крики, галдеж на всех скамьях. Полицмейстер в своей ложе, толстый, жирный, с множеством бриллиантовых колец на пальцах. Индейские солдаты кругом. На местах, на солнце: мексиканцы, индейцы, испанцы, среди них несколько мулатов и китайцев. На теневых местах — иностранная колония, в верхних ложах — немцы и французы. Англичане отсутствуют — они не ходят на бой быков. Самые ужасные крикуны: янки, чувствующие себя хозяевами, железнодорожные служащие, горнопромышленники, механики, инженеры — грубые, пьяные. Рядом с ложей полицмейстера, посреди теневой стороны, расположился пансион Мадам Бакер, девять раскрашенных белокурых, расфранченных женщин. Ни один кучер не согласился бы дотронуться до них в Гальвестоне или Нью-Орлеане; здесь мексиканцы дерутся из-за них и осыпают их бриллиантами.

Четыре часа. Уже час тому назад должно было начаться представление. Мексиканцы ждут спокойно и изливают на девиц мадам Бакер целые потоки огненных взоров. Они жеманятся, наслаждаясь этим свободным временем, когда на тела их посягают одни

только взоры. Но американцы начинают терять терпение, онн кричат все громче:

— Пусть выходят женщины! Проклятые женщины!

— Они доканчивают свой туалет, — кричит кто-то.

— Пусть выходят голые, старые свиньи! — кричит один долговязый, тощий. А солнечная сторона ржет от восторга:

— Пусть выходят голые!

На арене показывается шествие. Впереди идет Консуэло да-Лляриос-и-Бобадилла в огненно-красном костюме, с раскрашенными губами, с густым слоем синеватой пудры на лице. Она туго затянута в корсет, и громадные груди подпирают ей подбородок. За ней идут четыре толстые и две тощие женщины, все в узких штанишках, они изображают тореадоров; грубое впечатление производят их ноги — у одних слишком короткие, у других слишком длинные. За ними следуют еще три женщины верхом на старых клячах — это пикадоры, у них в руках пики.

Народ ликует, хлопает в ладоши. Сыплется целый град двусмысленностей, отвратнтельных острот. Только одна из девиц мадам Бакер невольно подергивает губами — не то из сострадания, не то из маленького чувства солидарности. Женщина, изображающая альгвазила, в черном бархатном плаще, приносит ключи; это одна из самых отвратительных гетер города: толстая и жирная, напоминающая откормленного мула, который весь расплывается. С треском раскрыла она ворота. Молодой бычок, скорее теленок, спотыкаясь, выходит на арену. Но у бычка нет никакого желания причинить кому-нибудь зло: он громко мычит и хочет повернуть обратно. Он боится и плотно прижимается к загородке, в щели которой индейскне мальчики тыкают в него палками, стараясь подбодрить его. Женщины подходят к нему и размахивают перед ним красным плащом, кричат, дразнят его — но результат получается только тот, что бычок поворачивается и плотно прижимается головой к шатающнмся воротам. Консуэло, знаменитая «Fuentes», собирается с духом и тянет бычка за хвост — как она, по всей вероятности, тянет за усы своего фурмана.

Мексиканцы кричат:

— Трусливая банда! Труслнвый бык! Трусливые

женщииы!

А один пьяный, как стелька, яики беспрестаиио орет:

— Крови! Крови!

Дамы-пикадоры погоняют своих кляч. Длинной, узкой шпорой на левой иоге они ианосят им глубокие раны в бок, и все-таки иесчастные лошади ие двигаются с места. Другие женщииы осыпают ударами толстых палок слабые ноги кляч и тяиут их за повода к быку. А бычка оии тыкают палкой с острым наконечииком: он должен поверпуться и напасть иа лошадь.

И ои поворачивается. Оба животиых стоят друг против друга, бычок мычит, а лошадь ржет под ударами. Но ии тот ии другой и ие думают иападать друг иа друга.

Баидерильеросы приносят стрелы. Они пробегают мимо бычка и вонзают ему острые иакоиечиики в затылок, в спииу, куда попало. Дрожа всем телом, животное позволяет делать с собой все, что угодио, в комическом страхе.

— Скверный бык! Сквериые жеищины! — кричат мексиканцы.

— Крови! Крови! — орет янки.

Одну из кляч оттаскивают в сторону. Консуэло да-Ллориос-и-Бобадилла велит подать себе шпагу. Оиа раскланивается, прицеливается и вонзает ее — в бок! Скамьи на солиечиой стороие бесиуются от ярости: удар должен был попасть между рогами, и шпага должиа была пробить шею и попасть в сердце так, чтобы бык сразу опустился иа колеии. Оиа метит еще раз — попадает в морду. Кровь льется иа песок, бедиый бычок мычит и дрожит.

Раздается крик толпы, кажется, будто ои исходит из глотки великана; народ уже хочет ринуться иа арену.

Но пьяный янки покрывает крик толпы своим страшным рычаиием:

— Так хорошо! Хорошо! Крови! Крови!

Полицмейстер стреляет в воздух из револьвера, чтобы заставить себя слушать:

— Будьте благоразумны! — кричит он. — Ведь в том-то вся и штука! Они вполие друг друга достойны, эта женщииа и этот бык!

Тут солнечная сторона расхохоталась:

— О! о! Они друг друга достойны! Между тем женщина продолжает колоть бычка; шесть, восемь, десять раз она вонзает ему в тело шпагу. Один раз она попадает в кость, шпага гнется и падает у нее из рук. Женщина взвизгивает, а животное дрожит и мычит.

Но теперь толпа поняла наконец эту забавную шутку — она смеется, надрывается от хохота.

Одна из жирных тореадоров приносит новую шпагу, но она не хочет давать ее эспаде, она хочет сама нанести удар. Однако, та вырывает у нее шпагу; тогда она поднимает с земли упавшую шпагу и обе бросаются на быка. Еще одна женщина, тощая, как скелет, с круглым кинжалом, которым она должна нанести последний удар в голову умирающим лошадям и быкам, не может больше оставаться спокойной, она вытаскивает из-за пояса безобразное оружие.

Все три набрасываются на бычка. Они уже не целятся больше, они наносят один удар за другим. Из их накрашенных губ сочится пена, темная кровь брызжет на золотые шнуры и серебряные блестки. Бычок все стоит неподвижно и мычит, а из бесчисленного множества ран льется кровь. Они тянут его за хвост, за ноги, толкают на землю, они наносят ему удары в брюхо. А тощая женщина вонзает ему свой кинжал — выше — ниже — в оба глаза.

Животное издохло, но женщины продолжают его терзать. Они опустились на колени, лежат на мертвом животном и разрывают его на части. Консуэло-да-Лларнос-и-Бобадилла раскрывает ему морду и вонзает в нее шпагу по самую рукоятку.

Мексиканцы рычат, надрываются от хохота. Вот так штука, что за великолепная штука. И полицмейстер готов лопнуть от гордости, что пустил в ход такую великолепную политику; он потирает свои жирные руки над брюхом и играет громадными бриллиантами на своей рубашке. Потом он дает знак музыке: раздаются трубные звуки, должен появиться новый теленок на арене!

Тут я увидел, как мадам Бакер встала со своего места. Она подошла вплотную к перегородке, отделявшей ее ложу от соседней; с легким поклоном полицмейстер подошел к ней с другой стороны перего-

родки. И она ударила его, попала кулаком прямо в лицо.

Толстяк отшатнулся. Кровь закапала с его громадных усов. Все видели этот удар. На мгиовение наступило полиое молчание: казалось, будто великий капельмейстер одним движеиием руки остановил оркестр, который играл в невероятно быстром темпе. И в этой внезапной тишине мадам Бакер швырнула дерзко перчатку:

— O you son of a bitch!

Иностранная колония расхохоталась в своей ложе, поняв всю глубину этого грубого комизма: она, мадам Бакер, бросила в лицо оскорбление, иазвала «сыиом потаскухи» полицмейстера, представителя власти, блюстителя закоиов и иравствеиности! Но солнечная сторона поняла только это слово, — это слово, которое означает борьбу у них, поединок на ножах, который не знает никаких уступок: ты или я — для двоих места нет!

Войиа была объявлеиа, оставалось только примкнуть к той или другой стороне: революция! На одиой стороне полицмейстер, а с иим его солдаты, сто отвратительных индейцев с заряжеииыми ружьями в руках. Но мадам Бакер ничего не боялась, она тоже представляла собой силу: губернатор был ее другом, и на теневой стороне ие было ии одного человека, который ие зиал бы ее женщии. Толпа молчала и не спускала глаз с ложи, она колебалась и не знала, к кому примкиуть. Полицмейстера все ненавидели и его стеснительиую банду также, но иностраицев иеиавидели ие меньше. Чашки весов были уравновешеииы — никто не зиал, на которую из иих бросить свою кровь.

Тут мадам Бакер подошла к барьеру. То, что она сделала только-что, она сделала безотчетно, не подумав даже; но теперь она почувствовала, к чему все это привело: она или он. Она была только продавщицей тела, ио оиа также была уроженкой Техаса и глубоко презирала этого желтого метиса, эту грубую, надутую обезьяну, за бриллиаиты которого оиа заплатила налогом за свое ремесло.

— Люди, — крикиула она, — люди Монтерейя! Вас обмаиывают! Это была жалкая работа мясника, а не бой быков. У вас украли ваши деньги! Прогоните

всех этих женщин с ареиы, возьмите в кассе обратно ваше серебро!

В Cristal-Palace я слышал однажды генерала Бота; я знаю, как он овладевает толпой. И все-таки его влияние было пустяком в сравнеиии с тем, какое оказала мадам Адель Бакер во время боя быков в Монтерей в Коахиле. Оиа раскрыла рот толпе, дала волю языкам животных, оиа, как хлыстом, заставила это животное издать один громкий крик:

— Нас обманывают! У иас крадут деньги!

Подиялся вой, все вскочили со скамеек, срывая доски. Тут и там начали бить солдат. Выхватили оружие; из всех кармаиов появились револьверы и длинные ножи. Тореадоры, сбившись на арене в кучку, распахнули ворота и с криком бросились с арены, предоставляя ее солнечной стороне. Иностранцы встали с мест, поспешно устремляясь к выходу из своих лож. Полицмейстер последовал за иими, но не успел сделать и двух шагов, как ему в спину попала пуля.

Тут все смешалось; где-то на теневой стороне, а потом ближе, где играла музыка, раздались выстрелы. В пыли и общей свалке раздавались щелчки браунингов, сражая иевинных зрителей. Вопли, крики. Солнечная сторона бросилась на арену, а оттуда вверх на ложи.

Революция.

Мадам Бакер толкала своих женщин. Сама она взяла на руки маленькую Мод Байрон, которая лишилась чувств и лежала у нее на руках, как мешок. Мадам Бакер не произиесла больше ии слова, оиа быстро спустилась с лестиицы. Толпа расступалась перед ней, я видел, как одии снял шляпу. Она позвала своего кучера, сама помогла ему усадить в экипаж свой товар, а сама села на козлы, взяла вожжи и щелкнула бичом иад четверкой лошадей.

Шаитеиеи вывел меия из ложи.

— Ты с ума сошел! — воскликиул он, — ты хочешь, чтобы тебя убили?

Он дотащил меия до коляски и усадил.

— На вокзал! — крикнул он кучеру.

— На вокзал? — спросил я. — Зачем?

— Да ведь мы обещали Риттеру встретиться с иим завтра в Сан-Педро! В шесть часов начинаются бега, мы будем там только за час до начала. Мы

приедем как раз вовремя.

— Теперь уезжать? — крикнул я. — Теперь, когда только начинается самое интересное?

— Ах, что тут интересного? — воскликнул Шантеней. — Такие возмущения ты часто можешь видеть. Какое тебе дело до революции! Пусть они сами расправляются со своими дурацкими делами!

Я поехал с ним против своей воли, — не хватило силы сопротивляться. И это было хорошо: я снова нашел себя самого, когда на следующее утро сидел на английской лошади Риттера и принимал участие в скачках. Накануне я сошел с подмостков моей жизни, исчез в небытии, уступил место женщине, которая крадет у меня мое тело.

Случилось это в ту минуту, когда мадам Бакер подошла к барьеру. Я ясно почувствовал, как я точно растаял в это мгновение, как во мне ничего больше не осталось от мужчины, который только что так хохотал над грубой сценой, поисходившей на арене. Я дрожал, мне было страшно. Я готов был спрятаться куда-нибудь, если бы только был в состоянии оторвать глаза от этой женщины, которая мной овладела. А когда я увидел, как она взяла на руки Мод Байрон, во мне заговорило только одно жгучее желание: быть маленькой, жалкой девочкой и лежать на груди у этой большой женщины. Я превратился в женщину — в женщину...

Только случай спас меня тогда, случай и Клемент Шантеней. Он поставил двадцать тысяч талеров на лошадь Риттера и я рад, что помог ему выиграть их.

* * *

Стр.972. Почерк барона.

Когда я вспоминаю прошедшее — это я прожил свою жизнь, я, барон фон Фридель, лейтенант кавалерийского полка и всесветский бродяга. Никто другой. Только на короткие промежутки времени во мне всплывало другое существо, которое изгоняло меня, отнимая у меня тело и мозг, овладевая мною... Нет, оно овладевало не мною, оно выбрасывало меня... из меня самого. Как это смешно, но иначе этого выразить нельзя. Но я снова возвращался, всегда возвращался и становился хозяином самого себя. Десять, двенадцать раз, не более, эта женщина врыва-

лась в мою жизнь. По большей части лишь на короткое время, на несколько дней, на несколько часов только; раза два на неделю, а потом — в течение пяти месяцев, когда — нет, нет: она, а не я! — когда она служила у графини Мелани.

Как все это было в моем детстве, я не знаю. Знаю только, что я всегда был ребенком, я никогда не был ни мальчиком, ни девочкой. Так продолжалось до тех пор, пока дядя не увез меня от моих старых теток. Знаю наверное, что до этого поворотного пункта в моей жизни я ничего не испытывал ни в том направлении, ни в другом. Я был чем-то средним и свою молодость, проведенную в замке Айблинг, я называю нейтральным временем моей жизни.

Уж не имеет ли на меня влияния этот разрушающий замок с его сонными лесами? Тогда я не был ни тем, ни другим, не мужчиной и не женщиной. А может быть, я был и тем и другим — и спал только. Потом в течение двадцати лет я был мужчиной, который лишь изредка уступал свое место женщине. Но всегда я был чем-нибудь одним: или мужчиной, или женщиной. Но теперь, когда я снова поселился в замке, все как будто смешалось: я мужчина и женщина — и одновременно. Вот я сижу в высоких ботфортах, курю свою трубку и пишу в этой книге своим грубым, неизящным почерком. Я только что возвратился с утренней прогулки верхом, я травил зайцев борзыми собаками.

Я перелистываю две страницы назад — оказывается, что я вчера писал в это же время неестественным женским почерком. Я сидел у окна, в женском платье, в ногах у меня лежала лютня, под аккомпанемент которой я пел. По-видимому, я музыкален, когда становлюсь женщиной, — вот тут записана песня, которую я сочинил, переложил на музыку и пел: «Грезы, дремлющие в буках».

«Грезы, дремлющие в буках!» Прямо тошно! О, Господи, Боже Ты мой, до чего я ненавижу эту сентиментальную женщину! Если бы только найти хоть какое-нибудь средство, чтобы изгнать этот отвратительный, подлый солитер!

* * *

Стр.980. Почерк барона.

Вчера вечером я был в деревне. У Кохфиша было

какое-то дело к леснику, и он попросил меня заехать к Беллингу, нашему мяснику, и лично сделать ему наконец выговор за дурное мясо, которое он нам присылал на прошлой неделе.

Я поехал к мяснику верхом, был вечер, и когда я к нему приехал, то наступили уже сумерки. Я крикнул, но никто не появился в дверях. Я крикнул еще раз, тогда в окно выглянула свинья. Наконец я сошел с лошади, отворил дверь и вошел в лавку. Там никого не было, ни одного живого существа, за исключением большой свиньи. Свинья отбежала от окна, стала за прилавком и положила передние ноги на мраморную доску. Я засмеялся, а свинья захрюкала. Чтобы рассмотреть ее хорошенько, я чиркнул спичкой и зажег газ.

Тут я хорошо увидел, — я увидел...

На свинье был фартук, и за поясом торчал широкий ножик. Она продолжала опираться передними лапами о прилавок и хрюкала; мне казалось, будто она спрашивает меня, что угодно. Я продолжал смеяться, мне понравилась эта остроумная выдумка мясника, который так хорошо выдрессировал свинью, что она может заменять его. Однако, я все-таки хотел повидать мясника, чтобы передать ему то, зачем я приехал; я крикнул: «Беллинг! Беллинг!» Мой голос громко раздался в пустом доме, но никто не ответил мне — только свинья захрюкала как бы в ответ. Потом она вышла из-за прилавка, продолжая ходить на задних ногах, и прошла мимо меня в угол. Я обернулся; там на больших железных крючках висели туши — туши двух выпотрошенных людей. Туши были разрублены пополам вдоль и висели, как висят свиные туши, головой вниз, белые и бескровные. И я узнал их: две половины представляли собою Беллинга, толстого мясника Беллинга, а две другие его тучную жену. Свинья вынула из-за пояса широкий нож, вытерла его о кожаный фартук и снова захрюкала; она спросила — ах, я понял ее язык! — хочу ли я огузок, лопатку или филе? Она отрезала большой кусок мяса, свесила его на весах, завернула в толстую бумагу и дала его мне. Я взял его, не будучи в состоянии произнести ни слова, и быстро направился к двери; свинья проводила меня с низкими поклонами. Она прохрюкала мне, что я буду доволен, что у нее только товар первого

качества.

— Ваш покорный слуга, — окажите честь и в другой раз — и...

Лошади моей не было больше перед дверью; я должен был идти в замок пешком. Я держал пакет в руках; мне было очень противно, когда я чувствовал, что мои пальцы вдавливаются в мягкое мясо. Нет, нет, это было слишком противно — я швырнул пакет далеко в лес. Когда я наконец пришел в себя, то была уже глубокая ночь. Я пошел в спальню, вымыл руки и бросился на постель.

Но вдруг — не знаю, как это случилось — я очутился в дверях кухни. Люди проходили мимо меня, никто не замечал меня. Пришел Кохфиш, я позвал его, но он не слыхал. Он подошел к очагу и заговорил с дамой, которая там стояла. На сковороде жарилось филе. Дама крикнула кухарке, чтобы та принесла сливки для соуса. Эта дама — был я.

* * *

Стр.982. Тут же непосредственно — женский почерк.

Нет, милостивый государь, эта дама была я! Та самая, которая сидит здесь и пишет. Мне нет никакого дела до вас, если даже природа подшутила и заключила меня с вами в одном теле, милостивый государь. Я не имею никаких претензий на это тело, когда оно принадлежит вам, но прошу соблюдать также и мое право, когда я вселяюсь в него. Если вы опять вздумаете преследовать меня и подсматривать за мной, как вчера в кухне — то вспомните только, что я существую, а вас больше нет! Вы сами меня видите, все меня видят; каждый, кто дает мне руку, ощущает меня. Но вас я не вижу, и никто не видит вас и не ощущает вас. Так что же вы такое? Менее, нежели тень моего отражения в зеркале!

Вы когда-то существовали, когда меня не было. А после, когда я появилась, вы начали притеснять меня, выгонять, вы огнем выжгли всякое воспоминание обо мне. Да, господин барон, вы никогда не переставали разыгрывать кавалера по отношению к той даме, которая вам — как бы это выразиться — была ближе всех. Но теперь вы, конечно, сами видите: вы проиграли; вот причина вашей бешеной злобы против меня, и эта

злоба началась с тех пор, как вы стали вести записки. Эта книга, конечно, ваша, милостивый государь, но также и моя: это наша общая книга. Говорите, сколько вашей душе угодно, что я навязалась, что меня никто не звал, что я появилась, не испросив на это вашего любезного согласия, как я не просила разрешения вообще смешивать свою жизнь с вашей. Я имею право на существование, и я существую и пускаю в жизнь все более и более глубокие корни. А вы чахнете, господин барон, вы сохнете и вянете, как дерево, у которого подточены корни. А я унаследую после вас, сегодня же, пока вы еще живы. Верьте мне, скоро я буду полновластной госпожой в этом замке, можете тогда бродить в виде призрака, сколько вашей душе угодно.

Меня очень забавляет делать записи в этой черной книге. Я это делаю, и в особенности сегодня, только для того, чтобы напомнить вам, что я существую, и что вас — в таком случае — нет. Вот посмотрите сюда, мой бедный барон, я сижу здесь, пишу своей рукой.

* * *

Стр.983. Сейчас же непосредственно — почерк барона, более крупный и твердый, чем обыкновенно; написано толстым, синим карандашом.

Я, я, я существую! Я сижу здесь! Я пишу! Я хозяин замка! Я позову врача, двоих, троих, зараз целую дюжину врачей, лучших профессоров в Европе. Я болен, вот и все! А ты, отвратительная женщина, не что иное, как моя глупая болезнь! Но мы тебя еще выгоним, червяк противный, подожди только!

Ну вот, я послал три телеграммы, одну в Берлин и две в Вену. Кохфиш сейчас же отнесет их на почту. Ах, хоть один из этих господ найдет время для меня и для моих денег.

* * *

Стр.984. Женский почерк.

Так, так, господин барон, еще, еще! Забавляйтесь себе вашими мальчишескими выходками, поверьте, я сумею их парировать.

Так, например, как я это сегодня сделала.

Кохфиш доложил о приезде господина тайного со-

ветника главного врача, профессора доктора Макка. Как это мне импонирует! Я заставила его ждать два часа, потом я наконец вышла. Я, сама болезнь, господин барон, по поводу которой вы хотели советоваться!

Он несколько растерялся. «Я думал», — сказал он.

Я была очень любезна. «Вы думали, господин профессор, увидеть мужчину, не правда ли? Но барон настолько же женщина, насколько я мужчина, — и сегодня вы меня видите в облике женщины. Вот это-то».

Тайный советник прочел мне целую лекцию относительно Venus Urania; в его лекции не было ни слова, которого я не знала бы уже раньше. Дело в том, господин барон, что вы сами усердно занимались этим вопросом, а я ведь унаследовала и вашу память, как и вообще все остальное. Конечно, профессор принял меня за вас, милостивый государь, и, конечно, он принял вас за приверженца уранизма. Я оставила его в этом убеждении; тем более, что я знаю, как это вам будет обидно, милостивый государь, — это маленький ответ на те глупости, которые вы любите говорить мне в этой книге.

Берегитесь, милостивый государь! Если вы хотите войны — то я принимаю вызов.

* * *

Стр.996. Почерк барона.

Так я еще существую? Неужели я получил от этой женщины милостивое разрешение еще немного побродить по этой грешной земле?

Я не боюсь смерти и никогда не боялся. Но разве я не умирал уже сотни раз — и снова не воскресал к жизни? И разве я знаю — если я теперь живу — что я живу не в последний раз?

Другие люди умирают — и тогда все кончается. Легкие больше не дышат, сердце перестает биться, кровь останавливается. Мышцы, мускулы, ногти, кости — все истлеет рано или поздно. Но мое тело продолжает жить, моя кровь переливается в жилах, мое сердце бьется... только я сам перестаю существовать. Но разве я не имею права умереть? Умереть, как другие люди?

Почему же я, именно я должен быть жертвой та-

кого сжигающего мозг обмана? Ведь чудес больше нет, и...

* * *

Та же самая страница, продолжение той же строчки — женский почерк.

Вы ошибаетесь, чудеса еще бывают, и вы это прекрасно знаете, господин барон! И я помню, что вы сами пережили такое чудо, когда были лейтенантом в Кернтене. Вы ехали верхом по большой дороге, между одним крестьянским домом и сараем стояло прекрасное, большое сливовое дерево. Вы очень любите сливы и сказали: «Ах, если бы они были зрелые!» Вы стали искать в ветвях зрелые сливы, но все были зеленые и твердые — через месяц, быть может, они созрели бы! Но когда вы на следующее утро проезжали по той же дороге, то оказалось, что сливы уже созрели.

Разве это не чудо? Конечно, вы сейчас же нашли подходящее объяснение. Как дом, так и сарай, между которыми росло сливовое дерево, сгорели; пламя не коснулось дерева, но вследствие страшной жары сливы созрели... в одну ночь. Так это и было, но разве не остается все-таки чудо чудом, если даже его можно так или иначе объяснить?

И если мне — или вам — завтра утром придет в голову задуматься над тем, как все это случилось, — как вы превратились в меня, то, скажите, господин барон, разве не останется это превращение во всяком случае чудом?

* * *

Стр.1002. Почерк барона.

Той...

Той... той... даме!

Вы назойливы... — Вы... Нет, я останусь вежливым. Итак... итак...

Ну, теперь вы берете все, что у меня есть и что я есть. Вы прекрасно знаете, как я от этого страдаю. Вы видите, как я схожу с ума, прежде чем... я... ухожу. Нет больше такого места, куда я бы мог бежать от вас. Я прошу — будь я проклят — я прошу — слышите, я прошу вас оставить мне что-нибудь, куда бы вы не проникали. Должны же вы питать хоть

маленькую благодарность к тому существу, которому — ну, да — вы всем обязаны. Так оставьте же меня — ведь эта книга — такие пустяки. Не записывайте больше в нее ничего. Дайте мне хоть здесь быть самим собой.

Барон фон Фридель.

* * *

Стр.1003. Женский почерк.

Господин барон!

Я отнюдь не обязана вам ничем, ибо я существую вопреки вам, а не благодаря вам. Итак, не из чувства сострадания к моему несчастному — простите — жестокосердному отцу, я обещаю вам предоставить в будущем нашу — а не вашу — книгу в ваше полное распоряжение. Само собой разумеется, обещание это действительно только до тех пор, пока вы сами своим поведением не заставите меня нарушить его и снова высказать вам мое личное мнение.

С искренним уважением преданная вам баронесса фон Фридель.

* * *

Стр.1008. Почерк барона.

Я прошел через все комнаты замка. Свои комнаты я хорошо знаю, но ее, — ее помещение мне неизвестно. Можно сказать с уверенностью, что она имеет кое-какие преимущества передо мной, потому что она хорошо помнит все то, что случилось, когда она — была мною, но я ничего не знаю или почти ничего о том, что происходило, когда я был ею.

Итак, я был в ее помещении. Ее комнаты находятся во флигеле, обращенном к лесу. Это три комнаты: гостиная, спальня и маленькая уборная. В спальне я открыл шкафы и комоды, они полны женских платьев и женского белья. Вдруг отворилась дверь, вошла молодая горничная, которую я никогда раньше не видал.

— Целую ручку, баронесса, — сказала она, — прикажете мне помочь вам переодеться?

Я знаком приказал ей выйти.

Итак, у меня есть субретка, когда я — становлюсь ею! И моя прислуга называет меня «баронессой», когда я появляюсь в этих комнатах.

Я открыл ящик ее письменного стола. По-видимому,

она очень любит порядок, все счета были сложены в пакетнки. На бюваре лежала запнсочка: «Заказать кедрового мыла. Велеть прнвезти Creme Simon! Eau d'Alsace!» — Под этим было приписано: «На всякий случай заказать черное платье, еслн, наконец...»

Еслн наконец..? Ну, конечио: когда наконец — я окончательно нсчезну! Тогда оиа наденет траурное платье. Как это трогательно с ее стороны, как она предаиа, эта...

Я выбежал нз комнаты. У меня все время было такое чувство, словно я вот-вот снова испытаю превращеиие. Я захлопнул за собой дверь и глубоко вздохнул — словно я себя почувствовал более сильным, чтобы бороться с ней!

Я пошел в комнату тетн Кристнны. Она была старшая нз моих всех трех другнх. В ее комнате я не был ни разу с тех пор, как снова поселнлся в замке Айблинг. Ставнн былн закрыты, сквозь щели проннкали лучи солнца и слабо освещали комнату. Повсюду лежал густой слой пыли. Запах лаванды распространялся от всех вязаных салфеточек, которыми былн покрыты спникн кресел и днванов. На столе стояло под стеклянным колпаком большое чучело мопса.

Это был Тутти, я узиал его, хотя чучело его было сделано очень скверио. Туттхеи, любнмец тетн, это отвратительное, злое жнвотиое, которое я иеиавидел и которое отравнло мне мое детство.

Этот мопс всегда ворчал на меня н смотрел на меня злымн глазами — ах, я ие осмелнвался войтн в комнату, если он там был. Я боялся его, боялся до смерти.

Теперь ему одному принадлежнт эта комната, этому набнтому Туттхен под стеклянным колпаком. Он смотрел на меня своими большнми желтымн глазами с выражением той же затаенной иенависти, как и в былые времена. Я ннкогда даже не дотронулся до него, до этого противного толстого мопса, — и все-такн его стеклянные глаза говорили мне: «Я не прощу тебе!»

Я испугался этого толстого, скверно набнтого Тутти под стеклянным колпаком. Этого мертвого, безобразного мопса со стеклянныmн глазамн, который смотрел на меня, продолжал ненавндеть меня все еще...

Я испугался, мне снова стало страшно.

Я не мог переиосить его взгляда, я отвернулся к

окну. Но тут — стояла — она у окна: она широко распахнула окно и раздвинула ставни.

— Фанни, — крикнула она на двор, — Фанни! Сейчас же идите сюда и приведите здесь все в порядок. Здесь все покрыто толстым слоем пыли.

Она ушла, но я продолжал стоять у стола. Окно было раскрыто. И вскоре в дверь вошла Фанни с пыльной тряпкой. Я быстро пробежал мимо нее.

* * *

Стр.1012. Почерк барона.

Я сижу за письменным столом — газета лежит передо мною, сегодня 16 сентября. Однако мой отрывной календарь показывает пятое августа. Итак, это длилось очень долго — шесть недель, — меня не было! Я теперь только изредка навещаю этот свет, этот замок, который принадлежит ей.

Но я не хочу уходить, не хочу, не хочу добровольно уступать ей место. Тогда я во всяком случае погибну, только в борьбе для меня существует хоть какой-нибудь шанс на победу. Итак!

* * *

Та же страница. Почерк барона.

Я был в ее комнатах. Я велел вынести все платья и все белье. Кохфиш должен был сложить большой костер на дворе. Я вынул все из ее ящиков и комодов, я вынул все, что ей принадлежит. Все было сложено на дворе — я сам поджег костер.

Кохфиш стоял рядом, по его щеке скатилась слеза; не знаю, может быть, причиной был дым. Но я видел, что у него что-то было на сердце, я спросил его, в чем дело. «Вы хорошо сделали, господин барон, — сказал он, — очень хорошо! А то все так перепуталось, что и разобраться было трудно». Он протянул мне руку и пожал ее; это было как бы обещанием.

Ах, Боже, если бы я только мог сдержать его!

Камеристку я отпустил; через Кохфиша я заплатил ей за полгода и сейчас же отпустил ее.

Завтра я уеду. Проклятый мягкий воздух вреден мне.

* * *

Стр.1013. Женский почерк.

Вы не уедете, господин барон! Но уеду я, хотя бы

и — в вашем мужском костюме. Я уеду в Вену и закажу себе там новое приданое — камеристка поедет вместе со мной. Берегитесь, милостивый государь, — теперь я не позволю больше шутить с собой.

* * *

Стр.1014. Почерк барона.

Я проснулся в своей постели. Я позвонил, явился Кохфиш. Он ничего не сказал, но я достаточно прочел на его лице. Радостное удивление по поводу того, что я снова здесь. И безнадежная покорность: — ах, долго ли это будет продолжаться!

Я позавтракал. Я прошел по всем комнатам — в них произошла перемена. Все вычищено, мебель и картины переставлены и перевешены. Я хотел поехать верхом и пошел в конюшню. Моих лошадей там больше нет — они проданы. Но там стояли три прекрасные кобылы с длинными хвостами — под дамское седло.

Итак я оставлен. Всем заправляет она. Она оставила мне только две комнаты: мою спальню и библиотеку, где я работаю. Я еще раз прочел то, что она написала на последней странице: «Берегись, милостивый государь — теперь я не позволю больше шутить с собой!»

Я кое-что заметил. Это хороший знак, и я воспользуюсь им. Мои браунинги торчат у меня из кармана. Я видел ее два раза — тогда, у очага и в комнате тети Кристины. Наверное я увижу ее еще в третий раз — и наверное в последний.

* * *

Та же страница, на ней приписка. Женский почерк.

Вот как, милостивый государь! Ваши браунинги торчат у вас из кармана? Нет, я снова положила их на ваш письменный стол, пусть там лежат! Впрочем, если вам это приятно будет узнать, то и у меня есть хорошенькие маленькие револьверы, только вдвое меньше ваших, но они прекрасно сделают свое дело. Я ничего не боюсь, господин барон, храбрый господин барон, который боится чучела Туттхен тети Кристины! Ай, ай, мертвый мопс выскочит из-под своего стеклянного колпака! Лезьте же под кровать, господин барон!

* * *

Стр.1015. Поперек всей страницы — Почерк барона.

Потаскуха! Подлая, мерзкая потаскуха!

* * *

Стр.1016. Женский почерк.

Дурак, дурак, непротолченный дурак!

* * *

Это была последняя заметка в большой черной книге... Вечером 4 октября Кохфиш услышал выстрел, раздавшийся в ванне. Он бросился туда, — на диване лежало, покрытое только простыней, голое тело барона.

О каком-нибудь самоубийстве здесь не может быть и речи. Скорее дело обстоит так, что барон фон Фридель застрелил баронессу фон Фридель, или наоборот, что она его убила — я этого не знаю. Кто-то кого-то хотел убить — она или он, — но отнюдь не самого себя, один хотел убить другого.

И так это и было.

Рио—де—Жанейро. Май 1908.

С. З. З.

Mimes, in the form of Gold on high,
Mutter and mumble low,
And hither and thither fly;
Mere puppets they, who come and go
At bidding of vast formless things,
That shift the scenery to and fro,
Flapping from out their condor winhs
Invisible Woe!
But see, amid the mimic rout
A crowling shape intrude!
A blood-red thing that withes from out
The scenic solitude!
It writhes! it writhes!..

E.A.Poe: Ligeia.

Около четверти часа я смотрел с Punta Tragara на море, конечно, на солнце и на скалы. Потом я встал и повернулся, чтобы уходить. Вдруг кто-то, сидевший на той же каменной скамье, удержал меня за руку.

— Здравствуйте, Ганс Гейнц! — произнес он.

— Здравствуйте, — ответил я.

Я смотрю на него.

Конечно, я его знаю, несомненно знаю! Но кто бы это мог быть?

— Вы, вероятно, не узнаете меня больше? — говорит он неуверенным голосом.

Голос также мне знаком, — конечно, знаком! Но он

раньше был другой, — певучий, парящий, стремящийся вперед. А не такой, как теперь. Этот — тягучий, точно на костылях.

Наконец-то вспомнил:

— Оскар Уайльд?!..

— Да, — отвечает, запинаясь, этот голос, — почти! Скажите: С.3.3. Вот все, что осталось после тюрьмы от Оскара Уайльда.

Я посмотрел на него: С.3.3. представлял собой только грязный след, уродливое напоминание об О.У.

Я хотел было протянуть ему руку, но подумал: «Пять лет тому назад ты не подал ему руки. Это было с твоей стороны очень глупо, и Оскар Уайльд засмеялся, когда его друг Дуглас рассердился. Если ты сегодня протянешь ему руку, то это будет иметь вид, будто ты даешь ее нищему, даешь ее С.3.3. — из сострадания. Зачем наступать на больного червя?»

Я не протянул ему руки. Мне кажется, Оскар Уайльд был мне благодарен за это. Мы спустились вниз, не говоря ни слова. Я даже не смотрел на него. По-видимому, это ему было приятно.

На одном повороте он спросил:

— Туда, наверх?

Потом он медленно начал качать головой взад и вперед, поднял глаза и произнес с насмешкой:

— С.3.3.?

Нет, так нельзя было: я засмеялся. И О.У. обрадовался, что я не проявляю сострадания к нему.

Мы обошли гору; сели на камни и стали смотреть на Арко.

Я сказал:

— Несколько лет тому назад я шел по этой дороге с Анни Вентнор, и здесь мы встретили Оскара Уайльда. Тогда верхняя губа его приподнималась, глаза его сверкали и смотрели на меня так, что руки у меня подергивались, и я сломал палку, чтобы только не ударить ею по его лицу. На этом самом месте я сижу опять сегодня: леди Вентнор умерла и рядом со мной сидит С. 3.3. Это похоже на сон.

— Да, — сказал О.У.

— Это как сон, который снится кому-то другому про нас.

— Да что вы сказали? — воскликнул Оскар Уайльд поспешно, как бы отрываясь от мыслей, с испугом, с

видимым волнением.

Я повторил машинально:

— Как сон, который снится кому-то другому про нас.

Мои губы шевелились совершенно машинально, едва ли я сознавал, что я говорил и что думал.

Оскар Уайльд вскочил; на этот раз в его голосе зазвучали старые ноты того человека, гордый дух которого так высоко парил над современной ему чернью.

— Берегитесь узнать этого другого, не всякому хорошо встретиться с ним!

Я не понял его и хотел спросить, что это значит, но он только махнул мне рукой, повернулся и ушел. Я посмотрел ему вслед.

Потом он вдруг остановился, слегка кашлянул, но не обернулся. И он пошел дальше, медленно, сгорбившись, прихрамывая, чуть не ползком, — этот полубог, которого лицемерные негодяи его отечества превратили в С. 3.3.!

Три дня спустя я получил записку:

«Оскар Уайльд желал бы поговорить с вами. Он будет ожидать вас в восемь часов вечера в гроте Bovemarina».

Я пошел на берег, свистнул лодочника, мы отчалили и выехали в море в этот чудный летний вечер. В гроте я увидал Оскара Уайльда, который стоял, прижавшись к скале; я вышел из лодки и отослал лодочника.

— Садитесь, — сказал О. У.

Последние лучи заходящего солнца падали в темную морскую пещеру, о стены которой разбивались зеленые волны, жалобно плача, как маленькие дети.

Я часто бывал в этой пещере. Я хорошо знал, что о камни разбиваются волны, и все-таки у меня не проходило это впечатление: голые маленькие несчастные дети плачут по матери. Почему позвал меня О. У. именно сюда?

Он как будто прочел мою мысль и сказал:

— Это напоминает мне мою тюрьму.

Он сказал «мою» тюрьму, и его дрожащий голос прозвучал так, как будто он вспомнил нечто дорогое его сердцу. Потом он продолжал:

— Вы недавно сказали нечто — не знаю, думали ли вы при этом что-нибудь особенное. Вы сказали: «Все это как сон, который снится кому-то другому

про нас!»

Я хотел ему ответить, но он не дал мне говорить, он продолжал:

— Скажите, вероятно, многие ломали себе голову над тем, как я мог позволить запереть себя? Думали: почему Оскар Уайльд пошел в тюрьму? Почему он не всадил себе пулю в лоб?

— Да, многие думали так.

— И вы?

— Я думал: у него на это есть какая-нибудь причина. Ганс Лейс также пошел в тюрьму.

— Да, — Ганс Лейс! Но что у него общего со мной? — Ганс Лейс дал ложную клятву ради любимой женщины; он поступил благородно, и ни один порядочный человек не нашел, что он запятнал свою честь. Мало того, вся образованная чернь сделала из него мученика, потому что он пострадал за женщину! Эти же самые люди оплевывают меня за то, что я презирал женщину! И потом Ганс Лейс здоровый, сильный фриз, молодой, помешанный на идеалах, народный трибун, — разве мог он пострадать от тюрьмы? Душа его никогда не страдала, и года через два его тело выздоровеет после тюремного воздуха. А Оскар Уайльд не был больше молод, он не был из народа, он был настолько же изнежен, насколько тот был закален. Оскар Уайльд, этот аристократ до мозга костей, каких не было больше со смерти Вилье, — Оскар Уайльд, который из жизни сделал искусство, как никто до него в трех королевствах. И все-таки он пошел в тюрьму, да еще в английскую, в сравнении с которой вашу немецкую тюрьму можно назвать богадельней. Он знал, что его замучают до смерти, медленно, жестоко, и он все-таки пошел туда. А не убил себя.

— Но почему же? — спросил я.

О.У. посмотрел на меня; по-видимому, он ожидал от меня этого вопроса.

Медленно он произнес:

— Вы сами сказали почему: потому что все это лишь сон, который снится другому о нас.

Я посмотрел на него, он ответил на мой взгляд.

— Да, — продолжал он, — так это и есть. Я попросил вас прийти сюда, чтобы объяснить вам это.

Он стоял с опущенными глазами и пристально смотрел на воду, как бы прислушиваясь к тихому всхлипыванию волн. Раза два он провел указательным пальцем

левой руки по колену, как будто бы собираясь писать буквы. После некоторого молчания он спросил, не поднимая глаз:

— Вы хотите выслушать меня?

— Конечно.

О.У. раза два глубоко вздохнул:

— Для меня не было никакой необходимости идти в тюрьму. Уже в первый день в суде мой друг незаметно передал мне револьвер, тот самый револьвер, которым застрелился Кирилл Грахам. Это был прелестный маленький револьвер, на котором был герб и инициалы герцогини Нортумберландской из рубинов и хризобериллов. Эта изящная игрушка была достойна того, чтобы Оскар Уайльд пустил ее в ход. Когда я после заседания суда снова вернулся в тюрьму, то я целый час играл с этой игрушкой у себя в камере. Я положил ее с собой в постель, положил рядом с собой и заснул со счастливым сознанием того, что у меня есть друг, который избавит меня от сыщиков, даже в том случае, если суд признает меня виновным, что я тогда считал невероятным.

В эту ночь мне приснился странный сон. Я увидал рядом с собой какое-то необыкновенное существо, какую-то мягкую, моллюскообразную массу, которая в верхней части переходила в гримасу. У этого существа не было ни ног, ни рук, оно представляло собою большую продолговатую голову, из которой, однако, каждую минуту могли вырасти длинные, покрытые слизью, члены. Все это существо было зеленовато-белого цвета, оно было прозрачное и перерезано линиями во всех направлениях. Вот с этим-то существом я разговаривал, сам не помню, о чем. Однако , наш разговор становился все возбужденнее, наконец, эта рожа с презрением расхохоталась мне в лицо и сказала:

— Убирайся вон, ты не стоишь того, чтобы с тобой разговаривать!

— Что? — ответил я. — Это сказано довольно сильно! Что за нахальство со стороны существа, которое не что иное, как мой безумный сон!

Рожа скривилась в широкую улыбку, задвигалась и пробормотала:

— Нет , как вам это нравится! Я твой сон! Извини, мой бедный друг, дело обстоит совсем иначе: я вижу сон, а ты только маленькая точка в моем сне.

И рожа захихикала, вся она превратилась в громад-

ную маску, широко ухмыляющуюся. Потом оиа исчезла, и перед собой в воздухе я видел только широкую, уродливую улыбку.

На следующий день председатель суда задал мне вопрос, касающийся моих отиошений с Паркером:

— Так значит, вам иравится ужииать по вечерам с молодыми людьми из иарода?

Я ответил:

— Да! Во всяком случае, это приятнее этого перекрестного допроса.

При этом ответе публика в зале разразилась громким хохотом. Судья позвонил и предупредил, что если это еще раз повторится, то он велит очистить залу. Тут только я обернулся и посмотрел в тот коиец залы, который был предназначен для публики. Но я ие увидел ии одиого человека, все пространство занимало то ужасиое уродливое существо, которое я видел во сне. Отвратительиая гримаса, которая мучила меня всю иочь, расплывалась по всей его роже. Я схватился рукой за голову: неужели это возможно, что все, что происходит здесь, одна лишь комедия, чепуха, которую видит во сие то безобразиое существо?

Между тем судья сделал еще какой-то вопрос, на который ответил Траверс Хумпрейс, одии из моих защитников. Из глубины залы сиова раздался заглушенный смех. По-видимому, рожу передернуло, и оиа прыснула со смеху. Я закрыл глаза и с мииуту судорожио сжимал веки, потом снова бросил быстрый взгляд иазад . Тут я заметил, накоиец, на скамьях людей; там сидели Джои Лэн, мой издатель, леди Уэльшбери, а рядом с иею молодой Хольмс. Но среди иих, в иих, над ними — везде улыбалось страииое существо; из иего-то и исходил сдерживаемый смех.

Я принудил себя отвериуться и ие оборачивался больше. И все-таки мне было очеиь трудио следить за ходом дела, я все время чувствовал за своей спиной эту подлую, улыбающуюся рожу.

Но вот господа присяжиые заседатели сказали, что я виновен. Четыре мелких маклера, пять торговцев бумажными товарами, мукой или виски, два учителя и один очень уважаемый мясиик отправили Оскара Уайльда в тюрьму. Это действительно было очеиь смешио.

Оскар Уайльд остановился, ои засмеялся; и при этом он бросал в воду малеиькие камешки.

— Действительно смешно! Что за идиоты!.. Знаете ли вы, что суд — всякий! — самое демократическое и самое плебейское учреждение из всех, какие только существуют на свете? Только у простолюдина есть хороший суд, который способен судить его: судьи стоят несравненно выше его, и так это и должно быть! А мы? Ни с одним из моих судей я никогда не мог бы сказать и двух слов; ни один из них не знал ни единой строчки из моих произведений — да и для чего им знать их? Ведь они все равно ничего не поняли бы. И эти почтенные люди, эти жалкие, маленькие червяки осмелились засадить Оскара Уайльда в тюрьму! Очень смешно, право! Только эта мысль и занимала меня, когда я вернулся в свою камеру. Я играл с нею, я варьировал ее, я придумал с дюжину афоризмов из нее, и каждый афоризм стоил больше, чем жизнь всех присяжных заседателей в Англии за все славное царствование доброго короля! И я заснул в прекраснейшем настроении духа и очень довольный собой; уверяю, что мои афоризмы были очень хороши, очень хороши. Для тех, кто приговорен к нескольким годам тюрьмы, бодрствование представляет муку — так говорят по крайней мере — а сон благодеяние. Со мной было другое . Едва я успел заснуть, как передо мной стояла отвратительная рожа.

— Послушай, — сказала она мне и ухмыльнулась самодовольно, — ты очень забавный сон!

— Убирайся вон, — крикнул я, — ты мне надоела! Не могу терпеть таких самодовольных рож из сновидений!

— Все та же упорная глупость, — добродушно засмеялось безобразное существо. — Ведь ты мой сон!

— А я тебе говорю, что это как раз наоборот! — закричал я.

— Ты очень заблуждаешься, — сказала рожа.

Тут поднялся долгий спор, во время которого каждый хотел доказать свою правоту; противное существо разрушало все мои доводы, и чем я становился возбужденнее, тем спокойнее и самоувереннее оно смеялось.

— Если я твой сон, — крикнул я , — то как же это может быть, что ты говоришь со мной по-английски?

— Как я говорю с тобой?

— По-английски! На моем языке, — сказал я торжествующе. — А это доказывает...

— Какой же ты смешной! — хохотала рожа. — Я говорю на твоем языке? Нет, само собой разумеется,

что ты говоришь на моем! Вот сам обрати на это внимание!

Тут только я заметил, что мы действительно разговариваем не по-английски. Мы разговаривали на каком-то языке, которого я не знал, но на котором я , однако,хорошо говорил, и который я понимал; он не имел ничего общего ни с английским языком и вообще ни с каким другим на свете.

— Теперь ты видишь, что ошибался? — хихикала круглая рожа.

Я ничего не ответил, и несколько минут царило молчание.

Потом опять начался разговор:

— Ведь у тебя есть хорошенький, маленький револьвер. Вынь его, мне очень хотелось бы увидеть во сне, что ты застрелился. Это , должно быть, очень забавно.

— Этого мне даже и в голову не придет! — крикнул я, взял револьвер и швырнул его в противоположный угол.

— Подумай об этом хорошенько! — сказала рожа, повернулась и принесла мне револьвер. — Что за хорошенькое , маленькое оружие, — сказала она, снова кладя его рядом со мной на постель.

— Застрелись сама, если хочешь, — закричал я в ярости, бросился ничком на постель и заткнул себе уши.

Но это ни к чему не привело: я слышал и понимал каждое слово, как и раньше. Всю ночь рожа не отходила от меня, смеялась и гримасничала и упрашивала покончить с собой.

Я проснулся как раз в ту минуту, когда сторож открывал дверь, чтобы внести мне завтрак. Вне себя вскочил я с постели и дал ему револьвер:

— Скорее , скорее уберите это! Пусть не будет так, как этого хочет рожа, которую я видел во сне.

На следующую ночь рожа снова появилась передо мной.

— Как жаль, — сказала она, — что ты отдал хорошенький маленький револьвер. Но ведь та можешь повеситься на твоих подтяжках: это тоже очень забавно.

Утром я с величайшим трудом разорвал мои подтяжки на мелкие клочки.

И вот я пошел в тюрьму. Принять вызов, который мне бросила людская глупость; разыгрывать из себя героя и мученика — такого честолюбия у Оскара

Уайльда не было. Он жнл, как жил раньше, нлн он не жил совсем. Но тут для него открылась новая борьба, нмевшая для него новую прелесть, н такую борьбу едва лн переноснл когда-ннбудь другой смертный: я хотел жнть, чтобы доказать роже, которую я вндел во сне, что я жнву; мое бытне должно было доказать небытие другого существа. У карфагенян было одно наказанне: ломанне костей. Приговоренного прнвязывали к столбу, после этого палач ломал ему первый сустав мнзннца правой рукн н уходнл. Ровно через час он возвращался , чтобы сломать первый сустав соответствующего пальца на левой ноге. И снова через час он ломал первый сустав мизннца левой рукн, а через час первый сустав соответствующего пальца правой ногн. Перед самыми глазамн приговоренного стоялн песочные часы, таким образом он сам мог проверять время. Когда падала вниз последняя песчинка, то он знал: снова прошел час , теперь придет палач н сломает большой палец на руке. А потом большой палец иа ноге — потом среднний палец, — безымянный — один сустав за другим, очень осторожно, чтобы не сломать чего-ннбудь лишнего. Потом дойдет очередь до носовой костн и до руки, а затем до бедренной костн, так ломалн одну кость за другой очень аккуратно, понимаете лн! Эта процедура была, конечно, несколько сложная, оиа продолжалась дня два, пока наконец, палач не переламывал спинного хребта.

В настоящее время эта пытка производится нначе, гораздо лучше. На это употребляют больше временн, а в этом-то н заключается искусство при выполнении пыток. Вот вндите ли, все мон суставы целы, н все-такн все во мне надломлено, тело н душа. В Reading Goal употребнли два года на то, чтобы надломить Уайльда; вы поннмаете, в чем заключается их искусство: С.З.З. хорошая реклама для них.

Я говорю это, чтобы доказать вам, что борьба моя была ие нз легкнх; у рожн было действнтельно много шансов на победу. Она являлась ко мне каждую ночь, а нногда даже н днем, ей так хотелось увндеть во сне, что я покончнл с собой, и она предлагала мне все новые и новые средства.

С год тому назад ее посещення началн стаиовнться реже.

— Ты мне надоел, — сказала она мне однажды ночью, — ты недостоин больше того, чтобы играть главную роль в моих снах. На свете есть много гораздо более интересного. Мне кажется, что мало-помалу я тебя забуду.

Вот видите ли, мне тоже кажется, что мало-помалу она забывает меня. Время от времени она еще видит меня во сне, но я чувствую, как моя жизнь, эта жизнь во сне, медленно иссякает. Я не болен , но во мне истощается жизненная сила; эта бестия не хочет больше видеть меня во сне. Скоро она совсем забудет меня, тогда я угасну.

Оскар Уайльд вскочил. Он крепко ухватился за выступ скалы, его колени дрожали, его усталые глаза широко раскрылись и, казалось, готовы были выйти из орбит.

— Вон! Вон она! — крикнул он.

— Где?

— Вон! Там внизу!

Он указывал мне пальцем в одну точку. Зеленоватая вода обливала там круглый выступ скалы и медленно скатывалась с него. И действительно: в наступивших сумерках казалось, что этот камень — лицо, что это насмешливо-добродушная рожа, которая широко улыбается.

— Это скала!

— Да, конечно, это скала! Неужели вы думаете, что я этого не вижу? Но это все-таки та же рожа: она перевоплощается в какой угодно предмет. Посмотрите, как она ухмыляется!

Она действительно смеялась, этого нельзя было отрицать. И я должен был согласиться: выступ скалы со скатывающейся с нее водой очень походил на то существо, которое только что описал Оскар Уайльд.

— Верьте мне, — сказал Оскар Уайльд, когда нас снова перевозили рыбаки на берег, — верьте мне, что это не поддается никакому сомнению. Бросьте ваши возвышенные мысли о человечестве: человеческая жизнь и вся история человечества ни что иное, как сон, который грезится какому-то нелепому существу!

Остров Капри. Май 1903.

ШКАТУЛКА ДЛЯ ИГРАЛЬНЫХ МАРОК

Om dat de werelt is soe ongetru
Daer om gha in den ru.

Breughel d. Alt.

В этот вечер я довольно долго ждал Эдгарда Видерхольда. Я лежал на кушетке, а индийский бой медленно махал надо мною большим опахалом. У старого Видерхольда были в услужении индусы, которые уже давно последовали за ним сюда, а с ними вместе и их сыновья и внуки. Эти индийские слуги очень хороши; они прекрасно знают, как нам надо прислуживать.

— Пойди, Дэвла, скажи своему господину, что я его жду.

— Атья, саиб.

И он ушел беззвучно. Я лежал на террасе и мечтательно смотрел вдаль, на Светлый Поток. Только час тому назад с неба исчезли тучи, которыми оно было обложено целыми неделями; целый час не падал больше теплый дождь. И вечернее солнце бросало целые снопы лучей на фиолетовый туман, окутывавший Тонкин.

Подо мной на поверхности воды тихо покачивались джонки, снова пробуждаясь к жизни. Люди выползали наружу; ковшами, тряпками и тамариндовыми метлами

они выбрасывали воду из джонок. Но никто не разговаривал. Тихо, почти неслышно работали эти люди; до террасы едва достигал легкий шорох. Мимо проехала большая джонка, иаполненная легиоиерами. Я махиул рукой офицерам, сидевшим на корме, и они меланхолично ответили на мое приветствие. Конечио, оии предпочитали бы сидеть на широкой веранде бунгало Эдгарда Видерхольда, чем плыть по реке диями и неделями под горячим дождем к своей ужасной стояике. Я сосчитал — в джонке сидело по крайней мере пятьдесят легионеров. Среди них, навериое, было несколько ирлаидцев и испанцев, были также фламаидцы и швейцарцы, а остальные — все немцы. Что это были за люди? Только не члены общества трезвости, а молодцы, которыми остались бы очень довольиы Тилли и сумасшедший Христиан. Конечно, среди них есть поджигатели, грабители и убийцы, — да разве нужио что-нибудь лучшее для войны? Не подлежит сомнению, что эти люди хорошо знают свое ремесло. А те, кто попадают сюда из высших слоев общества, гибиут навсегда, тоиут в мутиом потоке легиона. Среди последних есть и священники, и профессора, и дворяне, и офицеры. Ведь пал же один епископ во время штурма Аин-Суфа, и давно ли одио немецкое военное судио привезло из Алжира тело другого легионера, которому были оказаиы все почести, подобающие королевскому прииңу?

Я перегибаюсь через перила:

— Vive la legion!

И они отвечают мне, орут громко хриплыми глотками закореиелых пьяниц:

— Vive la legion! Vive la legion!

Оии потеряли отечество, семью, домашиий очаг, честь и деньги. У иих осталось только одно, что должно замеиить все: солдатская гордость — Vive la legion!

О, я хорошо знаю их. Пьяницы, игроки, дезертиры из всевозможных полков. И все это — аиархисты, которые и понятия не имеют о том, что такое анархизм; все это люди, которые восстали против какого-нибудь невыносимого для них притеснения, и бежали. Преступники и полудети, ограниченные головы и великие сердца — настоящие солдаты. Ландскнехты с врожденным инстинктом грабителей и насильииков, искренне убежденные в том, что грабить и иасиловать очень похвально, и что в этом-то и заключается их

ремесло, ибо их наняли для смертоубийства, а что дозволено большому, то может себе позволить и малый. Авантюристы, родившиеся слишком поздно, не соответствующие нашему времени, которое требует людей, достаточно сильных, чтобы пробить самим себе дорогу. Каждый из них в отдельности слишком слаб для этого, они растерялись, зайдя в чащу, и не имели силы выбраться оттуда. С широкого пути их уже давно совратил блуждающий огонек, а своего собственного пути они не могли пробить себе — что-то мешало им в этом, а что именно — они сами не знали. Каждый из них в отдельности представляет жалкую, никуда не годную доску. Но все они находят друг друга, соединяются и в конце концов образуют большой, гордый корабль: «Vive la legion!» Этот легион для них и мать, и родина, и честь, и отечество. Послушайте, как они кричат: «Vive, vive la legion!»

Джонка направляется на запад и исчезает в вечерней мгле, там, где Красная Река впадает в Светлый Поток. Там ее поглощает густой туман и как бы всасывает в себя страна фиолетового яда. Но они не боятся ничего, эти белокурые, бородатые храбрецы — ни дизентерии, ни лихорадки и меньше всего желтых разбойников: ведь у них с собой достаточно алкоголя и опиума, а кроме того, они снабжены хорошими лебелевскими ружьями, — чего же им еще? Сорок человек из пятидесяти останутся там, но те, кто возвратятся, все-таки подпишут новые контракты — во славу легиона, но не Франции.

Эдгард Видерхольд вышел на веранду.

— Они проехали? — спросил он.

— Кто?

— Легионеры!

Он подошел к перилам и посмотрел вниз на реку.

— Слава Богу, их не видно больше. К черту их, я не могу их видеть!

— В самом деле? — спросил я.

Я, конечно, прекрасно знал, как и все в этой стране, отрицательное отношение старика к легиону, но хотел вызвать его на разговор, а потому и представился удивленным:

— В самом деле? А между тем весь легион обожал вас. Несколько лет тому назад один капитан 2-го легиона в бытность мою в Поркеролле много рассказывал мне

о вас, и сказал между прочим, что еслн судьба заиесет меня когда-нибудь иа берега Светлого Потока, то я непременно должеи навестнть Эдгарда Видерхольда.

— Это был наверное Карл Хаузер из Мюльхаузена.

— Нет, это был Дюфрен..

Старик глубоко вздохнул:

— Дюфреи, овериец! Да, он выпнл у меия здесь не одии стакаи бургуидского.

— Как н все остальные, не правда лн? До тех пор, пока восемь лет тому иазад двери дома, который все называли «La Bungalow de la Legion», не закрылнсь, н господин Эдгард Вндерхольд ие перенес свое убежнще в Эдгардхафен.

Так изывалось маленькое местечко, где была расположена ферма Видерхольда; оно иаходилось на берегу рекн, иа расстоянии двух часов вниз по течению. Старик иастоял иа том, чтобы даже иа почтовом штемпеле стояло «Эдгардхафен», а не «Port d'Edgard». Да, с тех пор его дом был заперт для легнона, ио ие его сердце. Каждая легионерская джонка, которая проезжала мнмо, причалнвала к Эдгардхафеиу, и управляющнй передавал офицерам н солдатам две корзины вниа. К этому дару всегда прилагалась внзитная карточка старика: «Господии Эдгард Вндерхольд очень сожалеет, что не может на этот раз у себя прнинять господ офицеров. Он проснт соблаговолить принять прилагаемый дар, н сам пьет за здоровье легнона». И каждый раз командир отвечал, что он благодарен за любезиое вниманне н надеется на обратном путн лнчио выразить свон чувства господину Видерхольду. Но до этого иикогда не доходнло, дверн обшириого дома иа Светлом Потоке так и осталнсь закрытымн для легнона. Раза два-три туда еще заходнлн офицеры, старые друзья хозяииа дома, которые, бывало, так часто наполиялн этот дом пьяиым весельем. Индусы просилн их на веранду и ставнлн перед инмн лучшие внна, но старый хозяин так н не показывался. В конце концов и они перестали посещать дом: мало-помалу легион привык к новым отиошениям. Находилнсь уже такие легионеры, которые ннкогда не вндали старого Вндерхольда и знали только, что в Эдгардхафене джонка всегда прнчалнвает н прииимает на борт корзины с вином, и что там принято пить за здоровье одиого сумасшедшего немца. Все радовалнсь этому единст-

венному развлечению во время тоскливого пути под дождем по Светлому Потоку, и Эдгард Видерхольд пользовался в легионе не меньшей любовью, чем прежде.

Когда я попал к нему, то оказалось, что я был первый немец, с которым он заговорил после большого промежутка лет. О, видеть-то он видел многих немцев на реке. Я уверен, что старик прячется где-нибудь за занавесью и подсматривает оттуда каждый раз, когда мимо его дома проплывает джонка с легионерами. Но со мной он говорил опять по-немецки. Я думаю, что только этому он и старается удержать меня как можно дольше и придумывает всегда что-нибудь новое, чтобы отсрочить день моего отъезда.

Старик не принадлежит к числу добрых граждан своего отечества. Он ругает свое отечество на чем свет стоит. Бисмарка он ругает за то, что тот дал жить саксонцам и не воспользовался Богемией, а третьего императора за то, что тот позволил навязать себе Гельголанд взамен восточно-африканских владений.

— А Голландия! Нам обязательно нужна Голландия, если мы только хотим жить, — Голландия и ее Малайские острова. Это нам необходимо, иначе мы подохнем. Ну, а потом Адриатическое море. Австрия — это какая-то бессмыслица, какое-то обезьянство, которое позорит всякую приличную географическую карту. Нам принадлежат немецкие страны, и так как мы не можем позволить запереть дверь перед самым нашим носом, то нам необходимо завладеть славянским Брокеном, который преграждает нам доступ к Средиземному морю, Крайне и Истрии. Черт возьми, — кричит он: — я знаю, что тут нам в шубу заберутся вши! Но лучше иметь шубу со вшами, чем замерзнуть до смерти без шубы. Теперь она уже едет под черно-бело-красным флагом из немецкого Триеста в немецкую Батавию.

Я спрашиваю его:

— Ну, а господа англичане?

— Англичане? — кричит он, — англичане затыкают себе глотки, когда их бьют по физиономии.

Он любит Францию и радуется ее славе, но англичан он ненавидит.

И вот еще какая в нем странность. Когда какой-

нибудь немец желчно обвиняет императора и с горечью говорит о Германии — он радуется и ругает вместе с ним свое отечество. Когда француз острит над нами — он смеется, но в то же время, в виде реванша, рассказывает о последних глупых выходках губернатора в Сайгоне. Но если только англичанин осмелится сделать самое невинное замечание относительно одного из наших самых глупых консулов — он приходит в ярость. Вот почему ему пришлось когда-то покинуть Индию. Не знаю, что ему сказал английский полковник, знаю только, что Эдгард Видерхольд схватил хлыст и вышиб полковнику один глаз. С тех пор прошло уже сорок лет, а может быть, пятьдесят или шестьдесят. Он бежал тогда, поселился в Тонкине и безвыездно жил на своей ферме задолго до того, как страну заняли французы. Тогда он поднял трехцветный флаг на берегу Светлого Потока, опечаленный тем, что на его флагштоке развевается не черно-бело-красный флаг, но при этом радовался, что это во всяком случае не английский флаг.

Никто не знает, сколько ему, собственно, лет. Если тропики не убивают человека в юном возрасте, то он живет бесконечно долго. Он становится выносливым и крепким, его кожа превращается в желтый панцирь, который как бы защищает его от всяких болезней. Так было и с Эдгардом Видерхольдом. Быть может, ему было восемьдесят лет или даже девяносто, но он каждый день с шести часов утра сидел в седле. Волосы на голове его были совершенно седые, но длинная, острая бородка сохранила желтовато-серый цвет. Его лицо было длинное и узкое, руки также были длинные и узкие, и на всех пальцах были большие желтые ногти. Эти ногти были длинные, жесткие, как сталь, и острые и крючковатые, как когти у хищных животных.

Я протянул ему папиросы. Я уже давно перестал их курить, они испортились от морского воздуха. Но он находил их превосходными — ведь они были немецкого производства.

— Не расскажете ли вы мне, почему легион изгнан из вашего бунгало?

Старик не отходил от перил.

— Нет! — сказал он.

Потом хлопнул в ладоши:

— Бана! Дэвла! — Вина и стаканов!

Индусы поставили столик, он подсел ко мне и придвинул мне газеты.

— Вот, — продолжал он, — вы уже просмотрели почту? Немцы одержали блестящую победу на автомобильных гонках в Дьеппе. Бенц и Мерседес, или как их там зовут эти фирмы. Цеппелин кончил свой шар — и разгуливает себе преспокойно над Германией и Швейцарией, и где ему только вздумается! — Вот посмотрите на эту последнюю страницу, шахматный турнир в Остенде. Кто победил? Немец! — право, было бы истинным наслаждением читать газеты, если бы они только не рассказывали о берлинских господах. Вот прочтите, это прямо возмутительно, что за...

Но я прервал его. У меня не было никакого желания слушать, «какие глупости эти ужасные ослы снова затеяли». Я чокнулся с ним:

— За ваше здоровье! Завтра я должен уезжать.

Старик отодвинул свой стакан:

— Что такое? Завтра?

— Да, лейтенант Шлумбергер будет проходить с отрядом третьего батальона. Он возьмет меня с собой.

Он ударил кулаком по столу:

— Это возмутительно!

— Что?

— Что вы завтра хотите уезжать, черт возьми! Это возмутительно!

— Да, но не могу же я вечно оставаться здесь, — засмеялся я. — Во вторник будет два месяца.

— Вот в том-то все и дело! Теперь я уже успел привыкнуть к вам. Если бы вы уехали, пробыв у меня час, то я отнесся бы к этому совершенно равнодушно.

Но я не сдавался. Господи, неужели у него мало бывало гостей, неужели он не расставался то с одним, то с другим? Пока не появятся новые...

Тут он вскочил. Раньше, да, раньше он и пальцем не шевельнул бы для того, чтобы удержать меня. Но теперь, кто бывает у него? Кто-нибудь заглянет раза два в год, а немцы появляются раз в пять лет. С тех пор, как он не может больше видеть проклятых легионеров...

Тут я его поймал на слове. Я сказал ему, что согласен остаться еще восемь дней, если он расскажет

мне, почему...

Это опять показалось ему возмутительным.

— Что такое? — немецкий писатель торгуется, как купец какой-нибудь?

Я согласился с ним.

— Я выторговываю себе сырье, — сказал я. — Мы покупаем у крестьянина баранью шерсть и прядем из нее нити и ткем пестрые ковры.

Это понравилось ему, он засмеялся:

— Продаю вам этот рассказ за три недели вашего пребывания у меня!

— В Неаполе я выучился торговаться. Три недели за один рассказ — это называется заломить цену. К тому же я покупаю поросенка в мешке и понятия не имею, окажется ли товар пригодным. И получу-то я за этот рассказ самое большее двести марок; пробыл я уже здесь два месяца и должен остаться еще целых три недели — а я не написал еще ни одной строчки. Моя работа во всяком случае должна окупиться, иначе я разорюсь...

Но старик отстаивал свои интересы:

— Двадцать седьмого мое рождение, — сказал он: — в этот день я не хочу оставаться один. Итак, восемнадцать дней — это крайняя цена! А то я не продам своего рассказа.

— Ну, что же делать, — вздохнул я: — по рукам!

Старик протянул мне руку.

— Бана, — крикнул он, — Бана! Убери вино и стаканы также. Принеси плоские бокалы и подай шампанского.

— Атья, саиб, атья.

— А ты, Дэвла, принеси шкатулку Хонг-Дока и игральные марки.

Бой принес шкатулку, по знаку своего господина поставил ее передо мной и нажал пружинку. Крышка сразу открылась. Это была большая шкатулка из сандалового дерева. В дереве были инкрустации из маленьких кусочков перламутра и слоновой кости, на боковых стенках были изображены слоны, крокодилы и тигры. На крышке же было изображено Распятие; по-видимому, это была копия с какой-нибудь старой гравюры. Однако Спаситель был без бороды, у Него было круглое, даже полное лицо, на котором было выражение самых ужасных мук. В левом боку не

было раны, отсутствовал также и весь крест; этот Христос был распят на плоской доске. На дощечке над его головой не было обычных инициалов: I. N. R. I., а следующие буквы: K. V. K. S. II. C. L. E. Это изображение Распятого производило неприятное впечатление своей реальностью; оно невольно напомнило мне картину Маттиаса Грюневальда, хотя, казалось, между этими двумя изображениями не было ничего общего. Отношение художников к своим произведениям было совершенно различное: по-видимому, этого художника не вдохновляли сострадание и сочувствие к мучениям Распятого, а скорее, какая-то ненависть, какое-то самоуслаждение созерцанием этих мук. Работа была самая тонкая, это был шедевр великого художника.

Старик увидал мой восторг.

— Шкатулка принадлежит вам, — сказал он спокойно.

Я схватил шкатулку обеими руками:

— Вы мне ее дарите?

Он засмеялся:

— Дарю — нет! Но ведь я продал вам свой рассказ, а эта шкатулка — это и есть мой рассказ.

Я стал рыться в марках. Это были треугольные и прямоугольные перламутровые пластинки с темным металлическим блеском. На каждой марке с обеих сторон была маленькая картинка, искусно выгравированная.

— Но не дадите ли вы мне комментариев к этому? — спросил я.

— Но ведь вы сами играете теперь с комментариями! Если вы как следует разложите эти марки, по порядку, то вы можете прочесть мой рассказ, как по книге. Но теперь захлопните шкатулку и слушайте. Налей, Дэвла!

Бой наполнил наши бокалы, и мы выпили. Он набил также трубку своего господина, зажег ее и подал ему.

Старик затянулся и выпустил изо рта целое облако едкого дыма. Потом он откинулся в кресле и сделал слугам знак, чтобы они махали опахалами.

— Вот видите ли, — начал он: — вам совершенно верно сказал командир Дюфрен или как его там звали. Этот дом действительно заслужил назва-

ние бунгало легиона. Здесь пили офицеры, а там в саду — солдаты; очень часто я приглашал солдат также сюда на веранду. Ведь вы знаете, что французы не признают наших смешных сословных предрассудков: вне службы всякий солдат тот же генерал. И это особенно резко заметно в колониях и еще больше в легионе, где очень часто начальник простой крестьянин, а солдат — джентльмен. Я спускался вниз и пил с солдатами, и тех, кто мне нравился, приглашал наверх. Верьте, что мне очень часто приходилось встречать интересных типов: людей, прошедших через огонь и воду и наряду с ними детей, которые ищут материнской ласки. Легион был для меня настоящим музеем, моей толстой книгой, в которой я всегда находил новые сказки и приключения. Ведь молодые люди все рассказывали мне: они были рады, когда им удавалось застать меня одного, и тогда они раскрывали мне свою душу. Вот видите ли, это действительно правда, что легионеры любили меня не только за мое вино и за несколько дней отдыха у меня в доме. Вы знаете этих людей и вы знаете, что они привыкли считать своей собственностью все, что только им попадается на глаза, что ни один офицер и ни один солдат не задумается в одно мгновение прикарманить себе то, что ему понравится и что плохо лежит. И что же, в течение двадцати лет только один легионер однажды украл у меня что-то, и товарищи убили бы его, если бы я сам не заступился за него. Вы этому не верите? — Да и я сам не поверил бы, если бы кто-нибудь другой рассказал мне это. Эти люди действительно любили меня, и любили они меня потому, что чувствовали, что и я искренне люблю их. Как это случилось? Как вам сказать? Понемногу. У меня нет ни жены ни детей, и я живу здесь один долгие годы. Легион — это было единственное, что мне напоминало родину, что хоть немножко делало для меня Светлый Поток немецким, несмотря на французский флаг.

Я знаю, что все приличные граждане у нас на родине называют легион сбродом, считают легионеров жалкими отбросами нации, подонками каторги, пригодными только для того, чтобы быть уничтоженными. Но эти отбросы, которые Германия выбрасывает на мои берега, эти подонки, никуда не годные на нашей

прекрасио организоваиной родине, скрывают среди себя шлаки таких редких цветов, что сердце мое радовалось при виде их. Шлаки! За иих не дал бы и гроша ювелир, который продает громадные бриллианты в толстых золотых кольцах богатому мяснику. Но дети собирают их на берегу. Дети и такие старые дураки, как я, да еще сумасшедшие писатели, как вы, которые то и другое вместе — дети и дураки! Для нас эти шлаки имеют большую цену, и мы не хотим, чтобы они погибали. Но оии все-таки погибают. Неизбежно, один за другим. И та обстановка, при которой они погибают, терпя иечеловеческие муки и страдания, — это нечто такое, к чему нельзя привыкиуть, что нельзя перенести. Мать еще может видеть, как умирают одии за другим ее дети, двое или трое. Правда, она должна сидеть сложа руки и не может бороться с этим. Поэтому наступает конец, и когда-нибудь ее горе притупится. Но я — отец легиона — видел, как умирают тысячи детей. Они умирали каждый месяц, каждую иеделю. И я не мог ничем помочь, иичем. Вот видите ли, потому-то я и не собираю больше шлаков: я не в состоянии больше видеть, как умирают мои дети. И как они умирали! Тогда французы ие заходили еще так глубоко в страну, как теперь. Последняя стоянка их находилась лишь в трех днях езды отсюда вверх по Красиой Реке. Но даже в Эдгардхафене и в ближайших местностях стоянки были опасны. Дизентерия и тиф, конечно, свирепствовали в этой сырой местности, а наряду с этим — тропическая анемия. Вы знаете эту болезнь и зиаете, как умирают от нее. Появляется легкий, едва заметный жарок, от которого пульс бьется чуть-чуть скорее обыкновениого, ио этот жарок ие проходит ии днем ни ночью. Аппетит пропадает, больной становится капризным, как хорошенькая женщина. Хочется только спать, спать — пока наконец ие появится призрак смерти, и больной радуется этому, потому что надеется наконец выспаться вволю. Те, кто умерли от анемии, остались в выигрыше в сравнении с теми, которые погибли иным образом. Боже, — конечно, — нет никакого удовольствия умереть от отравлеиной стрелы, но тут по крайней мере смерть приходит через короткий срок. Но немногие умерли и этой смертью — быть может, один из ты-

сячи. Этому счастью могли позавидовать другие, кто живыми попались в руки желтым собакам. Был некий Карл Маттис, немецкий дезертир, кирасир, капрал первого батальона, красивый парень, который не знал страха. Когда стоянка Гамбетты была осаждена неприятелем, он взялся с двумя другими легионерами пробиться сквозь неприятеля и принести известия в Эдгардхафен. Однако ночью их открыли и одного убили. Маттису прострелили колено; тогда он послал своего товарища дальше, а сам боролся против трехсот китайцев, в течение двух часов прикрывая бегство товарища. Наконец, они поймали Маттиса, связали ему руки и ноги и привязали его к стволу дерева, там, на плоском берегу реки. Три дня он там лежал, пока наконец его не съели крокодилы, медленно, кусок за куском, и все-таки эти страшные животные были милосерднее своих двуногих земляков. Год спустя желтые собаки поймали Хендрика Ольденкотта из Маастрихта, богатыря семи футов вышины, невероятная сила которого погубила его: в пьяном состоянии он одним кулаком убил своего родного брата. Легион мог спасти его от каторги, но не от тех судей, которых он здесь нашел. Там, в саду, мы нашли его еще живого: китайцы взрезали ему живот, вынули из него внутренности, наполнили живот живыми крысами и снова искусно зашили. Лейтенанту Хейделимонту и двум солдатам они выкололи глаза раскаленными гвоздями; их наши полумертвыми от голода в лесу; сержанту Якобу Бибериху они отрубили ноги и посадили его на мертвого крокодила, как бы подражая казни Мазепы. Мы выудили его из воды возле Эдгардхафена: несчастный промучился еще в госпитале три недели, пока наконец не умер. Довольно ли вам этого списка? Я могу его продолжить до бесконечности. Здесь разучиваешься плакать; но если бы я пролил хоть две слезы за каждого, то я мог бы наполнить ими такую большую бочку, каких нет в моем погребе. А та история, которую представляет собой шкатулка, — не что иное, как последняя слеза, переполнившая бочку.

Старик придвинул к себе шкатулку и открыл ее. Он стал перебирать длинными ногтями марки, потом вынул одну из них и протянул мне:

— Вот, посмотрите, это — герой.

На круглой перламутровой марке был изображен портрет легионера в мундире. Полное лицо солдата имело поразительное сходство с изображением Христа на крышке шкатулки; на обратной стороне марки были те же инициалы, что и на дощечке над головой Распятого: K. V. K. S. II. C. L. E.

Я прочел «К. фон К., солдат второго класса иностранного легиона».

— Верно, — сказал старик. Вот именно. «Карл фон Ке»... — он остановился: — Нет, имени вам не нужно, а впрочем, если пожелаете, вы можете легко его найти в старом списке моряков. Он был морским кадетом, прежде чем приехал сюда. Он должен был бросить службу и покинуть отечество; кажется, его преследовали на основании глупого параграфа 218 нашего великолепного свода законов. Но в этой книге нет параграфа достаточно глупого, на основании которого нельзя было бы не вербовать рекрутов для легиона. Ах, этот морской кадет обладал золотым сердцем и мягким характером! Морским кадетом его продолжали называть все — и товарищи, и начальство. Это был отчаянный юноша, который знал, что жизнь его погублена, и который из своей жизни делал спорт, всегда ставил ее на карту. В Алжире он один защищал целый форт; когда все начальники пали, он взял на себя командование десятью легионерами и двумя дюжинами солдат и защищался в продолжение нескольких недель, пока не пришло подкрепление. Тогда он в первый раз получил нашивки; три раза он получал их и вскоре после этого снова терял. Вот это-то и скверно в легионе: сегодня сержант, завтра опять солдат. Пока эти люди в походе, дело идет хорошо, но эта неограниченная свобода не переносит городского воздуха, эти люди сейчас же затевают какую-нибудь нехорошую историю. — Морской кадет отличился еще тем, что он бросился за генералом Барри в Красное Море, когда тот нечаянно упал с мостков. При ликующих криках экипажа он вытащил его из воды, не обращая внимания на громадных акул... Его недостатки? Он пил... как и все легионеры. И, как все они, он волочился за женщинами и иногда забывал попросить для этого разрешения... А кроме того — ну да, он третировал туземцев гораздо более en canaille, чем это было не-

обходимо. Но вообще это был молодец, для которого не было яблока, висящего слишком высоко. И он был очень способный; через каких-нибудь два месяца он лучше говорил на тарабарском языке желтых разбойников, чем я, просидевший бесконечное число лет в своем бунгало. И манеры, которым он выучился у себя в детстве, он не забыл даже в легионе. Его товарищи находили, что я в нем души не чаю. Ну, этого не было, но он мне нравился, и он был мне ближе, чем все другие. В Эдгардхафене он прожил целый год и часто приходил ко мне; он опорожнил много бочек в моем погребе. Он не говорил «благодарю» после четвертого стакана, как делаете это вы. Да пейте же. — Бана, налей!

— Потом он отправился в форт Вальми, который был тогда самой дальней нашей стоянкой. Туда надо ехать четыре дня в джонке, по бесконечным извилинам Красной Реки. Но если провести прямую линию по воздуху, то это вовсе не так далеко, на моей австралийской кобыле я проделал бы этот путь в восемнадцать часов. Он стал редко приезжать ко мне, но я сам иногда ездил туда, тем более, что у меня там был еще один друг, которого я навещал. Это был Хонг-Док, который сделал эту шкатулку. Вы улыбаетесь? Хонг-Док — мой друг? А между тем это было так. Поверьте мне, что и здесь вы можете найти людей, которые почти ничем не отличаются от нас самих; конечно, их немного. Но Хонг-Док был одним из них. Быть может, еще лучше нас. Форт Вальми — да, мы как-нибудь туда съездим, там нет больше легионеров, теперь там моряки. Это старинный, невероятно грязный город, над ним царит французская крепость на горе, на берегу реки. Узкие улицы с глубокой грязью, жалкие домишки. Но таков этот город в настоящее время. Раньше, несколько столетий тому назад, это был, вероятно, большой прекрасный город, пока с севера не пришли китайцы и не разрушили его. Ах, эти проклятые китайцы, которые доставляют нам столько хлопот. Развалины вокруг этого города в шесть раз больше его самого; для желающих строить материалу там в настоящее время сколько угодно, и он очень дешев. Среди этих ужасных развалин стояло на самом берегу реки большое старое строение, чуть не дворец: дом Хонг-Дока.

Он стоял уже там с незапамятных времен, вероятно, китайцы пощадили его в силу какого-нибудь религиозного страха. Там жили властелины этой страны, предки Хоиг-Дока. У него были сотни предков и еще сотни, — гораздо больше всех владетельных домов Европы вместе, н все-таки он знал их всех. Знал нх нмена, знал, чем они заннмались. Это были князья н цари, но что касается Хонг-Дока, то он был резчиком по дереву, как его отец, его дед н его прадед. Дело в том, что хотя китайцы и пощадили его дом, но онн отнялн все остальное, и бывшне властелины сталн так же бедны, как их самые жалкне подданные. И вот старый дом стоял запущенным средн больших кустов с красиыми цветамн, пока ои не приобрел нового блеска, когда в страну пришли французы. Отец Хонг-Дока ие забыл исторни своей страны, как забыли ее те, кто должны были бы быть его подданными. И вот, когда белые овладели страной, ои первый приветствовал их на берегу Красной Реки. Ои оказал французам неоценнмые услуги, и в благодариость за это ему дали землю н скот, назначили ему известиое жалованье и сделали его чем-то вроде губериатора этого края. Это было последним маленькнм лучом счастья, упавшим на старый дом, — теперь он представляет собой груду развалнн, как н все, что окружает его. Легионеры разгромили его н не оставили камия на камне; это было их местью за морского кадета, так как убийца его бежал. Хоиг-Док, мой хороший друг, и был его убийцей. Вот его портрет.

Старик протянул мие еще одну марку. На одной стороие маркн латинскими буквами было иаписано имя Хонг-Дока, а иа другой стороне был портрет туземца высшего класса в местиом костюме. Но этот портрет был сделал поверхностно н небрежно, несравнеино хуже остальных нзображений на марках.

Эдгард Видерхольд прочел на моем лнце удивление.

— Да, эта марка иичего не стонт, единственiая нз всех. Странно, как будто Хонг-Док ие хотел уделить своей собствеииой персоие хоть сколько-инбудь нитереса. Но посмотрите этот малеиький шедевр.

Он достал ногтем указательиого пальца другую марку. На ией была нзображена молодая женщина, которая могла бы показаться и нам, европейцам, пре-

красной; она стояла перед большим кустом н в левой руке держала маленький веер. Это было произведение искусства, доведенное до полного совершенства. На оборотиой стороне марки было имя этой женщины: От-Шэи.

— Это третье действующее лицо драмы в форте Вальми, — продолжал старик, — а вот несколько второстепенных действующих лиц, статистов.

Ои придвинул ко мне дюжины две марок, на обеих сторонах их были нарисованы большие крокодилы во всевозможных положениях: одни плыли по реке, другие спали на берегу, некоторые широко разевали пасть, другие билн хвостом илн высоко подиималнсь на передних лапах. Некоторые нз них были стилизованы, но по большей части они были изображеиы очень реально и просто; во всех изображениях была видна необыкновенная наблюдательность художника.

Старик вынул еще несколько марок своими желтымн ногтями и протянул их мне.

— Вот вам место действия, — сказал он.

На одной марке я увидел большой каменный дом, очевидно, дом художника; на других были изображены комнаты и отдельные места сада. На последней был вид на Светлый Поток и на Красную Реку, одии из видов был тот, который открывается с вераиды Видерхольда. Каждая из перламутровых пластиок вызывала мой нскренний восторг, я самым положительным образом стал на сторону художника и против морского кадета. Я протяиул было руку, чтобы взять еще иесколько марок.

— Нет, — сказал старнк, — подождите. Вы должны осмотреть все по порядку, как это полагается. — Итак, Хонг-Док был моим другом, как и его отец. Оба они работали на меня в течение многих лет, и я был чуть ли не их единственным заказчиком. После того, как они разбогатели, оии продолжали заниматься своим искусством с тою только разиицей, что за свои пронзведения онн не брали больше деиег. Отец дошел даже до того, что решил выплатить мне все до последиего гроша обратио из тех денег, которые я ему давал за его работу, и я должен был согласиться принять их, как мие ии было это неприятно, чтобы только не обидеть его. Таким образом все мои шкафы наполнилсь произведеииями искусства со-

всем даром. Я — то и познакомил морского кадета с Хонг-Доком, я взял его с собой к нему в гости — знаю, что вы хотите сказать: морской кадет был большим любителем женщин, а От-Шэн была вполне достойна того, чтобы добиваться ее расположения. — Неправда ли? И я должен был предвидеть, что Хонг-Док не отнесется к этому спокойно? Нет, нет, я ничего не мог предвидеть. Быть может, вы могли бы предусмотреть это, но не я, потому что я слишком хорошо знал Хонг-Дока. Когда все это случилось, и Хонг-Док рассказывал мне, сидя здесь на веранде, — о, он рассказывал гораздо спокойнее и тише, чем я теперь говорю, — то мне до последней минуты казалось это настолько невозможным, что я отказался верить ему. Пока наконец среди реки не появилось доказательство, которое не могло оставлять больше никаких сомнений. Часто я раздумывал над этим, и мне кажется, что я нашел те побудительные причины, под влиянием которых Хонг-Док совершил свое дело. Но кто может безошибочно читать мысли в мозгу, в котором, быть может, сохранились наклонности тысячи предшествующих поколений, пресытившихся властью, искусством и великой мудростью опиума? Нет, нет, я не мог ничего предвидеть. Если бы меня тогда кто-нибудь спросил: «Что сделает Хонг-Док, если морской кадет соблазнит От-Шэн или одну из его новых жен?» — то я наверное ответил бы: «он не поднимет даже голову от своей работы. Или же, если он будет в хорошем настроении духа, он подарит кадету От-Шэн». Так и должен был бы поступить Хонг-Док, которого я хорошо знал, именно так, а не иначе. Хо-Нам, другая его жена, изменила ему однажды с одним китайским переводчиком: он нашел ниже своего достоинства сказать им обоим хоть одно слово по этому поводу. В другой раз его обманула сама От-Шэн. Таким образом вы видите, что у него вовсе не было какого-нибудь особенного пристрастия к этой жене, и что не это руководило им. Миндалевидные глаза одного из моих индусов, который ездил со мной в форт Вальми, понравились маленькой От-Шэн, и хотя они не могли сказать друг другу ни одного слова, тем не менее они очень скоро поняли друг друга. Хонг-Док застал их в своем саду, но он даже не тронул своей жены и не позволил мне наказать моего

слугу. Все это так же мало волновало его, как лай какой-нибудь собаки на улице — на это едва только удостаивают поворотить голову.

Не может быть и речи о том, чтобы человек с таким ненарушимым философским самообладанием, как Хонг-Док, хоть на мгновение вышел из себя и поддался внезапной вспышке чувств. К довершению всего, тщательное расследование, которое мы произвели после его бегства с женами и слугами, установило, что Хонг-Док действовал совершенно обдуманно и заранее до мелочей подготовился к своей страшной мести. Оказалось, что морской кадет в течение трех месяцев ходил в каменный дом на реке чуть не ежедневно и поддерживал все это время связь с От-Шэн, о чем Хонг-Док узнал уже через несколько недель от одного из своих слуг. Несмотря на это, он оставил в покое обоих и воспользовался этим временем для того, чтобы хорошенько обдумать свою месть и дать созреть плану, который, наверное зародился у него в голове уже с первого мгновения.

Но почему же поступок морского кадета он принял как самое ужасное оскорбление, тогда как такой же поступок моего индусского слуги едва только вызвал у него улыбку? Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что мне удалось найти сокровенный ход его мыслей. Конечно, Хонг-Док не верил в Бога, он верил только в учение великого философа, но он был глубоко убежден в том, что его род избранный, что он стоит на недосягаемой высоте над всеми в стране — в этом он был убежден и имел на это основание. С незапамятных времен его предки были властелинами, неограниченными самодержцами. Наши владетельные князья, если только они хоть сколько-нибудь благоразумны, прекрасно сознают, что в их странах или государствах существуют тысячи людей, которые гораздо умнее и гораздо образованнее их. Хонг-Док и его предки были так же твердо убеждены в противном: непроходимая пропасть разделяла их и их народ. Они одни были властелинами — остальные были последними рабами. Только они одни образованы и умны, а подобных себе они видели только изредка, когда в стране появлялись иностранные послы, приезжавшие из соседних стран за морем или издалека с юга, из Сиама, или из-за гор, из Китая.

Мы сказали бы: предки Хонг-Дока были богами среди людей. Но сами они понимали это иначе: они чувствовали себя людьми среди грязных животных. Понимаете ли вы разницу? Когда на нас лает собака, то мы едва удостаиваем повернуть голову.

Но вот с Севера появились варвары с черными флагами. Они завладели страной, разрушили город и окрестные селения. Только перед домом властелина они остановились и не тронули никого, кто принадлежал к его семье. Из тихой и мирной страна превратилась в место, где раздаются крики, где убивают и борются, но перед дворцом на берегу Красной Реки все замолкло. И предки Хонг-Дока с тем же презрением относились к диким шайкам, напавшим на страну с Севера, с каким они относились к своему собственному народу, — ничто не заполняло непроходимой пропасти. Это были такие же животные, как и другие; они одни только были людьми, которые знают мудрость великого философа.

Все это было так до тех пор, пока молния не прорезала туман, нависший над рекой. С далеких берегов пришли белые люди, и отец Хонг-Дока с радостным изумлением должен был признать, что это были люди. Правда, он чувствовал разницу между собой и этими чужестранцами, но разница эта была совершенно незначительная в сравнении с той, которая чувствовалась между ним и его народом. И, как и многие другие более знатные тонкинцы, он сейчас же решил, что у него несравненно больше общего с чужестранцами, чем со своим народом. Вот почему он с первого мгновения оказывал помощь новым пришельцам, которые главным образом состояла в том, что он учил французов делать различие между мирным и тихим коренным населением и воинственными ордами с севера. А когда французы сделали его чем-то вроде губернатора в этой местности, то и само народонаселение стало смотреть на него, как на настоящего наследственного князя. Он освободил их от бича китайцев, французы были только орудием в его руках, это были чужеземные воины, которых он сам призвал; и вот народ признал его таким же властелином и таким же неограниченным, какими были некогда его предки, о которых сохранилось лишь предание.

В таких понятиях вырос Хонг-Док, сын князя, который сам должен был властвовать. Как и отец, он видел в европейцах людей, а не неразумных животных. Но теперь, когда блеск старого дворца возобновился, у него было более досуга присмотреться к этим чужеземцам, разобраться в той разнице, которая существовала между ним и ими и между ними самими. От постоянного общения с легионом его чутье в этом отношении стало таким же безошибочным, как и мое: он безошибочно узнавал в солдате господина и в офицере холопа, несмотря на золотые нашивки. Нигде образование не служит таким показателем происхождения и отличительным признаком господина от холопа, как на Востоке. Он хорошо видел, что все эти воины стоят на недосягаемой высоте над его народом — но не над ним. Если его отец и смотрел на каждого белого, как на равного себе, то он, Хонг-Док, относился к белым уже иначе: чем ближе и лучше он их узнавал, тем реже он находил среди них людей, которых он ставил на одну доску с собой. Правда, все они были удивительные, непобедимые воины, и каждый из них в отдельности стоил сотни столь страшных китайцев — но была ли в этом особая заслуга? Хонг-Док презирал военное ремесло, как и всякое другое. Все белые умели читать и писать — их собственные знаки, конечно, — но это ему было безразлично; однако едва ли нашелся бы хоть один из них, который знал бы, что такое философия. Хонг-Док не требовал, конечно, чтобы они знали великого философа, но он ожидал найти в них какую-нибудь другую, хотя и чуждую для него, но глубокую премудрость. Однако он ничего не нашел. В сущности, эти белые знали о причине всех причин меньше любого курильщика опиума. Было еще одно обстоятельство, которое сильно подорвало уважение Хонг-Дока к белым: это их отношение к своей религии. Не сама религия не нравилась ему. К христианскому культу он относился совершенно так же, как и ко всякому другому, который ему был известен. Нельзя сказать, что наши легионеры набожны, и ни один добросовестный священник не согласился бы дать ни одному из них святые Дары. И все-таки в минуты большой опасности из груди легионера может вырваться несвязная молитва, мольба о помощи. Хонг-Док заметил

это — и вывел заключение,что этн люди действительно верят, что им поможет какая-то неведомая сила. Но он продолжал свои исследования — я, кажется, забыл сказать вам, что Хоиг-Док говорил по-французски лучше меня — он подружился с полковым священнником в форте Вальмн. И то, что он узнал у него, еще больше укрепило в нем сознание своего превосходства. Я хорошо помню, как он однажды, сидя со мной в своей курительной комнате, с усмешкой сказал мне, что теперь он знает, насколько реально христиане относятся к своему культу. Потом он прибавил, что даже сами христианские священники не имеют понятия о символическом.

Самое худшее было то, что он был прав; я не мог возразить ему ни слова. Мы, европейцы, верим, но в то же время не верим. А таких христиан, которые веру своих отцов превозносят, как прекрасное воплощение глубоких символов, таких в Европе можно искать с фонарем, здесь же, в Тонкине, вы их наверное совсем не найдете. Но это-то и представлялось восточному ученому самым естественным, неизбежным для образованных людей. И когда он этого совершенно не нашел даже у священника, который не понял его мысли, представлявшейся ему такой простой, то он потерял в значительной степени уважение к белым. В некотором отношении европейцы стояли выше его — но в таких областях, которые не имели для него никакой цены. В другом же они были ему равны; но во всем, что представлялось ему наиболее важным, в глубоком и отвлеченном миросозерцании, они стояли несравненно ниже его. И это презрение с течением лет превратилось в ненависть, которая все возрастала по мере того, как чужестранцы становились властелинами его страны, завоевывая ее шаг за шагом и забирая в свои сильные руки всю власть. Ему уже не оказывали больше тех почестей, какие оказывали его отцу, а потом и ему самому; он чувствовал, что заблуждался, и что роль старого каменного дома на Красной Реке навсегда окончена. Не думаю, что вследствие этого философ почувствовал горечь, потому что он привык принимать жизнь такой, какая она есть; напротив, сознание своего превосходства было для него источником радостного удовлетворения. Отношения, которые с годами создались между ним и европейцами, были самого простого

свойства: он по возможности отдалился от иих, ио внешние его отношения были такие, какие бывают между равнымн людьмн. Но в душу свою, в свон мысли, которые скрывались за угловатым желтым лбом, он не позволял больше никому заглядывать, а если время от времеии ои разрешал это мне, то это происходило от его преданностн мне, которую он всосал вместе с молоком матерн и которую всегда поддержнвал мой искрениий ннтерес к его искусству.

Таков был Хоиг-Док. Его нн иа одио мгиовеиие ие могло вывести из самообладаиия то обстоятельство, что одиа из его жен вступила в связь с китайскнм переводчиком или с моим нндусским слугой. Если бы эта малеиькая вольиость имела последствия, то Хонг-Док просто велел бы утопить ребенка, ио ие из иеиавнсти нлн нз чувства мести, а из тех же побуждений, нз которых топят иеиужных щеиков. И если бы морской кадет попроснл его подарить ему От-Шэн, то Хоиг-Док сейчас же исполиил бы его просьбу.

Но морской кадет вошел в его дом, как равный ему, и украл у него жеиу, как холоп. С первого же вечера Хонг-Док заметил, что этот легионер из другого матернала, а не нз того, из которого состоит большая часть его товарищей; это я увидал уже по тому, что он был с ним менее сдержан, чем с другими. А потом — так мие кажется — морской кадет, вероятио, обращался с Хоиг-Доком так же, как ои обращался бы с хозяиием замка в Германии, жеиа которого ему поиравилась. Ои пустил в ход всю свою обольстнтельную любезность, н ему, конечно, удалось подкупить Хоиг-Дока, как он всегда подкупал меия и всех своих начальииков: не было никакой возможности противостоять этому умиому, жизиерадостиому и хорошему человеку. И ои обворожил Хонг-Дока до такой степеии, что тот сошел со своего трона, — он, властелин, художиик, мудрый ученик Конфуция, — да, он подружнлся н полюбнл легнонера, полюбил его сильнее, чем кого-либо другого.

Но вот однн нз слуг донес ему на его жену, н он увидел нз окиа, как морской кадет н От-Шэн наслаждаются любовью, гуляя в его саду.

Так вот для чего приходил он сюда. Не для того, чтобы видеть его — ио для нее, для женщииы, для

какого-то животного. Хонг-Док увидел в этом позорную измену, он почувствовал себя глубоко оскорбленным... о, только не как европейский супруг. Нет, его оскорбило то, что этот чужестранец притворился его другом, и что он, Хонг-Док, сам подарил ему свою дружбу. Он был возмущен тем, что при всей своей гордой мудрости разыграл дурака по отношению к этому подлому солдату, который втихомолку, как слуга, украл у него жену; что он осквернил свою любовь, подарив ее человеку, который стоял так неизмеримо ниже его. Вот чего не мог перенести этот гордый желтый дьявол.

* * *

Однажды вечером его слуги принесли его ко мне в бунгало. Он вышел из носилок и с улыбкой вошел на веранду. Как всегда, он принес мне подарки, маленькие веера великолепной работы. На веранде сидело несколько офицеров, Хонг-Док очень любезно поздоровался с ними, сел и сидел молча; едва ли он произнес и три слова, пока наконец через час не исчезли все гости. Он подождал, пока не заглох топот их лошадей на берегу реки, потом начал очень спокойно, очень кротко, словно сообщает мне самую приятную для меня новость:

— Я приехал, чтобы сообщить вам кое-что. Я распял морского кадета и От-Шэн.

Хотя Хонг-Доку совсем несвойственна была шутка, но при этом в высшей степени странном сообщении я подумал только, что это какая-нибудь смешная выходка. И мне настолько понравился его сухой, простой тон, что я сейчас же подхватил его и спросил так же спокойно:

— В самом деле? А что вы еще с ними сделали?

Он ответил:

— Я им еще зашил губы.

Тут я расхохотался:

— Ах, чего вы только не придумаете! Какие же любезности вы еще сказали обоим? И почему вы все это сделали?

Хонг-Док продолжал говорить спокойно и серьезно, но сладенькая улыбочка не сходила с его лица.

— Почему? Я застал их «в флагранти».

Это слово так понравилось ему, что он повторил его несколько раз. Он где-нибудь слышал его или

вычитал, и ему казалось необыкновенно смешным, что мы, европейцы, придаем такое значение накрытию вора на месте преступления. Он сказал это с ударением, с такой интонацией, которая особенно подчеркивала его презрение:

— В флагранти. Неправда ли, ведь в таких случаях в Европе обманутый супруг имеет право наказать похитителя своей чести?

Эта слащавая насмешка была проникнута такой уверенностью, что я не нашелся, что ему ответить. Он продолжал все с той же любезной улыбкой, словно рассказывал нечто самое обыкновенное.

— Так вот я его наказал. А так как он христианин, то я нашел за лучшее избрать христианский образ смерти; мне казалось, что это ему больше всего понравится. — Не правда ли?

Эта странная шутка мне не понравилась. Мне и в голову не приходило, что все это правда; но у меня было какое-то безотчетное чувство, которое угнетало меня, и мне хотелось, чтобы он поскорее перестал болтать. Я, конечно, поверил ему, что морской кадет и От-Шэн находятся в связи, и думал, что этим примером он снова хотел доказать всю абсурдность наших европейских понятий о чести и нравственности. И я ответил ему в тон:

— Конечно. Вы совершенно правы. Я уверен, что морской кадет очень оценил ваше внимание.

Но Хонг-Док с некоторой грустью покачал головой:

— Нет, не думаю. По крайней мере, он не сказал на этот счет ни одного слова. Он только кричал.

— Он кричал?

— Да, — ответил Хонг-Док со слащавой меланхолией, — он очень кричал. Гораздо больше От-Шэн. Он все молился своему Богу, а молитву прерывал криками. Кричал хуже всякой собаки, которую режут. Право, было очень неприятно. И потому я должен был велеть зашить ему рот.

Мне надоела эта шутка, и я хотел скорее довести ее до конца.

— Это все? — прервал я его.

— Собственно говоря, все. Я велел их схватить, связать и раздеть. Ведь его Бог был также нагой, когда его распинали, не правда ли? Потом им зашили губы и распяли, а потом я велел бросить их в реку.

Вот и все.

Я был рад, что он кончил:

— Ну, а дальше-то что же?

Я ждал объяснения всего этого.

Хонг-Док посмотрел на меня во все глаза и сделал вид, будто не понимает, чего я хочу от него. Он сказал с притворным состраданием к самому себе и даже продекламировал эти слова как бы в насмешку:

— О, это была только месть несчастного обманутого супруга.

— Хорошо, — сказал я, — хорошо! Но скажите же мне наконец, к чему вы все это ведете! В чем же тут соль?

— Соль? — он самодовольно засмеялся, словно это слово было необыкновенно кстати. — О, пожалуйста, подождите немного.

Он откинулся в кресле и замолчал. У меня не было ни малейшего желания расспрашивать его дольше, и я последовал его примеру; пусть рассказывает свою кровавую историю до конца, когда это ему вздумается.

Так мы сидели с полчаса, никто из нас не произносил ни слова. В комнате часы пробили шесть.

— Вот, теперь вы увидите соль всего этого, — сказал Хонг-Док тихо.

Потом он обернулся ко мне. — Не прикажете ли вы слуге принести ваш бинокль?

Я сделал знак Бане, и он принес мой бинокль. Но Хонг-Док не дождался бинокля; он вскочил и сильно перегнулся через перила. Он вытянул руки вправо по направлению Красной Реки и воскликнул торжествующим тоном:

— Посмотрите, посмотрите, вот она — ваша соль.

Я взял бинокль и стал смотреть в него по указанному направлению. Далеко-далеко я заметил посреди реки маленькую точку. Она все приближалась, наконец я увидел, что это — маленький плот. И на плоту были двое людей, оба голые. Я бросился к крайнему углу веранды, чтобы лучше видеть. На спине лежала женщина, ее черные волосы свешивались в воду — я узнал От-Шэн. А на ней лежал мужчина — его лица я не видел, но мог различить только рыжеватый оттенок его волос, — ах, это был морской кадет. Длинными железными гвоздями были насквозь при-

биты руки к рукам, ноги к ногам; тонкие темные струйки крови текли по белым доскам. Вдруг я увидел, как морской кадет высоко приподнял голову и стал ею трясти в бессильной ярости. Навериое, он подавал мне знаки... они еще живы, живы!

Я уронил бинокль, на минуту растерялся. Но только на минуту, потом я закричал, я зарычал, как безумный, на моих людей:

— Вниз в лодки.

Я бросился через веранду — тут я иаткнулся на Хоиг-Дока, ои продолжал слащаво улыбаться. Казалось, словио он спрашивал:

— Ну, что же, как вы иаходите мою соль?

Знаете, меня часто высмеивали за мои длиные ногти, но клянусь, в то мгновение они мне очеиь пригодились. Я схватил этого желтого негодяя за горло и стал его трясти изо всех сил. И я чувствовал, как когти мои глубоко вонзались в эту проклятую глотку.

Потом я его отпустил, и он, как мешок, свалился на землю. Как одержимый, бросился я с лестницы, за мной побежали слуги. Я прибежал к берегу и отвязал цепи у первой лодки. Один из индусов вскочил в лодку, но сейчас же провалился и до пояса очутился в воде: средняя доска в дне была вынута. Мы бросились к следующей лодке, потом к третьей — ко всем, которые стояли у пристаии — но все были до краев наполнены водой, из всех были вынуты доски. Я крикнул людям, чтобы они приготовили большую джонку, и мы влезли в нее, сломя голову. Но и в джоике оказались большие пробоины, и мы ходили в ней по колено в воде; не было никакой возможности хоть на один метр отъехать от берега иа этой джонке.

— Это сделали слуги Хоиг-Дока, — крикнул мой управляющий, — я видел, как оии бродили здесь, по берегу.

Мы снова выскочили на берег. Я дал приказание вытащить на берег одну из лодок, выкачать из нее воду и скорее прибить новую доску к ее дну. Люди бросились в воду, стали тащить лодку, надрываясь от тяжести этой громадной лодки. Я кричал на них и по временам смотрел на реку.

Плот проплывал совсем близко от берега, на расстоянии каких-нибудь пятнадцати метров. Я протянул руки, как бы желая схватить плот руками...

... Что вы говорите? — Переплыть? О, да, если бы дело шло о Рейне или Эльбе... но плыть по Светлому Потоку! И ведь все это происходило в июне, в июне, имейте в виду. В реке кишели крокодилы, в особенности во время заката солнца. Эти отвратительные животные плавали вокруг плота, я видел даже, как один крокодил положил передние лапы на край маленького плота и, приподнимаясь на них, стал обнюхивать своей черной мордой распятые тела. Крокодилы почуяли добычу и провожали плот вниз по течению.

И снова морской кадет начал трясти своей белокурой головой. Я крикнул ему, что мы идем на помощь, сейчас идем.

Но казалось, будто проклятая река в заговоре с Хонг-Доком: ее глинистое дно вцепилось в лодку и не выпускало ее. Я спрыгнул в воду и стал тянуть вместе с людьми. Мы тащили изо всех сил, но нам едва удалось сдвинуть лодку на один дюйм. А солнце спускалось все ниже к горизонту, и маленький плот плыл все дальше, вниз по течению.

Наконец управляющий догадался привести лошадей. Мы впрягли лошадей в лодку и стали стегать их. Лодка поддалась. Еще раз и еще, — мы хлестали лошадей и кричали. И вот лодка очутилась на поверхности воды, но она все еще давала течь, и люди начали прибивать новые доски. Когда мы наконец отчалили, то было уже совсем темно, и давно наступила ночь.

Я сел на руль, шесть человек тяжело налегли на весла. Трое человек стояли на коленях и черпаками выбрасывали воду, которая продолжала быстро набираться в лодку. Скоро ноги наши по щиколотку стояли в воде; я должен был снять с весел двух гребцов, а потом и еще двух, чтобы люди поспевали вычерпывать воду. Мы подвигались вперед бесконечно медленно.

У нас были с собой большие смоляные факелы, мы осматривали реку при помощи их и искали плот. Но мы ничего не нашли. Раза два нам казалось, что мы видим его, но когда мы приближались, то оказывалось, что это ствол дерева или аллигатор. Мы искали несколько часов, но ничего не нашли.

Наконец я причалил к Эдгардхафену и поднял тревогу. Комендант выслал на реку пять лодок и две большие джонки. Еще три дня продолжались поиски вдоль реки, но все было тщетно! Мы разослали теле-

граммы на все стоянки вниз по реке. Ничего! — Так никто и не видел больше бедного морского кадета.

... Что я думаю? Вероятно, плот зацепился где-нибудь за берег и остановился. Или же его нанесло течением на ствол большого дерева, и он разбился. Так или иначе, но страшные пресмыкающиеся получили свою добычу.

* * *

Старик осушил стакан и протянул его индусу. И снова залпом выпил его. Потом он медленно провел своими большими ногтями по седоватой бороде.

— Да, продолжал он, — вот мой рассказ. Когда мы возвратились в бунгало, то Хонг-Дока там уже больше не было, а с ним исчезли и его слуги. Потом началось расследование, но я уже говорил вам об этом, — оно, конечно, не дало ничего нового.

Хонг-Док бежал. И я долго ничего не слыхал о нем, пока вдруг совершенно неожиданно не получил этой шкатулки; кто-то принес ее в мое отсутствие. Люди сказали, что это был китайский купец; я велел разыскать его, но тщетно. Вот, возьмите эту шкатулку; посмотрите картинки, которые вы еще не видели.

Он придвинул ко мне перламутровые пластинки.

— Вот тут изображено, как слуги Хонг-Дока несут его ко мне в носилках. А вот здесь вы видите его и меня на этой веранде, здесь изображено, как я хватаю его за горло. На нескольких марках нарисовано, как мы стараемся сдвинуть с места лодку, а на других, как мы ночью ищем плот на реке. На этой марке изображено распятие От-Шэн и морского кадета, а вот здесь им зашивают губы. Вот это — бегство Хонг-Дока, а здесь видите мою руку с когтями, на другой стороне марки изображена шея со шрамами.

Эдгард Видерхольд снова закурил трубку:

— А теперь берите вашу шкатулку, — сказал он. — Пусть эти марки принесут вам счастье за карточным столом, — на них крови достаточно.

И эта история истинная правда.

В Атлантическом океане, на борту
"Konig Wilhelm II". Март 1908.

ДЕЛЬФЫ

> **Эллада — вот где корни всего существующего.
> Там и еврейское, и римское, и германское...
> и все одинаково сильное и великое.**
>
> **Байрон.**

Два пастуха, Гиркан и Корета.

Их обоих знали во всех деревиях маленькой Фокиды, в Эллатее, Давлиде, Дельфах, Криссе и Абах. Гиркан был высокий юноша с воловьим затылком, его грубый, громкий говор указывал на то, что он происходит от древних лелегов. А стройиый, курчавый Корета был бледен и мечтателен, как флегийцы из Орхомен. Люди говорили о них: хотя Корете всего только двадцать пять лет, но он уже два раза побывал в Коринфе и один раз в Афинах. Но зато Гиркаи на последием праздике Деметры трижды победил: в дискометании против Дорилая из Аб и в бегах против Ликортаса из Китииии, который был также известен под именем «алчного дорийца». Во время едииоборства Гиркаи победил известиого силача Аидриска из Амфиссы, — это было триумфом всей Фокиды иад озолийскими локрами.

Они были друзьями. Оии по доброй воле сделались пастухами и странствовали с большими стадами

между Элатеей и Дельфами по всей этой суровой стране: они отправлялись то на Геликон, то на Кирфиду, то на Парнас. Они любили эту бродячую жизнь — один из-за свежего горного воздуха, которым так легко дышалось и который закалял его мускулы, а другой потому, что такая жизнь позволяла ему предаваться мечтам в полном одиночестве, под открытым небом.

— Послушай! — воскликнул Гиркан. — Нам необходимо разыскать козу. Вставай, иди, помоги мне.

— Какую козу? — Спросил Корета, потягиваясь.

— Клянусь Стиксом, — черную, скорняка Олибрия! Она пропала уже с самого утра. Я искал с собаками и обошел всю местность до Кефис, но боюсь, что напал на неверный след. Наступает вечер, и волки могут напасть на козу. Мы должны поискать на склонах Парнаса!

Корета встал и последовал за своим другом. Они оставили стадо под присмотром мальчика и собак, с собой они взяли только большую овчарку. Они стали спускаться с горы.

— Нам лучше разойтись, — сказал Гиркан после того, как они некоторое время искали вместе. — Я полезу дальше вверх, а ты осмотри тот миртовый лес, только возьми с собой собаку, она мне не нужна.

Корета сделал несколько шагов, зашел в кустарник и там сел. Собака подождала немного, побегала вокруг него, обнюхивая кусты, и потом вернулась обратно, как бы с нетерпением ожидая, чтобы ее хозяин пошел наконец дальше. Но когда она увидела, что Корета продолжает сидеть неподвижно, то она залаяла и большими прыжками стала догонять Гиркана, поднимавшегося на гору.

Он осматривал каждый куст, каждый камень, но все было тщетно — он нигде не находил козы. Наконец, спустился с горы и нашел своего друга на том же месте, где его оставил.

— Что? Ты заставляешь меня искать без конца, а сам сидишь тут и спишь!

— Я не спал, — ответил Корета.

— Делай, что хочешь! — воскликнул Гиркан и

побежал к миртовому лесу, который должен был осмотреть его друг. Прошло еще часа два, наконец, собака нашла козу. Гиркан взял ее на плечи и пошел обратно.

Он нашел своего друга на том же камне.

— Я нашел козу!

Корета ничего не ответил, на этот раз он действительно заснул. Гиркан разбудил его.

— Я нашел козу! Теперь пойдем, начинает светать.

Молча сошли они в долину. Корета был бледен и покачивался, а сильный Гиркан, на знавший усталости, поддерживал его.

Когда они, наконец, пришли к своему стаду, то солнце начало всходить.

В Дельфах справляли праздник Аполлона. Празднество не было такое большое, как в долине Олимпа или Элиде или на Истме. К маленькому городку Дельфам, малоизвестному, не отличавшемуся ничем особенным, стекались только жители других городов Фокиды и Локриды, а если среди них попадались коринфяне и афиняне, то это были люди, посещавшие все игры в Элладе, чтобы везде познакомиться с лучшими борцами. Они имели в виду когда-нибудь на больших празднествах взять сосновую ветвь Посейдона или даже ветвь дикой маслины Зевса.

Маленькие состязания окончились, и герольд возвестил о пяти больших состязаниях: на арену вышли четырнадцать нагих юношей; из который четверо были из Дельф. Мерион, верховный жрец Аполлона и старший судья, высыпал в шлем билетики, на которых был обозначен порядок состязания, и юноши стали тянуть жребий. Потом они стали под статую Зевса, охраняющего святость клятвы, и, подняв руки вверх, поклялись бороться честно. Раздались звуки флейт, и состязание началось. Сперва состязались в самом длинном прыжке на ровной арене; при этом юноши брали в руки тяжелые гири, чтобы придать более силы разбегу. Каждый имел право пробовать три раза, но тот, кто не перепрыгивал через обозначенную черту, должен был выходить из рядов состязающихся. Ифит перепрыгнул через черту, Фоант из Давлиды также перепрыгнул, а за ним и сильный Хрисогон; Гиркан также перепрыгнул с первого раза. Но молодой Алькеменор

упал и разбил себе голень железной гирей. И еще троим ие удалось перепрыгнуть через иамечеииую черту. После этого остальные собрались для метаиия короткого копья. Только четверо лучших могли состязаться дальше; это были Гиркаи, Фоаит, Хрисогои и Ликортас из Амфиссы, сыи Павсаиия. Ифит в ярости вышел из ряда борцов, потому что иакоиечиик его копья упал только на расстояиии двух пальцев от копья Фоаита.

Раздались трубные звуки, и четверо юиошей иачали состязаиие в беге; впереди всех бежал быстроиогий Фоаит. Гиркан отстал от него на иебольшое расстояние, и дельфийцы стали кричать ему, потому что это был едииствеииый дельфиец, который оставался еще среди состязающихся. Перед самой целью Гиркан перегнал всех, в иесколько прыжков обогнал Ликортаса и прибежал первый при торжествующих криках дельфийцев, которые радовались, что их борец будет участвовать также и в дискометаиии. Рабы принесли круглые металлические диски, весом в восемь фуитов каждый. Хрисогои бросал первым, он вошел иа малеикое возвышеиие, согиул верхиюю часть туловища и откинулся иемного вправо. Медлеино подиял ои руку назад, затем сделал быстрое движение рукой вперед и бросил диск, который полетел в воздухе, описывая широкую дугу. Гиркан бросал свой диск два раза, и тот упал иа десять шагов дальше диска его противиика. Теперь наступила очередь ловкого Фоаита, ио так как тот ие мог бросить так далеко, как Гиркан, то должен был выйти из числа состязающихся.

Наконец, двое первых вышли иа середииу ареиы для единоборства. С их тел вытерли полотеицами пот и пыль и заново смазали их маслом. После этого оии начали борьбу. Элатеец схватил своего противиика за бедро и приподиял его, стараясь повалить. Но Гиркаи толкиул его своим железным лбом в щеку, так что тот зашатался только. После этого он схватил левую руку Хрисогоиа и так крепко сдавил ее пальцами, что то закричал от боли и во весь рост растянулся иа ареие. Два раза возобиовлялась борьба, и каждый раз Гиркаи оставался победителем. Элатейцы топали иогами и ши-

кали, но зато дельфийцы кричали от радости и торжественно отнесли на руках своего героя к судьям. Один из судей наложил Гиркану на голову белую шерстяную повязку, а другой дал ему пальмовую ветвь; Мерион, старший жрец, украсил его венком Аполлона из плюща, который один из мальчиков нарезал золотым ножом.

Вокруг Гиркана образовался кружок из любопытных; гимнасты, пришедшие из других областей, щупали мускулы на его руках и осматривали его бедра.

— Если бы его бег был лучше, то я взял бы его на будущий год на состязание в Истме, — сказал, передернув плечами, афинянин.

Коринфянин подошел к Гиркану вплотную, опустился перед ним на колени и осмотрел его щиколотку и ступню.

— Пойдем со мной в Коринф, — сказал он, — я буду упражнять тебя в беге. Обещаю тебе: если ты останешься у меня шесть месяцев, то получишь на состязаниях сосновую ветвь Посейдона!

Глаза Гиркана засверкали.

— Иди с ним! — закричали дельфийцы.

Все сидели за трапезой, празднуя победу. В верхнем конце стола возле судей и жрецов возлежал Гиркан; рядом с ним возлежал коринфский гимнаст, который не отходил от него ни на шаг. Вокруг всего стола тесно друг возле друга возлежали дельфийцы и их гости.

Но вот выступил Корета в праздничном наряде, с лирой в руках. Медленно, как во сне, прошел он мимо гостей к жрецам. Гиркан вскочил, чтобы очистить возле себя место своему другу, и он приветствовал его, заключив в свои сильные объятия.

— Ты хочешь петь? — спросил он. — Иди сюда!

И он поднял его на скамью.

— Тише, друзья, Корета хочет петь!

— Тише! Он хочет воспевать Гиркана! — воскликнули дельфийцы.

Корета начал, но он вовсе не воспевал своего друга.

Он рассказал об одном тихом вечере, когда он со своим стадом расположился на равнине у подножия

Парнаса. Он сосчитал коз, одной не хватало. И он отправился разыскивать ее; он поднялся высоко на скалы. Наступила ночь, и разразилась страшная непогода. Молнии ударяли в скалу, и гром гремел так сильно, что горы содрогались. Но он поднимался все выше, он перепрыгивал через зиявшие пропасти и бесстрашно поднялся по отвесной скале.

Непогода стала утихать; он медленно пробирался по густому сосновому лесу. Хо! Что это так быстро пронеслось мимо него? Он наклонился вперед и увидал лесную нимфу, которая быстро бежала по склону горы. Она громко взывала о помощи, и ее зеленые волосы развевались по ветру. Едва касаясь земли, она бежала по лесу, но вдруг она должна была остановиться перед обрывом. И тут он увидел ее преследователя: это был Пифон, громадный крылатый дракон с длинным змеиным телом и отвратительной рыбьей пастью. Он извергал из своих ноздрей огонь и дым и уже прижимался сладострастно своим чешуйчатым телом к коленям нимфы.

— Помогите, помогите! — молила она.

Тут Корета услыхал крик, раздавшийся среди сосен:

— Касталия!

— Сюда! Помогите! Сюда! — взывала нимфа.

Ветви раздвинулись, и из чащи выбежал юноша. Он был без бороды, у него были короткие курчавые волосы и большие сияющие глаза.Нагой, без щита, с одним только копьем в руках, бросился он на чудовище. Дракон расправил крылья и, извергая из ноздрей и пасти целые тучи дыма и пламени, устремился на юношу со страшным фырканьем. Юноша бросил в дракона копьем и пронзил им глаза и мозг чудовища. Потом он сбросил тело мертвого Пифона в узкое ущелье между двумя отвесными скалами.

— Благодарение тебе, Аполлон! — сказала трепещущая нимфа.

— И ты благодаришь меня только словами, красавица? — сказал бог. — Я уже давно люблю тебя, но ты бежишь от меня, робкая.

Я люблю одного пастуха, — ответила нимфа.

— А я люблю тебя! — воскликнул убийца Пифона, бросаясь к нимфе. Однако, Касталия выскользнула из его рук и, не произнеся ни слова, быстро побежала вниз по склону горы.

Но Деметра, мать богов, сжалилась над нею: она превратила нимфу в источник, который быстро заструился по крутому склону горы.

Тогда бог преклонил колени и поник головой, крупные слезы потекли из его глаз и смешались с Кастальским Источником. И он лобзал воду и пил ее и намочил ею свой лоб и свои кудри.

Потом он встал , и в ночной тишине раздалась его песнь, жалобная песнь, полная тоски по утраченной возлюбленной.

Корета умолк, и вокруг него долго царило молчание.

Но вот вскочил Гиркан.

— Он лжет! — воскликнул он. — Он лжет! Он подлый обманщик и лжец! Хо! Я был с ним, когда мы искали козу. Это была черная коза элатейца скорняка—Олибрия! Мы пошли вместе, Корета и я, в горы, но никакой непогоды не было, небо было ясное, вечер был тихий! Не было ни разверстых пропастей, ни дракона, ни нимфы, ни бога — ничего, ничего этого не было! Я пошел один в горы, а он должен был с собакой обыскать миртовый лес. Но он сел на камень и заснул. Всю ночь я проискал козу и наконец под утро нашел ее. Когда я возвратился к нему, то нашел его все на том же камне, погруженным в крепкий сон.

— Фу, как он лжет!

Толпа закричала и заволновалась. Корета стоял неподвижно и странным взором обводил шумящих людей. Казалось, он не понимал, из-за чего они так кричат. Растерянный, смущенный, он озирался кругом, и вдруг взгляд его встретился со взглядом старого жреца.

— Оставьте его! — воскликнул Мерион. — Я беру его под свою защиту!

Но шумящая толпа надвигалась все ближе с поднятыми руками и сжатыми кулаками.

— Его защищать? Нет, убить надо этого обманщика!

Тогда жрец подошел к Корете, положил ему левую руку на плечо, а правую протянул вперед, как бы защищая его от возбужденной толпы.

— Оставь его! — крикнул Гиркан. — Он лжец!

— Лжец? Нет, он поэт.

И поэзия стала правдой.

Спроси школьника в красной фуражке и с сумкой на спине, возвращающегося из школы.

Спроси его:

— Что знаешь ты о Дельфах?

Он ответит тебе:

— Дельфы это древний город, — от 1200 л. до Р.Х. и до 400 л. после Р.Х., — известный своими оракулами. Пифия сидела на большом треножнике и прорицала. Однажды, когда царь Крез послал в Дельфы своих послов...

Готов пари держать, что он мог бы добрых полчаса рассказывать тебе о Дельфах. И о Пифоне, о храме Аполлона, о Кастальском Источнике и о скале Федриады, с которой свергали богохульников.

Мало того, он процитирует тебе также изречения в храме и с полдюжины прорицаний Пифии.

И это в наше время, более двух тысяч лет спустя! Есть ли на свете другое столь знаменитое место?

* * *

Поэта звали Корета, а слушатели назвали его лжецом.

Но пусть они его назвали лжецом — его поэзия была сильнее правды атлета.

Поэт победил. Гиркана первого свергли со скалы, две недели спустя. Безобразную истину разбили, чтобы оживить мечту певца.

Это была Эллада.

Но теперь долой прекрасное покрывало!

Вот голая, жалкая истина:

— Дамасипп! — сказал старый верховный жрец другому жрецу Аполлона после того, как он благополучно вывел Корета из шумящей толпы. — Дамасипп, созови всех жрецов и старейших города в эту же ночь в храм бога.

Все собрались в назначенном месте, и жрец убеждал каждого по очереди:

— Никогда еще на долю города не выпадало такого счастья, о, мужи, как песня Корета. Пусть это тысячу раз будет безумным сном вдохновенного поэта. Мы сделаем из этого правду! Мы все должны поверить этому, и горе тому, кто будет сомневаться!

Мы поверим, Фокида поверит, вся Эллада поверит, и весь мир! Дельфы станут пупом земли, город этот станет священным! У нас воздвигнут храмы и святыни. Жрецы Дельфов будут первыми в мире!

— Разве нас касаются ваши дела? — воскликнул купец Архимен.

— Но разве эти дела и не ваши также? Сюда будут тысячами стекаться чужеземцы и не с пустыми руками! Вы будете жить во дворцах и держать рабов, как самые богатые афиняне! Счастье улыбается вам, вам стоит только протянуть за ним руки! И чтобы положить этому начало, я заявляю, что твердо верю в правоту того, что нам рассказывал пастух!

— Я верю, как и ты! — воскликнул Дамасипп.

— И я также! И я! И я!

— Все мы верим!

И Дельфы поверили этому, и Фокида, и Эллада, и весь мир.

Таким образом, нечто великое создали два человека: вдохновенный пастух и хитрый жрец.

Но, конечно, был еще один человек, которые этому не поверил, еще один, кроме упорного Гиркана, который, как богохульник, был свергнут со скалы Федриады.

Был еще один: поэт Корета. Правда,он ничего не говорил, но ведь он мог заговорить. Он действительно представлял собою некоторое неудобство.

Однажды утром его наши на улице мертвым; между его лопатками торчал нож жреца.

Но кровь хороша, чтобы удобрить почву, на которой должны собирать жатву жрец и купец!

Дюссельдорф. Январь 1901.

ПАУК

And a will therein lieth, which dieth not. Who knoweth the mysteries of a will with its vigour?

Glanville.

Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату номер 7 маленькой гостиницы Стевенс в улице Альфред Стевенс номер 6, после того, как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек.

Первый из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Его тело нашли только в субботу вечером; врач установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна в том месте, где переплет образует крест, и предназначенном, по-видимому, для вешания платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного свешивались почти до самых колен на пол; он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено,

что самоубийца был женат, и что он оставил после себя четверых детей; кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспеченное, и что он отличался веселым и беззаботным нравом.

Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в близлежащем цирке Медрано и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате номер 7 два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк на представление, то директор послал за ним в гостиницу капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате, повесившимся на перекладине окна — в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое; популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалованье, ему было всего двадцать пять лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка. После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание.

Для госпожи Дюбонне, содержательницы этой маленькой гостиницы, клиенты которой почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартрских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые жильцы выехали из ее гостиницы, а другие постоянные ее клиенты перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару IX участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты.

Шарль-Мария Шомье, служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате номер 7, был старый морской волк, одиннадцать лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме оставаться по ночам одному на сторожевом посту и не раз приходилось угощать зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. А потому казалось, что

он создан для того, чтобы должным образом встретить «привидения», которыми прославилась улица Альфред Стевенс. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбонне за вкусный и обильный ужин.

Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно, и что он ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли его открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового он ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден; он сказал полушутя, полусерьезно, что как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако он утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству, и что его подняли бы на смех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером этого же дня он не пришел больше в полицейский участок: его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате.

На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей та же самая, что и в двух предыдущих случаях: ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно было закрыто, дверь не была заперта; смерть наступила в шестом часу вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, и язык был высунут.

Последствием этой третьей смерти в комнате номер 7 было то, что в этот же день все жильцы гостиницы Стевенс выехали, за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из номера 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбонне было то обстоятельство, что на следующий же день Мэри Гарден, звезда Opera-Comique, приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за двести франков красный шнурок, на

котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того — об этом напишут в газетах.

Если бы все это произошло еще летом, так в июле или в августе, то госпожа Дюбоние получила бы втрое больше за свой шнурок; тогда газеты целую неделю иаполияли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона, когда материала для газет более, чем иужио: выборы, Марокко, Персия, крах баика в Нью-Йорке, не меиее трех полнтическнх процессов — действительно, ие хватало даже места. Вследствие этого происшествие на улице Альфред Стевенс обратило на себя гораздо меньше внимаиия, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол — и затем дело это было окончено.

Этот-то протокол только н зиал студент медницинского факультета Ришар Бракемои, когда он решил иаиять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал; к тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначнтельным, что комиссар и иикто другой нз свидетелей ие иашел иужным сообщать о нем репортерам. Только позже, после прнключеиия со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полнцейскне снимали с петли тело сержаита Шарля-Марнн Шомье, то из его рта выполз большой черный паук. Коридорный щелкиул паука пальцем и воскликнул:

— Черт возьмн, опять это поганое животное.

Позже, во время следствня, касавшегося Бракемона, ои заявил, что когда снимали с петли тело швейцарского коммивояжера, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Рншар Бракемон ничего ие знал об этом.

Он поселился в комнате номер 7 две недели спустя после последнего самоубнйства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневннк.

ДНЕВНИК РИШАРА БРАКЕМОНА.

Студента медицинского факультета.

Поиедельиик, 28 февраля.

Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзнны и разложил вещн, потом улегся спать. Выспался отлнчно; пробнло девять часов, когда

меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая сама принесла мне мой завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне, — это видно было по яйцам, ветчине и превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку.

Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы — теперь его так дешево уж не приобретешь — то я во всяком случае могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс; прекрасно, попытаю свое счастье.

Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее двадцати семи человек являлись — одни в полицию, другие прямо к хозяйке — с просьбой получить комнату; среди этих претендентов были три дамы. Итак, в конкуренции недостатка не было; по-видимому, все это были такие же бедняки, как и я.

Но я «получил место». Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной «идеи». Нечего сказать, хороша идея! Конечно, это не что иное, как утка.

И рапорты эти предназначены для полиции, а потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их за нос. Если комиссар человек здравомыслящий, то он скажет:

— Гм, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим.

Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет: теперь я во всяком случае сижу здесь. И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ.

Начал я с того, что пошел к госпоже Дюбоние; но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда, и каждый день получал тут же ответ, что мое предложение «принято к сведению», и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень быстро отстала от меня; по всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми днями. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения

даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, также, как и другим, за мое доброе желание, но «дилетантские силы» для них совершенно не нужны. Если у меня к тому же нет выработанного плана действия...

Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было, и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана. Но я заявил ему, что открою свой план — очень хороший, но очень опасный — могущий дать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение. За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более, что он спросил меня, не могу ли я ему сделать хоть маленький намек на свой план.

Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия; сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это — тот час, в который Христос исчез из Своего Гроба, чтобы сойти в ад, то есть, шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. Я напомнил ему, что именно в этот час, в пятницу, между пятью и шестью часами, совершились все три самоубийства. Больше я ему ничего не могу сказать, заметил я ему, но попросил обратить внимание на Откровение святого Иоанна.

Комиссар состроил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро; перед ним на столе лежал Новый Завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием — прочел все Откровение и — ни слова в нем не понял. Весьма возможно, что комиссар был умнее меня, во всяком случае он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и

оказать мне возможное содействие.

Должен созиаться, что он действительно был со мной крайне предупредителеи. Он заключил с хозяйкой условие, в силу которого она обязалась содержать меня даром за все мое пребывание в ее гостинице. Он сиабдил меня также великолепиым револьвером и полицейским свистком; дежуриым полицейским было приказаио как можно чаще проходить по маленькой улице Альфред Стевенс и по малейшему моему знаку идти ко мне. Но важиее всего было то, что он поставил в мою комнату иастольиый телефои, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в четырех минутах ходьбы от меня, а потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобиость. Приимая все это во внимаиие, я ие могу себе представить, чего мие бояться.

* * *

Вториик, 1 марта.

Ничего не случилось ни вчера ии сегодня. Госпожа Дюбонне принесла новый шнурок к занавеске из соседней комнаты — ведь у нее достаточио пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне; и каждый раз она что-нибудь прииосит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал иичего нового. Относительно причины самоубийств у нее было свое особое миение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви: когда он за год перед тем останавливался у нее, то к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видио. Что касается швейцарца, то оиа ие знает, что заставило его прииять роковое решение, — ио разве влезешь человеку в душу? Ну, а сержант, иесомнеино, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей.

Должен сказать, что объяснеиия госпожи Дюбоине отличаются некоторой неосновательиостью, ио я предоставил ей болтать, сколько ее душе угодио: как бы то ни было, но она развлекает меня.

* * *

Четверг, 3 марта.

Все еще ничего иового. Комиссар звонит мне по те-

лефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно; по-видимому, такое донесение ие вполне удовлетворяет его. Я вынул свон медицинскне кннгн и начал заниматься; такнм образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-инбудь пользу.

* * *

Пятинца, 4 марта, 2 часа пополудии.

Я пообедал с аппетитом; хозяйка подала мие к обеду полбутылкн шампаиского. Это была настоящая трапеза приговоренного к смерти. Оиа смотрела на меня так, словно я уже на три четвертн мертв. Уходя от меня, она со слезамн просила меня пойтн вместе с ней; по-видимому, оиа боялась, что я также повешусь, «чтобы досадить ей».

Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значнт, на нем я должеи сейчас повесnться? Гм, для этого у меня слишком мало желания. К тому же шнурок жесткнй н шершавый, и из него с трудом можно сделать петлю; нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за свонм столом, слева стоит телефои, справа лежит револьвер. Я ие нспытываю и теии страха, ио любопытство во мие есть.

* * *

6 часов вечера.

Ннчего ие случилось, я чуть было не сказал — к сожаленню! Роковой час наступнл и прошел — и он был совсем такой же, как н все другие. Конечно, я не буду отрнцать, что были мгиовення, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну — о, да, ио из совсем других побуждений! Комнссар звоннл по крайней мере раз десять между пятью и шестью часами, ои проявлял такое же нетерпенне, как н я сам. Но что касается госпожи Дюбоине, то она довольна: целую иеделю жилец прожил в комнате иомер 7 и не повесился. Невероятно!

* * *

Понедельинк, 7 марта.

Я начинаю убеждаться в том, что мие не удастся ничего открыть, и я склоиен думать, что самоубийство моих троих предшествеиников было простой случайно-

стью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности трех самоубийств, так как я был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно в конце концов напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно. Парижа я, конечно, не завоюю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь; я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И наконец есть и еще одна причина, которая удерживает меня здесь.

* * *

Среда, 9 марта.

Итак, я сдвинулся на один шаг. Кларимонда...

Ах, да ведь я о Кларимонде ничего еще не рассказал. Итак, она моя «третья причина», вследствие которой я хочу здесь остаться, и из за нее-то я и стремился к окну в тот «роковой» час, а отнюдь не для того, чтобы повеситься. Кларимонда — но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то явилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени.

Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница; ее окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее, — видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного, вся улица знает, почему я здесь живу, — об этом уж позаботилась госпожа Дюбонне.

Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержаны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в три дня досыта наесться, то тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом и на этот раз, быть может, держал себя очень глупо. Как бы то ни было,

она мне нравится такой, какая она есть. Вначале мне и в голову не приходило заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдения; но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь ровно нечего делать, то я и начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Кларимонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее три окна, но она всегда сидит у того окна, которое находится против моего; она сидит и прядет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохраняла, как воспоминание о какой-то старой родственнице; я даже и не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Кларимонды маленькая и изящная, она вся белая и, по-видимому, сделана из слоновой кости; должно быть, она прядет на ней невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает, не переставая, прекращает работу только тогда, когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице, — в пять часов уже наступают настоящие сумерки. Но никогда не видал я света в ее комнате.

Какая у нее наружность — этого я не знаю как следует. Ее черные волосы завиваются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий и маленький с подвижными ноздрями; губы также бледные; и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской.

Еще одна подробность: она всегда одета в черное платье с высоким воротом; оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки, — должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их — совсем точно какое-то насекомое с

длинными лапками.

Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все-таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне, и я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось дня два, мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый час принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого.

Наконец я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Кларимонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это.

* * *

Четверг, 10 марта.

Вчера я долго сидел над книгами. Не могу сказать, что я усердно занимался, нет, я строил воздушные замки и мечтал о Кларимонде. Спал я очень неспокойно, но проспал до позднего утра.

Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Кларимонду. Я поздоровался с нею и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз.

Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она также сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянул за шнурок, почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Мне кажется, что мы просидели так целый час.

Потом она снова принялась за свою пряжу.

* * *

Суббота, 12 марта.

Как быстро несется время. Я ем и пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами. Но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь

сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Кларимонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами.

Вчера после обеда в шестом часу меня охватило какое-то беспокойство. Стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну — конечно, я не собирался вешаться, я просто только хотел взглянуть на Кларимонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я почувствовал смутный страх.

Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез.

Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожей Дюбонне. Последняя очень довольна мною, для нее уже совершенно достаточно того, что я прожил две недели в комнате номер 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков на то, что напал наконец на очень странный след; этот осел поверил мне. Во всяком случае я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дюбонне, — Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта, — но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится и которое я люблю, потому что вижу в нем Кларимонду.

Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло и на лампе зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес мне большой пакет табаку; такого хорошего я еще никогда не курил... и все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть две или три страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один

только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно! Как будто к моей голове привешен плакат: «вход воспрещается». Как будто в нее разрешен доступ одной только мысли: Кларимонда.

* * *

Воскресенье, 13 марта.

Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина, толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбонне не позволяет убрать паука: ведь пауки приносят счастье, а в ее доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого; он осторожно бегал вокруг сети — это был самец. Неуверенно он пополз по колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам: она не двигалась больше. Самец дернул сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула; однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям; несколько минут оба паука неподвижно висели среди большой паутины.

Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой; казалось, словно он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник; всеми силами самец старался спастись от преследования. Но поздно, его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. И это же самое место, которое только что служило

ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий. Однако, его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она вонзила в него свои острые клещи и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она наконец с презрением выбросила из паутины изуродованный до неузнаваемости комочек — ножки и кожу, переплетенные нитями паутины.

Так вот какова любовь у этих насекомых. Ну, что же, я очень рад, что я не молодой паук.

* * *

Понедельник, 14 марта.

Я перестал совершенно заглядывать в свои книги. Я целые дни провожу у окна. Когда темнеет, я продолжаю также сидеть у окна. Тогда я уже не вижу ее, но закрываю глаза, и ее образ стоит передо мной.

Гм, этот дневник совсем иной, чем я его представлял. Я рассказываю о госпоже Дюбонне, и о комиссаре, о пауках и о Кларимонде. Но ни одного слова о тех открытиях, которые я должен был сделать в этой комнате. Виноват ли я в этом?

* * *

Вторник, 15 марта.

Мы придумали странную игру, Кларимонда и я; и мы играем в эту игру целый день. Я киваю ей, и она сейчас же отвечает мне кивком. Потом я начинаю барабанить пальцами по стеклу; едва она это замечает, как сейчас начинает делать то же самое. Я делаю ей знак рукой, и она отвечает мне тем же; я шевелю губами, как бы говоря с нею, и она делает то же самое. Я откидываю свои волосы назад, и сейчас же она также подносит руку к своему лбу. Это выходит совсем по-детски, и оба мы смеемся над этим. Впрочем, — она, собственно, не смеется, а только улыбается тихо и нежно, и мне кажется, что я сам улыбаюсь совсем так же.

Однако все это вовсе уж не так глупо, как могло

бы казаться. Это не простое подражание друг другу — оно очень скоро надоело бы нам обоим — нет, тут играет роль сродство мыслей. Дело в том, что Кларимонда мгновенно подражает малейшему моему движению: едва она замечает то, что я делаю, как тотчас делает то же самое, — иногда мне даже кажется, что все ее движения одновременно совпадают с моими. вот это-то и приводит меня в восхищение; я всегда делаю что-нибудь новое, непредвиденное, и можно прямо поражаться, как быстро она все схватывает. Иногда у меня является желание застать ее врасплох. Я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю еще раз то же самое, и еще раз. В конце концов я в четвертый раз проделываю то же самое, но в другом порядке, или пропускаю какое-нибудь движение и делаю новое. Это напоминает детскую игру: «Птицы летят». И это прямо невероятно, что Кларимонда никогда ни разу не ошибется, хотя я проделываю все это так быстро, что, казалось бы, нет возможности разобраться в моих движениях.

Так я провожу целые дни. Но у меня ни на секунду не является такое чувство, будто я бесполезно провожу время; напротив, мне кажется, что я никогда не был занят более важным делом.

* * *

Среда, 16 марта.

Не странно ли, что мне никогда не приходит в голову перенести мои отношения с Кларимондой на более реальную почву, а не ограничиваться только этой игрой? Прошлую ночь я долго думал над этим. Ведь стоит мне только взять шляпу и пальто и спуститься со второго этажа. пройти пять шагов через улицу и потом снова подняться по лестнице во второй этаж. На дверях, конечно, висит дощечка, на которой написано: «Кларимонда». Кларимонда, — а дальше что? Не знаю, что именно; но имя Кларимонды написано на дощечке. Потом я стучу и...

Все это я представляю себе совершенно ясно, каждое малейшее движение, которое я сделаю, я представляю себе отчетливо. Но зато я не могу никак представить себе, что будет потом. Дверь откроется, это я еще могу представить себе. Но перед дверью я

останавлнваюсь и всматриваюсь в темноту, в которой я ничего, ничего ие могу различить. Оиа не появляется — я ннчего не вижу, да и вообще там ннчего иет. Я вижу только черный, иепроиицаемый мрак.

Иногда мие кажется, что только и существует та Кларимонда, которую я вижу там у окна и которая со мной играет. Я даже не могу себе представить, какой вид имела бы эта женщина в шляпе или в каком-нибудь другом платье, а ие в этом черном, с лиловыми пятиами; я ие могу себе представить ее даже без ее черных перчаток. Если бы я встретил ее на улице нли в каком-иибудь ресторане за едой или питьем нли просто болтающей, — иет, даже смешио подумать об этом, до такой степенн невозможной представляется мне эта картиив.

Иногда я спрашиваю себя, люблю лн я ее. На это я не могу дать ответа, потому что иикогда еще не любил. Но если то чувство, которое я нспытываю к Кларимоиде, действительио любовь, то это нечто совсем-совсем другое, чем то, что я видел у монх товарищей или о чем читал в романах.

Мие очень трудно дать отчет в моих ощущениях. Вообще мне очеиь трудно думать о чем-иибудь, ие имеющем прямого отиошения к Кларимоиде нли, вернее, к иашей игре. Ибо иельзя отрицать, что, в сущности, эта игра и только эта игра заннмает меия, а не что-нибудь другое. И это я во всяком случае понимаю.

Кларимоида... ну, да, меня, коиечио, влечет к ней. Но к этому примешивается другое чувство, как если бы я чего-нибудь боялся. Боялся? Нет, это не то, это скорее застенчивость, смутиый страх перед чем-то для меня неизвестиым. Но имеино этот-то страх и представляет собой иечто порабощающее, иечто сладостиое, не позволяющее мие приблизиться к ней и вместе с тем иеотразимо влекущее меия к ией. У меня такое чувство, будто я бегаю вокруг иее в широком кругу, время от времени приближаюсь к ией, потом опять отбегаю от нее, устремляюсь в другое место, снова приближаюсь и снова убегаю. Пока, накоиец, — я в этом твердо уверен — я все-таки не нриближусь к ней окончательно.

Кларнмоида сидит у окна н прядет. Оиа прядет длиниые, тонкие, необыкиовеино тоикне нити.

Из этих нитей она соткет ткань, не знаю, что из нее будет. Я не понимаю даже, как она соткет ткань из этих нежных, тонких нитей, не перепутав и не оборвав их. В ее ткани будут удивительные узоры, сказочные животные и невероятные рожи.

Впрочем, что я пишу? Ведь я все равно ничего не могу видеть, что она прядет; ее нити слишком тонки. И все-таки я чувствую, что работа ее именно такая, какою я себе представляю ее, когда я закрываю глаза. Именно такая, большая сеть со множеством фигур в ней, сказочных животных и со странными рожами...

* * *

Четверг, 17 марта.

Странное у меня состояние. Я почти не разговариваю больше ни с кем; даже с госпожой Дюбонне и с коридорными я едва только здороваюсь. Я едва даю себе время, чтобы поесть; мне только хочется сидеть у окна и играть с нею. Эта игра возбуждает меня, право, возбуждает.

И все время у меня такое чувство, будто завтра должно нечто случиться.

* * *

Пятница, 18 марта.

Да, да, сегодня должно что-то случиться. Я повторяю это себе — совсем громко, чтобы услышать свой голос, — я говорю себе, что только для этого я и нахожусь здесь. Но хуже всего то, что мне страшно. И этот страх, что со мной может случиться то же самое, что с моими предшественниками в этой комнате, смешивается со странным страхом перед Кларимондой. Я не могу больше отделить одного от другого.

Мне страшно, мне хочется кричать.

* * *

6 часов вечера.

Скорее два слова, потом шляпу и пальто.

Когда пробило пять часов, то силы мои иссякли. О, теперь я хорошо знаю, что есть что-то особенное в шестом часу предпоследнего дня недели — теперь я уже не смеюсь больше над той шуткой, которую

проделал с комиссаром. Я сидел в своем кресле и всеми силами старался не сходить с него. Но меня тянуло, я рвался к окну. Я хотел во что бы то ни стало играть с Кларимондой, — но тут примешивался страх перед окном. Я видел, как на нем висит швейцарец, большой, с толстой шеей и седоватой бородой. Я видел также стройного артиста и коренастого, сильного сержанта. Я видел всех троих, одного за другим, а потом всех троих за раз, на том же крюке, с раскрытыми ртами и высунутыми языками. А потом я увидал и себя самого среди них.

О, этот страх! Я чувствовал, что мною овладел ужас как перед перекладиной окна и отвратительным крюком, так и перед Кларимондой. Да простит она мне, но это так, в моем подлом страхе я все время примешивал ее образ к тем троим, которые висели, спустив ноги на пол.

Правда, ни на одно мгновение у меня не было желания повеситься; да я и не боялся, что сделаю это. Нет, — я просто боялся только самого окна и Кларимонды, боялся чего-то страшного, неизвестного, что должно было случиться. У меня было страстное, непреодолимое желание встать, и, вопреки всему, подойти к окну. И я уже хотел это сделать...

Тут зазвонил телефон. Я взял трубку и, не слушая того, что мне говорили, я сам крикнул: «Приходите! Сейчас же приходите!»

Казалось, словно этот резкий крик в одно мгновение окончательно прогнал все страшные тени. Я успокоился в одно мгновение. Я вытер со лба пот и выпил стакан воды; потом я стал обдумывать, что сказать комиссару, когда он придет. Наконец я подошел к окну, кивнул и улыбнулся.

И Кларимонда кивнула мне в ответ и улыбнулась.

Пять минут спустя комиссар был у меня. Я сказал ему, что наконец-то я напал на настоящий след, но сегодня он должен пощадить меня от расспросов, в самом непродолжительном времени я сам дам ему все разоблачения. Самое смешное было то, что когда я все это ему сочинял, то сам был твердо уверен в том, что говорю правду. Да и теперь, пожалуй, мне это так кажется... вопреки моей совести.

По всей вероятности, он заметил мое странное душевное состояние, в особенности, когда я затруд-

нился объяснить ему мой крик в телефоне и тщетно пытался выйти из этого затруднения. Он сказал мне только очень любезно, чтобы я с ним не стеснялся; он в моем полном распоряжении, в этом заключается его обязанность. Лучше он двенадцать раз придет напрасно, чем заставит себя ждать, когда в нем окажется нужда. Потом он пригласил меня выйти с ним вместе на этот вечер, чтобы рассеяться немного; нехорошо так долго быть в одиночестве. Я принял его приглашение — хотя мне это было очень неприятно: я так неохотно расстаюсь теперь со своей комнатой.

* * *

Суббота, 19 марта.

Мы были в «Gaite Rochechouart», потом в «Cigale» и в «Lune Rousse». Комиссар был прав: для меня было очень полезно выйти и подышать другим воздухом. Вначале у меня было очень неприятное чувство, как будто я был дезертиром, который бежал от своего знамени. Но потом это чувство прошло; мы много пили, смеялись и болтали.

Подойдя сегодня утром к окну, я увидел Кларимонду, и мне показалось, что в ее взоре я прочел укор. Но, может быть, это только мое воображение: откуда ей, собственно, знать, что я вчера вечером выходил из дому? Впрочем, это мне показалось только на одно мгновение, потом я снова увидел ее улыбку.

Мы играли весь день.

* * *

Воскресенье, 20 марта.

Только сегодня я опять могу писать. Вчера мы играли весь день.

* * *

Понедельник, 21 марта.

Мы весь день играли.

* * *

Вторник, 22 марта.

Да, сегодня мы делали то же самое. Ничего, ничего другого. — Иногда я спрашиваю себя — зачем я,

собствеино, это делаю? Или: к чему это поведет, чего я этим хочу добиться? Но на эти вопросы я никогда не даю себе ответа. Потому что ясио, что я ничего другого и не хочу, как только этого одиого. И то, что должно случиться, и есть имеино то, к чему я стремлюсь.

Эти дии мы разговаривали друг с другом, коиечио, ие произиося ии одиого слова вслух. Иногда мы шевелили губами, ио по большей части мы только смотрели друг иа друга. Но мы очень хорошо поиимали друг друга.

Я был прав: Кларимонда упрекиула меия в том, что я убежал в прошлую пятиицу. Тогда я попросил у иее прощеиия и сказал, что это было глупо и скверно с моей стороиы. Оиа простила меия, и я обещал ей ие уходить в следующую пятиицу. И мы поцеловались, мы долго прижимались губами к стеклу.

* * *

Среда, 23 марта.

Теперь я зиаю, что я люблю ее. Так это должио быть, я проиикнут ею весь, до последиего фибра. Пусть для других людей любовь представляет собой иечто иное. Но разве есть хоть одиа голова, одио ухо, одиа рука, которые были бы похожи иа тысячи подобиых им? Все отличаются друг от друга, так и любовь всегда различиа. Правда, я зиаю, что моя любовь совсем особеииая. Но разве от этого оиа меиее прекрасиа? Я почти совсем счастлив в своей любви.

Если бы только ие было этого страха! Иногда этот страх засыпает, и тогда я забываю его. Но это продолжается только иесколько мииут, потом страх сиова просыпается во мне желтой мышкой, которая борется с большой, прекрасиой змеей, тщетио пытаясь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя.

* * *

Четверг, 24 марта.

Я сделал открытие: ие я играю с Кларимоидой — это оиа играет со миой.

Вот как это вышло.

Вчера вечером я думал — как и всегда — о нашей игре. И записал пять новых серий различных движений, которыми я собирался удивить ее на следующий день, — каждое движение было под известным номером. Я упражнялся в них, чтобы потом скорее проделывать их, сперва в одном порядке, потом в обратном. Это было очень трудно, но это доставило мне величайшее удовольствие, это как бы приближало меня к Кларимонде даже в те минуты, когда я ее не вижу. Я упражнялся целыми целыми часами, наконец все пошло, как по маслу.

И вот сегодня утром я подошел к окну. Мы поздоровались друг с другом, и потом началась игра. Прямо невероятно, как быстро она понимала меня, как она подражала мне в то же мгновение.

В эту минуту кто-то постучал в мою дверь; это был коридорный, который принес мои сапоги. Взяв сапоги и возвращаясь потом к окну, я случайно посмотрел на листок, на котором записал серии моих движений. И тут я увидел, что только что, стоя перед окном, не сделал ни одного из тех движений, которые записал.

Я зашатался, ухватился за спинку кресла и опустился в него. Я этому не верил, я еще и еще раз просмотрел то, что было записано на листочке. Но это было так: я только что перед окном проделывал целый ряд движений, но ни одного из моих.

И снова у меня явилось такое чувство: широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою перед раскрытой дверью и смотрю — ничего, ничего, лишь густой мрак. Тогда мне стало ясно: если я сейчас выйду, то буду спасен; и я почувствовал, что теперь могу уйти. Но, несмотря на это, я не уходил, и это было потому, что я ясно чувствовал, что держу в своих руках тайну. Крепко, в обеих руках. — Париж — ты завоюешь Париж!

Одно мгновение Париж был сильнее Кларимонды.

Ах, теперь я совсем больше не думаю об этом. Теперь я чувствую только мою любовь и с ней вместе тихий, блаженный страх.

Но в то мгновение этот страх придал мне силы. Я еще раз прочел мою первую серию движений и старательно запомнил их. Потом я подошел к окну.

Я отдавал себе ясный отчет в том, что делал: я

не сделал ни одного движеиия из тех, которые хотел сделать.

Тогда я решнл потереть указательным пальцем нос, ио вместо этого поцеловал стекло. Я хотел побарабаннть по стеклу, но вместо этого провел рукой по волосам. Итак, мне стало ясно — не Кларимонда подражает тому, что я делаю, а скорее я подражаю ей. И я делал это так быстро, так молиеносно, что у меня получилось впечатление, будто от меня нсходила инициатива.

А я, который так гордился тем, что влияю на нее, сам подпадаю под ее влияние. Впрочем, это влияние такое нежное, такое ласкающее, что мне кажется, нет иа свете иичего более благодетельного.

Я произвел еще несколько опытов. Я засунул обе рукн в карманы и решил ие двигаться; я стоял н пристально смотрел на нее. Я видел, как она подняла свою руку, как оиа засмеялась н слегка погрознла мне указательиым пальцем. Я ие шевелнлся. Я чувствовал, как моя правая рука стремится высвободиться из кармана, но я вцепнлся пальцами в подкладку. Потом медленно, через несколько минут, пальцы разжались, и я вынул руку из кармана н поднял ее. И я улыбнулся и тоже погрозил ей пальцем. Мне казалось, что это делаю ие я, а кто-то другой, за кем я наблюдаю. Нет, нет, это было не так. Я, я, делаю это, а кто-то другой наблюдал за мной. И этот другой был тот сильный, который хотел сделать велнкое открытие, но это был ие я.

Я — но какое мне дело до каких-бы то нн было открытий? Я здесь для того, чтобы нсполнять волю Кларимонды, которую люблю в сладостном страхе.

* * *

Пятница, 25 марта.

Я перерезал телефонную проволоку. Я не хочу, чтобы меня каждую миииуту беспоконл этот глупый комнссар, да еще как раз в то время, когда наступает этот странный час.

Господи, зачем я все это пишу? Во всем этом нет ни слова правды. Мне кажется, будто кто-то водит монм пером.

Но я хочу, хочу, хочу запнсать то, что со мной

происходит. Это стоит мне громадного напряжения воли. Но я это сделаю. Еще только один раз то... что я хочу.

Я перерезал телефонную проволоку... ах!

Потому что я должен был это сделать. Вот! Наконец-то! Потому что я должен был, должен был.

Сегодня мы стояли у наших окон и играли. Со вчерашнего дня наша игра изменила свой характер. Она делает какое-нибудь движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока могу. Пока я наконец не уступаю и безвольно не подчиняюсь тому, чего она хочет. И я не могу выразить, какое блаженство сознавать себя побежденным, какое счастье отдаваться ее воле.

Мы играли.Потом вдруг она встала и ушла вглубь комнаты.Было так темно, что я не мог ее больше видеть,она как бы растаяла во мраке.Но потом она снова появилась у окна,держа в руках настольный телефон,совсем такой же, как и у меня.Она с улыбкой поставила его на подоконник, взяла нож, перерезала шнурок и снова отнесла телефон.

Я сопротивлялся добрых четверть часа.Страх мой был сильнее,чем раньше но тем сладостнее было чувствовать себя мало-помалу порабощенным.Наконец я взял свой аппарат, поставил его на окно, перерезал шнурок и снова отнес его на стол.

Так это случилось.

Я сижу за своим письменным столом, я напился чаю, коридорный только что вынес посуду.Я спросил его, который час, — мои часы идут неверно. Четверть шестого. Четверть шестого.

Я знаю, стоит мне только поднять голову, как Кларимонда что-нибудь сделает. Она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать.

И все-таки я поднял голову. Она стоит в окне и смеется. Теперь — если бы я только мог отвернуться от нее — теперь она подошла к занавеске. Она снимает шнурок,- шнурок красный, совсем как у моего окна. Она делает петлю. Она прикрепляет шнурок к крюку на перекладине.

Потом она, улыбаясь,садится.

Нет, то, что я чувствую, это уже не страх.Это холодный леденящий ужас, который я тем не менее не согласился бы променять ни на что на свете.Это

какое-то невероятиое порабощение, ио в то же время в этом непредотвратимом ужасе есть какое-то своеобразное наслаждение.

Я был способен подбежать к окиу и сейчас же сделать то, что оиа хочет,но я жду, во мне происходит борьба, я сопротивляюсь. Я чувствую,что с каждой минутой та сила становится все непреодолимее.

Ну, вот, теперь я опять сижу за столом.Я быстро подбежал к окну и исполнил то, чего оиа от меня ждала: взял шнурок, сделал петлю и повесил шнурок на крюк.

Теперь я уже больше не встану, теперь я буду смотреть только на бумагу. Я хорошо знаю, что она сделает, если я только на нее посмотрю в этот шестой час предпоследнего дня недели. Если я посмотрю на нее,то я должен буду исполнить то, что оиа хочет, тогда я должен буду...

Не буду смотреть на нее.

Вот я засмеялся громко. Нет, я не засмеялся, это во мне что-то засмеялось. И я зиаю иад чем: над моим «не хочу»...

Я не хочу и все таки я зиаю навериое, что должен это сделать...и потом остальное.

Я только жду, чтобы продлить эти муки,- да, это так, эти страдаиия, от которых захватывает дыхание, и которые в тоже время доставляют величайшее иаслаждеиие. Я пишу скоро-скоро, чтобы подольше сидеть за столом, чтобы продлить эти секуиды страдаиия, которые до бескоиечности увеличивают счастье моей любви...

Еще немиого, еще больше...

Опять этот страх, опять! Я знаю, что я посмотрю на иее, что я встаиу, что я повешусь: ио я боюсь не этого. О, иет, это прекрасио, это дивно.

Но есть нечто, иечто другое...что случится потом.Я не знаю, что это такое,но это случится иавериое, ибо счастье моих мук так невероятно велико.О, я чувствую, чувствую, что за этим последует нечто ужасиое.

Только бы ие думать...

Писать что-нибудь,что попало, все равно что. Только скорее, не раздумывая...

Мое имя Ришар Бракемон, Ришар Бракемон, Ришар...о, я не могу больше...Ришар Бракемон...Ришар Бракемон...теперь я должен посмотреть на нее...Ришар Бракемои...я должеи...иет еще...Ришар...Ришар Браке...

* * *

Комиссар IX участка, который не мог добиться ответа на свои звонки по телефону, вошел в гостиницу Стевенс в пять минут седьмого. В комнате N. 7 он нашел студента Ришара Бракемона, повесившимся на перекладине окна совершенно при той же обстановке,при какой повесились в этой комнате его трое предшественников.

Только на лице его было другое выражение: оно было искажено ужасом, глаза его были широко раскрыты и почти выходили из орбит. Губы его были раздвинуты,но зубы были крепко стиснуты.

И между ними был раздавлен большой черный паук со странными лиловыми крапинками.

На столе лежал дневник студента. Комиссар прочел его и сейчас же пошел в дом на противоположной стороне улицы. Там он констатировал, что весь второй этаж уже в течение нескольких месяцев стоит пустой без жильцов...

СИБИЛЛА МАДРУЦЦО

Жандарм шумно прнветствовал Франка Брауна; он сидел с хозяином гостиницы у стола, пока Тереза носила еду. Он, кажется, очень гордился своим новым шлемом н сказал, что в жнзни не хотел бы забыть ту ночку, когда с одннм парнем пропнл на пари старый. Он восхищенно глянул на Франка Брауна — да, вот это был парень!

Франк Браун не был в настроении ни петь, нн пить. Болтовня Дренкера тяготила его, поэтому он увел разговор в сторону:

— Старая попрошайка — ваша прнятельнница?

Пограннчнпк ответил:

— Конечно, приятельнница. Но она не такая уж старая: всего на пару лет старше меня н на добрый десяток лет моложе Раймонди!

Он повторил это трижды, чтобы хозяин мог его понять. Он кивнул утвердительно:

— Она только выглядит такой дряхлой.

Дренкер засмеялся:

— Сибилла выглядит на все восемьдесят, или на сто, или на сто двадцать. Впрочем, это одно и тоже. И все-таки это правда, что мы все трое были в нее влюблены!

Франк Браун обрадовался, что вино и шлем были забыты. Он быстро спросил:

— Трое? Кто же это был влюблен в старуху?

— Так не в старуху же, — в молодую Сибиллу! — поправил его Дренкер. — Мы трое были влюблены: Раймонди, Уффоло и я — три бравых императорских стрелка! Лучших поклонников не имела ни одна потаскушка в Валь ди Скодра — а, Раймонди? Но скверно все это кончилось, и бедная Сибилла до сих пор таскает свой крест. Ибо тогда, сударь, она была стройной, прямо как елочка, и не было лучшей девчонки в целом Тироле. Когда бедняга Уффоло так плачевно погиб, вот тогда у нее и сделался горб.

— Так расскажите же, — настойчиво попросил Франк Браун.

— Рассказать — да, это целая история! — воскликнул Дренкер. — Но не в сухую же! — Он слил последние капли из бутылки в свой стакан.

Франк Браун велел хозяину принести пару бутылок «Вино Сенто» из Тоблинских виноградников. Он водрузил их рядышком перед жандармом. Дренкер было предложил ему присоединиться, но тот отказался:

— Нет, сегодня я не хочу пить...

Дренкер покачал головой:

— Забавные вы люди, ученые господа! То вы пьете, как десять морских капитанов, а то вдруг — ни капли! В этом нет никакого смысла.

— Нету, — подтвердил Браун, — в общем-то действительно никакого смысла нет. Но сейчас пейте вы, Дренкер, и расскажите мне о трех поклонниках юной Сибиллы Мадруццо.

Жандарм высморкался и закурил свою трубку. Он поднес стакан к губам, выпил и одобрительно пощелкал языком.

Потом он начал. Он рассказывал громко, живо, короткими фразами. По ходу рассказа то и дело обращался к хозяину гостиницы:

— Так ведь было, Раймонди?

Тот молча кивал или ворчал сквозь зубы:

— Да.

Алоиз Дренкер начал так:

— Тому уже будет тридцать лет. Мы все трое служили в Боцене и были лучшими на свете друзьями. Уффоло — он тоже был из Валь ди Скодра; там, у

выхода на церковиую площадь, стоял домнк его родни. Теперь он давио развалился: бедный Уффоло лежит на кладбище, а его родичн все в Аргентине. Никого здесь не осталось из всего рода! Так вот, мы трое былн имперскнми егерями в Боцене; Уффоло н я были унтер-офицерами, а Раймонди стал уже фельдфебелем. Да, старый? Когда двое получали отпуск, они ездили домой, н несколько раз я бывал с нимн. Так как, знаете, у меня дома не было, покойная приемная мать нашла меня около уличной канавы и в страхе скорее убежала со мной оттуда. Так что я слонялся, дрался с чужнми людьми, и хорошо мне становилось только в своей компании. Имперские егеря — вот была моя семья — и отличная, верно, Раймондн? Черт побери, лучшей роты нигде в мире не найдешь! Так вот, пару раз ездил я с друзьями вниз, в Валь ди Скодра — да, разок с Раймонди и дважды с Уффоло. Ну, можете представить, как люди смотрели, когда мы появлялись. Вся деревня пялилась на нас. А мы трое — все трое — не спускали глаз с Сибиллы, и каждый делал все, чтобы ей понравиться.

Но ни один из нас не говорил ни слова, ни друг другу, ни девушке. Каждый соображал и строил свой план, но никто не выдавал себя. Мы писали ей все трое — порознь, н она нам писала, но, знаете ли, всегда троим вместе. Ну, как-то зимним вечером, когда мы сидели в кабачке у Госсенфассера, Уффало и говорит, что он хочет попросить отставку и больше не тушеваться. Я подумал — это он меня задирает и спросил его, не черт ли его подкалывает. Тут оно и вышло! Он говорит, что любит Сибиллу, хочет на ней жениться и завести свое хозяйство в Валь ди Скодра. Он уже писал своей матери — отец у него умер — и она согласна передать ему усадьбу. И в очередном отпуске он хочет поговорить с девушкой. Тут встрял Раймонди! Да ну, нечего тебе стыдиться, старый, ведь так это и было! Так как, знаете, он еще не был знаком с красоткой Марией, дочкой бригенского директора школы, которая потом стала его женой и матерью Терезы. Тогда у него в мыслях была только Сибилла и опять Сибилла! Разве не так, старый? И вот он перебил Уффоло и сказал, что ему не следует и думать о девушке. Он сам должен ее взять, и никто другой! Он же старший и к тому же фельдфебель — тут уж

и я не мог удержаться. Старше или моложе, фельдфебель или нет, это все безразлично, сказал я. Я тоже люблю Сибиллу и хочу ее иметь, и никакой черт меня о чужих делах не озаботит. Я орал, Раймонди рычал, Уффоло прямо выл, и, прежде чем опомнились, мы уже сгребли друг друга за волосы и молотили кулаками, так что это была потеха... Тут заглянул один лейтенант и прервал потасовку; так мы получили все трое одинаковый срок на гауптвахте, чтобы поразмыслить о своей любви и глупости. Когда мы вышли, наш пыл сильно убавился, и мы увидели, что и впрямь глупо вздорить из-за девушки, которая может достаться только одному из нас. И мы решили предоставить выбор самой Сибилле и для этого в следующее сентябрьское увольнение поехали втроем в Валь ди Скодра. Между делом договорились, что никто не станет писать ей отдельно; так мы ей и писали вместе и посылали ей к Рождеству и к Пасхе совместные подарки. Да, это были, конечно, мелочи — шелковый головной платок или серебряная цепочка, серьги — но Сибилла хранит их до сих пор, и письма тоже. Итак, настала весна и лето, и все мы чувствовали себя неуютно. Ни один не доверял другим, и через каждые пару дней мы клялись друг другу, что не пишем тайком отдельных писем. Наконец, пришло время маневров и затем день, когда мы получили отпуска. Нелегко было добиться, чтобы нам пойти вместе, так как Раймонди и я были в одной роте, — но, наконец, и это удалось. Эту поездку я до конца дней не забуду! Никто не говорил лишнего слова, и каждый делал вид, будто он рад общаться с другими. Я думаю, это было как униформа, которая объединяла нас, а то бы мы опять передрались, как тогда вечером в кабачке.

Случилось так, что почтовая карета в долину временно не ходила, и мы не стали дожидаться, пока она пойдет. Мы промаршировали всю дорогу и пришли поздно ночью. Раймонди пошел к своим родителям, Уффало — домой, и я с ним. Но заснуть я не мог ни на миг, все время боялся, вдруг мой товарищ встанет и отправится к дому Мадруццо. А с ним было то же самое. Едва рассвело, мы вскочили, чтобы перехватить Раймонди. Только мы подошли к его дому, как он выскочил — наверное, с теми же мыслями... И тогда мы увидели, что еще слишком рано, чтобы

идти к Сибилле, тем более — было воскресенье. Мы зашли к Раймонди позавтракать. Потом Уффоло встал перед зеркалом — ведь мы при подъеме так спешили, что едва успели причесаться. Он брился и прихорашивался — и тут оказалось, что мы все-таки добрые друзья-товарищи. Раймонди притащил все, что у него было: ваксу для сапог, щетки, гребни, даже помаду для усов, и мы помогли друг другу начиститься как можно лучше. Имперский егерь должен быть бравым, верно, Раймонди? Так и время прошло быстрее, чем мы думали. Там вышли родители Раймонди, и мы должны были еще раз с ними выпить кофе. Наконец, мы собрались, срезали в садике несколько роз на шапки и пошагали к дому Мадруццо. Но еще не подошли, как Уффало кричит:

— Вон она идет!

И верно, она стояла перед нами в оливковом саду и смеялась. Она была в воскресном платьице, и такая была чистенькая да хорошенькая, что сердце радовалось. Но при этом оно так билось, и я так трусил, что едва отважился шагнуть вперед. Но и с двумя моими товарищами было не иначе, и они остолбенели, как я. Раймонди шепчет:

— Ребята, я старший!

— Да, — говорю, — конечно, ты, но...

А он:

— Смирно, и слушай, что я говорю! Мы же решили: тот ее получит, кого она захочет. Но двое других не должны стать врагами, а должны остаться хорошими друзьями, как всегда.

«А ты в своем деле уверен, что ли?» — думаю. А сам был тоже уверен в своем, потому что поверил, будто она мне улыбнулась, а не другим... Поэтому говорю:

— Под козырек, — и салютую ей.

Уффоло — ни слова, и тоже руку под козырек.

— Хорошо, — это уже Раймонди говорит, — вперед, марш! Я сам ей скажу, ведь я старше и я фельдфебель.

Это мне совсем не нравилось, но что тут поделаешь, коли он широко зашагал к ней, а мы двое побежали за ним, чтобы не отстать. Мы поздоровались, и Раймонди хотел начать объяснение. Но ничего не вышло. Чернявая Сибилла захохотала, протягивая нам руки, и спросила, как у нас дела, и сказала, как здорово,

что мы все вместе пришли в отпуск. Она благодарила нас за письма и подарки и сказала, что каждому сплела по часовой цепочке из своих волос. Так мы беседовали, и собственно ничего и не сказали, только Сибилла смеялась и болтала, а мы стояли, словно деревенские дурачки и глазели на нее. Я сообразил, что это срам для имперских егерей и толкнул Раймонди, чтобы он говорил. Но он словно и не заметил. Тогда я шепнул Уффоло:

— Да говори же!

Уффоло заговорил — но что! Он, сбиваясь, рассказывал, как и где мы были на маневрах. Хотел я начать, но не получалось. Если бы других рядом не было, я легко бы смог, это я чувствовал. На этом я и строил свой план. Я сказал Сибилле, что нам надо минутку переговорить втроем. Она засмеялась и хотела сразу уйти в дом, но я попросил чуточку подождать; тогда она отошла за оливковые деревья. Тут я говорю им, что мы ослы, и я тоже, что мы три осла, вот мы кто; и так дело не пойдет. Я взял три травинки: кто вытянет самую длинную, тому и говорить с ней первым. Согласились. Потянул фельдфебель, потом Уффоло: ему досталась самая длинная. А мне досталась самая короткая... Ну, я не огорчился, ведь я был уверен, что оба молодца получат по корзинке*, а девушка будет ждать меня.

Уффоло подошел к Сибилле, а мы сели на траву, спиной друг к другу и ждали. Солдат, знаете ли, привык ждать; этому на посту поневоле выучишься. Но, хоть мы и были вдвоем, никогда ожидание не казалось мне столь долгим.

— Неужели они еще не готовы? — злился я.

Оба молчали, я видел, как Раймонди косится в их сторону. Вдруг он говорит:

— Ну хватит, больше я не могу. Уффоло давно уже мог бы покончить!

Мы повернулись, но те двое исчезли. Мы вскочили и пошли вглубь сада, оглядываясь направо и налево. Никого... Я позвал вполголоса, потом громче:

— Уффоло!

Нет ответа. Тогда загремел басом Раймонди, словно в строю перед тремя полковниками:

* Знак отказа, как тыква (гарбуз) на Украине. Прим. перев.

— Уффоло! Уффоло!

Теперь парень отозвался:

— Да, да, мы уже идем.

И они подбежали сразу. Уффоло улыбался всей своей смуглой рожей и протягивал нам обе руки.

— Простите, товарищи, мы вас и вправду совсем забыли!

Потом, как увидел наши надутые и злые лица, встал он по стойке «смирно», приложил руку к кепи и заявил:

— Господин фельдфебель, разрешите доложить: унтер-офицер Уффоло с невестой Сибиллой Мадруццо прибыл!

А девушка сделала серьезное личико и присела. Потом я как-то спросил Сибиллу, у кого из нас была самая глупая рожа, у меня или у Раймонди. Она, к сожалению, не обратила внимания, так что этого уже никогда не определить. Но в дураках были мы оба — клянусь вам!

Раймонди опомнился первым. Он полез в карман и вынул изящный, оправленный в серебро кошелек, протянул его Сибилле и поздравил обоих. Тогда я достал кольчатые серьги, которые купил для нее, и поднес как свадебный подарок. Уффоло хлопнул себя по голове и вскрикнул:

— Бог мой, а я-то совсем забыл отдать подарок!.

Потом он вытащил изящные маленькие часики. Все это мы несли тайком друг от друга, но только Уффоло это пригодилось... Бедный парень, знал бы он, каким коротким будет его счастье!

Потом мы их оставили одних, и я пошел домой к Раймонди. Мы были просто разбиты, а все-таки чувствовали облегчение, что, по крайности, кончилось наше невыносимое ожидание. Мы решили обращаться с ними по-братски, как истые товарищи, которые много лет хорошо дружили. Но давалось нам это не так легко, как бы мы хотели: всякий раз, как мы встречали Уффоло с Сибиллой, нас допекала зависть, и было заметно, сколь мало мы, в сущности, радовались. Мы уже думали, не лучше ли было бы вернуться в Боцен, не дожидаясь конца отпуска. Если бы мы так и сделали! Но Уффоло приставал к нам и мучил уговорами: мы должны остаться, хотя бы до следующего воскресенья. Это был храмовый праздник в соседнем селении

— в Чимего, знаете, семь часов пешком по горам в сторону границы. Теперь там жандармский кордон, и я там живу. Туда нас приглашал Уффоло; у него там жила родня, ему хотелось показать свою прелестную невесту — да заодно и своих войсковых друзей. Нам-то было мало радости, наши чувства были не для праздников. Но Уффоло не отставал, и Сибилла помогла ему своими просьбами, и мы дали себя уговорить. Итак, мы решили побывать в Чимего, чтобы там отпраздновать прощание, прежде чем вернемся в полк. Мы решили тронуться ночью, по пути отдохнуть в хижине углежога, чтобы ранним утром попасть в соседнее селенье.

Теперь я должен сказать, что Уффоло был охотник выпить. Не то чтобы был совсем пьяницей, но он плохо переносил вино и после пары стаканов уже становился очень веселым, а иногда и буйным. И теперь, в своей радости как жених, да еще в отпуске, среди старых знакомых и друзей, которые все приглашали пропустить по стаканчику, он каждый вечер был во хмелю, шумел и буянил на улице. Сибиллу это не могло не огорчать, потому что она с пеленок знала, что значит — пить. Именно ее отец, старый Карло Мадруццо, имел самую бездонную глотку в селении, и едва ли случался день, когда бы она не ощущала его тяжелый пьяный кулак. Так что не диво, если она не рада была видеть в руках жениха бутылку; она упрекала его, он обещал больше не притрагиваться к стакану — но к вечеру снова бывал пьяным. Поэтому Сибилла возненавидела вино, которое пил Уффоло, еще гораздо сильнее, нежели то, что лилось в отцовскую глотку. И когда мы в ночь под воскресенье — а она была темная, на небе ни звездочки — двинулись в горы, Сибилла ухитрилась пойти рядом со мной, тогда как Уффоло с Раймонди немного вырвались вперед. Фельдфебель и Сибилла несли фонари, а ее сокровище волокло тяжелую корзину, куда они упаковали связку свежей рыбы, наловленной вечером в озере, — они хотели доставить ее дядюшке в Чимего. Рюкзак, который укладывал Уффоло, понес я: там были хлеб, сало и колбаса, а к ним — пять бутылок доброго вина. Вот Сибилла теперь кое-что и задумала. Когда мы через полчаса подошли к роднику, она остановилась и попросила меня открыть ей рюкзак. Она еще минутку

подождала, когда двое других удалятся достаточно, потом вынула бутылки и открыла их. Она спросила, не хочу ли я немного выпить, и я сделал пару хороших глотков. Потом она вылила вино, одну бутылку за другой. Я хотел было ей помешать, а она засмеялась и сказала, что уж на одну-то эту ночь я мог бы воздержаться, ведь завтра в Чимего вина будет вволю. Она наполнила бутылки водой и тщательно закупорила их; мы оба радовались, воображая, какую рожу состроит Уффоло, когда обнаружит, что его вино вдруг превратилось в воду.

Мы зашагали поскорей и быстро догнали остальных. Мы мурлыкали свои солдатские песенки, а то нам пела прелестная Сибилла. Так проходили часы. Раза два Уффоло предлагал выпить по стакану вина, но я его не поддержал, сказал, — лучше подождать до привала в хижине углежога.

Мы добрались около девяти часов и могли удобно располагаться в хижине до трех утра. Там мы решили подкрепиться и немного прилечь; у нас были наши шинели, а для Сибиллы Раймонди нес теплый плед. Затем мы хотели за пару часов покрыть последний переход до долины Чимего. В дороге стало довольно прохладно, и Уффоло закутал свою невесту в шинель. Но настроение у нас было радостное, и так мы вышагивали, то друг за другом на гусиный манер, то под руку, когда тропа становилась пошире, и каждому казалось, будто прекрасная роза принадлежит не одному только Уффоло, а всем трем братьям из егерского полка.

Было, наверное, час, когда мы прошли сквозь ущелье Боазоль. Раймонди шел с фонарем впереди, за ним — я, потом Сибилла и замыкающим — Уффоло. Вдруг я услышал, как он выругался: он поскользнулся и упал на камень. Но сразу же вскочил. Я обернулся: фонарь Сибиллы освещал его достаточно ярко.

— Проклятая тварь! — крикнул он, и я увидел, что в руке он сжимает маленькую змейку. Он перехватил ее за хвост и разбил ей голову о скалу.

— Она тебя укусила? — испуганно спросила девушка.

Он усмехнулся и сказал, что ничего подобного не заметил. Мы все придвинулись к нему и увидели, что он немного поранил себе лицо и руки при падении.

Сибилла обтерла его своим платком. Потом он снова подхватил свою корзину, и мы двинулись дальше; на сей раз он шел с Раймонди, а я был последним.

Прошло еще едва ли пять минут, как Уффоло остановился, стуча зубами; его трясло от холода. Он попросил у Раймонди шинель, надел ее в рукава, а сверху еще накинул плед, предназначенный для Сибиллы. И все-таки он мерз. Я предложил ему шагать побыстрее, и он было так и сделал. Но чуть позже я увидел, как он хватается рукой за скальную стену, словно пьяный... Но он ничего не сказал, и я еще молчал, чтобы не испугать его невесту. Еще немного спустя его вновь забила дрожь; он качнулся вперед и свалился бы, не подхвати его Раймонди. Он опустил корзину и с трудом удерживался за скалу.

— Что с тобой? — вскрикнула Сибилла. Он затряс головой, пытаясь улыбнуться.

— Ничего, — сказал он. — Я не знаю...

Фельдфебель осветил его лицо фонарем. Потом он схватил его руку и внимательно осмотрел с обеих сторон.

— Ах ты, осел! — рявкнул он, — конечно же она тебя ужалила!

Приблизившись, я увидел прямо у пульса совсем маленькую ранку; из нее сползала капелька крови, чуть побольше булавочной головки. Рука и запястье уже опухли и опухали все сильнее почти на глазах. Раймонди, окончивший курсы первой помощи, быстро выхватил из кармана платок; потом его взгляд упал на рюкзак. Он приказал мне отрезать шнур. Мы стянули руку выше ранки как можно крепче, так что шнур глубоко врезался в кожу. Между тем Уффало уже шатался, и нам пришлось положить его на камень.

Раймонди сказал:

— Так, это надо было сделать в первую очередь. Теперь нужно высосать рану.

Сибилла тотчас кинулась к жениху, но Раймонди оторвал ее, посветил ей на лицо и решительно оттолкнул: у ней был маленький прыщик на губе, так что она сама еще может отравиться, сказал он. Потом он подозвал меня, велел открыть рот и осмотрел его под фонарем:

— Тебе можно, — сказал он.

Я держал руку Уффоло и сосал изо всех сил. Я

сплевывал в сторону, и мне казалось, будто я пробую языком жгучий яд. Но это, конечно, было одно воображение. Я сосал, пока Раймонди не оторвал меня.

— Теперь ему надо выпить, — сказал он. — Чем больше, тем лучше. Все, что у нас есть. Тогда его сердце заработает живее.

Он полез в рюкзак и откупорил первую бутылку. Я услышал тихий вскрик Сибиллы, она впилась в мою руку. Она лепетала:

— О, Мадонна, Мадонна!

И я понял, что она молится Божьей Матери и просит ее сотворить чудо. Я и сам был так потрясен, что безмолвно молился с нею, и сейчас еще уверен, что в те минуты у меня действительно мелькала надежда, что вода вновь обратится в вино. Но, увы, сейчас уже не совершаются чудеса, как на свадьбе в Кане!

Уффоло прижал горлышко к губам и жадно глотнул — но тут же сплюнул:

— Вода! — простонал он.

Раймонди глотнул сам, мотнул головой и швырнул бутылку в ущелье. Он думал, это случайная ошибка, и открыл вторую бутылку. Сибилла тряслась и в смертельном страхе не смела открыть рот, да и меня так подавило мое соучастие, что не было сил издать хоть звук.

Так Уффоло снова глотал и сплевывал, Раймонди открывал — и бросал бутылки в пропасть. Наконец, я набрался духу и объяснил, что произошло. Но я сказал, что сам придумал эту скверную шутку, и ни слова — о Сибилле... и до сих пор рад, что сделал так... Раймонди крикнул — ты преступник; но Уффало слабо выговорил, что он уверен, я не замышлял ничего худого. Он протянул мне в знак прощения здоровую руку, и прибавил еще, что дело не так скверно, и он, наверное, скоро встанет. Я тоже заговорил и пытался его ободрить, но Раймонди перебил меня, крикнув, что болтать уже поздно. Он схватил свой нож, прогрел острое лезвие пламенем фонаря, а мне приказал сделать то же с моим ножом. Когда лезвие нагрелось докрасна, он разрезал им рану. Потом повторил разрез моим ножом. И снова я грел нож, а он резал и выжигал вокруг раны. Бедный Уффоло страдал ужасно, он силился побороть боль, как храб-

рый солдат; такая жалость — как мы его мучили — и все без толку. Сибилла на коленях припала к нему и держала его голову, а он стонал и скрипел зубами.

Наконец, фельдфебель кончил. Мы видели, что нам нельзя тащить пария дальше, лучше было — чтобы один из нас бежал в Чимего за помощью. Я не знал дороги, и пошел Раймонди: он надеялся найти у священника едкий кали, камфору и нашатырный спирт. Схватив свой фонарь, он быстро скрылся на спуске.

Место, где мы лежали, было довольно мрачное. Справа высилась отвесная стена — слева обрывалось ущелье, хоть и не отвесное, но очень неудобное в темноте. Тропа между ними была очень узкая. Я скатал одну шинель — под голову Уффоло, на другую мы его уложили. Сверху я накрыл его пледом и третьей шинелью. Несмотря на это, он все замерзал; приступы озноба сотрясали его один за другим. Через короткое время он начал задыхаться, он сопел, — казалось, его легким все труднее работать. Он ничего не говорил, только изредка тихо стонал. Сибилла стояла над ним на коленях; она молчала и, казалось, оцепенела. Только я болтал все время, говорил ему, что мучения уже кончились, что фельдфебель скоро придет с надежной помощью. Я не находил тогда ничего подходящего, а твердил это опять — думаю, сотню раз за эту ночь, покинутую Богом... Но все, что я говорил, не имело значения, он меня не слушал. Иногда удушье отступало, потом одолевало его снова; приступы дрожи тоже регулярно возвращались.

Так шли часы. Кончалась ночь, и с гор наползали туманы. Наступало утро, и холодный, сырой рассветный ветер несся по ущелью. Временами, когда Уффоло лежал тихо, нам казалось, что ему становится лучше, но вскоре возвращалась сильная дрожь; он снова и снова терял сознание. В плечевом суставе у него были сильнейшие колющие боли, вся рука страшно распухла, а вокруг раны стала сине-багровой. Около шести часов утра у него начались конвульсии, туловище высоко вскидывалось и тяжело падало. Мускулы дергались, пальцы здоровой руки судорожно сжимались, а ноги сводило вперед под острым углом. Мы с трудом удерживали его, и он вновь успокаивался; но вскоре возвращались удушье и озноб...

Было восемь часов; Раймонди давно должен был вернуться — по моей прикидке расстояния. Уффоло к этому времени немного затих и словно бы задремал; я подумал, что будет лучше, если я пойду искать фельдфебеля. Я встал и побежал по тропе, ведущей в Чимего, как мог быстрее. Через час мне встретился Раймонди, с ним шли священник и трое парней из Чимего.

— Он живой? — спросил меня фельдфебель.

Я кивнул и повернул назад. Раймонди выглядел как безумный, его красивая униформа была снизу доверху в грязи; лицо и руки облиты кровью и потом. Он упал на тропе, разбил фонарь и сбился впотьмах с дороги; только с рассветом он заметил, что вышел не в ту долину. Ему пришлось лезть опять вверх по склону, и только с помощью встречного мальчишки-пастушка он вышел на дорогу в Чимего. Там он сразу вытащил священника — прямо от обедни — и вместе с людьми побежал обратно. Пока он еще досказывал мне об этом, мы вдруг услышали дикий устрашающий крик. Мы узнали голос Сибиллы и помчались бегом — Раймонди впереди всех, за ним прыгал священник из Чимего, подбирая обеими руками черную сутану. Он был отличный человек: уже не надеясь успеть со своими лекарствами, он не хотел опоздать как служитель Бога, чтобы дать последнее напутствие умирающему...

Но и для этого было уже поздно. Едва выбравшись из ущелья, мы увидели мертвеца. Его лицо было жутко искажено, глаза почти выкатились из орбит. Правая рука намертво вцепилась в шинель, ноги высоко поджаты к животу. Перед ним Сибилла — стоя в рост, но скрюченная в поясе, согнулась вперед — так, как она и теперь стоит и ходит... Мы сперва не обратили на нее внимания, так как занимались только Уффоло, растирали его, лили ему вино в раскрытые губы, держали вату с эфиром у носа. Но скоро до нас дошло, что все уже поздно, и с ним кончено... Мы накрыли его шинелью и обратились к невесте.

Мы спрашивали ее, как он умер, но она не отвечала. Мы тормошили ее, мы увидели, что она понимает наши слова, и губы ее шевелятся, но голоса не было; она лишилась речи. Глаза у нее оставались сухими, ни слезинки — никогда больше за все годы — даже на его могиле — она не могла плакать.

Священник взял ее за руку и попытался распрямить; это ему не удалось, он попросил меня помочь; помогали все — но она осталась закостеневшей, как была — туловище выше пояса осталось склоненным вперед. Пытались выправить силой: это оказалось невозможным.

Что творилось там в последние два часа жизни Уффоло — я и сейчас не знаю. Позднее я часто расспрашивал Сибиллу об этом, но она заслоняла лицо ладонями и мотала головой — так что я наконец оставил ее. Должно быть, нечто страшное — только это и читалось на ее лице. И это выражение ужаса никогда не стиралось; лишь с годами, когда кожа ее стала морщинистой и бурой, эта маска постепенно исчезла. Сегодня она уже мало заметна.

Страшная судорога, которая сломала ее тело, так и не прошла, но речь понемногу вернулась.

Мы сделали носилки и понесли их с Уффоло в Чимего — там бедняга и похоронен. Вот вам история о прекрасной Сибилле и ее злосчастном женихе.

Жандарм вздохнул и выпил подряд три больших стакана вина, чтобы унять волнение. Франк Браун спросил:

— И ее не пытались вылечить?

— Как не пытались! — Дренкер улыбнулся. — Мы все делали, что только могли, Раймонди и я! Когда мы привезли Сибиллу в родное селение, ее старик напился, как обычно. Он орал и бранился, и в слепой ярости хотел ее избить. Тогда ее приютила мать Уффоло. Позже мы отвезли ее в город; но врач сказал, что тут ничем не может помочь, и лучше отвезти ее в Инсбрук; там она лежала в госпитале год и один день. Ее мучили всевозможными средствами и экспериментировали на ней. Но ничто не помогло, и послали ее, наконец, домой — скрюченную и закостеневшую, как раньше. Тем временем умер ее отец — утонул в озере, напившись в очередной раз мертвецки; ее наследство состояло из долгов. Она опять стала жить с матерью Уффоло, и до сих пор ютится в ее обветшалой хижине, хотя старуха давно уже умерла. Ей немного надо, а пару крейцеров она себе набирает на проезжей улице в почтовые дни. Она стала скрюченной, старой, безобразной нищенкой, но, покуда жив Алоиз Дренкер, он никогда не забудет о ней!

ВУДУ

Мой карманный атлас поучает меня: «Государственная релнгия Гантн — рнмско-католнческая. Все другие религин пользуются веротерпимостью». Под «другимн религиямн» подразумеваются: баптнсты, методнсты, уэслианцы, англнканцы и т.д. О культе «вуду» мой атлас вовсе ннчего не знает, также, впрочем, как н ряд европейских пособий по географии, которые я просматривал. И все же культ «вуду» — еслн не государственная, то уж воистнну подлннно народная релнгия на Гаити. На деле все другне религии не играют ни малейшей роли; действнтельным влиянием обладают только вольные каменщнки (масоны) — в высших кругах, н культ «вуду» — в народе. Гаитянскне ложн масонов, конечно, нмеют мало общего с другнми вольнымн каменщнками, онн представляют убогое, глуповатое подражание и, естественно, не прнзнаются настоящимн ложами.

Зато простой народ, несмотря на все хрнстианство, всю работу католических и евангелнческих мнссионеров, давно уже вернулся в лоно древнего африканского фетишизма. Исходит ли форма гантянского культа, увенчивающаяся поклоненнем змею (змее), откуда-либо из недр Афрнки, я не знаю, и все сведения о проис-

хождении этой религии, которыми мы располагаем,явно слишком гадательны и мало убедительны. Только в одном согласны между собой все путешественники, которые писали о Гаити — Моро Сен-Мери, Спенсер Сент-Джон, Самюэль Азар, Липпенхауэр, Лерье и другие: культ «вуду» всюду в стране находится на подъеме и что ежегодно приносятся человеческие жертвы. Так ли это теперь, когда, как пишет француз Лерье, «совершается минимум полторы тысячи жертв в год,» или, согласно гаитянскому писателю, мулату Липпенхауэру, который всячески защищает свою страну, «человеческие жертвоприношения вообще являются скорее исключением», — принципиальной разницы нет: сотня или тысяча — все равно много, в любом случае в этом, признанном великими державами «культурном христианском государстве» из года в год убивают и поедают множество детей!

Для иностранцев поистине трудно получить представление о культе «вуду», который гаитяне окружают глубокой тайной. Образованный гаитянин прежде всего старается вообще отвести внимание иностранца от этого факта, и лишь только если он видит, что о об этом явлении уже кое-что известно, он признает его наличие, но ищет возможность все смягчить. Поэтому всему, о чем рассказывают путешественники, они обязаны либо случайности, либо открытым процессам, вроде большого процесса 1864 года в Порт-о-Пренсе при Жеффраре, одном из немногих президентов в Гаити,которые были не приверженцами, а противниками этого каннибальского фетишизма. Тогда были разоблачены и расстреляны восемь человек, мужчин и женщин, именно за человеческие жертвы и каннибализм (речь шла о девочке 12-ти лет).

Своими личными впечатлениями я обязан итальянскому купцу, обосновавшемуся несколько лет назад на Гаити, который имел связь с верховной жрицей и — в этом весь юмор! — как истый неаполитанец, использовал эту связь, чтобы втридорога сбывать верующим (при посредничестве черной любовницы) удивительно крепкое и скверное пойло из томатного сока, которое он гнал по собственному рецепту. Где это касается моих собственных наблюдений, я использую рассказы натурализовавшихся на острове иностранцев и аборигенов, а также данные из литературы, если

только они полностью взаимио согласуются; противоречивые сведеиия я исключаю. Таким образом, полагаю, мое изображенне будет достаточно близким к нстине.

Приверженцы «вуду» почитают целый ряд божеств, из которых высшее — Хугои Бадагрн, змей. Ему соответствует его земное подобие — обычная змея, которой мало радости от ее божествениостн: ее сажают в ящнк, и там оиа сиднт, пока ие умрет с голоду. Наряду со змеей, велнчайшим почитанием пользуется Дамтала — громовой камень, ои лежит на блюде и щелчками обнаружнвает свон желання. Ои знает будущее; верховные жрецы переводят верующнм с языка щелчков; каждую пятннцу фетиш омывают в оливковом масле. Этот бог, естественно, встречается гораздо реже, чем змея, которую можно поймать каждый день. Мне удалось заполучнть такого «Дамтала»; это красиво отшлифованный камень, но уж, несомненно, не метеорит и ие «громовой камень», как воображают иегры, а просто камеиный топор караибского пернода. Гаитяне часто находят в лесах такие камин, ио не могут объяснить их пронсхожденне и считают их «упавшими с иеба» громовыми камиямн, которым подобает божеские почести. Поклонеиие другим богам, в общем, не столь общеприиято; одиих почнтают в одной, других — в другой местности. Из них мы знаем Локо — земляиичное дерево, которое растет у входа в храм: жертвы ему состоят в том, что вокруг иего разбнвают тарелкн, стаканы н бутылки; богов-близнецов Гаиго и Бадо, которые олицетворяют молнию и ветер, велнкого мирового духа Атташолло и Угата Рата Баалю, владыку хаоса. Далее есть Опетэ, божествеиный индюк, Симби Рита, хозяин ада, символом которого служит погруженный в кровь топорнк, и его младшие черти, н Алагра Вадра, бог, который знает все.

Храм называется «хонфу», ои всегда размещается вне города, часто в лесу, на небольшой поляне, на небольшой поляне, выровнеиной н утрамбованной, которая служит площадкой для ритуальных танцев. Его внешннй облик также мало стнлнзован, как и нитерьер: это хнжина из подручиых матерналов. В храме стонт на иебольшом возвышенин корзина со священиой змеей, стенкн украшаются образкамн католических святых, иллюстрациямн нз английских, французскнх, иемецкнх

журналов, парой гирлянд из раковин или тряпок от старых флагов и пестрой бумажной «лапшой».

Во главе общины «вуду» стоит главный жрец, который зовется Папалоа, и жрица — Мамалоа; это креольские трансформации французских «папа-руа» и «мама-руа» — «отец-король» и «мать-король», поистине гордые имена. Низшие жрецы в разных местностях различаются по названиям и функциям; известны «хуганы», знахари, которые продают в округе амулеты (ладанки с мелкими раковинами и камешками) — «пуанты», которые делают неуязвимыми, и «шансы», которые привораживают возлюбленного к женщине. Другие жрецы называются «джионами» или «анинбиндингами», и еще — «дугау»; они служат верховному дьяволу Симби Рита и его подручным — Азилиту и Дом Педре. Главное искусство этих господ в том, что они — по желанию верующих и за плату — убивают их врагов, для чего похищают их души; это значит — вывесить в храме изображение человека в рост и заклясть его. Это действие вовсе не так безобидно, как можно подумать, так как верующие после этого уже не затрудняются умертвить и настоящее тело, в котором «больше нет души», медленно действующим ядом. «Лаволу» называется храмовый служка (кистер); «хусибоссаль» — общее самоназвание вудунстов; «лангу» — те из них, кто прошел посвящение, очень нелегкое дело: адепт должен сорок дней просидеть в тошнотворно грязной яме с водой, пока она не высохнет; пища его в это время состоит из «вервера», отвратительной смеси из зерен маиса и крови.

Среди вудуистов есть различные секты, более строгой и менее строгой тайны; самая дикая, конечно, — сатанисты, поклонники Дом Педре. Из ритуальных предметов имеют значение только барабаны — выдолбленные куски древесного ствола, обтянутые бараньей кожей; они называются «хуи», «хуитор» и «хунторгри», и посвящены (!) апостолам: св.Петру, св.Павлу и св.Иоанну. Это изумительное смешение с католическим культом встречается повсюду: высшее божество, змей, считается также воплощением Иоанна Крестителя! Не только в храмах «вуду» вешают католические образа, но и рядом с литографиями германского императора, русского царя, Виктора-Эммануила и королевы Виктории; папалоа прямо предписывают верую-

щим посещение церкви; они не боятся конкуренции! С утра — римская месса, ночью — моления змею, убийство детей и людоедство: вот это истинно по-гаитянски!

Кроме трех упомянутых барабанов употребляется еще один — большой, покрытый кожей умершего папалоа. «Неклезином» называется железный треугольник, звон которого созывает верующих в храм.

Конечно, вудуизм знает и табу: запретными считаются мясо черепах, коз, томаты ; мясо же козлов и маисовые лепешки — священные кушанья. Впрочем, для одной семьи запретны продукты, разрешенные для другой, и наоборот. Близнецы — «мрасса» — почитаются всегда, будь то люди или животные, родящие обычно одного детеныша; при их рождении устраивают праздник со странными церемониями.

* * *

Треугольник звенит над улицами; только посвященным понятны эти отрывистые звуки. На закате спешат они в лес, пробегают дорогу к храму, обсаженному с обеих сторон кольями. На остриях кольев насажены черные и белые куры, между ними насыпаны яичные скорлупки, причудливой формы камни и корни деревьев. Верующие собираются в храме и вокруг него и готовятся к священнодействию, выпивая огромные количества тафии. Наконец, трещат большие барабаны, на которых восседают музыканты, праздник начинается, и все устремляются внутрь храма. Сначала в тесный круг вводят нового адепта, он уже прошел сорокадневное испытание в грязной купели. Он должен голым проскочить через костер, потом вынуть руками мясо из кипящего котла и на листьях предложить его присутствующим. Затем выходит папалоа. Если верующие одеты только в сандалии и несколько связанных красных платков, то главный жрец носит еще и голубой платок на голове; из-под него, как длинные змеи, свисают сплетенные пряди волос. Он подходит к корзине со змеей и клянется в повиновении: присутствующие повторяют клятву. «Худжа-Ниху», королева-жрица появляется6 одстая только в голубую повязку на голове; она подходит к корзине со змеей и действует наподобие пифии. Каждый просит божественную змею об испол-

нении желаний; за это отдают монеты, которые главный жрец собирает в шляпу. Жрица пророчествует: непонятные слова и обрывки предложений срываются с ее губ. Теперь папалоа втаскивает черного козла, поражает его ножом в шею, отрезает напрочь голову и показывает ее барабанщикам. Кровь собирают, смешивают с ромом и пьют. В несколько мгновений животное освежевано, разрублено и насажено на вертела для жарки. Тут выступает танцор; с минуту стоит он недвижно в центре, но все его мускулы уже дрожат. И пока верующие рвут и глотают полусырое мясо, он медленно начинает раскачиваться. Община смотрит, возбуждение растет; вдруг верховная жрица заводит жуткую песню:

«Лэй! Эй! Бомба хен, хен!
Ганга бафью тэ,
Ганга муне де лэ
Ганга до ки ла
Ганга ли!"

Все черные фигуры, мужские и женские, разом вскакивают, кружатся в танце,толкаясь, налетая друг на друга, прыгают как козлы, падают на колени, бьются головами о землю и, под дикий аккомпанемент барабанов, повторяют колдовские слова королевы. Но тут верховный жрец подимает длинный нож — и все умолкает. Настал великий момент: вводят жертву — Жертву, полуодурманенную каким-то ядом, втаскивают внутрь круга: иногда это взрослый, но чаще всего ребенок 10 - 12 лет. Его ставят посередине черного круга, связывают в знак посвящения узел из волос и «рожки» на голове. Жрица затягивает горло петлей, жрец отсекает голову. Труп рассекают, чтобы жарить, как прежде козла. Жажда крови становится неукротимой. «Дом Педре» начинает пляску дьявола; негры скачут, как толпа сумасшедших... Они срывают с себя тряпки, члены выворачиваются, пот струится по голым телам. Они кусают друг друга, а то и себя, наскакивают друг на друга, как звери, бросаются на пол и высоко подпрыгивают вновь, в то время как папалоа кропит всех кровью, а королева потрясает в воздухе священной змеей. Они уже не поют больше, среди их конвульсий и бреда звучит только фанатичный визг: «Аа-аа-боо, боо!»

И постепеино дьявольский танец переходит в безумную оргию, в которой уже ие различаются возрасты, даже люди и животиые, живые существа и мертвые предметы. Потом — иа часы — забытье; и сиова: пьянка, жратва, любовиые утехи, новые таицы!

И этот безумиый культ распростраиеи не только в иизах народа — к его участникам прииадлежат и высшие чиновники. Туссеи Лувертюр, «освободитель Гаити», и его преемиики, «император» Дессалии, «король» Кристоф, сами были «папалоа». Император Сулук (1848-1859) н презндент Саломон (1882-1888) ревиостно исповедовали вудуизм. Президеит Сальиав в 1868 г. лично приием в жертву «безрогого козла», т.е. человека, а после смерти предпоследиего президента Ипполита (1896) в иише его спальии иашли два скелета прииесеииых им жертв. Лишь два президеита — Жеффрар (1860-1867) и Буарои-Каналь (1876-1879) — осмелились выступить против культа «вуду»: при их правленин в Порт-о-Преисе состоялись процессы, как уже упомяиутый — в 1864, так и два других, в 1876 и 1878 годах; на одном из ннх некий папалоа, на двух других — жеищииы-жрнцы были изобличены в человеческих жертвоприношениях и каннибализме и приговорены к расстрелу. Однако, с тех пор ничего подобного не повторялось, напротнв, сегодия на Гаитн еще больше детей прииосят в жертву змею и отдают на съедение верующим!

И таких презндентов признают «законными» коронованные государи и избраиные президеиты всех народов, такое государство терпят в сообществе наций! Виднмо, надо быть днпломатом, чтобы поинмать такие вещи: не полностью вывихнутые мозги никогда ие могли бы с этим справиться!

ПОЧИТАТЕЛИ ЗМЕЙ И ЗАКЛИНАТЕЛИ ЗМЕЙ

Нет ни одной религии иа земле, в которой бы змея не играла той или иной роли. В иудейской религии — а вместе с ней в христианской и мусульманской — змея является воплощением злого начала, дьявола. В раю она подает со сладкими словами роковое яблоко, а спустя тысячи лет на выходце из Назарета исполнится пророчество: он будет поражать змею в голову, а она будет жалить его в пятку. В христианском искусстве змея стала одним из излюбленных объектов изображения, одних только картин на сюжет грехопадения можно насчитать многие тысячи. В буддизме кобра считается священной, так что она почитается вместе с Буддой. Чаще всего изображается сцена, на которой Просветленный сидит с перекрещенными ногами, в то время как большая очковая змея раздувает, поднявшись за ним, свою шею, защищая его — легенда имеет несколько разных версий — от солнца или дождя. Первоначально индусы почитали Нагов — богов в облике змей. На первых порах они были преследователями Будды, однако потом, обращенные им, они становятся его ревностными приверженцами. Многие негритянские народности также воздают змее божественные почести, это же явление мы находим у канаков,

папуасов, меланезийцев и полинезийцев. Вуду — культ обращенных в христианство негров Гаити наследует в себе почитание змеи haudon badagri как воплощение Иоанна Крестителя. Ей — или ему — приносятся «жертвы безрогого козла», то есть совершаются жертвоприношения детей. Глубоко пронизана культом змей религия брахманизма, и это не удивительно, так как Индия является той страной, откуда берет начало как культ почитания змей, так и искусство заклинания змей.

Едва ли вы сможете ступить на землю Бомбея без того, чтобы тут же не встретить заклинателя змей. Он садится со своей утварью и своими коробками посреди уличной пыли перед отелем, и спокойно ждет под солнечным зноем, что появится из его утлых пожиток. Его фокусы всегда одни и те же, в конечном счете они точно такие же, как и те, что на ярмарках показывают удивленной публике наши фокусники. При этом и говорят индийские фокусники столь же много и так же быстро, как и наши отечественные искусники, с той только оговоркой, что их речь состоит главным образом из перечисления чисел от единицы до десяти. Впрочем, они могут проделать это на целой дюжине языков. Время от времени можно увидеть пару лучших кунстштюков, к числу которых можно отнести известный с незапамятных времен фокус Моисея: превращение посоха в змею и наоборот. Или же фокусник достает из собственной руки талер, этот талер превращается в жабу. Или же повторяется древнее волшебство египетских жрецов, которые пытались превзойти Моисея тем, что они вызывали огромные полчища клопов, блох или вшей. Этот фокус едва ли под силу нашим европейским салонным чародеям: ведь для этого им придется решиться стать прибежищем для этих насекомых, как это делают их индийские или египетские собратья. Попутно с этим танцуют обезьяники или крысы, или же прорицает какой-нибудь белый попугай. Главный номер — это всегда блестящий трюк с деревцом манго. Фокусник наскребает ладонями немного земли, втыкает в нее зернышко манго и основательно поливает кучку водой. Затем все это накрывается платком (как хорош был бы этот фокус без досадного платка!), фокусник считает на семнадцати языках семнадцать раз до семнадцати и усиленно ма-

нипулирует руками над платком. Наконец, он стягивает платок — и вот в кучке грязи стоит прелестное маленькое манговое деревцо. Другой фокусник проглатывает красный, зеленый и белый порошок, держит его некоторое время во рту, и выплевывает затем совершенно сухим. Весьма популярно так же вынимание глаза, поджаривание на огне руки, втыкание в живот кинжала, подымание тяжелых камней посредством шнура, который закреплен в продырявленном языке — чудная сцена — а также бешеная скачка между острыми кинжалами и шпагами. Короче говоря все те фокусы, которые и в наших варьете имеют обыкновение показывать «спящие факиры», такие, например, как фокус с исчезающей девушкой, которая залезает в небольшую корзину, которую фокусник закрывает. Он берет шпагу и от души протыкает корзину со всех сторон — понятное дело, в конце концов девушка вылезает с довольной миной совершенно невредимая.

Очень редко представляется возможность увидеть знаменитый фокус абхирадана. Он состоит в том, что фокусник бросает в воздух канат и посылает мальчика карабкаться наверх по канату. В том месте, где, как это кажется, исчезает в воздухе канат, исчезает и мальчик. Тогда фокусник достает длинный нож, берет его в рот и сам лезет наверх. Он тоже исчезает вверху, там, где исчез мальчик, так что в воздухе одно время болтается свободно парящий конец каната. Вдруг в воздухе раздается жалобный крик мальчика и в то же время яростные крики старого фокусника — но по-прежнему ничего не видно. Затем вниз падает окровавленная нога, за ней — рука, затем искаженная и изувеченная голова мальчика. Потом падает еще одна нога, рука, и наконец, грузно падает и само тело. Весьма довольный своим делом слезает по канату бородатый фокусник. Сначала он тщательно вытирает окровавленный нож, затем собирает члены человеческого тела и бросает их как попало в большую корзину. Затем он берет огромную каменную ступку и перемалывает содержимое корзины в сплошное густое пюре. Наконец, он накрывает корзину крышкой и сияя от удовольствия передает корзину публике. Кто-нибудь из публики открывает крышку корзины, и из нее, улыбаясь, вылезает мальчик. Этот блестящий фокус

несколько чрезмерно действует европейцам на нервы, однако он в такой степени отвечает вкусам индусов, что они при демонстрации чувствуют себя прекрасно.

Однако у всех фокусников главным номером всегда остается танец змей или борьба со змеей. Каждый фокусник имеет при себе небольшую коробку, в которой он держит мангуста, в другой коробке он держит змей. Маленький мангуст выпускается из коробки — вслед за ним уж, длиной от одного до трех метров. Тут же проворное четвероногое набрасывается на многократно превосходящего его противника и в несколько минут загрызает его. Впрочем, гораздо интереснее сражение мангуста с ядовитой очковой змеей, в этом случае маленький зверек ведет себя весьма осмотрительно, и как раз тут-то его поразительная сноровка проявляется в полном блеске. И в этом сражении он почти всегда выходит победителем.

Для того, чтобы заставить своих кобр танцевать, заклинатели используют маленький барабан, флейту или флейту-барабан. Они слегка приоткрывают корзину со змеями и начинают играть. В несколько секунд выползают очковые змеи, поднимаются вверх и начинают танец. Обычно у этих танцующих змей удаляют ядовитые зубы, но часто заклинатели отказываются от этой меры предосторожности, полагаясь на то, что они в состоянии излечить любой укус своими снадобьями. К сожалению здесь они основательно заблуждаются, так как время от времени тот или иной из них платит за это убеждение собственной жизнью.

Достаточно странно, что индус спокойно созерцает борьбу между мангустом и змеей и при этом бурно радуется, когда гибкий и маленький «охотник-наф» прокусывает затылок много превосходящей его по размерам змее или же ядовитой кобре. И в то же время он никогда бы не осмелился нанести змее какой-либо вред, и прежде всего — кобре, которая в равной мере священна как для буддистов, так и для почитателей Брамы. Змея почитается во всей Южной и Средней Индии, а также на Цейлоне. Нет ничего удивительного в том, что время от времени можно застать уроженца Мадраса, или тамильца, или сингалезца стоящим перед змеиной норой (некоторые виды находят себе предпочтительное убежище в муравьиных кучах) и поклоняющимся ее обитателям. Совсем как в наших сказках,

он ставнт перед норой горшочек с молоком, а также немного воды и размягченного риса... хотя змея-божество с гораздо большнм аппетнтом проглотила бы мышь нлн лягушку. Обычно сцены такого рода представляют собой нзъявлеине сугубо ннтимиого богопочнтання, одиако в некоторых местностях можно наблюдать вполие публичные сцены почнтання змей.

Первоначально змея — н это твердо установлено для всех религнй — была воплощением злого иачала. Офиты учнлн, что Йалдабаот, сын Софнн, верховный бог материн, породнл землю — Самаэля. Поэтому змея оказывается воплощением как иачала зла, так н мудростн. Это вполне согласуется с духом Бнблнн: змея вноснт в мнр зло и в то же время она оказывается иоснтельннцей разума ("Будьте мудры как змен!"). Так вот, некоторые народы со временем перешлн от поклонення богу добра к поклонеиню богу зла н притом в известной мере неосознанно, в атавистнческом двнженнн упадка, как это нмело место, скажем, у гаитяи, у которых в образе змен почнтается Иоанн Креститель. Однако в другом отношеннн это движеине было вполие продуманным н осмысленным, как, скажем, у гностнческих сект кафаров, офнтов, паулициаи и иекоторых другнх. В числе прочих проделал этот путь н брахманизм и притом дважды. Более чем вероятно, что персо-арийцы н индо-арнйцы, то есть те касты Индин, которые заиимают господствующее положение н по сей день — брахманы — первоначальио были еднным народом с одним языком н одной релнгией. Оии разделнлнсь, н с этим разделеннем произошло полное преображение релнгни: те нз ннх, которые завоевалн Индию, почнталн в Асуре бога добра, в Деве — бога зла, другне же, те, что направились в Персию, остались прн прежией вере, по которой Дева счнтался богом, а Асур — дьяволом. Это было задолго до Вед и задолго до Зеид-Авесты, н притом это всего лишь гипотеза, которую с абсолютиой достовериостью никогда не удастся доказать. Однако история брахманизма дает одиу бьющую в глаза аналогию этому процессу. Когда буддизм получнл значительное развитие н добнлся впечатляющих успехов иа территории всей Инднн, нсповедуемый брахманамн культ снова отвратнлся от «творца», от Брамы, н броснлся в объятия разрушнтеля — Шнвы. И власть Шивы оказалась

более мощной, он стал победителем в гигантской борьбе и с корнем истребил буддизм.

Вместе с победой Шивы и его супруги, ужасной Дурги, вся совокупность культов сотен тысяч малых богов и всех священных животных постепенно снова пришла к жизни, так что, наконец, ожил и культ священного змея Нага. В Бенаресе, городе безумных, в котором священно все то, что лишено способности защищать самого себя: люди, покой, обезьяны, деревья, камни, кости, вода и многое другое, змея тоже играет заметную роль. Возле Ханки-Гата растет большое дерево пиппаль, оно окружено большим количеством изображений змей. Перед ними постоянно сидят толпы молящихся и кающихся, среди которых можно увидеть немало йогов, пестрораскрашенных сыновей Шивы с дико горящими глазами и свалявшимися волосами. И они предают казни собственные тела — в честь священных божественных змей и к вящей славе Шивы-разрушителя.

РАСПЯТЫЙ ТАНГЕЙЗЕР

Сон, навеянный песней.

Он медленно натянул на себя сюртук Пьеро. Затем черные с широким вырезом лаковые туфли и длинные чулки из черного шелка, на которые спадали белые брюки. Затем надел большой воротник на плечи и длинную широкую накидку. И все это из матового белого шелка с черными кисточками. И еще гладкую белую маску, плотно прилегающую поверх волос. И пудра, много пудры. И наконец остроконечная шляпа.

Он вышел из дому. Уличные мальчишки острова Капри, приученные иностранцами ко столь многому, бежали вслед за ним и вопили:

— Паццо! Паццо! *

Он не обращал на них внимания. Он шел медленно, как во сне, по улицам, не оглядываясь назад. Озорники оставили его и вернулись обратно, когда он вошел в апельсиновый сад. Он прошел по нему за Цертозу, старый монастырь, отведенный ныне под казарму. Туда иностранцы не заходят никогда, разве что однажды

* Паяц (ит.)

там заблудился один немецкий художник. И все же это было самое прекрасное место место на прекрасном Капри. Однако сюда было не так-то просто попасть, к тому же старый мошенник — арендатор, старый Николо Вуото, запирал все двери и калитки в пришедшей в упадок стене, громко кричал, бранился и кидал камнями, когда кто-нибудь заходил на его участок.

Но сегодня он не кричал и не бросался камнями. Он был так изумлен белой фигурой, показавшейся там, на солнцепеке, что быстро сделал несколько шагов в сторону беседки. Там стоял он и удивлялся. Наконец ему пришло в голову, что это пожалуй никто иной как «сеньор», и он забрюзжал презрительно: «Паццо! Паццо!» и долго бросал ему вослед ядовитые взоры.

Напудренный Пьеро шагал дальше. Он перепрыгнул через пару стен, сполз с нескольких крутых спусков, поднялся по крутым склонам, двигаясь, почти как кошка, эластичными и вялыми движениями. Через небольшую миртовую рощу и затем вдоль кактусов на скалах.

Наконец он остановился. Прямо перед собой он увидал двух больших, метровых змей. Но, казалось, эти обычно такие пугливые твари вовсе не замечают его присутствия, настолько они были заняты друг другом. Самка ускользала наверх, двигаясь через кусты и камни, самец преследовал ее. Вдруг самка остановилась, прямая как свеча, откинула назад голову и вытянула трепещущий язык навстречу своему преследователю.

Но тот обвился вокруг нее, изогнулся, скользнул вдоль нее вверх так, что ее тело задрожало и еще теснее, еще плотнее обвилось вокруг него.

Так голубовато-стальные тела блестели и светились на солнце. Как это было прекрасно! Пьеро глядел не отрываясь. Видел ли он маленькие короны на головах этих змей?

Маленькие золотые короны...

Он пошел еще медленнее, чем прежде.

Наконец, он очутился возле Марелетто, заброшенной башни сарацин, расположенной, там на откосе. Над ним нависали старые стены Цертозы, слева возвышалась Монте Куоро, справа — Монте Саларо; обе горы выбрасывали свои дальние отроги далеко в Ита-

лийское море.

Он взглянул вниз. Там простиралась piccola marina с ее рыбачьими хижинами, перед ней — остров сирен, окруженный белым прибоем голубых волн.

На другой стороне гордо вздымались Фараглиони, мощные каменные блоки, вырастающие прямо посреди моря.

Здесь было то место, которое он предназначил для свидания. Для своего последнего свидания с Солнцем.

Он сел перед обрывом и спустил ноги вниз. Одно мгновение он глядел в пропасть. Затем вынул из кармана толстую оплетенную фляжку. Темное ишемийское вино кроваво заполнило стакан.

Пьеро выпил. Он пила за солнце, он пил за него точно также, как незадолго до этого в grotta azzura, там, внизу, он пил за море. Он опорожнил стакан одним глотком, потом наполнил снова.

И снова он выпил за солнце.

Затем он бросил стакан и фляжку прочь на утесы. Он встал, отошел немного назад к стене, туда, где крутая скала образовывала тень. Там он улегся, подложив под голову шляпу. Он потянулся и тихо пропел:

Mimi Pinson est une blonde, Une blonde que l'on connait... **

Маленький красный паучок полз по его сюртуку. По белому шелку, а потом по кисточке. Удивительно маленький красный паучок, как он карабкался!

Пьеро насвистывал:

Красный крохотный паук,

Красный кро-хотный паук...

Затем он раскинул руки и поглядел вверх. Голубизна неба смеялась и пела, словно хотела освободить его от всего. Когда он приподымал голову, он мог видеть море, голубое с маленькими белыми облаками на гребешках волн — совсем как небо. Голубизна, сияющая, светящаяся голубизна — он всасывал ее глазами, осязал руками, дал ей проникнуть во все поры тела.

Он слушал музыку голубых красок. Его глаза закрылись, но он видел вполне отчетливо. Он чувствовал, как мягкое ласкающее дуновенье опустилось на его члены, словно легкая благотворная усталость, лаская,

** Мими Пансон — блондинка, Любимая картинка (фр.)

укрыла его в своих пушистых голубых волнах.

Ему показалось, будто голова его покоится на мягкой женской груди, он чувствовал дыхание этой груди, ее легкие подъемы и опускания.

Но он остерегался делать малейшее движение или хотя бы приоткрыть глаза. Он лежал так тихо, совершенно без движения, как будто спал. И тогда он вдохнул в себя аромат, словно слетевший с цветов персика, и почувствовал, как узкое бледное личико приблизилось к его ступням. Это была Лили. Она присела внизу и прижала свои бледные детские щеки к его лаковым туфлям. Эрмина же сидела, плотно прижавшись сбоку, красные вишни все еще были вплетены в ее русые волосы. Из испанской лютни извлекла она печальные, влачащиеся аккорды: «La paloma». *** А Лизель положила Пьеро свою ладонь на сердце — тонкую, ангельски узкую ладонь.

И Клара была тут, чернокудрая голова украшена крассом, ее взоры пылали, как будто он хотела его сжечь. Очень медленно она рисовала губами свою лучшую песню:

Однажды мимолетом приласкав,
Ты оттолкнул меня, лишь полюбила.
Я умерла, но, мертвою не став,
Я стала твоей болью и могилой.
Как тяжела любви стальная сеть,
Что я себе сковала ненароком!
Нам суждено в объятьях умереть,
Мой поцелуй твоим да будет роком!
Бьет сердце громко, но глаза сухи.
Прошла любовь, ты поднимаешь кубок,
Ты пьешь — и виноградная лоза
Печатью смертной связывает губы.
Но Пьеро улыбался.

Мери Вайн подошла к нему, та, что он называл Геллой. Легкий всполох прошел по ее рыжим волосам и губы ее болезненно искривились. Казалось, она не видит никого вокруг, кроме белого Пьеро.

— Как легко ты отказываешься! — сказала она.

И еще многие были здесь, да, многие. Лора и

*** Голубка (исп.)

Стения и черная Долли. И милая миниатюрная Анна, и неаполитанка, и золотокудрая Кейт. И... — многие другие.

Но эта стояла в стороне от других, совершенно одна, не трогаясь с места. Солнце бросало свой свет на ее мертвенно-бледное лицо. Она выглядела как жрица, в ее черные волосы были вплетены магнолии, и магнолии были в обеих ее руках. Это была она, та, на груди которой только что покоилась его голова. Теперь же она стояла в стороне, а его голова лежала на твердом камне.

— Мы — твой день и твоя жизнь! — льстили ему другие.

— Я — твоя смерть и твой сон! —говорила она.

— Я обовьюсь миртом вокруг твоих ног, — говорила Констанца, а Клара бросала на него порхающие лепестки мака. И ото всех от них распространялся вокруг странный аромат, аромат, воспламеняющий желание, аромат белых женских тел.

Миниатюрная белокурая Анна целовала его глаза, а Долли ласкала напудренные щеки. А Лизель пыталась своими тонкими пальчиками разгладить горькую морщину около его рта. Легким танцующим шагом, покачивая бедрами, подошла Стения, а испанка все пела и пела свою странную песню о белой голубке.

Наконец и та, другая, бледная жрица с магнолиями в волосах, подошла к нему.

— Я — твой сон и твоя смерть! — сказал она.

И тут отпрянули все остальные. И медленно, без единого слова, она вложила в каждую из его открытых ладоней по большой красной розе. Затем согнулась вперед, присела и поцеловала его прямо в рот.

Больше он ничего не видел.

Но красные розы горели в его руках, и жгли его ладони, и приковали их к камню скалы, словно раскаленные гвозди.

Красные раны, пылающие красные розы...

Его голова молитвенно склонилась ей на грудь... как знать, может быть, он чувствовал ее дыхание, легкие подъемы и опускания ее груди.

— Я — твоя смерть и твой сон! — сказала она...

ЛЮБОВЬ

Дорогая Лилн, помнишь лн ты, как однажды высмеяла меня? — Я проснл тебя позволнть поцеловать твон ногн? Ты ответнла тогда: — Ну тебя, Ганс, тебе вечио надо что-то особенное!

Ныне я и в самом деле пережил нечто особенное, и хочу рассказать тебе об этом.

Ты знаешь: летом я был в Висбадене. Там я познакомнлся с Паломитой — ты знаешь о ней по моим песням.

Она, дочь немецкнх роднтелей из Буэнос-Айреса, прнбыла в Германию навестить своих родиых. Ее двоюродный брат служит окружным судьей в Висбадене, там я ее и встретнл. Ей было восемнадцать лет, она была гнбкой н белокожей, такой же белокожей, как ты, Лили.

Однажды я принес супруге судьи цветы. Паломнта была дома, на ней было светлое свободного покроя домашнее платье, украшенное пестрыми цветами. Фрау Клара распорядилась принести шампанское, мы пилн его, заедая клубникой и куря сигареты. Фрау Клара болтала и смеялась, оиа сновала вокруг, оиа садилась на стул, глядела в окио — так живо и так деловито! Но Паломита не тронулась с места, не пронзнесла ни

слова. Вытянув ноги, она сидела в шезлонге, подливала кофе в тончайший стакан и спокойно взирала на меня голубыми глазами. Когда фрау Клара вышла на несколько минут, я подошел к Паломите, взял ее за руку и поцеловал. Она спокойно отдалась поцелую.

Я не знаю, когда нам обоим стало понятно, что мы любим друг друга. Я приходил к ним каждый день после полудня, в четыре часа. В это время окружной судья отправлялся на службу, а оттуда всегда заходил в кафе пропустить стаканчик. Мы оставались совершенно одни вплоть до восьми часов. Сначала мы пили чай втроем, потом фрау Клара выходила и оставляла нас одних.

И всякий раз на одной и той же фразе: — Извините меня, но мне нужно к портнихе! Или же: — Извините, дети, сегодня фотограф обещал дать пробные отпечатки и мне нужно забрать их... — Я не помню всего того, что ей нужно было забрать и принести — легкая улыбка, и она исчезала из дома.

Обычно мы стояли у окна и кивали ей на прощанье.

— Ведите себя прилично, детки, — кричала она нам, — мама быстро вернется.

Но она никогда не возвращалась ранее восьми.

Говорили мы очень мало, и Паломита, и я. Как истинная южанка, она была ленива и медлительна в каждом своем движении, но ее леность несла на себе печать божественного света, суверенности. Часто она приседала передо мной, упирала свои локти мне в колени, глядела на меня в упор, и тогда я гладил ее щеки или читал ей мои песни.

Или же она садилась за клавир и играла. Мягкая, насыщенная, трепещущая музыка. Я садился на корточки возле нее. Брал порой ее ножку, снимал туфлю и чулок и покрывал ее, милую, белую ножку, жаркими поцелуями. Она находила это вполне нормальным, не видела в этом ничего «особенного», не то что ты, Лили!

Мы оба любили друг друга, Паломита и я! И ее юная, ее восторженная первая любовь усыпляла меня, позволяла мне забыть все внешнее в этом прекрасном раю, тяжелые турецкие портьеры которого едва ли пропускали хоть один луч солнца.

Это было счастье, это счастье заключило меня, смеясь, в свои объятия. Я не писал тебе об этом, Лили? — Но разве я хоть раз писал тебе, когда был

счастлив?..

Но моему приятелю я рассказывал про все это. Ты знаешь его: это изящный маленький Чарльз. Кому-нибудь я должен был рассказывать про это! Я даже взял его однажды с собой и привел на Шлоссенштрассе. Мы выпили вчетвером. Фрау Клара, Чарльз и мы двое — за нашу любовь! И Паломита обняла меня за шею:

— О, мой Ганс, как я люблю тебя!

...Только два месяца, после этого она должна была возвратиться за океан. И поэтому она уговорила свою кузину, чтобы та избавила ее от всяких забав и забот, от партий в теннис, соревнований в беге, концертов и посещений театра. Она все время оставалась дома, одна...

Окружной судья удивлялся ее поведению и наконец пришел к выводу, что она, по всей видимости, страдает от несчастной любви.

Но любовь ее была счастливой.

18 июня я посетил ее в очередной раз. Фрау Клара уже ушла, и Паломита, как обычно, лежала на софе, вытянув ноги. Мы пожелали друг другу «доброго дня», поцеловались. Вдруг, когда моя рука скользнула по ее вискам, раздался слабый выдох и она, кажется, заснула. Я еще несколько раз провел рукой по ее лицу — действительно, она спала. Я не практиковал гипноз уже более двух лет, не практиковал после Мюнхена. Ты помнишь, Лили, там это было нашей ежедневной игрой!

Паломита спала. Я осторожно распустил ее волосы и погрузил лицо в эти мягкие локоны моей белокурой госпожи...

Тут раздался звонок. Вернулась фрау Клара. Сегодня она осталась с нами. И я гипнотизировал Паломиту все снова и снова — она была чудным медиумом. Она немедленно исполняла всякий приказ: декламировала, пела, играла — с ней можно было бы прекрасно выступать на сцене. Фрау Клара была в восторге...

На следующий день я пришел снова, и когда мы остались вдвоем — легкий нажим руки — «спи, милая!» — и она откинулась назад, заснула. Для меня это было неизвестным, неописуемо сладким чувством — держать ее спящую на руках.

Бездыханно, неподвижно лежала она. Я целовал ее локоны, ее глаза, губы, руки. И затем — о, я едва ли сознавал, что делаю! — я расстегнул ее платье и покрыл поцелуями ее белые груди.

И каждый день с тех пор я усыплял ее, если только мы оставались одни — каждый день.

Двадцать четвертого июня солнце так палило в небе, так палило. И в этот день моя кровь пульсировала и кипела как никогда. Я пришел к Паломите. Фрау Клара ушла, и она уснула на моих руках. Тогда произошло это. Я раздел ее, снял юбку и сорочку, я снял с нее все. Она не шевельнулась. И тогда я лишил ее невинности...

Она не сопротивлялась, ее глаза были закрыты. Только один слабый вскрик вышел из ее уст. Крик смертельно ранеиой лани, которую моя пуля настигла некогда на охоте в Красном бору.

С тех пор я редко видел Паломиту бодрствующей. Как только я приходил к ней, я усыплял ее. Двумя днями позднее я приказал ей:

— Ты слышишь меня, милая? Я хочу, чтобы сегодня ночью ты пустила меня к себе. Тебе нужно добиться, чтобы ключ от дома оказался в твоих руках до того, как ты уйдешь в свою спальню. Ты слышишь? — Сегодия иочью ты возьмешь ключ, привяжешь его на длиниый шнур и спустишь в окно. Двери оставишь незапертыми. Оставь также свет в своей спальне, чтобы я видел, что ты ждешь меня. Ты слышишь, что я тебе говорю? Ты — все — это — должна — сделать!

Паломита дрожала, ее влажное тело трепетало в моих руках.

— Ты меня слышала? — Ты сделаешь это?

Ее «да» казалось вынужденным.

Но я не придал этому значения. Около двенадцати часов я поспешил на Шлоссенштрассе. Я взгляиул вверх — ее окна были освещены. Я перелез через решетку, перепрыгнул через палисадник. Из окна ее спальии свешивался ключ. Я рваиул шнурок вниз, открыл дверь дома, поспешно поднялся на второй этаж. Дверь ее комиаты была иезаперта, она сидела полуодетая на кровати.

Ее взгляд был странен: испуган и недоверчив сразу. Казалось, оиа видит грезы с открытыми глазами.

И словно для того, чтобы удержать сновидение,

она закрыла глаза. Я быстро приблизился к ней, одно слово, одно дуновение уст: она спала.

Я же держал ее в моих руках, держал всю эту незабываемую ночь.

И следующую ночь, и ночь, следующую за следующей — тоже. И так одиннадцать баснословных, сказочных ночей...

Десятого августа она должна была уехать. Она должна была в Баден-Бадене встретить своих дядю и тетку, а затем вернуться вместе с ними. Оттуда — в Геную, а из Генуи — на родину на «Альстере». Она не хотела, чтобы я проводил ее до Баден-Бадена, где она должна была провести еще два дня. Поэтому я просил, умолял ее вернуться оттуда еще на один день, хотя бы на пару часов. Наконец, я внушил ей это во время гипноза. Она обещала мне.

О, как я боялся перед ее отъездом! Затем я остался один, один на один с самим собой, с моими ужасными мыслями!

Почти до семи утра я был у них. Затем я поспешил домой, принял ванну и переоделся. Она поехала около девяти часов, я провожал ее на вокзале с цветами.

— До скорого свидания завтра вечером! — кричала она.

Вот она уехала. Я попрощался с окружным судьей и его женой, слонялся по улицам.

И только тут началось это. Оно стесняло мне грудную клетку, сжимало мне горло. Обжигающими пальцами оно проникало мне в мозг, так что глаза мои пылали в глазницах. Оно пытало и мучило меня несказанно.

— Мой Бог! Мой Бог!

Я пытался успокоиться. Ну подумай только: ты — и совесть!

Но ничего не получалось.

Мне необходимо было найти кого-нибудь, кто смог бы защитить меня от самого себя. Я вскочил на первые попавшиеся дрожки и поехал к Чарльзу.

Приятель был дома, слава Богу! — он еще лежал в постели, я сел на ее край.

— Эх, милый, — окликнул он меня, — да ты выглядишь чертовски жалко! Что случилось?

— Я расскажу тебе все, мой друг, расскажу все! — Ты ведь знаешь, что я люблю ее?

— Кого именно?

— Дурачина! — Паломиту!

— Хм... да, похоже на то!

— И ты ведь знаешь, что она меня любит?

— Хм... да, вполне возможно!

И тогда я рассказал ему все, все, безо всякой утайки. Рассказал, как я гипнотизировал ее, как я соблазнил ее во сне, как проводил с ней ночь за ночью.

Закончив, я уставился на него. Я словно ожидал, что он вынесет мне какой-то окончательный приговор.

Он прокашлялся. Затем — медленно: — За это полагается — тюрьма!

— Тьфу, тюрьма — да мне плевать на это! Да ты забыл, милый, что все это сделал я, и что я — люблю ее! И потому за это мне полагается — безумие!

А затем я помчался из его комнаты домой! И пережил там пару часов, дорогая Лили, таких страшных, таких невыносимо страшных ... — знаешь, Лили, я понял тогда, как себя чувствует убийца, когда до него доходит, что он совершил!

Около двух часов пришел Чарльз. Я заметил его только тогда, когда он положил мне на плечи руки.

— Пойдем со мной, — сказал он, — надо развеяться.

Он форменным образом выволок меня из дому. После полудня он взял меня с собой за город, а вечер мы провели в кабаре и в пивной.

Об «этом» он не сказал ни слова.

Он привел меня к себе домой и не отходил от меня до тех пор, пока я не лег в постель. Тогда он дал мне сильное снотворное. Он вышел только тогда, когда я заснул.

Когда я проснулся, он сидел на моей постели.

— Наконец-то! — сказал он. — Я жду уже битый час, когда ты изволишь проснуться! Слушай, — продолжал он, — я обдумал всю эту историю. У тебя есть только один выход! Сегодня вечером она возвращается сюда, не так ли? Ступай к ней и расскажи все!

Сначала я содрогнулся от этой мысли. Но потом почувствовал, что он прав.

— Ты это сделаешь? — спросил он.

Я обещал ему.

Около шести часов я был уже на Шлоссенштрассе; она уже вернулась и встретила меня горячими, пламенными поцелуями. Я с трудом вырвался из ее объятий.

— Паломита, оставь меня, мне надо кое-что сказать тебе!

— Так говори!

Но я не мог. Я, как сумасшедший, бегал по комнате и ничего не мог сказать, ни единого слова. Мои руки дрожали, я рылся в карманах. На письменном столе лежало письмо, я взял его, разорвал на клочки и засунул в карман. Я хватал карандаши, ручки и ломал их на мелкие кусочки.

Паломита подошла ко мне:

— Мой юный друг!

Слезы брызнули из моих глаз, она собирала их поцелуями с моих щек, слезу за слезой. Но когда она попыталась поцеловать меня в губы, я оттолкнул ее.

— Оставь меня, ты не знаешь, кого ты целуешь! Оставь меня — я хочу сказать тебе об этом... сказать все!

И, с закушенными губами, глядя в пол, я рассказал ей, что я сделал.

Я закончил, но не смел поднять на нее глаз.

Наконец, я осмелился взглянуть на нее...

И тут я увидел на ее губах улыбку, такую странную, такую удивительную...о, улыбку коварную, улыбку кокотки...

Я не задержался в комнате ни одной секунды. Она кричала мне во след: — Ганс! Любимый! Ганс!, но я едва слышал ее.

Дома меня ожидал Чарльз.

— Ну, как?, — спросил он.

— Я сделал все, чего ты хотел, сказал ей все, все! Когда я закончил... она улыбалась!

— И ты...?

— Она улыбалась, говорю я тебе! И этой улыбкой она сказала мне, что все знала, что обманула меня, так подло обманула и оболгала, как никогда ни одна женщина не обманывала мужчину!

Я сжал кулаки в карманах... И только теперь вытащил из них обрывки письма. Это был ее почерк. Я сел за стол и стал тщательно складывать конверт и вложенный в него лист бумаги.

Это было письмо Паломиты, адресованное фрау Кларе, письмо, отправленное вчера вечером из Баден-Бадена.

— Ты должен прочесть, дружище.

Мы прочли вместе:

Милая Клара,

я должна сообщить тебе приятную новость. Наконец-то это произошло! Когда я сегодня утром поздоровалась с дядей и теткой, мне пришлось спешно бежать вверх по лестнице: я почувствовала сильные боли. В своей комнате я обнаружила, что полна крови. Опасения последних дней, слава Богу, оказались напрасными! — Надеюсь, что сегодня утром твой муж ничего не заметил; Ганс ушел только в семь часов, и при этом дверь на лестницу ужасно заскрипела!

Когда я уеду, Клара, не думай обо мне плохо. Ты так верно помогала мне, и ты же так часто бранила меня! В самом деле, я была бесконечно легкомысленна и променяла свою юность и девичество на короткое счастье нескольких недель! Но я любила его так безмерно, так невыразимо! — Не сердись на меня, милая Клара!

До завтрашнего вечера.

Твоя Паломита.

P.S. Если увидишь Ганса, поцелуй его милые глаза!

— Она очень любила тебя! — сказал мой друг.

Я не помню, что ответил ему...

...Будь здорова, Лили!

ЛИЗА В ЛЕСУ

Когда в одно воскресное утро маленькая Лиза сидела дома одна, ей вдруг ужасно захотелось выйти погулять.

— Синьора Элеонора Дузе! — сказала она своей большой кукле. — Прошу вас одеться, мы отправляемся на улицу наслаждаться чудесным утренним воздухом.

Маленькая Лиза называла свою куклу «синьорой Элеонорой Дузе», потому что ее мама как-то сказала дяде-писателю, что ни одна артистка в мире не нравится ей так, как синьора Элеонора. Раньше, правда, куклу звали Катриной, но Лиза находила, что с тех пор, как ее назвали «синьорой Элеонорой», она стала гораздо красивее. Когда она бывала довольна куклой, она целовала ее и называла «Дюзочкой», а когда сердилась — то звала просто «Синьорой». Это звучит очень презрительно, думала маленькая Лиза.

Она надела кукле самую большую шляпку, а сама осталась простоволосой, только тщательно повязала вокруг шеи платок — все-таки было воскресенье, и, хотя вряд ли ей кто-нибудь бы встретился по дороге, она хотела выглядеть поприличней. Потом Лиза спустилась в большой сад. Там она долго не задержалась — только разочек остановилась, чтобы сорвать цветок мать-и-мачехи.

— Дюзочка, — сказала она, — это я дарю тебе, ведь послезавтра у тебя день рождения.

Она приколола цветок к куклиной шляпке.

— А скажи-ка, Дюзочка, — задумчиво продолжила она, — у тебя и взаправду послезавтра день рождения?

Кукла не отвечала, и Лиза начала сердиться.

— Синьора! — заявила она, — Вот я спрошу у мамы, взаправду ли у вас послезавтра день рождения! И если взаправду окажется, что послезавтра не ваш день рождения , так я вам вообще ничего дарить не буду!

Лиза побежала по саду так, что ее светлые волосы заколыхались на ветру. Она пронеслась по грядке тюльпанов и мимо большого куста пионов. Она вообще терпеть не могла пионы, потому что они были толстые и противные. Их и сравнить-то ни с чем нельзя, думала Лиза, разве что с тетей Эмилией; та такая же толстая, и к тому же с красным лицом.

Но у магнолий она задержалась и понюхала воздух.

— Синьора Элеонора, — сказала она, — если у вас все-таки взаправду послезавтра день рождения, то я приглашаю вас на ванильное мороженое!

Она подумала: вот будет хорошо, если мама согласится отпраздновать день рождения куклы, потому что тогда можно будет съесть лишнюю порцию мороженого за синьору Элеонору.

Тыквенные грядки она обошла далеко стороной. Там работал садовник, а ей было совсем ни к чему, чтобы ее заметили, потому что сегодня ей хотелось выбежать из сада через калитку в дальней стене. Она еще немного задержалась у крыжовника, ягоды которого ей очень нравились, особенно когда они были еще твердыми и зелеными. Она съела несколько штук, а остальными набила карманы. Потом она побежала к задней стене сада. Там находилась калитка, почти скрытая низко нависавшими ветвями большой бузины, усыпанными белыми цветами. Лиза нажала на щеколду, но это не помогло: дверца была заперта на большой замок. Она принялась трясти замок, колотить по калитке руками, толкать ее обеими ногами, но глупая дверь даже не шелохнулась.

— Ах ты, противная старая дверь! — сердито вскричала Лиза. — Никогда я еще не видала такой ужасной старой двери!

Она внимательно посмотрела на стену. Нет, та была слишком высока, перелезть через нее было Лизе

не под силу... Ах, гнусный рыжебородый садовник, что это ему пришло в голову именно сегодня запереть калитку? Лиза сгоряча пожелала, чтобы все его тыквы сгнили на корню — так она разозлилась!

Потом она снова схватилась за задвижку, и начала дергать ее, что было сил. И, в конце концов, наколола руку гвоздем, да так, что по белой коже покатились алые капельки крови.

Это было больно, и маленькая Лиза испугалась. Она села на траву под бузиной и принялась горько плакать. Здоровой рукою она крепко прижимала к себе свою большую куклу и не переставала всхлипывать и хныкать так, что, пожалуй, могла бы разжалобить и камень.

В ветвях бузины у нее над головой уселся большой черный дрозд-пересмешник. Услышав Лизин плач, он стал громко свистеть. Это звучало так, будто он насмехался над несчастьем девочки. Лиза еще пуще рассердилась и крикнула ему:

— Замолчи, глупая птица, замолчи сейчас же!

Но птица не замолчала; ей, наверно, казалось, что когда она свистит, а Лиза кричит на нее, получается очень красивый дуэт.

Чтобы не слышать дрозда, Лиза зажала уши и заорала еще громче. Но скоро она устала кричать и молча сидела, прислонив головку к стволу бузины.

Когда птица наконец улетела, девочка тоже успокоилась, только слезы еще долго катились у нее по щекам. Но вот она закрыла глазки, и вокруг нее стало тихо-тихо...

***

Вдруг Лиза почувствовала, как что-то цепляется за подол ее платья. Она глянула вниз — а это ее большая кукла, синьора Элеонора Дузе, о которой она совсем позабыла!

— Лиза! — говорила кукла. — Лиза, что же ты спишь? Ведь мы собирались сегодня утром погулять?

— Ах, милая синьора Элеонора, — отвечала Лиза, — мы же не можем выйти из сада! Противный садовник с косматой рыжей бородой запер дверь в ограде на замок!

— Если дело только в этом, — засмеялась большая кукла, — то вот, попробуй, не подойдет ли этот ключ?

С этими словами она вынула из кармашка совсем крохотный золотой ключик и протянула Лизе. Та вско-

чила на иоги и вставила его в замок. Хотя замочная скважина была много больше ключика, механизм тут же сработал, и дверь открылась. Лиза запрыгала от радости.

— Дюзочка! Дюзочка! — кричала она. — Ты — самая золотая кукла, какую я только видела! И уж теперь — неважно, взаправду или нет у тебя послезавтра деиь рождения — я приглашаю тебя на мороженое. И обязательно постараюсь упросить маму, чтобы она дала нам по две порции!

Она схватила куклу иа руки, три раза поцеловала в губы, и быстро проскользнула в калитку.

— Нет, подожди, — сказала кукла. — У тебя такой зареваииый вид! Дай-ка твой платок да подиими меня повыше!

Лиза так и сделала, и кукла очень осторожно и тщательно вытерла девочке глаза.

— И нос! И нос! — в восторге крикиула Лиза.

— Нет, — с достоинством отказалась сииьора Элеиора, — это ты и сама можешь сделать! — Посадив куклу на траву, Лиза утерла иос, а потом снова потянулась взять ее на руки.

— Знаешь, Лиза, ие иадо меия все время иосить на руках, — проворио вскочив на иожки, заявила кукла. — Это очень скучно! Я пойду сама, а если устану — скажу тебе.

И, взявшись за руки, они побежали вглубь леса. Вскоре им повстречались две странные личности: высокий важный господии и пожилая женщииа. Старуха была снизу овальная, а сверху — тоикая и длинная. На ией было перепачкаииое сажей пальто. У мужчииы, тоже порядком закопченного, все туловище было тоикое и длиниое, а на искривлениой вперед шее сидела очеиь малеиькая головка.

— Здравствуйте, барышия Лиза! — сказал господин, — Как поживаете?

— Спасибо, хорошо, — отвечала Лиза. — Но кто вы такие?

— Разве ты нас не знаешь? — удивилась грязная старуха. — Я — Угольиая Лопатка с кухии, а это мой муж — Кочерга.

— Вот как? — удивилась Лиза. — И вы гуляете в воскресное утро в лесу? А кто же будет поддерживать огонь в печке? Бегите скорее домой, вас потеряла ку-

харка!

— Нас потеряла кухарка! Нас потеряла кухарка! — в страхе вскричали оба и наперегонки припустились бежать на кухию.

Лиза смотрела вслед и потешалась иад удивительными прыжками и кульбитами, которые оии выделывали. Потом оии с куклой пошли дальше. Но так как Лиза была вдвое выше и шагала вдвое шире, то очеиь скоро кукла попросила ее идти помедлениее, потому что для кукол ходьба вообще иепривычиа, и оиа уже начала уставать.

— А, может быть, нам лучше отдохнуть? — предложила Лиза. — Я помню, там, впереди есть скамейка.

Синьора согласилась. Но едва они подошли к старой камениой скамье, как их окликнул резкий голос: — Здесь занято!

Тут только Лиза заметила, что на одном краю скамьи сидел караидаш. На нем было чериое пальто, такое длииное, что из него выглядывали только малеиькая головка да ножки.

— Простите, господии Караидаш, — сказала Лиза, — но ведь на скамейке столько места! Разве иам нельзя на минуточку присесть? Моя кукла...

Тут она почувствовала, как ее дернули за палец.

— Лиза, — сказала кукла тихонько, — я думаю, ты напрасно всем рассказываешь, что я кукла!

— Моя подруга очеиь устала, — быстро поправилась Лиза.

— Гм! — буркнул Карандаш, — Тогда, по крайней мере, представьтесь. Вы кто?

— Я Лиза, — сказала девочка, — а это моя... — Тут ее снова дериули за палец, — ... моя подруга, синьора Элеоиора Дузе.

— Прошу садиться, уважаемые, — промолвил черный господин, вежливо кивиув головой. — Но, смею заметить, я не Караидаш, а Вечиое Перо (1) вашего дяди-писателя!

— Что за за потеха этот лес! — сказала Лиза удивлено, усаживая куклу на скамейку. — Скажите, господин Перо...

— Вечное Перо, — поправил господин в черном.

— О, извините — конечно, Вечное Перо! — продолжала Лиза, — Но скажите, пожалуйста, как же мой дядя будет писать стихи, если вы шляетесь здесь по лесу?

— Шляюсь? — вскричал Вечное Перо. — Шляюсь! Во-первых, я никогда не шляюсь, а прогуливаюсь, во-вторых, ваш дядя вообще ничего не пишет, а пишу я, и в третьих, вы просто две глупые девчонки, самые глупые из тех, что когда-либо появлялись в этом лесу!

Лиза была поражена тем, как внезапно и грозно рассвирепел господин Вечное Перо, а кукла так даже побледнела от гнева:

— Вы даже не знаете, кто перед вами! — закричала она. — Да будет вам известно, что я — знаменитая синьора Элеонора Дузе! Это обо мне Лизина мама сказала, что никто из артистов не нравится ей так, как я!

— Да, именно так она и сказала, — подтвердила Лиза.

— Ах, она именно так и сказала? — насмешливо откликнулся господин Вечное Перо. — Да разве это причина, чтобы оскорблять меня?

— Мы вовсе не хотели вас оскорбить! — сказала Лиза. — Но и вы не смеете говорить ничего плохого о моем дяде-писателе и особенно о моей маме, потому что она самая лучшая мама, какую я знаю!

Вечное Перо одернул на себе пальто и протянул Лизе руку.

— Барышня Лиза! — сказал он. — К вашей многоуважаемой маме я питаю самое глубокое почтение, потому что она печет замечательное сладкое печенье. Но что касается вашего дяди-писателя, у которого я работаю Вечным Пером, то должен вам заметить, что он ужасный дурак!

— Как? — воскликнула Лиза. — Но ведь он всегда приносит мне конфеты!

— А вы не обольщайтесь этим, барышня, — продолжал Вечное Перо. — Я-то его лучше знаю! Он дурак! Он ничего не может! Мне все приходится делать за него! Сейчас я как раз занимаюсь тем, что сочиняю за него летнюю песню. А потом он скажет, что сам ее написал. Вот такой дурак!

Вечное Перо так раскипятился, что изо рта у него потекли чернила.

— Я истекаю кровью! — закричал он. — Пожалуйста, перевяжите меня скорее!

Но Лиза не решилась дотронуться до него, опасаясь перепачкать себе все пальцы. Тогда Вечное Перо сам вытер чернила рукавом своего черного пальто.

— Не расскажете ли вы нам стихотворение, которое сейчас сочинили, господин Вечное Перо? — вежливо предложила Лиза.

— Мне очень приятно, что вы так интересуетесь поэзией! — сказал Перо. — Это прекрасное стихотворение, и я им очень горжусь. Вот, пожалуйста, послушайте:

Веселым теплым летом,
Под резким ветерком,

— Но ведь теплым летом бывает теплый ветерок! — сказала синьора Элеонора.

— Не перебивайте меня, глупая вы гусыня! — сердито заворчал Вечное Перо и начал снова:

Веселым теплым летом,
Под резким ветерком,
В траве гуляет ящер
С малюткой ящерком.

— Но ведь бывают только ящерицы, а ящеров не бывает, — возразила Лиза.

— Да? — вскричал господин Вечное Перо. — А если это ящерецын муж? А? Тогда его надо называть «ящер»! Так, на чем это я остановился?

Идет зеленый ящер,
Идет — хвостом шуршит,
А черненький медведик
В густой траве рычит,

— Это такая букашка, — догадалась Лиза. — Так ведь она называется «медведка» и вовсе не умеет рычать!

— Я прошу не перебивать меня! — закричал Вечное Перо. — Разве я виноват, что вы не знаете природоведения? «Медведик» — это муж «медведки», и раз его так зовут, то он обязан уметь громко рычать!

А черненький медведик
В густой траве рычит,
А божия коровка
Усами шевелит.

— Как же она ими шевелит, если их у нее и не видно? — спросила Лиза.

— А так и шевелит, что не видно. Все божьи коровки немного ненормальные, разве вы не знаете? Но слушайте же дальше:

Она ложится на бок,
Усам уснуть велит.

— Кому уснуть? — удивилась Лиза.

— Как кому? Усы ведь тоже устают шевелиться, усам тоже надо спать. Отчего мы вообще засыпаем, как не от усталости — это же так просто!

— Да, — согласилась Лиза, — это-то просто...

Между тем Вечное Перо продолжал:

А кто в кустах мелькает?
Зачем сюда летит?
А это хочет заяц
Яичко отложить!

— Извините меня, господин Вечное Перо, но так вообще нельзя! — сказала Лиза. — Зайцы не могут летать, яйца откладывают куры, а «заячьи яйца» (2) только мама печет на Пасху! И не летом, а после Троицы!

— Ах ты, мокроносая зазнайка! — крикнул Вечное Перо. — Зайцы не могут летать? А если на воздушном шаре, то почему бы ему им и не полетать? А мой заяц просто забыл посмотреть в календарь, вот он и несет яйца детям так поздно!

А это хочет за́яц
Яичко отложить!
Оно из шоколада,
В середке марципан.
Медведик и коровка
Скорей бегут туда.
Яичко скушал ящер
С малюткой-ящерком.
Все это было летом
Под резким ветерком!

— Ну? — спросил господин Вечное Перо, закончив. — Как вы находите мои стихи?

— Очень красиво, — сказала Лиза, — но только...
— Что «только»? — спросил он.
— Только — извините меня, господин писатель — очень смешно! Я никогда не видела ящериц, которые бы ели марципан!
— А я вообще нахожу стихотворение ужасно глупым! — воскликнула синьора Элеонора. — Дядя-писатель будет вами очень недоволен.
Тут уж господин Вечное Перо пришел в полную ярость. Он запрыгал и закричал:
— Что вы вообще в этом понимаете, глупая кукла? Да, вы, нелепая кукла, набитая ватой и тряпками, в которой нет ни крови, ни мяса!
— Ах! Ах! — выдохнула Синьора, взмахнула ручками и упала в обморок. Лиза подхватила ее и, в свою очередь, сама со злостью закричала на господина Перо:
— А вы-то что задаетесь? В вас тоже нет ни капельки крови!
— Глупая тварь! Глупая тварь! — визжал Вечное Перо. — Я тебе покажу, есть ли у меня кровь! Я заполнен ею доверху! Она у меня настоящая, темно-голубая!
С этими словами он схватился обеими руками за свою голову и резко рванул ее вверх. Из шеи брызнула сильная струя чернил и в один миг залила Лизу и ее куклу. Лиза вскочила, подняла куклу на руки и пустилась бежать изо всех сил. А противная авторучка насадила свою голову-колпачок обратно на шею, и, оглушительно хохоча, закричала им вслед:
— Теперь будете знать, как оскорблять господина Вечное Перо, когда он сочиняет стихи! Вот я еще скажу твоему дяде, чтобы он больше не носил тебе конфет!
Лиза быстро обернулась, показала ему нос и крикнула:
— Ты — старая погремушка-побрехушка!
И поскорее поспешила прочь.
Вскоре они подбежали к роднику, над которым висело объявление: «Здесь чистят кукол и маленьких девочек (особенно от чернильных пятен)».
— Ага! — подумала Лиза, — Это очень кстати! А где же чистильщица?
— Я здесь! — проворковал кто-то низким грудным голосом, и Лиза с испугом увидала сидящую неподалеку огромную старую жабу. — Десять пфеннигов (3)

с человека! — продолжала та. — Это вам станет недорого!

Лиза пошарила в своем кармашке, но денег не было. На серебряные монетки, что ей вчера дал папа, она уже накупила в автомате шоколадок.

— Милая Жабочка, — сказала она, — я забыла дома портмоне. Но если хотите, я дам вам крыжовника.

При этом она вытащила горсть ягод, которые набрала в саду.

Жаба попробовала крыжовник.

— Он еще зеленый и очень кислый, — сказала она.

— О! — воскликнула Лиза, пытаясь ее переубедить, — Вот он-то и есть самый вкусный! Кроме того, из него получаются лучшие в мире крыжовенные пастилки!

— Ну что ж, — сказала жаба, — давайте его сюда! А теперь ложитесь на траву, чтобы я могла вас хорошенько почистить!

Едва маленькая девочка улеглась, как старая толстая жаба начала облизывать ей платье. Она высовывала свой бородавчатый язык из пасти и слизывала чернильные пятна. Лизе было жутко, но она лежала тихо, потому что не хотела идти домой такой грязнулей.

Жаба очень старалась. Она громко сопела, совсем как тетя Эмилия.

— Это, по крайней мере, вкусно? — спросила Лиза.

— Даже очень, — заверила ее старая жаба. — Это — чернила марки «Гогенцоллерн» (4), они с трудом смываются. И если бы я не была лучшей на свете лизальщицей пятен, вам бы от них никогда не избавиться!

Когда платье Лизы было вылизано дочиста, жаба принялась за Синьору, которая все еще была в обмороке. Она уже почти закончила свою работу, когда заметила, что у куклы на правой щеке осталось еще одно чернильное пятно. Прежде чем Лиза успела ее остановить, жаба высунула свой бородавчатый язык и вылизала бедной синьоре Элеоноре все личико. Пятна исчезли, но во время этой процедуры кукла пришла в себя и так испугалась, что начала жалобно кричать и плакать. Старая жаба мигом отскочила от нее, а Лиза подняла ее на руки и стала успокаивать.

— Тише, Дюзочка, тише! — говорила Лиза. — Она тебе ничего не сделает. Она — чистильщица пятен и, вообще, очень добрая старая жаба!

Тут кукла посмотрела на жабу, и обе подружки от души поблагодарили ее.

— А вы не могли бы порекомендовать меня вашей маме? — спросила жаба.

— Ах! — сказала Лиза, — я бы с радостью, но моя мама вообще не выносит жаб!

Жаба вздохнула и сказала:

— Очень плохо, но все-таки передайте ей, что жабы бывают очень разные!

— Тут вы правы, дорогая госпожа Жаба, — ответила Лиза, вежливо присев перед жабой и погладив ее рукой. Синьора Элеонора подала жабе ручку и низко поклонилась. Потом они пошли дальше в лес, и Лиза решила сегодня же вечером сказать маме, что жабы и впрямь бывают очень разные.

— Ну, Элеонора, — помолчав, спросила Лиза, — ты уже пришла в себя? Эта авторучка, которая зовет себя господином Вечное Перо, вела себя слишком нагло!

— Спасибо! — сказала синьора Элеонора. — Мне теперь гораздо лучше! Я никогда не выносила этих писак — они такие неблагодарные!

На этих словах ее прервал странный звук, который с каждой секундой становился все ближе и ближе. Сперва как будто прозвучало громкое козье блеяние, но скоро Лиза отчетливо различила голоса.

— Нет! — блеял один голос. — Так не пойдет! Победителем будет тот, у кого на голове меньше шишек!

— А кто же будет считать шишки? — промекал другой голос.

— Каждый будет считать сам у себя! — крикнул первый. — Или у другого, это все равно!

— Нетушки! — возразил второй. — Так ты опять меня перехитришь! Нам нужен судья!

Тут Лиза увидела двух забавных парнишек, голых до пояса, в мохнатых меховых штанах. Присмотревшись, она заметила, что это были никакие не штаны, а самые настоящие козлиные ноги. Сзади у мальчиков болтались небольшие хвостики, совсем как у козликов. На лбу у каждого были маленькие рожки. Оба выглядели крайне невоспитанными, но довольно добро-

душными — прямо как на картинке, которую папа повесил над диваном в своем кабинете.

После неприятного приключения с наглой авторучкой Лиза решила быть очень вежливой; она сказала обоим драчунам «Добрый день!», назвала свое имя и представила Синьору.

— Фамос, — начал один из них по-латыни, что на этом языке значит «прекрасно», — что мы вас встретили! Меня зовут Ганс. Я фавн (5), а это мой брат Пауль, мы близнецы — сыновья папы Штука. Мы хотим немного побоксировать. Не хочет ли кто-нибудь из вас быть судьей!

— С удовольствием, — сказала Лиза. — Только объясните мне, что я должна делать?

— Все очень просто! — сказал фавн Пауль, у которого шерсть на ногах была порыжее, чем у брата. — Мы будем тридцать раз сшибаться рогами. Потом ты посчитаешь, у кого больше шишек!

— Боже мой! — вскричала Синьора. —Да я и видеть не хочу, как люди дерутся!

Однако Лиза решила, что ее кукла слишком чувствительна.

— Синьора, — сказала она холодно, — вы можете и отвернуться!

Оба маленьких фавна засмеялись, потом кинулись друг на друга, да так, что только треск по лесу пошел! Казалось, им было совсем больно, потому что вид у них был на редкость довольный. Лиза медленно считала удары и каждый раз, как они сходились, хлопала в ладоши. То падал Пауль, то Ганс катился в траву; но они вставали снова, наклоняли головы и опять, как обыкновенные дворовые козлики, наскакивали друг на друга.

— Тридцать! — крикнула Лиза, — Теперь хватит. Идите ко мне, я посчитаю вам шишки!

Она села на траву, а оба фавна улеглись у ее ног. Ганс положил ей голову на колени, и Лиза начала считать шишки. Ей пришлось искать очень долго, потому что волосы на голове у фавна были густые, длинные и порядком спутаные.

— Хи! — ворчал, усмехаясь, фавн. — Какая приятная щекотка!

— Лежи спокойно! — предупредила Лиза и дала ему щелчок. Наконец, счет был закончен, и на место

брата лег Пауль. В итоге у каждого оказалось ровно по тридцать шишек, так что бой окончился вничью. — Тут они захотели начать все сначала, потому что для них боксировать рогами — первейшее удовольствие, да к тому же когда считают шишки, бывает такая приятная щекотка; но Лиза объяснила, что на сегодня хватит, а в следующее воскресенье она опять охотно будет судьей. На это оба мальчика-козлика согласились, после чего пару раз поскребли землю копытами и, громко мекая, умчались в лес.

В поисках своей куклы Лиза огляделась вокруг. Той нигде не было. Девочка возмутилась: как это ее собственная кукла посмела убежать!

— Синьора! — крикнула она. — Синьора! Где вы прячетесь?

Ни звука...

— Синьора Элеонора Дузе! — и еще громче. — Элеонора Ду-у-узе!

Только эхо ответило: — У-у-зе!

— Дюзочка! Дюзочка! — заплакала Лиза. — Милая Дюзочка, где же ты?

И вдруг она услышала издалека слабенький голос: — Я здесь! Помоги! Помоги мне! Помоги мне!

Лиза сломя голову бросилась в кусты, туда, откуда пришел крик о помощи. Чем дальше она забиралась в чащобу, тем труднее становилось идти. Кусты шиповника цеплялись за платье, царапали ей руки и лицо. Скоро чаща стала такой густой, что Лиза уже не знала, сумеет ли она когда-нибудь из нее выбраться. И все-таки шаг за шагом она пробивалась вперед, и, наконец, вышла на просторную полянку, окруженную зарослями шиповника. Там росло множество, подвязанных к длинным хворостинкам, а посреди них сидел громадный еж, на острые иголки которого и взглянуть-то было страшно.

— Вы не видели мою куклу? — робко спросила ежа Лиза, с трудом переводя дух.

— Твою куклу? Да вон она! Последний огурец во втором ряду.

Только теперь Лиза заметила, что у всех огурцов были человеческие лица и что последний огурец во втором ряду и вправду очень похож на Синьору.

— Что ты сделал с моей куклой? — спросила Лиза.

— Я взял ее в жены, — спокойно ответил еж и начал набивать свою трубку. — Теперь она моя новая жена, огуречиха номер 18. Сначала я превратил ее в огурец, а потом уже взял в жены. Я и тебя сейчас превращу в огурец, после чего ты станешь моей женой, Огуречихой номер 19.

— Но я не хочу к тебе в жены! Я не хочу превращаться в Огуречиху номер 19! — крикнула Лиза.

— А почему бы и нет? — повернулся к ней еж. — Тебе будет очень хорошо. Я буду два раза в день поливать тебя. Ну, а когда ты созреешь, я тебя, конечно, срежу и пущу на салат. Вот, смотри, эта уже созрела!

Еж вскочил и обнюхал огуречиху, которая тут же громко заревела от страха. Затем он притащил бутылочку уксуса и бутылочку растительного масла, перец, соль, горчицу, расставил все это перед собой подле большой салатной миски. Наконец, он взял длинный нож и поточил его на камне.

— Теперь я сниму с нее зеленую кожу, — сказал еж Лизе, — и ты сама увидишь, какой из нее получится аппетитный салат!

Не обращая внимания на стоны и плач бедной огуречихи, он сорвал ее, рассек ножом и очистил от кожуры, потом порезал на кружочки, высыпал их в салатную миску, заправил уксусом, маслом, солью, перцем, горчицей и начал все это перемешивать ложкой и вилкой.

— Я ем огуречный салат каждый день, — сказал еж. — На свете нет ничего вкуснее! Хочешь попробовать? И ты будешь такой же вкусной в скором времени.

Но Лиза не стала пробовать. Ее охватил ужас, потому что теперь она воочию убедилась в том, какая это ужасная судьба — превратиться в огурец и быть съеденной противным ежом! Она начала тихонько плакать, и, как бы вторя ей, жены-огуречихи заревели в полный голос. Постепенно их беспорядочные вопли сложились в такую песню:

Ой-ей! Ой-е, огуречки!
Все мы были человечки!
Превратили нас в рассаду
И готовят нас к салату!

Не хотим салатом быть
И собой ежа кормить...

— Как тебе нравится эта песенка? — спросил еж у Лизы. — Я сам сочинил ее и теперь каждый вечер разучиваю с моими огуречными женами. Я считаю, что кушать гораздо приятнее, когда при этом для меня еще и поют. Так ты нисколечко не хочешь попробовать? Ну что ж, тогда я съем все один!

— Приятного аппетита, — прошептала Лиза — просто по привычке, потому что она была воспитанной девочкой.

— Спасибо! Все бы мне так. Хм! — смаковал еж закуску. — Какой нежный вкус у моей женушки!

Потом он ел и ел и ел — до тех пор, пока в миске не осталось ни единого кружочка. А когда кончил, то собрал всю свою посуду и сказал Лизе:

— Ну как, нравится тебе в ежовом царстве? Скоро я тебя тоже буду превращать. Я колдую очень просто: буду злить тебя, пока не позеленеешь, а потом посажу на грядке и начну хорошенько поливать, чтобы ты пустила крепкие корни. Надеюсь, через пару недель из тебя выйдет отменный салат. Уж тогда-то я тебе и порадуюсь! Но сперва мне надо поспать после обеда.

Тут еж завалился на бок и сразу же крепко уснул.

Лиза озиралась вокруг, соображая, как бы ей поскорее убежать сквозь колючие заросли прочь из владений старого ежа. Но нигде не было видно ни малейшего прохода. И вдруг она услышала, как огуречиха под номером 18, та, что раньше была синьорой Элеонорой Дузе, тихо заговорила:

— Лиза! Иди скорее сюда!

Лиза подбежала и наклонилась над огуречихой.

— Ты еще можешь освободить меня, — сказала та. — Только скорее выдерни меня из земли, пока я не пустила корни.

Лиза тянула и дергала изо всех сил. Наконец при очередном рывке стебель подался, и Лиза вместе с огурцом повалилась на землю.

— Тише! — сказала огуречиха. — Только бы еж не проснулся! А то он заколдует нас обеих! Теперь ты должна меня хорошенько обдуть и огладить, чтобы моя огуречность слетела с меня!

Лиза так и сделала, и чем больше она дула и

гладила, тем больше огурец опять превращался в куклу. Наконец, Синьора полностью освободилась от своей огуречной природы — только на лице у нее осталось маленькое зеленое пятнышко, которое Лиза не успела сдуть.

Когда Лиза увидала, что обратное превращение так хорошо удалось, она хотела было освободить и других огуречных жен, но Синьора ее остановила.

— Оставь их, — сказала она. — Им уже не поможешь. Они давно сидят в земле и успели сильно переделаться в огурцы. А нам надо скорее бежать!

Лизе было очень жалко всех ежовых жен, но что поделать: они уже слишком обогуречились, и теперь им было суждено навеки оставаться огурцами и в конце концов угодить в огуречный салат. Это-то она хорошо усвоила...

— Бежим скорее, — умоляла кукла, — не то он скоро проснется, и тогда мы уж точно пропали!

Но это было легче сказать, чем сделать. Вокруг поляны теснилась чаща из колючих кустов, и Лиза не видела в ней ни единого просвета. Более того, она не понимала, как ей удалось раньше пробиться сюда, ибо колючая переплетенная масса ветвей уже успела сомкнуться в том месте, где она вышла из нее.

— Надо сделать мост, — предложила синьора Элеонора Дузе.

— Но как? У нас же нет досок!

— Давай возьмем лейки, из которых еж поливает жен-огуречих, — продолжала кукла. — Мы начнем поливать одну из них — глядишь, она и вырастет!

Лиза взяла большую лейку, а Синьора — маленькую. Они стали поливать огуречиху под номером 15, что росла ближе всех к шиповнику. Едва вода полилась из лейки, как растение начало тянуться вверх. Огурец поднимался все выше и выше, пока не стал, как дерево. Еще немного воды — и ствол его начал склоняться на другую сторону колючей изгороди.

Лиза карабкалась сама и помогала Синьоре. Той было очень трудно, ведь куклы не умеют лазать по деревьям, но в конце концов забралась и она. Когда они были наверху, Лиза заметила, что лейка все еще висит у нее на руке. Тогда она размахнулась и швырнула тяжелой посудиной прямо в колючую спину старому

ежу.

Еж вскочил и сначала ничего не мог понять. Потом он заметил обеих беглянок и страшно разозлился.

— Мой огуречный салат сбежал, мой прекрасный огуречный салат! — кричал он. — Но погодите, негодницы, вот изловлю я вас, и уж тогда не миновать вам грядки да салатной миски!

Он подхватил с земли свою салатную вилку и начал взбираться на огуречный стебель. Лазил он очень ловко, и Лиза с куклой едва успели спрыгнуть на землю по ту сторону колючей заросли, как он соскочил следом. Лиза с куклой со всех ног помчались прочь!

Одна Лиза легко бы убежала, но бедная Синьора не могла поспевать за ней на своих коротеньких ножках, и потому сопение и фырканье ежа слышалось все ближе и ближе за спиной. Он вовсю размахивал своей вилкой и кричал: — Побегайте мне! Побегайте! Вот я вас схвачу, а там — на салат, на салат!

Лиза схватила куклу на руки. Эта заминка стоила беглянкам того, что еж, который был уже совсем рядом, едва не проткнул Лизе ногу своей вилкой. Маленькая девочка уже распростилась было с жизнью, как вдруг перед ней показалась стена сада, и в ней — знакомая калитка. Она проскочила вовнутрь и захлопнула дверь прямо у ежа перед носом. Потом она быстро повернула маленький золотой ключик, и замок закрылся.

Когда они с куклой оказались в безопасности, девочка почувствовала такую необычайную усталось, что без звука повалилась на землю под бузиной. Снова прилетел большой черный дрозд, но на этот раз он не стал насвистывать свою издевательскую песенку и смеяться над маленькой девочкой. Он запел очень звучно, нежно, и Лиза услышала:

Лиза, Лизочка, усни!
Ясное утро, солнце июля
С ласковой тенью
Пошлют сновиденья,
Чтоб твои глазки быстро заснули.
Поцелует тебя ветерок.
Нет ни страха, ни печали,
Тихо ветви закачались,
Шелестит листвой дубок..
Лиза, Лизочка, усни!

Тут маленькая Лиза уснула, а на руках у нее уснула кукла, синьора Элеонора Дузе.

***

— Лиза! Лиза! — кричал кто-то над нею, и, делать нечего, девочка проснулась. Она взглянула вверх и увидела садовника с косматой рыжей бородой, того самого, которого терпеть не могла.

— Так вот где ты прячешься, бедовая девчонка! — сказал садовник. — Я весь сад обыскал, пока нашел тебя! Ну, беги скорей домой, твоя мама очень беспокоится, да и суп уж остыл на столе!

Тут Лиза вскочила на ноги и помчалась через сад домой, быстро-быстро — чтобы мама не боялась за нее, а суп не остыл еще больше.

Примечания:

1. Так называли лет 80-100 тому назад авторучку с чернильным баллончиком.

2. «Заячьи яйца» — вид пасхальных сладостей (южн. Германия, Австрия)

3. Пфенниг — одна сотая марки, вроде нашей копейки.

4. Фамилия немецких императоров конца прошлого и начала нашего столетия.

5. Фавн — лесной человек-козел в греческих и римских мифах и сказках.

ФЕЯ ДРОКОВОГО КУСТА

Семь роднников пробились посредн леса.

Принцесса Фанфрилла лежала среди желтых кустов дрока, между третьим и четвертым родниками. Она вязала кружевной фартук, который решила подарнть старой фее дрокового куста; эта фея, принцесса Иоганна Непомуцена Губертнна, была родной сестрой Фанфрнллниой прабабушкн, но в те времеиа, когда она была молодой девушкой, она не пожелала выйтн замуж ни за приица, ин за графа, ни за князя, нн за герцога. Все они показались ей невозможио глупыми, а потому она дала слово кривоногому волшебннку Какерлаку и вскоре обвенчалась с ннм. Из этого, естественно, вышел громадиый скандал на все королевство, но принцесса об этом не заботилась. Она просто убежала с Какерлаком, объездила с ннм весь свет и повсюду наводнла чары. Старый волшебннк — а он уже никак не ожндал, что за него на старостн лет выйдет такая краснвая юная прннцессочка — очень ее полюбил н в благодарность выучил всем колдовским приемам н ведовским тайнам, какие только есть в целом мнре. Принцессе Иоганне Непомуцене Губертине довелось узнать и изучнть столько нтересного, что она почтн не замечала, как проходят

годы, и очень удивилась, когда ей вдруг стукнуло сто лет.

Тогда-то старый волшебник в один прекрасный день и подхватил свинку — такую глупую хворь, которую зовут еще «защечницей». Сперва он думал — все обойдется, но хворал все больше и больше. Старый Какерлак и так был толст и уродлив, а теперь у него так распухли шея, щеки и вся голова, что он выглядел как надутый мех волынки. Он мог бы легко излечиться, так как от всех болезней, сколько их есть на свете, у него были наилучшие рецепты, но, к сожалению, все рецепты были писаны по латыни, а бедный Какерлак позабыл и никак не мог вспомнить латинское название свинки.

И принцесса, которая в девичьей школе не проходила латыни, ничем не могла ему помочь, и впервые не пригодились обоим колдовские чары. Когда волшебник почувствовал, что настает его последний часочек, он сердито вскричал:

— Ох, позор на всю историю! Капитолий спасли гуси, а Какерлак, знаменитый Какерлак, умирает от дурацкой свинки!

Потом он сказал еще: «Morior!», то есть «Я умираю», чтобы показать, что не вовсе забыл латынь, повернулся на спину и тихо умер.

Его жена, принцесса Иоганна Непомуцена Губертина, как и подобает в подобном случае, долго плакала. Когда старого волшебника схоронили, она решила вернуться в родную страну и в ближайшие семнадцать лет основательно изучить латынь, чтобы с ней не случилось того же, что с покойным Какерлаком...

Крёкелю Первому, отцу принцессы Фанфриллы, который к тому времени стал королем, сперва это было неприятно, но он не мог не принять во внимание родственные связи и, кроме того, хоть в этом он никому не признавался, таки побаивался колдовского искусства старухи. И он издал большой декрет, который расклеили на столбах для объявлений по всему королевству. Старые и малые теснились около них и читали следующее:

— Мы, Крёкель Первый,
Король Улялюма,
настоящим определяем и подтверждаем, что гос-

пожа Какерлак, вдова покойиого волшебника Какерлака,

урождениая принцесса Иоганна Непомуцена Губертнна

Улялюмская

свободно и беспрепятственно поселяется в принадлежащем Нам Суррезском лесу в качестве феи и может колдовать и нзучать латынь, сколько ей будет угодио. Также она ие может быть за это ии сожжеиа, нн повешена, и каждый обязаи оставить ее в покое. — Только и она, естествеиио, ие должна делать ничего неправедного и также оставить Наших подданных в покое."

Внизу слева стояла подпись каицлера: «фон Занфтмут». А справа — большой росчерк, который означал Крёкеля I.

Урожденная приицесса и овдовевшая госпожа Какерлак поселилась в старой, покосившейся хижиие вблизи семи родников. Из года в год зубрила она латынь и только между делом чуточку колдовала, чтобы не растерять свое умение. А так как летом вокруг ее хижнны и между семью ключами зацветали миогие сотни кустов дрока, а старая колдунья всегда носила желтое платье и постояиио держала в руке веточку цветущего дрока, ее все стали иазывать «Феей дрока».

А король Крёкель Первый думал про себя: «Раз уж в страие может теперь прожнвать одиа иастоящая ведьма, которую нельзя отправить иа костер, и поскольку оиа прииадлежит к нашей семье, так с этого и мне лучше бы что-что иметь!»

И он отдал свою единственную одиннадцатилетиюю дочку в обучение старой Какерлак; ои полагал, что юной девушке никогда ие повредит, если она научится чуточку колдовать.

***

Так и получилось, что приицесса Фанфрилла лежала среди кустов дрока между третьим н четвертым родникамн и вязала кружевиой фартучек, который хотела подарить старой Фее дрока, своей двоюродной прабабушке.

Принцесса Фанфрилла всегда леиилась вязать, и уж тем более кружевные фартукн — а с этим ей бы и в жизнь не справиться! Но имеино поэтому она

думала, что такой фартук будет отличным подарком ко дню рождения тете-ведьме; ведь та праздновала будущей зимой свой двадцать пятый день рождения. Она родилась в високосный год двадцать девятого февраля и потому встречала свой день рождения только раз в четыре года. Принцесса Фанфрилла находила это весьма печальным для бедной тети-прабабушки, потому что свой день рождения был для нее прекрасным событием — из-за пирожных и всяких красивых вещей, которые готовили ей в подарок. Особенно возмутительным казалось ей то, что один високосный год выпадает, когда им завершается полное столетие*, так что бедная тетя из-за этого потеряла уже два дня рождения, и в последний раз получила лишь двадцать четвертый именинный пирог за свои сто семь лет.

Эти штучки с календарем и его глупыми високосными годами вообще трудно понять; многие люди просто об этом не думают, а принцесса Фанфрилла так и вовсе не знала бы, если бы не эта история с феей дрока, вдовой Какерлак, двоюродной прабабушкой. Ее отец, король Крёкель Первый, полагал, будто это всего лишь глупая причуда месяца февраля — то в нем бывает то по 28, а то вдруг по 29 дней! Он объявил, что если это вскоре не переменится, то он прикажет вообще убрать лишний день из календаря. Но принцессе Фанфрилле старая фея дрока долго объясняла историю, так что она наконец поняла. Точнее, иногда девочка забывала и подолгу мучилась, пока не припоминала опять. И вдруг маленькой принцессе пришла в голову счастливая мысль.

— Ах! — вскрикнула она — это же хорошо, что у тети феи день рождения бывает так редко! А то бы мне каждый год вязать кружева!

Она трижды вздохнула, громко высморкалась и опять взялась за работу. И тут заметила, что сбилась со счета и ей придется перевязывать массу петель. Конечно, это ее не порадовало; Фанфрилла в гневе сжала свои маленькие кулачки, да так, что — крак! — сломалась хорошая деревянная спица!

— Ой, — вскрикнула она, — эта дурацкая спица! — Она уже хотела было заплакать, но вместо этого задумалась. Потом сложила рукоделие и встала. — Я напишу письмо папе, — сказала она. — Пусть он повесит того дурака, который изобрел кружевные фар-

туки.

Она встала и тряхнула распущенными черными волосами.

— Нет! — продолжала она, подумав. — Лучше пусть он велит повесить того дурака, что изобрел календарь и омерзительный месяц февраль; это он во всем виноват!

Она быстро побежала между кустами дрока к маленькой хижине и отворила дверь. Старя фея сидела у маленького окна и зубрила латынь. Вокруг нее лежали триста двадцать семь толстых книг.

Осторожио, чтобы ие мешать тете, маленькая принцесса проскользнула внутрь, взяла листок бумаги и написала:

«Милый папа король!

Вели, пожалуйста, повесить звездочета, который смотрит за календарем, потому что он очень досаждает мне с вязанием кружевных фартуков и потому что он изобрел февраль, который никогда не бывает правильным! Ты можешь, кроме того, приказать отрубить ему голову.

С дочерней любовью

Твоя

принцесса Фанфрилла."

— Тетя фея! — крикнула она. — Я написала папе письмо. Отошли его, пожалуйста!

— «Менса» — стол, «менсэ, менсэ, менсам», — бормотала вдова Какерлак. — Что ты хочешь? Отослать письмо? Давай его сюда!

Фанфрилла протянула ей письмо. Желтая фея взяла ветку дрока, служившую ей волшебной палочкой, и спела:

Письмецо, в окно лети,
Сразу крылья отрасти!
Донеси до темной ночки
Королю привет от дочки!

При этом она два раза провела веткой по письму. Тут вспорхнуло письмо, покружилось немного и вылетело из окна, став большим белым мотыльком.

— Большое спасибо, тетя Какерлак, — сказала Фанфрилла. Но Фея дрока уже опять погрузилась в свою ученую латинскую книгу. — «Алауда» — жа-

сано?»

Он прочитал письмо, потом позвонил в большой колокольчик. Сразу вошли все семь его министров.

— Наш календарщик нарушил мой ночной покой, — огорченно сказал король, — и, кроме того, он досаждает моей любимой дочери со своим глупым февралем, которого ни один человек терпеть не может! Немедленно пошлите за палачом, он должен сперва отрубить календарщику голову, а потом повесить его!

Семь министров отвесили каждый по семь низких поклонов и вышли. Крёкель зевнул и опять взялся за меню. Но не успел он добраться до десертных блюд, как в дверь тихо постучали.

— А, гром и молния! — крикнул король. — Что еще там опять? Входите!

Семь министров вошли один за другим, а за ними — сам канцлер фон Занфтмут.

— Извините, государь, — сказал он, — но это невозможно!

— Что невозможно? — спросил король.

— Господин верховный палач объяснил, что это невозможно, — печально подхватил один из министров. Крёкель окончательно потерял терпение.

— Да что невозможно, хотел бы я знать! — рявкнул он.

— С Вашего королевского позволения, — отвечал канцлер, — господин верховный палач заявил, что никак невозможно, чтобы звездочету сперва отрубить голову, а потом повесить!

— Что? — гневно крикнул король. — Это, видите ли, невозможно! Я вам приказал или не приказал?

— Простите, государь, — возразил господин фон Занфтмут, — верховный палач объяснил, что, если он сперва отрубит звездочету голову, то потом его будет не за что вешать. Так что это просто не получится!

— Так, — медленно проговорил король. — Значит, не получится?

— Да, — продолжал он, почесав затылок, — раз не получится, значит, не получится! Но что мы тогда сообщим маленькой принцессе Фанфрилле, которая за вязанием кружевного фартука так сильно рассердилась на календарщика и на его глупый февраль?

Если мне будет позволено подать государю совет,

ли, невозможно! Я вам приказал или не приказал?

— Простите, государь, — возразил господин фон Занфтмут, — верховный палач объяснил, что, если он сперва отрубит звездочету голову, то потом его будет не за что вешать. Так что это просто не получится!

— Так, — медленно проговорил король. — Значит, не получится?

— Да, — продолжал он, почесав затылок, — раз не получится, значит, не получится! Но что мы тогда сообщим маленькой принцессе Фанфрилле, которая за вязанием кружевного фартука так сильно рассердилась на календарщика и на его глупый февраль?

Если мне будет позволено подать государю совет, — с глубоким поклоном сказал канцлер, — то я предложил бы послать календарщика завтра в Суррезский лес, чтобы попросить прощения у принцессы.

— Очень хорошо, мой добрый Занфтмут, — кивнул король. — Очень хорошо! Но скажите ему, чтобы он надел свой воскресный фрак. А теперь оставьте меня в покое, я страшно устал.

Семь министров опять отвесили по семь поклонов и тихо вышли из спальни, потому что Крекель уже захрапел так громко и торжественно, как может храпеть только настоящий король.

***

На другое утро у маленькой принцессы совсем рано был урок колдовства. Этому она училась очень охотно, потому что для урока нужно было надеть желтое шелковое платьице, вплести в локоны желтый венок, а в руку взять большую ветку дрока. Она стояла над вторым родником, смотрелась в воду и прикрепляла еще пару цветов к волосам.

— Я действительно взаправдашняя ведьмочка! — смеялась она; да так оно и было.

Потом она быстро сделала серьезное личико, так как тетя-прабабка уже ковыляла с палочкой из хижины, держа подмышкой пару толстых книг. Фея дрока уселась, а принцесса Фанфрилла опустилась на корточки у ее ног.

— Ну, — сказала старуха, — теперь сперва скажи мне заклинание, которому я тебя недавно научила.

Принцесса запела:

Покус! Хокус! Хольдербуш!
Зурре! Зурре! Хуше! Гуш!
Камень с камнем, с костью кость
Встань — тебе не надо трость!

— Для чего это годится? — спросила фея.

— Если кто-то сломает ногу, — ответила Фанфрилла.

— Да, — подтвердила старуха. — Или руку, или даже что-нибудь другое... — А второе заклинание?

Девочка быстро запела:

Кровь по капельке течет —
Кошка песенку поет,
Жужжит пчела, мурлычет кот,
Воркует голубь у ворот —
Гу'р-гур — гу'р-гур — у'рх.
Тише, котик, помолчи,
Стань, кровиночка, замри!
Ху'-ух, ху'-ух, у'х!

— Это надо говорить, когда кто-нибудь палец порежет, — добавила она.

— Да и вообще при любом порезе, — сказала старуха. — От этого кровь тут же останавливается. А теперь мы перейдем к другим вопросам.

Она позвала большую зеленую ящерицу, которая, лежа неподалеку на плоском камне, нежилась в лучах солнца. Та покорно сползла и дала взять себя в руки. Фея дрока показала принцессе множество странных знаков на спинке животного. Это все были удивительные заклинания, которым ящерицы в древние времена научились у великого царя — волшебника Соломона, который некогда повелевал ими. Потом она показала принцессе толстую красно-желтую саламандру, которая жила в маленькой расщелине около родника.

— Саламандра,— сказала она, — еще один старый друг моего покойного мужа-волшебника, он возил ее с собой по всему свету. Саламандра может потушить любой огонь, как бы он ни был горяч.

Потом она объяснила девочке, что надо делать, чтобы в летнюю ночь выследить эльфов, когда они варят свой знаменитый суп из одуванчиков, который

так любят лесные гномы; как связать метлу, на которой ездят ведьмы, и многие другие полезные вещи. Маленькая Фанфрилла слушала очень внимательно, и старушка была ею премного довольна. Потом, когда урок окончился, она достала из кармана большую волшебную конфету и дала ее девочке в награду за прилежание.

Такая волшебная конфета лучше всякой другой сладости. Ее готовят из змеиных яиц, лапок тысяченожек и добавляют немного смолки — канифоли. Но вкус у ней получается, как у марципана с шоколадом. А лучше всех она потому, что ее можно сколько угодно лизать и сосать, а она не уменьшается. Маленькая принцесса получала волшебную конфету всякий раз, когда вела себя хорошо, и могла сосать ее целый час, а потом возвращала тете-фее.

Фея дрока уковыляла обратно в хижину заниматься латынью, а принцесса Фанфрилла уселась среди желтых кустов.

— Ум! Ням-ням! — сказала она и засунула большую конфету в рот. Но не успела она толком войти во вкус, как неподалеку послышалось жалобное покашливание. Она оглянулась и увидала странного человека, наряженного в старый, покрытый заплатами фрак. Лицо у него было мертвенно бледное, и видно было, что он ужасно боялся.

— Бр-рр! — сказала принцесса Фанфрилла. — Что у тебя за смешная рожа! Я тебе советую — сделай веселое лицо, а то тетя фея вообще не выносит уродливых рож! Если она тебя увидит, живо сделает из тебя пюре и скормит своим летучим мышам!

Несчастный затрясся с головы до ног.

— Да подожди ты — она же тебя еще не видит! Почему ты надел такой старый, залатанный костюм?

— Это мой лучший воскресный костюм, — возразил человек. — Заплаты на плечах я получил от знаменитого Цезаря, а на коленях — от самого папы римского Григория!

Принцесса подумала, что бедняга сошел с ума.

— Как? — спросила Фанфрилла. — Это же просто смешно! Короли и римские папы не дарят заплат!

— И все-таки я вправду получил это от них в подарок, — прохныкал человечек, — и об этом написано во многих книгах...

— Ну ладно, мне все равно, от кого у тебя эти старые заплаты. Но скажи,кто же ты сам?

Маленький человек так задрожал, что едва не упал на колени.

— Я — звездочет-календарщик, — прохныкал он.

— Календарщик? — подхватила принцесса. — Так это ты со своим глупым календарем и особенно с февралем так злишь меня всегда, когда я вяжу кружевной фартук? А почему тебе не отрубили голову и ты до сих пор не повешен? Ну, говори! Ах, мой отец меня больше не любит!

— Не получилось! — жалобно сказал календарщик. — Правда, не получилось. Палач объяснил, что, если мне отрубят голову, мне уже не на чем будет висеть! Поэтому король послал меня в лес, и я должен просить у Вас прощения. Я привел с собой и всех своих детей, чтобы они выпросили у Вас для меня прощения.

— А где же твои дети? — спросила маленькая принцесса.

Календарщик вытащил из кармана большой ключ и принялся в него свистеть. Звук получался слабенький, еле слышный.

— Дай-ка мне, — предложила Фанфрилла. — Я умею свистеть лучше тебя!

Она приложила ключ к губам и свистнула на весь лес.

Тут из кустов дрока выбежала стайка крохотных созданий, которые сразу попрыгали на колени календарщику. Но, едва увидев принцессу, все они, вместе с календарщиком, попадали на колени и завопили изо всех сил: — Простите! Простите! Простите!

— Ну ладно, — засмеялась Фанфрилла, которой малыши очень понравились. — Встаньте только! Как же вас зовут?

Календарщик показал на самого большого:

— Это мой единственный сын, — сказал он с гордостью. — Его зовут Год. А за ним — уже его дети. Тот, веселый, со светлыми волосами — Май, загорелый в трусиках — Июль, в меховой шапочке — Январь. А тот, с насморком, у которого всегда носовой платок в руках — это Ноябрь.

— А скажи-ка, — перебила принцесса, — кто стоит там, позади, такой худой, и нос пуговкой?

— Ах, Боже! — отозвался календарщик. — Это и

есть мое горюшко, Февраль!

— Иди же ко мне, малыш, — сказала Фанфрилла.

Малыш подковылял.

— Да он же хромает! — воскликнула принцесса и взяла его за руку.

— Да, — сказал календарщнк, — левая нога у него не в порядке. То она у него длнннее, то короче, одно горе с ним...

Принцесса погладила малыша и воскликнула: — Так ты тот самый Февраль, из-за которого я должна опять приниматься за вязание?

— Я тут ни при чем, — завыл малыш. — Я ни при чем! Я недоношенный! Бе-е, бе-е, бе-ее!

Принцесса усадила меленького крикуна рядом с собой на траву н сунула ему в рот волшебную конфету. Малыш принялся жадно сосать и, конечно, сразу умолк.

— Ну, а те, другие? — спросила Фанфрилла у календарщика. — Кто они?

— Впереди стоит госпожа Неделя, а за ней — ее семь мальчнков. Тот, в шапочке с серпом — Понедельник, День Луны, а у которого на животе нарисовано солнце — Воскресенье, День Солнца. Среда — с крылышкамн на шляпе, а Вторник держит в руке деревянный меч, который ему подарил его крестный, старый бог Войны — Тиу.

— А я тоже получил подарок от моего крестного, — крнкнул маленький Четверг и показал принцессе молоток на очень короткой ручке.

— А кто же твой крестный? — удивилась принцесса.

— Сам Донар, а он — бог Грома, и он куда снльнее, чем твой крестный, Вторннк! — гордо заявил Четверг.

Тут Вторннк раскнпятился.

— Нет, мой крестный был сильнее, пока ему руку не перекуснл бессмертный волк, — крнчал он, — а мой меч куда лучше твоего молотка!

Еще немного — и онн бы подралнсь.

— Да не ссорьтесь вы! — крнкнула прннцесса. — Идите все ко мие, я дам вам по очередн пососать волшебную конфету!

Вся компания обступила ее, и она отобрала нзо рта у Февраля конфету, из-за чего тот сначала сделал

плаксивое лицо, но, когда Фанфрилла пообещала, что очередь дойдет и до него, немного успокоился.

И волшебная конфета пошла по кругу. Каждый старался, как мог, но волшебная конфета оставалась все такой же большой. Календарщик стал считать, и каждому доставалось пососать до счета «пятнадцать», а потом конфета передавалась соседу. Это доставило огромное удовольствие всем, кроме маленького Февраля: он решил, что ждать слишком долго, и лучше всего покричать до тех пор, пока ему не отдадут конфету насовсем. И он начал...

— Бе-е, — орал он, — бе-е! Хочу конфету! Бе-е, бе-еее!

— Видите, принцесса, — пожаловался календарщик, — какой ужасный этот мальчишка! Его можно сколько угодно воспитывать, но лучше он все равно не станет! Ах, что-то из него будет! Фанфрилла опять взяла маленького буяна на колени и принялась гладить его косматые волосы, утирать носик-пуговку и слезы, бегущие из глаз. Но ничто не помогло, Февраль только орал и хныкал еще пуще прежнего: — Я хочу конфету! Хочу конфету! Бе-е! Б-ее!

— Ну ладно, скверный мальчишка, — сдалась, наконец, принцесса, — пусть будет по-твоему! Она взяла у Пятницы, которой как раз подошла очередь, конфету и засунула ее в рот Февралю. Он сразу затих, устроился поудобнее и принялся сосать изо всех сил.

— Ну как, вкусно? — спросила принцесса.

Малыш и не подумал отвечать, а молча сосал дальше.

И тут вдруг принцесса почувствовала, что подол ее платьица на коленях стал мокрым. Она вскочила, сбросила малыша на траву и закричала: — Фу! Фу! Этот гаденыш меня обмочил!

Все, подбежав, пытались почистить принцессу, а она безутешно смотрела на свое новое шелковое платьице.

— Ах! — плакала она. — Мое лучшее платьице теперь совсем пропало!

Календарщик снова начал жаловаться: — Ох, принцесса! Беда мне! Если бы вы знали, сколько у меня забот с этим пакостником! Одни безобразия он вы-

творяет, одни безобразия!
— Молчи, глупый календарщик! — гневно крикнула Фанфрилла. — Ты во всем виноват, ты один! Я непременно расскажу папе!
— Ах, Боже! Ах, Боже! — заскулил календарщик. — Принцесса меня не прощает! Она скажет своему папе! Ах, Боже! Тогда мы все погибли, нас казнят!
Тут завопила вся компания.
— Принцесса нас не прощает, — выли месяцы.
— Она скажет папе! — плакала Неделя.
— О, Боже! О, Боже! — причитал календарщик.
— Нас отменят! — вопили Дни.
— Ах, мое платьице! Мое милое платьице, — ревела принцесса, заливаясь слезами...
Только маленький Февраль спокойно сидел на траве и усердно сосал конфету.
Но тут, наконец, весь этот шум услыхала старая Фея дрока. Она взяла клюку и вышла из хижины.
— Кто смеет мешать мне заниматься латынью? — грозно спросила она. — Что здесь такое творится?
Все вмиг притихли. Фанфрилла вытерла слезы и сказала: — Ах, милая тетя фея, этот календарщик меня всегда огорчал, а теперь он пришел с маленьким негодяем, Февралем, который меня всю обмочил!
— О, дорогая госпожа фея, — вскричал календарщик, — поверьте мне, я в этом не виноват! Это все никчемный урод, Февраль!
Все другие кричали наперебой:
— Февраль виноват! Глупый Февраль! Противный Февраль!
Фея слегка толкнула малыша клюкой и спросила: — Малыш, что ты на это скажешь?
Февраль уставился на нее, выкатив глаза: — Я ничего не знаю! — завопил он. — Я не при чем, я недоношенный! — И опять принялся сосать конфету.
— Тебя надо отменить! — кричали остальные месяцы.
— Да, дорогая госпожа фея, — сказал календарщик, — я думаю, так было бы лучше. Все же лучше отделаться от одного маленького бездельника, чем дожидаться, пока король отменит всех!
— Спокойно! — оборвала его фея. Потом повернулась к Февралю: — Маленький, — сказала она, — пойдем со мной в хижину. Я тебе что-то подарю!

— Подари мне еще одну такую конфету! — попросил Февраль.

— Это ты тоже получишь! — ответила фея. — Пойдем со мной!

Тут малыш вскочил, засунул конфету поглубже в рот, уцепился за руку старухи и побежал рядом с нею, как только мог на своих коротеньких ножках.

Фея дрока открыла большой шкаф и достала оттуда пеструю шапочку, увешанную золотыми бубенчиками. Потом она достала деревянную хлопушку, сложила все это в коробку и подала Февралю.

— Вот, мальчик мой! — сказала она, она легко проведя волшебной веточкой по его волосам и лицу. — Теперь хорошенько запомни, что я тебе скажу. Иди с календарщиком домой и спокойно дожидайся времени, когда ты опять наступишь на земле. Сиди себе в уголке, не говори ни слова и соси конфету!

— Это я с удовольствием! — обрадовался малыш.

— Но потом, когда календарщик тебя позовет, надевай шапочку, бери в руку хлопушку и весело выходи на свет. Ты понял?

— Да, дорогая тетя фея, — ответил Февраль.

Тогда Фея дрока вывела его за руку к остальным. — Вот, — сказала она календарщику, — забирай своего горе-ребенка. Я уверена, что он еще принесет тебе много радости! Но только теперь оставь его в покое! И скажи королю, что принцесса тебя прощает!

— Но мое чудесное желтое платьице испорчено! — перебила ее принцесса. — Ты получишь новое, — ответила тетя фея.

— Да? — вскрикнула девочка. — А малыш унесет волшебную конфету?

— Я дам тебе другую, — сказала фея.

— Вот как! — закричала принцесса. — Ну тогда, календарщик, я прощаю вас всех!

— Принцесса нас простила! — ликовал календарщик. — Дети, пожелаем принцессе счастья!

Тут все малыши громко закричали: — Долгих лет принцессе Фанфрилле!

Только Февраль вынул конфету изо рта, крикнул звонким голоском: — Да здравствует добрая тетя фея! — И сразу же засунул свое сокровище обратно.

Календарщик, сняв шляпу, низко поклонился старой Фее дрока и юной принцессе и созвал свою ком-

панию.

— Теперь скорее домой, дружочки, — сказал он, — пока никто не заметил, что вы сегодня все вместе бродите по свету!

Господин Год собрал своих мальчиков, а госпожа Неделя — своих.

Только Вторнику с его деревянным мечом и Июню — с цветком мака в волосах — нельзя было спешить домой, ведь именно они были сегодня дежурными. Они взялись за руки и весело побежали в лес.

— Чтобы ты у меня ровно в двенадцать ночи был дома! — крикнул вдогонку Вторнику календарщик.

А принцесса Фанфрилла стояла среди кустов дрока и бросала вслед маленьким человечкам желтые цветы.

***

Зимой, когда все семь родников замерзли, а кустики дрока утонули в блестящем снегу, принцесса Фанфрилла сидела вечером у камина и заворачивала кружевной фартук, который она только что закончила вязать, в красивую розовую шелковую бумагу.

Тут она услышала, как тетя фея захлопнула толстую книгу и поднялась на ноги. Она едва успела спрятать фартук в портфельчик — ведь она готовила сюрприз к дню рождения! — как старуха подошла к ней.

— Одевайся, Фанфрилла! — велела фея. — Ты должна поехать в город и навестить своего папу!

— Как? — Принцесса широко раскрыла глаза и даже рот. — У нас же здесь нет ни санок, ни лошади! На чем же я поеду?

— Сейчас увидишь, — ответила Фея дрока. — Одевайся живее!

— Какое же платье мне надеть? — спросила Фанфрилла. — Розовое с пелеринкой, или зеленое со шлейфом, или...

— Ни то, ни другое, ни третье! — предупредила фея. — Ты наденешь совсем новое платьице.

Она трижды хлопнула в ладоши, и — наружная дверь распахнулась, и в комнату влетела огромная сова. В клюве она несла коробку, которую опустила на пол перед принцессой.

Фанфрилла быстро открыла коробку и нашла в ней белое шелковое платьице дивной красоты, с ко-

роткими рукавами и большим белым помпоном. Рядом лежали остроконечная высокая шапочка и восхитительные белые шелковые туфельки с чулочками.

— Ах, милая тетя фея! — в восторге закричала Фанфрилла. — Это все мне?

— Конечно, конечно. только одевайся поскорее!

Фанфрилла переоделась так быстро, как только могла. Как только она была готова, фея вновь трижды хлопнула в ладоши. Тут снаружи весело зазвенели бубенчики. Старушка накинула на принцессу теплую шубку и вывела ее из хижины. Перед дверью стояли изящные саночки, запряженные двенадцатью лисами. На облучке сидел маленький паренек, но его нельзя было разглядеть хорошенько, потому что он был весь закутан в толстый тулуп. Фея усадила принцессу в санки и укутала меховым покрывалом.

— Езжайте! — приказала она маленькому кучеру и вернулась в дом.

Маленький кучер щелкнул кнутиком, и они, как ветер, помчались в ярком лунном свете. Серебряные бубенцы звенели в лесу так громко, что олени, косули и зайцы сбегались на звук и с любопытством смотрели им вслед. Дзинь-динь-дзинь, динь-динь-дзинь...

***

А вечером толстый король Крёкель Первый сидел в самом большом зале своего замка. Он устроил пир и пригласил много людей, но сам страшно скучал. И все остальные, что сидели вокруг большого стола, томились от скуки.

Король зевал. Зевали и канцлер фон Занфтмут, и министры, и все придворные и гости короля, и такая была скука, что и в рот не лезли — кому куриная ножка, кому кусок пирога, а иному... Тут с улицы донесся веселый звон бубенцов и звонкое щелканье кнута.

— Взгляните-ка, что это там, дорогой Занфтмут! — сказал король канцлеру.

Тот подошел к окну.

— Там, у ворот замка — удивительная упряжка! Серебряные сани, запряженные лисицами! Настоящими лисицами, подумать только, государь!

— А кто же сидит в санях? — спросил Крёкель.

— Кто-то сидит, но он так закутан, что его никак

не узнать. А вот кучер — очень маленький паренек в толстом тулупе, он сейчас спрыгнул и укрепляет под полозьями саней маленькие серебряные колесики!

— Это зачем же? — удивился король.

— Уж не знаю, — ответил канцлер фон Занфтмут. — Вот он опять влез на облучок и подъезжает к воротам. Вот это да! Он хлопнул кнутом и обе створки сами собой раскрылись! Он въехал во двор.

Послышался звон бубенцов на лестнице. и тут же растворились двери зала.

Как только повозка вкатилась в зал, маленький кучер скинул тулуп, а принцесса Фанфрилла — покрывало. Двенадцать рыжих лис задрали хвосты, понеслись по залу, обежали кругом большой стол. Серебряные бубенчики звенели так весело! На маленьком кучере была шапочка в четыре цвета: желтый, белый, зеленый и красный; золотые колокольчики на ней перекликались с бубенцами саней. Перед королем он натянул вожжи, и двенадцать лисичек сразу остановились. Принцесса выскочила из санок, подбежала к королю, обняла его и поцеловала прямо в нос. При этом она воскликнула: — Папа-король! Как ты живешь тут без меня?

Король Крёкель был несказанно удивлен появлением дочки.

— Я прямо не знаю, — обратился он к своему канцлеру, — не сон ли это...

Тут маленький кучер тоже соскочил с облучка, забежал королю за спину, схватился за косичку его парика и ловко взобрался вверх. Потом он прыгнул через голову короля на стол и встал, как вкопанный.

— Гелау! — крикнул он. — Гелау!

У короля и министров сделались очень глупые лица, а принцесса удивленно уставилась на малыша.

— Ты меня еще не узнала, принцесса? — воскликнул тот. — Я же Февраль. А все это, — продолжал он, потряхивая своей шапочкой и хлопая хлопушкой, — подарок дорогой тети феи! Этими штуками я сегодня развеселю и распотешу всех на свете!

Он подскочил к королю и хлопнул его по брюху. На того напал безудержный смех. А маленький Февраль побежал по всему столу и хлопал гостей хлопушкой, и звенел им в уши бубенчиками. Прекрасные дамы и знатные господа, которые до того истомились

от скуки, не понимая сами, как это произошло, вдруг пришли в такое веселое и доброе настроение, что охотно расцеловали бы всех на свете.

— Посмотри, что еще лежит в санках! — обратился Февраль к Фанфрилле.

Та подошла и обнаружила на дне саней кучу пестрых деревянных хлопушек и шелковых шапочек в четыре цвета. Фанфрилла собрала все это в подол юбочки и поднесла к Февралю.

Тот постучал хлопушкой по большой бутылке вина и крикнул:

— Гелау! Теперь тише, я хочу сказать речь! Я — Февраль, но теперь меня зовут еще «принц Масленица»! Я пришел освободить вас от всех ваших забот, печалей и разных глупых неприятностей! Вот! Наденьте шапки и щелкайте хлопушками, и будьте довольны, и смейтесь, и кричите все вместе: гелау!

При этом он кидал гостям шапки и хлопушки. Фанфрилла схватила самую большую шапку и нахлобучила ее на голову папе королю, сунула ему в руку хлопушку, которая щелкала громче всех.

Король Крёкель вскочил и загремел басом:

— Гелау!

И все другие, вскочив, кричали и ликовали: — Гелау! гелау!

Потом по залу закружился хоровод. Впереди плясал король Крёкель, держа на плече маленького Февраля. За ним следовала принцесса Фанфрилла, которая снова забралась на свои роликовые санки и теперь сама правила лисицами. За нею гордо выступал календарщик в своем воскресном фраке, а за ним танцевали все другие. Король, дойдя в пляске до трона, уселся на него, а маленький принц Масленица, забрался на спинку трона.

— Календарщик! — позвал Король. — Подойди-ка сюда!

Календарщик приблизился и отвесил низкий поклон.

— Календарщик, — сказал король. — Мне, собственно, следовало бы тебя повесить, а потом еще отрубить голову за то, что ты никогда не говорил мне об удивительном таланте маленького Февраля. Но я милостивый король, да и малыш замолвил за тебя доброе слово. Поэтому я хочу вместо казни наградить

тебя большой звездой шутовского ордена Полумесяца первой степени — с дубовыми листьями и мечами.

Король махнул рукой, канцлер вышел вперед и приколол к груди осчастливленного календарщика большой орден.

— Но я, — продолжал король, — Крёкель Первый Улялюмский, ныне определяю и постановляю, что впредь каждый год на три дня маленький Февраль — под именем принца Масленицы — будет в государстве вместо меня и может делать все, что ни захочет!

Тогда малыш опять поймал толстого короля за косичку и припал к его уху:

— Тогда назначь мне и принцессу, дядюшка король!

Король Крёкель Первый наклонился и подхватил на руки принцессочку; а малыш взял ее за черные локоны и поцеловал прямо в розовый ротик. Потом он звонко выкрикнул на весь огромный зал: — Гелау! Я — принц Масленица, а вот — моя прекрасная принцесса!

Тут зашумело все собрание: — Ура принцу Масленице и принцессе Фанфрилле! Гелау! Гелау! Гелау! — И весь зал ликовал и смеялся.

***

Так и случилось, что бедный маленький февраль вошел в великую честь, и теперь он — самый веселый месяц в целом году!

ФЕЯ В ИЗГНАНИИ

— Пурцель! — сказала королева-фея Маб своему первому министру. — Пурцель, так дальше не пойдет!

Первый министр подозвал маленького эльфа, велел ему почесать себя за ухом — сам он этого никогда еще не делал, потому что был очень знатный господин — и ответил:

— Да, Ваше Величество, так, действительно, дальше не пойдет!

— Сколько живет белый свет, — продолжала королева, — никогда еще не бывало такой непутевой феи! Она не признает никаких правил, эта Бора, и никто не может сказать, что это на нее нашло!

— Госпожа королева должна согласиться: в этом есть и Ваша вина, — сказал министр и дал маленькому эльфу щелчка, чтобы тот не забыл низко поклониться. Такую манеру господин Пурцель завел сам, едва его назначили первым министром в Авауне, стране фей. Раньше он служил секретарем суда в маленьком городке Гумпельскирхине, но уже и в те времена имел связи в королевстве фей, потому что его крестной была старая, заслуженная фея на пенсии. Он очень нравился королеве своими манерами, но при последних его словах она возмутилась:

— Пурцель! — вскрнчала она, — что это вы имеете в виду?

Пурцель подозвал еще пару эльфов и велел всем троим отвеснть по нескольку низких поклонов, отчего у него, как обычно, нзрядно улучшилось настроение.

— Чтобы понять, что я имею в виду, госпоже королеве достаточно будет немного припомнить прошлое, — с достоинством отвечал он. — Пока госпожа королева дарила свою любовь только нежным ветеркам - Зефиру и теплому Западному Ветру, у нас рождалнсь милые, добрые, сладкие феечки. Все нашн беды началнсь, когда Ваше Величество отдало руку н сердце свнрепому Северному Ветру Борею. Вы, конечно, помните, как грубо и необузданно ворвался он в нашу страну! В конце концов его пришлось выгонять, но каких усилнй это стоило!

— Да, вы правы, — сказала королева-фея. Она вздохнула н прибавила вполголоса: — А все-таки он был отличный парень!

Министр настаивал на своем.

— От этой злополучной свадьбы, — продолжал он, — и появнлась на свет принцесса Бора. Если посмотреть на это с научной точкн зрення, то станет очень даже понятно, почему она выросла такой сорвнголовой!

Королева опять вздохнула.

— Да, она на редкость ужасная сорвиголова, — печально промолвила она, — совсем как ее отец!

— Сей горький опыт подсказывает, что в будущем госпоже королеве следует быть осторожее в выборе мужей! Вот еслн бы, скажем, госпожа королева обратила свой взор на меня...

Королева оглядела своего министра с головы до пят и залилась звонкнм смехом. Но господина Пурцеля не так-то легко было оконфузнть:

— ...я бы мог гарантировать, — продолжил он, — что от этого брака, заключенного под счастлнвыми звездами, родятся самые деликатные н послушные феечки на свете!

Королева хохотала так, что у нее слезы потекли по щекам.

— Нет уж, милый мой Пурцель! Даже если родятся беспредельно послушные феечкн, я все равно скорее

выйду замуж за целую сотню Севериых Ветров, чем за тебя!

Мииистр Пурцель обиделся, ио скрыл свою злость за очеиь вежливой гримасой.

В этот миг в королевскую залу с громкими криками и плачем вбежали шесть малеиьких фей с растрепаиным волосами.

— Бора так щипиула меия за руку, что у меня теперь большой синяк! — кричала одиа.

— Бора иасыпала мне в постель едучего порошка, — плакала другая, — и я вся исчесалась!

— Бора чуть не утопила меия в купальне! — пищала третья. — Я и сейчас еле дышу!

— Бора говорит, что у меия глаза, как у курицы! — жаловалась четвертая.

— Бора отобрала у меня все мои пироженки! — всхлипывала пятая.

— Бора все время дерет меня за волосы! — скулила шестая.

— Почему же ты тоже ие отдерешь ее за волосы? — спросила королева.

— А ее не за что драть! — ответила маленькая фея. — Бора сказала, что длинные волосы — это глупо, и обрезала их себе до плеч.

— Ничего себе! — сказал министр. — Она нарушает всякое приличие!

Тут и королева рассердилась не на шутку. Длинные, до колен, волосы, были обязательной принадлежностью всех фей, а Бора взяла да остриглась!

— Ужасная сорвиголова! — сказала королева.

— Так дальше иельзя! — заявил господин Пурцель. — Госпоpa королева должна что-нибудь сделать с дрянной девчонкой!

— И я сделаю! — сказала королева. — Я отправлю ее в изгнаиие!

— Тогда пусть госпожа королева иазначит точное место и время ее изгиаиия, — заявил министр.

Время, в которое нужно будет выслать принцессу, следовало определить в первую очередь, потому что на самом деле феи живут в иикаком времеии — или в любом, которое им понравится.

— А какое время ты считаешь самым подходящим, Пурцель? — спросила королева.

— Я предложил бы Вашему Величеству начало двадцатого столетия, — подумав, ответил министр. — Оно хорошо тем, что там ужасно скучно. А в качестве места ссылки я почтительнейше порекомендовал бы вам цветочный сад. В нем маленькая принцесса, может быть, немного научится хорошим манерам!

Королева тут же приняла предложение господина Пурцеля, потому что оно ей очень понравилось. Дикарку Бору, которая как раз прилегла под старым дубом и немного вздремнула, по приказанию королевы подхватили два легких ветерка-зефира и быстро понесли сквозь разные времена и страны в тот сад, куда ей была назначена ссылка. Она даже и не заметила как ее несли, и спокойно продолжала спать под кустами роз на мягкой зеленой полянке, куда ее опустили зефиры.

Нужно сказать, что сад этот примыкал к очень красивой вилле, расположенной вблизи большого города. Он был очень просторный, почти как настоящий парк, и высокая стена отделяла его от леса. Сад и вилла принадлежали родителям одной маленькой девочки, которую звали Лиза.

Когда принцесса проснулась, она принялась удивленно оглядываться по сторонам. Она даже начала тереть себе глазки, полагая, что все это ей снится — до того незнакома была ей эта местность. Хотя в большом саду было очень красиво, все же он не мог сравниться с самым захудалым садом страны фей, потому что такой красоты, как там, не бывает нигде в мире, даже в Италии, где апельсины и лимоны растут прямо на деревьях и сверкают на солнце, словно золотые шарики. Бора поняла, что с ней случилось что-то неладное; она начала громко звала подружек, но никто не откликался. Она уже хотела было заплакать, но тут перед ней предстал крохотный мальчуган, размахивавший веткой сирени, которой он старался привлечь ее внимание. Это был Шнук, маленький эльфик, которого Бора особенно любила за то что он всегда был веселым и ласковым.

— Здравствуй, барышня Бора! — сказал он. — Как ты себя здесь чувствуешь?

— А как я должна себя чувствовать, — отвечала принцесса, — когда я даже не знаю, где нахожусь?

Тогда эльфнк поведал ей, что она выслана и ночью перенесена сюда.

— Это все наверняка прндумал злющий Пурцель! — вскричала прннцесса. — Это он мстнт мне за то, что я посадила огромных мокрнц ему в парик. Ну погоди, я еще доберусь до него! Скажн-ка, Шнук, а что я должна здесь делать?

— Ты должна жить в большом саду н учиться деликатности, — отвечал малыш. — Как научишься, тебе позволят вернуться, но н тогда господнн Пурцель будет два раза в день давать тебе урокн этикета.

— Ну, знаешь, — воскликнула Бора, — тогда я лучше совсем не вернусь! А тебя, Шнук, тоже выслали?

— Нет! — сказал Шиук. — Меня послали с тобой, чтобы у тебя была компания. А потом, мне велели доноснть королеве, как у тебя продвигаются дела с делнкатностью.

— А скажн-ка, малыш, — перебила его Бора, — что из себя представляет эта самая деликатность?

— Откуда мие знать? — уднвился Шнук. — Я об этом н понятия не имею!

Тут маленькая фея совсем запечалилась н опустила головку.

— Да как же я стану деликатной, — говорила она, — если мне даже не могут объяснить, что это значит!

Малыш попробовал ее утешить.

— Может быть, — предположил он, — оно само собой получится, когда ты снльно заскучаешь?

— Но я не хочу скучать! — рассердилась принцесса. — Ах, Боже, Кого же я теперь буду щипать, шлепать и таскать за волосы? Просто ужас какой-то!

Она прннялась громко всхлипывать, а маленький эльфик не решался ее утешать, так как думал, что она, быть может, уже начала учиться деликатиостн.

— Ах! — жаловалась Бора. — Если бы у меня был хотя бы мой едучий порошок!

— Как раз его-то я тебе принес! — засмеялся эльфнк и вытащил пакетнк из сумочки, висевшей у него на боку.

Бора схватила пакетнк, н настроение у нее сразу улучшилось.

— Ой ты мой милый, маленький Шнукин! — во-

скликнула она. — Какой ты все-таки чудесный парень! Посмотрим, не найдется ли здесь кого-нибудь, кто скучает по чесотке? Ну ладно, теперь лети скорее в страну фей и расскажи моей маме, как быстро я учусь деликатности!

Она поцеловала малыша и подбросила его высоко в воздух. Эльф вспорхнул и понесся меж деревьями, весело помахивая веточкой сирени.

— Только не задерживайся долго, Шнучик! — крикнула юная фея ему вслед.

***

Бора пробежалась по саду, чтобы немного осмотреться в стране своего изгнания. Несмотря на то, что уже настала середина лета и солнце стояло высоко в небе, здесь было свежо и прохладно. Она выбежала на широкую поляну и натолкнулась на клумбу белых гвоздик, раскинувшуюся перед ней, как серебряный ковер. Она поймала нескольких пестрых стрекоз, посадила их на раскрытую ладонь и — раз, два, три! — пустила их лететь дальше. А потом вдруг остановилась, услышав поблизости скрипучий храп; укрываясь за рододендронами, она тихо подкралась поближе.

Это был рыжебородый садовник, который прилег соснуть после обеда и теперь усердно храпел. Бора на цыпочках подошла к нему и принялась рассматривать. Он ей очень понравился тем, что у него был смешной толстый нос — совсем как большая картошка.

Тут она заметила, что у садовника что-то торчит из кармана. Она вытащила сверток и увидела,что это большая газета. Бора ут же развернула ее и стала читать. Как известно, феи умеют читать, писать и говорить, как люди, и даже лучше, причем умеют они все это делать с самого рождения, так что им вовсе не надо ходить в школу. Это очень хорошая способность, какую полезно было бы приобрести и людям.

Итак, принцесса-фея читала «Последние новости», и читала очень внимательно, так как ей очень хотелось узнать обо всех последних событиях во всех странах. Она прочитала, что в одном городе страшно обгорел ребенок, балуясь со спичками, и чуть не заплакала, представив себе, как ему было больно. Она узнала также, что в другом городе был открыт новый памят-

ник, и что кто-то говорил при этом речь, но это ей было неинтересно. А еще в газете было написано, какая цена на пшеницу, какая — на рожь, сколько стоят свиньи и быки. Это было ей уж вовсе безразлично. Но о стране фей в этой глупой газете не было ни слова, и от этого принцессе Боре стало немного обидно. Она бы с удовольствием прочитала что-нибудь о своем изгнании, но знала, что ничего подобного в газете не найти, потому что с тех пор, как господин Пурцель стал министром в Авалуне, цензура стала чрезвычайно строгой, и люди не могли больше получать известий из королевства фей.

Так что в конце концов юная фея осталась недовольна газетой. И поскольку журналистов поблизости не было, ей захотелось досадить хотя бы тому, кто читает такие глупые газеты, а именно садовнику, раз уж он попался ей под руку. Она открыла пакетик и осторожно, чтобы не посыпать на себя, вытрясла из него едучий порошок. Потом сорвала длинную травинку и пощекотала садовнику ноздрю. Тот только чихнул во сне, но Бора щекотала снова и снова, и тому пришлось чихать до тех пор, пока он не проснулся. Сперва он зевал и потягивался, а потом вдруг почувствовал страшный зуд на левой ноге.

— Тьфу! — сказал он. — Опять эти нахальные муравьи!

Он принялся чесаться, но от этого порошок только попадал на руки, на шею, на другую ногу и под рубаху на грудь... Всюду зудело, будто сотня кусачих муравьев бегала у него по всему телу. Он скреб себя, что было сил, но от этого становилось только хуже. Больше всего в тот момент ему хотелось иметь пятьдесят или шестьдесят рук, чтобы чесаться сразу везде.

Но ни муравьев, ни каких других тварей он на себе не находил и потому никак не мог взять в толк, отчего у него такой зуд. При виде его глупой и растеряной физиономии юная фея, прятавшаяся в кустах, не выдержала и стала звонко смеяться.

— Ага! — закричал садовник, услышав смех. — Никак это опять маленькая Лиза сыграла со мной злую шутку!

Но пока он поворачивался, юная фея успела умчаться далеко за кусты, и садовнику удалось поймать

лишь тголосок ее серебристого смеха. Тогда он побежал под душ, чтобы поскорее избавиться от невыносимого зуда.

Бора носилась по саду и скоро подружилась с чижами и зябликами, скворцами и черным дроздом. Время пролетело быстро и, когда вечером эльфик Шнук прилетел обратно, она даже удивилась, что он так быстро обернулся.

***

Юной фее очень весело жилось в большом саду. Маленький эльфик оказался отличным товарищем и был такой забавный и веселый, что она хохотала раз по двадцать на дню. Он умел находить цветы, в которых содержался самый лучший медовый нектар, и листья, на которых были самые чистые капли росы; ведь феи и эльфы питаются почти исключительно медом да росой. Иногда Бора упражнялась и в деликатности и вела себя очень хорошо — до тех пор, пока ей не приходило в голову дернуть за хвост большую собаку или выдрать длинное перо у одного из павлинов, гулявших по саду.

Ей очень хотелось познакомилась с Лизой, маленькой девочкой, родители которой были хозяевами сада и виллы. Но всякий раз, когда она встречала девочку в саду, та была вместе с гувернанткой и выглядела такой серьезной, что Бора эльфиком даже и не пытались подойти.

Чаще всего гувернантка выходила в сад первой и поджидала там Лизу.

— Лиза! — кричала она. — Торопись, мы должны повторить задание по природоведению!

Лиза, однако, не очень спешила и подходила к ней очень неохотно.

— Итак, вот грушевое дерево. Что ты о нем знаешь? — спрашивала гувернантка.

— Груша обыкновенная, Pirus communis, принадлежит к 12-му классу второго порядка системы Линнея, — отвечала Лиза. — Ее цветы имеют по пять пестиков и двадцать, а то и больше свободных тычинок.

— Неверно! — говорила гувернантка. — Пять тычинок и двадцать, а то и более свободных пестиков.

— Ей-то уж, точно, два раза в день дают уроки

этикета, — с жалостью сказала Бора эльфику. — Вот бедняжка!

***

Однажды, когда юная фея сидела на краю фонтана и играла с золотыми рыбками, к ней подбежал эльфик.

— Барышня Бора! — крикнул он. — Я только что встретил девочку одну!

— Где же она? — спросила Бора.

— Ах, сейчас-то она опять пошла домой, но сегодня ночью ты можешь с ней повидаться! — отвечал эльфик.

— Рассказывай! — попросила фея.

И Шнук рассказал, как он застал Лизу у садовой стены, где она дремала под старой бузиной, держа в руках большую куклу. Он тихо шепнул ей на ушко, что сегодня во сне с ней хочет поиграть принцесса-фея Бора.

Бора захлопала в ладоши; она едва смогла дождаться, пока наступит вечер. К счастью, Лизе полагалось уже в половине девятого ложиться в постель, и через полчаса она крепко уснула.

Эльф уже выяснил, в какой комнате спит маленькая девочка, и пока юная фея ждала у фонтана, он взвился вверх и влетел прямо в окно.

— Лиза! — тихо позвал он, — Лиза!

— А-а-ум... аа-аа! — зевнула Лиза со сна.

— Вставай, лентяйка, вставай! — засмеялся эльф и потащил с нее покрывало. —Принцесса Бора ждет тебя в саду!

Тут девочка протерла глаза кулачком и спустила ноги с кровати.

— А как же я спущусь? — спросила она. — Через двери нельзя, там спит моя гувернантка, а летать я не умею!

Малыш взял большую простыню и обернул ее вокруг Лизы, так что выглядывали только голова да ножки девочки. Потом связал четыре уголка в один узел и попробовал его поднять.

— Ого, да ты тяжелая! — закряхтел он. — Вот, возьми-ка ветку сирени — сразу станешь полегче!

Лиза взяла ветку и вдруг почувствовала себя такой легкой, что даже не удивилась, когда эльфик без видимых усилий поднял ее, развернул свои четыре крыла и медленно вылетел в окно.

Луна заливала обширный сад своими мягкими серебряными лучами. Было очень тихо, и все-таки повсюду чувствовалось легкое дуновение, воздух колебался вверх-вниз, и казалось, будто сад глубоко вдыхает лунный свет. На краю поляны росло огромное каштановое дерево с сотнями белых свечек-цветов. Тени от его ветвей простирались по садовой дорожке, как огромные руки.

Принцесса Бора сидела в задумчивости на краю фонтана. Она смотрела на громадную ночную бабочку, которая тяжело кружилась над ветвями каштана и пела древнюю песню фей:

Далеко, не знаю — где,
Посреди большого мира,
Чье-то сердце ждет меня,
Чья-то песнь зовет меня,
О любви стенает лира...
Только вот не знаю — где?
Далеко, скажи, когда,
Посреди какой пустыни,
Руки друга ждут меня,
Ждут тоскуя и любя?
Сердце нежное не стынет,
Нипочем ему года.
Где искать, в какой стране,
И в каком земном столетьи?
Остается только жить,
Да по милому тужить,
Да простые песни эти
Напевать седой Луне.

Так фея-изгнанница изливала свою тоску в голубой простор небес. Две слезинки медленно сползали по ее лицу. Но вдруг она услышала над собою звонкий смех. Она подняла взор и увидела Шнука с огромным узлом в руке, которым он с удовольствием покачивал в воздухе.

— Барышня Бора! — весело крикнул он. — Я принес тебе Лизу!

Маленькая девочка высунула наружу голову, чтобы лучше видеть, но при этом случайно уронила ветку сирени и тут же стала такой тяжелой, что эльфик не мог ее удержать. Он отчаянно забил крыльями, но,

как ни пыжился, все-таки выпустил из рук концы простыни. Лиза полетела вниз, однако юная фея ловко поймала ее на руки.

— Значит, ты и есть Лиза? — спросила Бора. — У тебя волосы точь-в-точь как у меня!

И верно, у девочки были такие же шелковистые, мягкие, светло-золотые волосы, которые волнами падали на плечи.

— А у тебя такие же большие голубые глаза, как у моей мамы! — отозвалась Лиза.

— А может быть, твоя мама тоже фея? — спросила Бора.

— Ты так думаешь? — удивилась девочка.

— Кто знает? — задумчиво сказала Бора. — Среди людей живет немало фей, о чем глупые люди и не подозревают! Пойдем, — продолжала она, — поиграем немного в мяч! У тебя есть ракетка?

— Конечно, — сказала Лиза. — Ракетки лежат на теннисной площадке.

Но когда они прибежали туда, и девочка полезла в ящик за ракетками, она огорченно воскликнула:

— Боже мой! А мячей-то ни одного нет!

— Это ничего! — сказала юная фея. — Вместо мяча у нас будет Шнук!

Эльфик хотел было улизнуть, но Бора его поймала. Она подняла его за крылышко, подбросила в воздух и сильным ударом послала далеко за сетку. У Лизы была ловкая рука, она не дала малышу упасть на землю, а отбила его Боре. Фея парировала, и некоторое время эльфик летал туда и обратно над сеткой. Наконец Лиза отбила его так высоко, что ему удалось уцепиться за ветку тополя. Он уселся там и ни за что не хотел слазить.

Шнук утирал слезы и осторожно ощупывал все свое тело: на самом деле, вовсе не приятно, когда тобой играют, как обыкновенным мячом.

— Лети в страну фей, — смеялась над ним Бора, — и расскажи моей маме, что я сделала большие успехи в деликатности!

Одним огромным прыжком она перескочила через сетку и схватила Лизу за руку.

— Пошли, — сказала она, — ловить ночных бабочек!

Она потащила девочку за собой в кустарник и

показала ей, как надо искать светлячков. Они ловили их и сажали на большой лист каштана, так что в конце концов он ярко засветился в ночном сумраке чащи. Со всех сторон на свет слетались крупные бабочки. Они казались совсем ручными, потому что без страха садились прямо на руку юной фее и спокойно давали себя гладить. Лиза же, как ни размахивала в воздухе обеими руками, так и не поймала ни одной — только порядком утомилась. Но тут к ней подлетела совсем огромная бабочка, которая пищала как маленький ребенок. Лиза испугалась, но Бора протянула руку, и бабочка села ей на ладонь.

— Ой! — воскликнула Лиза. — Да это же «мертвая голова»!

— Так оно и есть, — подтвердила фея. — А ты, оказывается, хорошо умеешь читать рисунки на спине у бабочек.

Глаза девочки заблестели. Она робко протянула вперед руку.

— Ах, вот бы мне ее!

— А что ты с ней хочешь сделать? — спросила Бора.

— У моего двоюродного брата Отто есть коллекция бабочек. Я подарю ему «мертвую голову»!

— Ну, хорошо, — сказала фея. — А он-то с ними что делает?

— Он накалывает их на булавки и запирает в ящичке, — понизив голос, ответила Лиза.

Бора быстро подбросила «мертвую голову» вверх, а потом дернула Лизу за ухо.

— Чудовище! — крикнула она. — А что бы ты сказала, если бы я тебя наколола на иголку и заперла в ящике?!

Лизе было ужасно стыдно и хотелось убежать. Но фея уже тащила ее за рукав глубже в кусты.

— Тише! — прошептала она. — Кто-то идет!

На дорожке, прямо под каштаном, появилась весьма примечательная фигура; это был господин в длинном черном плаще, который книзу расширялся как колокол. Еще на нем были белые гетры и лакированные ботинки, а над вязаным белым жилетом полоскались на ветру концы черного шейного платка. Из-под платка выглядывал высокий, тесный воротничок, а на лоб

странному господину свисала мощная копна волос. В правой руке он держал блокнот, а в левой, которой иногда водил по воздуху — длинный карандаш.

— Он что, сумасшедший? — прошептала фея.

— Нет! — сказала Лиза. — Он поэт!

— Стало быть, еще хуже! — сказала Бора. — А откуда ты знаешь, что он поэт?

— Так это же мой дядя, мамин брат, — объяснила Лиза. — Он, наверное, сочиняет стихи про лунный свет.

— Луна и лес... — бормотал поэт, — трепетный свет... радость и грусть... круг... вдруг... Так, это годится!

Потом он закинул голову назад и продекламировал:

Трепетный свет нежной луны
Чертит таинственный круг.
Радость и грусть, прошлые дни
Будит он в памяти вдруг!

— Превосходно! — сказал он. — Очень хорошо, это надо записать. — Он записал строчки в блокнот, потом подпер голову рукой и погрузился в размышления.

— Нашел! Нашел! — внезапно закричал он. — Какая замечательная фраза! Спасибо тебе, благословенный вечер, что ты подарил мне эту мысль!

Минуту-другую он торопливо черкался в блокноте, а потом, прижав правую руку к жилету, во весь голоос обратился к небесам:

— Смотрите, вечные звезды, на смертного, создающего бессмертные стихи!

— Он окончательно спятил, — проворчала фея.

А поэт стремительно зашагал дальше, размахивая руками и декламируя:

Луна! Прекрасная луна!
Царица юности моей.
И свет моей любви!

— Он уронил блокнот! — шепнула девочка. Она осторожно выбралась из кустов и подняла книжечку. Поэт уже был далеко — было слышно только, как он проговаривал вслух новые строчки о луне.

— Постой-ка, Лиза! — сказала фея. — Вот сейчас мы с тобой позабавимся! Нет ли у тебя резинки?

Но Лиза была в ночной рубашке, и ничего у нее с собой, конечно, не было.

— У меня на столе лежит резинка, — сказала он.

— На самом видном месте, около тетради по рисованию. Был бы тут эльфик, он бы ее живо принес!

— Он рассердился на нас и теперь долго не покажется, — ответила Бора. — Но я могу послать кого-нибудь другого.

Она пригнула стебель ветку сирени, на развилке которой Лиза увидала небольшое птичье гнездышко. Фея слегка прикоснулась пальчиками к перьям сидевшей там дроздихи.

— Мамаша Дроздиха, — сказала она, — сделай мне одолжение — слетай в комнату Лизы. Там, на столе, возле тетради по рисованию, лежит резинка. Принеси ее нам!

— А ты пока погреешь мои яички? — спросила дроздиха.

— Ну, конечно! — крикнула фея. — Да я тебе их прямо сейчас и высижу! Только слетай скорее!

Дроздиха улетела.

— Ой, какая прелесть! — вскрикнула Лиза. — Пять маленьких яичек!

Но долго глазеть ей не пришлось — фея накрыла гнездо ладонью, чтобы оно не остывало. Через пару минут из гнезда вдруг послышался тихий писк.

— Я думаю, Лиза, птенчики уже вылупляются, — сказала фея.

Так оно и было. Пик-пик! — маленькие клювики пробили скорлупку, и скоро все пять птенчиков вылезли и разинули желтые ротики, прося корма. Фея быстро поймала несколько мошек и сунула каждому в клювик. Тем временем вернулась мама-дроздиха и принесла резинку.

— Вот, мамаша Дроздиха, — весело сказала фея, — разве я плохо для тебя постаралась? Все пятеро уже вылупились! Утром я принесу твоим малышам что-нибудь на завтрак.

Потом она повела Лизу по дорожке, и обе уселись в центре большой поляны, залитой ярким лунным светом. Фея взяла блокнот и старательно стерла оттуда все дядины строчки.

— Так! — сказала она. — Первую строчку мы оставим, чтобы он не сразу заметил. Теперь, Лиза, записывай то, что я скажу.

Девочка взяла карандаш и пристроила блокнот на

коленке.

Фея стала диктовать:

Сев на лапки перед дачкой,
Лает на луну собачка.
А на верхней черепице
Распевает слоноптица.

— А что это такое — слоноптица? — удивилась Лиза.

— Это такое животное, которое спереди - слон, а сзади — птица, — объяснила фея. — Они еще поют таким красивым тенором! Пиши дальше:

Саранчайцы на бугре
Вьются в лунном серебре.
Тихо плещутся в пруду
Караблюды на виду...

— Что за чудные звери в твоем стихотворении! — воскликнула Лиза.

— Это лунатические звери, — пояснила Бора. — Саранчайцы — это зайцы с крыльями и лапками, как у саранчи, а караблюды — это такая разновидность рыбоверблюдов.

Примагуркам очень рад
Жираблох запрыгнул в сад.
Догозмей чешуйным глянцем
Манит гокота для танца.
Цветоклоп шуршит, а рядом
Тыксова сверкает взглядом.
Муховорка в бубен бьет,
Певчая метла поет!
Так, когда луна восходит,
Всякое зверье выходит.
Светом трепетной луны
Все они побеждены!

— Готово! — хохотала фея.

— Слава Богу! — ответила Лиза. — А то мне даже страшно стало от таких зверушек! Кажется, я скоро сама стану лунатиком!

— Это потому, что ты совсем не разбираешься в

лунозоологии! — смеялась Бора. — Жираблохи — это такие очень веселые звери, полублохи-полужирафы. Догозмей — это дог улучшенной породы, который так вырос в длину, что начал змеиться. Гокот, или горшечный кот — это самый обыкновенный кот, у которого вместо головы вырос горшок; разница не так велика, всего лишь две лишние буквы, «г» и «о», перед «котом». А примагурки — это желтые и розовые примулы, на которых растут огурцы, четвёртый класс третьего порядка системы Линнея! А цветоклоп, насколько я помню, принадлежит к восемнадцатому классу девятого порядка и представляет собою разновидность незабудки, у которой вместо цветочков — клопы! Для составления букетов он, конечно, не годится, потому что воняет и кусается! Муховорка — это муха, сделанная из железной воронки, она ловит настоящих мух и умеет летать и жужжать. Ну, а певчая метла — это просто метла, которая умеет петь; это и так понятно!

— А тыксова? — спросила Лиза.

— Это тыква, которая от долгих размышлений порядком осовела. Она постепенно обросла перьями и, по крайней мере, сверху превратилась в птицу. Они очень общительные и всегда держатся стаями.

— Я бы хотела на них посмотреть, — сказала Лиза. Но при этом она невольно зевнула.

— Ты устала, Лизочка, — улыбнулась фея. — Пойдем, я отведу тебя в постель!

Она подхватила девочку на руки и принесла ее к окну спальни. Потом два раза поцеловала, обернула простыней и ловко бросила прямо в кровать. Лиза мягко опустилась на простыню, повертелась и поправила подушку. Но спалось ей в ту ночь неспокойно: во сне она видела рыбоверблюдов и жираблох и противных цветоклопиков...

***

На следующий вечер эльфик Шнук прилетел к юной фее очень веселый и приветливый, как будто вчера ничего и не случилось.

— Барышня Бора, — спросил он, — можно мне принести Лизу?

— Конечно, Шнучик, — отвечала фея. — Неси скорее!

Как и в прошлый раз, эльфик влетел в комнату, разбудил девочку, дал ей волшебную ветку сирени, завернул в простыню и быстро выпорхнул с нею из окна. Фея сидела у фонтана и поджидала эльфика с его драгоценным грузом. Он не заставил себя долго ждать и через пару минут уже показался над деревьями. Но стоило ему очутиться над фонтаном, ка он неожиданно выхватил у Лизы из рук ветку, и распустил узел простыни. Бедная девочка со всего размаха плюхнулась в воду бассейна! Фея наклонилась над водой и протянула ей руку, но Шнук, который успел залететь ей за спину, дал ей такого щелчка, что она тоже свалилась в воду. Обе подружки, вылезая из бассейна, фыркали и отряхивались, как две мокрые курицы!

А Шнук сверху насмехался над ними:

— Вот, в другой раз будете знать, как играть эльфом вместо мячика!

К счастью, в бассейне было очень мелко, и они легко выбрались из воды. Бора нисколько не обиделась, потому что больше всего на свете любила всякие шалости и проказы, даже если при этом доставалось ей самой. Она легонько подула в лицо девочке, последние капельки скатились на землю, и в несколько минут обе совершенно высохли.

— Шнук! — сказала фея. — Раз ты сыграл с нами такую прекрасную шутку, так уж будь добр, придумай нам, чем бы нам еще заняться!

— Я знаю, чем! — отвечал эльфик. — Собака Лизиного дяди-поэта — на редкость противный мопс, а между тем влюблен он ни много, ни мало, как в большую белую лилию — вон ту, что растет внизу у озера! Этой ночью он хочет сделать ей свадебное предложение. Я думаю, нам надо ему помочь!

Шнук повел девочек на поляну, где они укрылись за большой гипсовой вазой, в которой рос фикус с широкими листьями. Прямо перед ними цвела великолепная белая лилия. Бора хотела было с нею сговориться о том, как им лучше провести мопса, но тут невдалеке послышался визгливый лай. По дорожке степенно вышагивал жирный мопс. По такому случаю он надел новенький ошейник с большим пышным бантом.

— Он омопсился от моего дяди-поэта! — шепнула

Лиза.

— Само собой! — промурлыкала фея, давясь от смеха. — Все мопсы мопсят!

Мопс держал в зубах маленький листочек бумаги и старательно его разглядывал.

— Готова поспорить, он хочет показать, что тоже кое-чему научился у своего хозяина, — тихо сказала фея. — Он принес лилии объяснение в стихах!

Так и оказалось. Мопс остановился перед лилией, почтительно поклонился, вздохнул, почесался задней лапой и начал:

О, белейшая из белых!
О, сладчайшая из сладких!
Знаю я — мой слезный голос
Ты послушаешь украдкой!
О, услышь меня, цветочек!
Ты — моей души царевна!
Чтобы был у нас щеночек,
Будь ко мне не очень гневной!
Чудо-лилия, нам небо
Мопсолилию подарит!
Радостей семейной жизни
И волшебник не представит!
Ты меня — для вящей славы —
Избери своим героем!
Ни медведи, ни удавы
Не посмеют тебя тронуть!
Гав! Кто вздумает, о Лилья,
Здесь еще в любви признаться,
Пусть простится с этим миром —
Я сожру его на завтрак!

Кончив, мопс дико оскалил зубы и заозирался по сторонам, а потом вновь обратил влюбленный взор на лилию. — Погоди же! — шепнул Шнук. — Сейчас я тебе храбрости поубавлю!

С этими словами он вылетел из своего укрытия, встал прямо перед мопсом, надул щеки, раскинул руки в стороны и громко закричал:

— Кто тут смеет приставать с нелепыми объяснениями к моей невесте, барышне Лилии?

Мопс, который, конечно, никаким героем не был,

а только хотел казаться таковым, тут же поджал свой коротенький хвост и задрожал от страха.

— Я тысячу раз прошу прощения! — завизжал он. — Я не знал, что девушка уже помолвлена!

— Так! — крикнул эльф. — Это мне уже нравится. Так,значит, вы один из тех подлых парней, которые пристают к благородным девицам?

— Извините, прошу вас! — хрипло выдавил из себя мопс. — У меня были самые благородные намерения! Я хотел создать с барышней настоящую семью!

— Фу! — вскричал Шнук. — Еще не лучше. Вы что, вообразили себе, будто барышня Лилия сможет терпеть возле себя такой блохастый комок шерсти, как вы?!

— Я признаю свою вину, — отозвался мопс. — Позвольте мне уйти домой!

Но эльф преградил ему дорогу.

— Ну, уж нет! — крикнул он. — Ты, трусливое чучело! Ты оскорбил мою невесту и должен сразиться со мной насмерть!

— Ах, Боже мой! — захныкал мопс. — Позвольте мне уйти домой! У меня дома старая тетя, которая будет очень несчастна, если со мной что-нибудь случится! Кроме того, я не умею сражаться никаким оружием, даже кусаться и то не могу, так как у меня два зуба с дуплами!

— Тогда будем боксировать! — заявил Шнук. — Защищайся, кривоножка, если сумеешь!

С этими словами он так треснул мопса по носу, что тот взвизгнул и дико залаял. Мопс защищался, как умел, но ничего не мог поделать против своего ловкого противника. Наконец до него дошло, что спасти его может только немедленное бегство. Повернувшись к эльфику спиной, он быстро покатился прочь, как взъерошенный шарик. Но эльфик прыгнул ему на спину и заставил трижды прокатить себя вокруг поляны. Только после этого эльф оставил свою жертву, и мопс пустился домой, поджав хвост.

— Больше он не будет объясняться в любви лилиям! — смеялся эльфик, вернувшись к девочкам.

***

Еще несколько вечеров подряд эльфик носил Лизу в сад к фее Боре. Бывало, что и днем Лиза иногда

встречалась со своими друзьями под кустом старой бузины у садовой стены. Правда, днем они никогда не показывались в своем настоящем обличьи, боясь, что их поймает садовник, который все еще очень злился на них за едучий порошок. Поэтому при свете солнца юная фея летала по саду певчей птичкой с пестрыми — красными и желтыми — перьями, а эльфик превращался в толстого, взлохмаченного воробья. Маленькая девочка играла с птичками, а они кричали — пип! пип! — и без страха летали вокруг нее.

Вот и лето подошло к концу. Однажды ночью Лиза застала свою подругу Бору задумчиво сидящей на краю фонтана.

— Я рада, — сказала он, — что теперь я скоро смогу вернуться в Авалун. Только что приходил мой отец, могучий Северный Ветер. Он скоро полетит в страну фей и возьмет меня с собой!

— Ах! — жалобно сказала Лиза. — Как ужасно, что ты улетаешь! А ты не можешь взять меня с собой?

— Нет, — ответила фея. — Чего нельзя, того нельзя. Может быть, когда-нибудь я сама буду королевой и вызову тебя, но это случится еще не скоро. Знаешь, Лиза, мне самой жалко расставаться. Я очень полюбила тебя и твой сад!

Она поцеловала девочку в щеку и продолжала:

— И еще об одном мне надо подумать! Я ведь должна была учиться здесь деликатности, и теперь ума не приложу, как моя мама узнает, что я в самом деле чему-то научилась!

Тут Лиза сообразила:

— Послушай, милая Бора! — сказала она. — Хочешь, я подарю тебе школьный табель? Мы поставим в нем оценки, и ты принесешь его своей маме.

Юная фея захлопала в ладоши и крикнула:

— Да, да! Пожалуйста, Лиза! Принеси его мне завтра в полдень под старую бузину!

Потом она играла с Лизой и кустами в хоровод — «каравай-каравай, кого хочешь, выбирай» — до тех пор, пока девочка не устала и эльф не унес ее в постель.

***

На другое утро, едва солнце показалось над деревьями, Лизе удалось ускользнуть в сад. Дул свежий

ветер и срывал с ветвей полуувядшие листья. Девочка побежала на любимое место у садовой стены.

Перед ней на ветке села знакомая птичка.

— Пип! Пи-ип! — чирикнула она и пропела несколько звонких трелей, приветствуя Лизу. А воробей, который, конечно же, был эльфиком, ткнулся клювиком в руку Лизы.

— Пип! Пип-пип! — сказала пестрая птичка.

Но Лиза уже хорошо понимала птичий язык — недаром она так часто приходила к старой бузине.

— Конечно, принесла! — отвечала она.

Она достала из кармана большой листок бумаги и прочитала:

Т а б е л ь
для феи Боры, дочери королевы Маб
из страны фей Авалун

1. Прилежание: хорошо.
2. Поведение: хорошо.
3. Деликатность: отлично. Сделаны большие успехи.

Подпись: Лиза Ремер, четвертый класс.

— Пип! Пип! — прочирикала фея в птичьем костюме.

— Я рада, что тебе нравится! — ответила Лиза. — Ну, передавай привет своей маме, а вашему надменному господину министру можешь насыпать от меня едучего порошка на подушку!

— Пип! Пи-и-ип! Пип! — заверила ее птичка.

В это мгновение по кустам пронесся сильный шум. Ветви гнулись, и целое облако увядших цветов и листьев пронеслось в воздухе.

Певчая птичка подлетела к Лизе, села ей на подбородок и клювиком поцеловала в губки. Зато воробей-Шнук вскочил ей на плечо и укусил за мочку уха.

— Ай! — взвизгнула Лиза. — Наглый мальчишка!

Обе птички захлопали крылышками, взлетели и понеслись на юг.

— Прощайте! Прощайте! — кричала Лиза.

— Пип! Пип! Пип! — чирикали птички.

— Боже мой! — спохватилась девочка. — Ведь фея забыла свой табель!

Но тут сам Борей, могучий Северный Ветер, который провожал фею и эльфика домой, вихрем влетел в сад, поднял бумажный листок с земли и понес его через все страны и времена, в далекий Авалун, волшебное королевство фей.

СКАЗКА ПРО БОЛЬШОЙ ПРУССКИЙ ГЕРБ

О том, как обрадовался господин Бендер, став поставщиком королевского двора, можно судить по тому, что он тотчас же заказал себе в службе гофмаршала рисунок большого прусского герба. Этот рисунок он приказал разместить вверху на почтовых конвертах. При этом его мало беспокоило то обстоятельство, что клиентам придется теперь оплачивать дополнительные почтовые издержки — ведь конверты теперь стали такими большими, что превышали нормальный вес почтовых отправлений.

Все дело в том, что господин Бендер был очень богатым и очень патриотически настроенным человеком. Он говорил, что эти самые дополнительные издержки нужно приносить на алтарь патриотизма как жертву, и для того, чтобы люди жертвовали на алтарь патриотизма, он как раз и приказал снабдить конверты гербом. Но в школе никто ничего не знает об этом гербе, и потому господин Бендер велел домашнему учителю своего сына Отто найти книгу про большой прусский герб и самым точным и исчерпывающим образом объяснить эту книгу Отто, который должен был выучить ее наизусть. При этом он добавил, что лично проверит у мальчика основательность его по-

знаний.

Вот так и вышло, что маленький Отто Бендер должен был остаться в среду после полудня дома вместо того, чтобы пойти гулять со своим другом Юппом Кветшбюделем. Он должен был учить гербы, а это совсем не так просто и приятно, как кажется, и он порядком завидовал Юппу, что его отец никакой не поставщик королевского двора, а простой упаковщик, и потому ему нет нужды знать про всякие там гербы гербы. Домашний учитель запер Отто в классной комнате и сказал, что не выпустит его до тех пор, пока тот не научится с начала до конца и в обратном порядке перечислять и объяснять все пятьдесят два герба. Отто сначала захлопнул книгу и решил, что он вообще не будет ничего учить, но потом подумал, что тогда ему, пожалуй, придется и следующую среду сидеть взаперти, так что, пожалуй, лучше все-таки засесть за изучение гербов теперь же.

Поэтому он раскрыл книгу и стал внимательно рассматривать цветные картинки, на которых было изображено множество очень страшных и совершенно небывалых зверей. Он учил книгу с таким усердием, что совсем не замечал, как летит время. Вдруг он услышал, как снаружи кто-то негромко свистнул. Он подошел к окну и увидал своего друга Юппа Кветшбюделя, стоявшего посреди сада.

— Как ты сюда попал? — спросил он.

— Я перелез через стену, чтобы меня никто не видел, — ответил Юпп. — Я хочу, чтобы ты пошел со мной на Киттельбах в рощицу Вилькербуш ловить головастиков.

Отто очень хотелось пойти вместе с другом ловить головастиков. Но он только вздохнул и сказал:

— Мне нельзя выйти из дому, я должен учить гербы. Учитель запер меня.

Юпп глядел вверх на окно и думал.

— Спрыгнуть вниз ты не сможешь, — сказал он. — Окно слишком высоко. Знаешь что, сползай-ка вниз по водосточной трубе!

Отто посмотрел на трубу, но она была так далеко от окна, что он с трудом мог дотянуться до нее руками. Огорченный, он опустил руки и сказал:

— Мне кажется, из этого ничего не выйдет!

— Как это не выйдет? — крикнул ему Юпп. —

Трусливый неженка! Хорошо, тогда я пойду ловить головастиков один!

Он сделал два шага вглубь сада и еще раз обернулся.

— Кстати, в этом ручье водятся раки, — сказал он, — и еще маленькие рыбки-колюшки!

Это было уже слишком. Теперь Отто никак не мог остаться дома.

— Подожди, Юпп! — закричал он. — Я попробую!

Он вспрыгнул на подоконник и схватился за желоб. Казалось, что он держится крепко, и мальчик без страха выбрался наружу. Однако, едва он повис на водосточной трубе, как она треснула по всем швам, и одна большая железная скоба — как раз над ним — отделилась от стены. Изо всех сил он пполз вниз, но тут поддался и весь остальной желоб. Он камнем полетел вниз, но извернулся в воздухе и благополучно приземлился на ноги, и только жестяная труба сильно треснула его по голове, набив на ней здоровенную шишку.

— Молодец! — сказал Юпп и взял его за руку. — Ну, а теперь бежим скорее! Дурацкая труба наделала такого шуму, что наверняка сейчас кто-нибудь прибежит.

Оба мальчика пробежали через сад, перелезли через стену и помчались полями. Солнце стояло высоко и пекло так сильно, что они были рады, когда наконец оказались в прохладной тени деревьев.

— Давай искупаемся, — предложил Юпп, — и заодно будем ловить головастиков!

Они сняли одежду и спустились в прозрачные воды ручья. Юпп взял свою большую фляжку, наполнил ее водой и оба принялись ловить и заталкивать в нее маленьких лягушек и головастиков, а также жучков, улиток, водомерок и колюшек. Но им не попался ни один рак, хотя именно раков-то друзьям хотелось поймать больше всего.

— Нет ли у тебя с собой чего-нибудь сдохлого? — спросил Юпп.

— Нет, — ответил Отто. — А зачем?

— Мой отец сказал, что раки всегда ловятся на что-нибудь сдохлое, — объяснил Юпп. — Они очень любят падаль. Может быть, нам убить лошадей твоего отца, и тогда нам будет на что ловить раков?

— Как же мы притащим сюда дохлую лошадь? — возразил Отто.

Юпп понял, что это и в самом деле непросто. Он немного подумал, и ему пришла в голову другая идея.

— Придумал! — воскликнул он. — На следующей неделе нам надо уговорить Карла Трубица из нашего класса достать нам дохлую кошку. Ее наверняка можно выменять у него на дюжину побрякушек, а то, что она у него имеется, это точно! Недаром же его отец торгует дичью!

Эта мысль показалась Отто дельной, и он тут же высказал готовность пожертвовать для этой цели своими стеклянными шариками.

На сегодняшний день оба мальчика отказались от охоты на раков и продолжали собирать в свою фляжку всех водяных тварей, которые только попадались им в руки.

— Я не знаю, в чем дело, — сказал вдруг Отто, — но у меня что-то сильно кружится голова.

— Ничего удивительного! — рассмеялся Юпп. — У любого закружится, если получить водосточной трубой по макушке.

— Мне страшно холодно, — сказал Отто. — Я просто как во льду.

— Ну, тогда пойдем, — решил его друг, — полежим на солнце.

Мальчики вылезли из воды и пробрались сквозь кусты на травянистую полянку. Солнце стояло уже не высоко, но его света еще вполне хватало, чтобы обогреться. Юпп от души развалился в сочной траве.

— Ну, как, Отто, — спросил он, — теперь тебе лучше?

— Странно! — ответил Отто. — Сейчас мне так жарко, будто я залез в печку.

— Ну тогда пойдем опять купаться! — предложил Юпп, и — раз-два-три — они нырнули обратно в воду.

Некоторое время они плескались в ручье, а потом Отто снова сказал:

— Послушай, потрогай меня! Мне кажется, я становлюсь все горячее!

Юпп потрогал сначала руку Отто, потом ногу, а потом шею. Его друг и в самом деле был страшно

горячий, и это показалось ему очень подозрительным.

— Хм! — сказал он, — Наверное, будет лучше, если мы пойдем домой. К тому же скоро станет темно.

Оба мальчика оделись и отправились домой. Юпп нес в руках большую фляжку. Однако, когда они дошли до вязовой аллеи, Отто вдруг сказал:

— Юпп, у меня сильно кружится голова!

Юпп поглядел на своего друга и испугался: тот был белый, как мел. Он взял его подмышки и почти поволок к дому.

— Я страшно хочу пить, — сказал Отто. — О, только бы один глоток воды!

Юпп оглянулся, но, кроме как в грязной уличной канаве, воды нигде не было. Тогда он передал другу свою фляжку.

— Только будь осторожен, — крикнул он ему, — и не выпей вместе с водой колюшек, они такие острые!

Отто основательно приложился к фляжке, и они пошли дальше.

— Подожди, — сказал Юпп, — я выброшу фляжку — тогда мне будет удобнее держать тебя.

Со вздохом сожаления он вытряхнул всех изумительных созданий, которых им удалось поймать, в сточную канаву. Он полагал, что там им будет совсем неплохо. Затем он выбросил и саму фляжку, взял своего друга за руку и перекинул ее себе через плечо. Теперь они шли гораздо медленнее. Солнце уже зашло, когда, смертельно усталые, они наконец добрели до дома Отто.

— Только бы они ничего не заметили! — сказал Юпп и не без робости нажал на кнопку звонка.

Послышались тяжелые шаги, и учитель, который давно заметил исчезновение Отто, открыл им дверь. Он сделал страшно рассерженное лицо и, если бы в этот момент через прихожую не походила мать Отто, наверняка начал бы браниться. Обычно бедный Юпп очень стеснялся родителей своего богатого друга, но на этот раз он почувствовал, что ему нужно выступить в его защиту. Он набрался смелости и произнес:

— Госпожа Бендер, Отто ни в чем не виноват! Это все я один придумал... И к тому же он страшно

горячий и у него головокружение!

Затем он стремглав бросился на другую сторону улицы и там спрятался за дерево. Однако, когда он увидал, что добрая госпожа Бендер обняла сына, поцеловала и повела в дом, он решил, что его другу ничего не грозит. А потому, как ни в чем ни бывало засунул руки в карманы и насвистывая песенку, он не спеша побрел домой.

***

Еще когда госпожа Бендер вела своего сына наверх по лестнице, она поняла, что он по-настоящему болен. Она тут же послала домашнего учителя к врачу и, в ожидании его прибытия, стала расспрашивать Отто о том, что он делал со своим другом после полудня. Мальчик рассказал ей все без утайки, но очень тихим и слабым голосом. Он чувствовал себя настолько уставшим, что без возражений позволил раздеть себя и уложить в постель. Он тут же закрыл глаза, и когда служанка принесла для него тарелку с бульоном, матери пришлось кормить его с ложечки. Ему стало необыкновенно хорошо, когда мама положила ему на лоб свою узкую прохладную руку. Ему хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Потом он услышал, как постучали в дверь и как мама встала, чтобы встретить доктора. Он закрыл глаза и притворился спящим, но при этом совершенно отчетливо слышал, о чем они говорили между собой. Доктор взял его руку и стал считать пульс, а затем приставил к груди стетоскоп и стал простукивать ему ребра. Наконец он сказал маме:

— О нет, ничего страшного не случилось! Это всего лишь легкая лихорадка. Укройте мальчика чем-нибудь теплым и дайте ему хорошенько выспаться, а утром все снова будет в полном порядке!

Потом Отто почувствовал, как мама легко поцеловала его в оба глаза и тихо вышла вместе с доктором из комнаты. После этого он остался в своей кровати один. Он лежал очень тихо, не шевелясь, и постепенно его окутывал уютный сумрак полусна.

Внезапно ему послышалось, будто за окном кто-то свистнул. Сначала он не ответил, но когда свист повторился, он подумал, что это, должно быть, Юпп, который что-то хочет сказать ему. Он встал и подошел

к окну, но никого не увидел. Может быть, он спрятался в кустах? Он принялся ощупывать стену, чтобы добраться до водосточной трубы, и в самом деле, она снова была на месте. Он осторожно выскользнул из окна и стал потихоньку сползать в сад, как он это делал днем.

— Юпп! — негромко крикнул он, добравшись до земли. — Юпп!

Но никто не отвечал ему. Должно быть, он уже перелез через стену обратно в лес, подумал Отто, пересек сад и выбрался наружу. Он оглянулся, но его друга нигде не было видно.

— Что ж, буду его искать, — сказал мальчик и пошел вперед.

Странно, но местность показалась ему совершенно незнакомой. Еще ему показалось удивительным, что было так светло, хотя он точно знал, что уже давно наступила ночь. По краейней мере, солнца на небе ее было, врпочем, как и луны. И все же, несмотря на это, было совсем светло. И наконец, совсем уж непонятным было то, что он полностью одет, хотя он хорошо помнил, что, когда он вылезал из окна, на нем была одна лишь ночная рубашка. Все это было довольно загадочно, но у него совершенно не было времени размышлять над этим. Дело в том, что в этот момент рядом с ним прозвучали два грубых низких голоса, которые приказали ему:

— Стой!

— Стой!

Отто испуганно поднял глаза и увидел прямо перед собой двух огромных великанов с длинными белыми бородами. Они были одеты в фартуки из листьев дуба, а на головах у них были венки, сплетенные из дубовых веток. Кроме этого, на них не было ничегошеньки. Каждый великан был вооружен большой дубинкой. Один держал ее в правой, а другой — в левой руке.

— Что тебе здесь нужно? — опросил первый Великан.

— Вход воспрещен! — закричал второй Великан.

— Извините, пожалуйста, уважаемые господа, — робко сказал Отто, — я хочу найти моего друга Юппа Кветшбюделя. Может быть, вы видели его?

— Нет! — крикнул первый Великан. — Я не знаю

никакого Кветшбюделя!

— А кто ты, собственно такой? — спросил второй Великан несколько мягче.

Отто ответил:

— Я сын поставщика двора Бендера.

Тогда оба Великана отвесили ему по глубокому поклону.

— Значит, — сказал первый Великан, — поставщик королевского двора — твой отец? В таком случае тебе можно пройти сюда.

Оба Великана отступили в сторону и Отто быстро прошмыгнул между ними. Он был рад поскорее уйти от этих жутких дикарей и потому одним махом перескочил через узкий мостик, перекинутый через пруд, на поверхности которого покачивались красные листья водяных растений. Затем он вышел на большое поле желтых люпинов и увидел трех могучих львов, направлявшихся к нему. Львы эти были совершенно голубыми и такими прозрачными, словно были сделаны из стекла. Впереди шел большой лев, за ним — два поменьше. Первый лев гордо выступал на задних лапах, жонглируя на ходу девятью красными сердцами, которые он ловил и снова подбрасывал в воздух передними лапами и хвостом. Он был очень занят: каждый раз ему не удавалось поймать несколько сердец, и они падали на землю, так что ему приходилось быстро наклоняться и поднимать их. Если бы он не успел поднять эти сердца, два меньших льва тут же сожрали бы их. Одно сердце, которое он подбросил хвостом слишком высоко, упало между люпинами прямо перед Отто. Мальчик поднял его и возвратил льву.

— Большое спасибо! — сказал Лев, не прекращая жонглировать.

— Не стоит благодарности! — вежливо ответил Отто. — Простите, но зачем вы бросаете эти сердца в воздух?

— В память о Ричарде Львиное Сердце, — с достоинством ответил Лев. Дело в том, что я родом из Люнеберга. Вообще-то, это очень утомительное и ужасно скучное занятие. Я просто не знаю, куда мне детвать все эти сердца. Если я оставлю их лежать на земле, то эти малыши немедля сожрут их.

— Я могу вам помочь, — сказал Отто. — Дайте

сердца мне, и я надежно спрячу их у себя в карманах. Может быть, тогда вы согласились бы немного проводить меня. Дело в том, что я совершенно не ориентируюсь в этой местности. Голубой Лев с радостью согласился, и Отто собрал все девять сердец и засунул их в карманы своей курточки.

— Если хочешь, — сказал Голубой Лев, — мы можем для начала сходить в гости к моему соседу, Рыбогрифу. — С этими словами он повел мальчика на берег прекрасного, чистого пруда. Когда они пробрались через росший у воды камыш, Лев громко закричал: — Эй ты, старый померанец, куда ты на этот раз запропастился? Ну-ка, выходи скорее, к тебе пришли гости!

Сначала все было тихо, но потом с верхушки старой сосны поднялась гигантская птица и, рассекая воздух мощными взмахами крыльев, понеслась прочь. Достигнув середины пруда, она камнем ринулась в воду. Отто, глядевший на нее во все глаза, только теперь заметил, что зверь этот на конце своего тела имел огромный рыбий хвост, которым и бил по воде. «Так значит, это рыба, а вовсе не птица!» подумал он.

Между тем чудовище быстро подплыло к берегу и выползло через камыш на сушу. Только тут Отто увидел, что оно имело такое же тело и такую же гриву, как и Лев. — Эй, сосед, как дела? — сказало красное существо. — Что это ты сегодня прихватил мне на завтрак?

При этом странное создание так жадно посмотрело на Отто, что ему стало не по себе. Но Голубой Лев вытянул вперед свои могучие лапы и закричал.

— Смотри, не вздумай набить свою утробу моим гостем! У него хранятся мои сердца. — И тут он обратился к Отто: — Это и есть Рыбогриф, единственный Рыбогриф на всем белом свете. Как он тебе нравится?

— Хорош, — сказал Отто.

— Слушай, Рыбогриф, — продолжал Голубой Лев, — нам надо переплыть через этот пруд, чтобы навестить нашего друга Пеликана. Не поможешь ли ты мальчику перебраться на другой берег?

Красный Рыбогриф состроил ужасную гримасу, но все же разрешил Отто забраться к себе на спину.

Затем он прыгнул в озеро и, махая могучими крыльями и хвостом, помчался так быстро, что Лев, который плыл следом, еле-еле поспевал за ним. На другом берегу он бросил своего седока в камыш и поплыл обратно. Отто и его голубой приятель оказались на открытой местности, поросшей чертополохом. Вдоль берега тянулась высокая изгородь с колючей проволокой.

— Дело в том, что Рыбогриф — очень жестокий хищник, — пояснил Лев. — Ему ничего не стоит слопать у бравого Пеликана его птенцов. Поэтому здесь и поставлена колючая изгородь. Рыбогриф не может перелезть через нее.

— А как же пройдем мы? — спросил Отто.

— Смотри! — сказал Голубой Лев и показал мальчику на крепко запертые ворота, в которые он трижды ударил одним из своих сердец. Ворота открылись и тут же захлопнулись за ними. Они пошли вперед, и вскоре увидели перед собой огромное гнездо, в котором сидел белый Пеликан вместе со своими птенцами. Пеликан хлопал крыльями и вытягивал перед собой длинный клюв, готовясь к бою, но как только увидел Голубого Льва, то тут же пригласил гостей подходить поближе и располагаться, как дома.

— Как поживают твои детки, дядюшка Пеликан? — спросил Голубой Лев.

— Слава богу, растут помаленьку, — отвечал Пеликан. — Я как раз намеревался немножко покормить их.

С этими словами он рубанул острым клювом свою собственную грудь, да так, что во все стороны брызнула кровь. Затем он дал своим птенцам подкрепиться красной теплой жидкостью.

— И ты все время кормишь своих птенцов одной только кровью? — спросил Отто.

— Ах! — сказал Пеликан. — Мой пруд такой маленький, а прекрасное озеро, что так богато рыбой, нам недоступно, ибо там живет этот ужасный Рыбогриф. Я же не могу допустить, чтобы мои малыши умерли с голоду!

— У меня есть для них кое-что получше! — смеясь, сказал Отто, и с быстро, не успел Лев опомниться, засунул птенцам в клювы сердца, которые тут же и были проглочены.

Голубой Лев очень рассердился. Он был готов тут

же разорвать в клочья дерзкого мальчишку.
— Мои сердца! — заревел он. — Верни мне мои сердца!

Но Отто увернулся от него и стал бегать вокруг пеликаньего гнезда, крича на ходу:

— Радуйся, теперь тебе больше не надо жонглировать ими!

— Но господин Церемониймейстер такой строгий! Он наверняка уволит меня, если при мне не окажется сердец! — жаловался Лев.

Отто попытался успокоить его.

— Ну и что? В таком случае ты можешь пойти работать зоопарк!

— Как? — разгневанно закричал Лев. — Что ты сказал? Зоопарк? Ты предлагаешь мне пойти работать в зоопарк?

С этими словами он бросился за мальчиком с такой быстротой, что тому едва удалось ускользнуть. Они принялись бегать вокруг гнезда. Лев наверняка настиг бы мальчика, если бы благодарный Пеликан и его птенцы не стали сверху клевать его своими клювами.

— Белая Лошадь, Белая Лошадь, на помощь! — закричал Пеликан.

И тут с той стороны стороны, где начиналась красная земля, могучими прыжками примчалась замечательная снежно-белая лошадь.

— Прыгай на нее скорее! — закричал Пеликан маленькому мальчику, и тот не заставил повторять себе дважды. Он крепко ухватился за гриву и уселся на спину Белой Лошади, которая тут же припустила прочь с такой скоростью, что Голубой Лев, который кинулся было догонять ее, скоро остался далеко позади. А бравая лошадка продолжала скакать со своим всадником по узкой тропе. Внезапно Отто услыхал вдалеке веселый звук почтового рожка.

— Это Почтальон из Оранин, — крикнула ему Белая Лошадь. — Он разносит по нашей стране новости. Пойдем-ка узнаем, что нового на свете!

В мановение ока она добралась до ближайшей возвышенности, и Отто разглядел невдалеке красно-желтый фрак бравого Почтальона, который скакал еще на одной на белой лошади.

— Он едет на моем двоюродном брате, уроженце Лавенберга, — пояснила Белая Лошадь.

Обе лошади, довольные встречей, заржали, а Почтальон прокричал:

— Привет тебе, Вестфальский Скакун! Как хорошо, что я тебя встретил!

С этими словами он вытащил из нагрудного кармана большой свиток и начал читать:

— «Мы, граф Штильфред фон Алькантара, Главный Гофмейстер и Церемонимейстер, обращаемся настоящим посланием ко всем верным гербовым тварям и созданиям прусской короны, а именно орлам, грифам, львам, быкам, медведям, лошадям, оленям, петухам и пеликанам, а также ко всем прочим ползающим и летающим созданиям всех окрасок и форм! Мы сообщаем, оповещаем, приказываем, распоряжаемся, указываем и устанавливаем, что все они немедленно и тот же час должны собраться на красно-белом поле Мансфельда, где состоится великое единоборство, которое Мы также именуем поединком и в равной степени турниром, и это единоборство, и что единоборство это начнется, состоится, случится, произойдет между Быком из Нидерлауфица и Черной Курицей из Хеннеберга. Для беспристрастного судейства в нем на должность арбитра и посредника нами приглашен сын господина Бендера, поставщика двора его величества, Отто Бендер. Он избран, выбран, назначен на эти должности и окончательно утвержден в них!»

— Но ведь Отто Бендер — это я! — изумленно закричал мальчик.

— Да ну! — удивился Почтальон. — В таком случае, нам необходимо поспешить на место поединка! Великое Собрание, наверное, уже ждет нас.

Путь их пролегал по очень странной местности: повсюду, куда ни кинь взгляд,на дорогах стояли кресты — черные, красные, желтые и белые, а промежду этих крестов носилась, как угорелая, большая черная тачка.

— Похоже на кладбище, — сказал Отто.

— Так оно и есть, — сказал Почтальон. — Здесь погребены епископы, умершие много сотен лет тому назад. А это взбесившаяся тачка, она бегает между могилами и не знает ни минуты покоя.

Между тем они достигли красно-белого поля Мансфельда. Посреди него был огорожен круглый участок, с одного краю которого была сооружена просторная

трибуна. Отто и Почтальон были приглашены на почетные места. Здесь же были и два ужасных Великана, которых Отто встретил накануне — только теперь у них в руках были не дубины, а длинные штандарты, которые они склонили к земле, когда Отто уселся на отведенное ему место. Вокруг сидели и стояли совершенно немыслимые создания. В частности, было много красных, белых, черных, желтых и голубых орлов и львов. Почтальон затрубил в свой почтовый рожок, и с обеих концов арены выступили два льва-герольда — красный и белый. За ними следовали участники поединка. Бык из Нидерлауфица был огромным, кроваво-красным зверем с мощными рогами. В носу у него было продето огромное железное кольцо. Он шагал, сильно высунув языком и наклонив голову, а с противоположной стороны выступала Черная Курица, которая, наоборот, высоко задирала голову и время от времени поклевывала с земли зернышки и камушки.

— Тьфу, как это вульгарно! — крикнул один из знатных орлов. — И тебе не стыдно, старая Курица?

Вместо ответа Курица захлопала обоими крыльями и громко закричала : «Ку-ка-ре-ку-у!

— Ты только погляди на эту Курицу! — промычал Бык. — Она кричит «кукареку» так, будто она не курица, а петух!

— Молчи, глупый бык! — закричала в ответ Курица. — Сам-то ты даже яйца снести не можешь!

— Да я и не собираюсь нести яйца, — заревел Бык, — Я не какая-нибудь там наседка! А вот ты считаешься птицей, а летать не умеешь!

— Я и без того могу выклевать твои дурацкие бычьи глаза! — проквохтала наседка и стала снова спокойненько поклевывать зернышки.

— Ставлю на Быка! — вскричал тут Горный Лев. — Ставлю двадцать пять пфеннигов на Быка!

Он подошел к Белому Франкфуртскому Орлу, который держал ставки и записывал все пари в большую книгу.

— Я тоже ставлю на Быка! — закричал Черный Гриф. — Пятьдесят пфеннигов!

— И я! И я! — закричали все наперебой. Львы и орлы, лошади и огромные Великаны и даже олень из Зигмаринга — все, как один, поставили на Быка.

Черный Силезский Орел тоже хотел поставить на

Быка, причем целую марку. Но когда он пожелал внести свою ставку, вдруг обнаружилось, что он забыл свое портмоне дома, а потому он спросил, не может ли кто-нибудь из присутствующих одолжить ему эту сумму. Но никто не хотел одолжить ему, только белый орел с очень кривым клювом сказал, что может дать ему целую марку в долг, но только с большими процентами. И, сверх того, Черный Орел должен дать ему в залог этой суммы свою корону, потому что его собственная корона находится сейчас у господина Церемонимейстера.

Черный орел из Силезии отнюдь не обрадовался такому предложению, но вынужден был согласиться, потому что в противном случае он просто не смог бы поставить свой кон. Поэтому он расстался со своей прекрасной короной, которую Белый Орел тут же нацепил себе на голову. После того, как он проглядел после этого все заключенные зрителями пари, выяснилось, что один только Пеликан поставил на Курицу два пфеннига, а все прочие звери поставили за то, что победителем в единоборстве выйдет Бык. Отто порылся в своих карманах и, к счастью, нашел один-единственный грош, который и поставил на бедную Курицу. Белый Орел внес это в свою книгу, после чего объявил, что сам тоже хочет поставить на Черную Курицу, причем столько же, сколько все остальные, вместе взятые, поставили на Быка.

Почтальон трижды протрубил в свой рожок, и оба Великана склонили свои штандарты. Это было знаком к началу единоборство. Бык низко наклонил голову, отошел на несколько шагов назад и с яростью кинулся на Курицу. Та ловко отпрыгнула в сторону, и огромный черный бык промчался мимо нее. Она же презрительно повернулась к нему спиной и спокойно подцепила клювом дождевого червя, в то время как Бык готовился к новой атаке.

— Осторожно! Берегись! — закричал ей Пеликан. — Он снова мчится на тебя!

Но это предостережение было излишним: Черная Курица всякий раз отскакивала в сторону, подбирала что-нибудь с земли и, вообще, вела себя так, как будто единоборство ее вовсе не касалось. От этого Бык еще больше озверел, он гонялся за ней, как сумасшедший, и только песок летел во все стороны из-под

его копыт.

— Трусливая несушка! — мычал он. — Ты все время отлетаешь в сторону, как только я приближаюсь к тебе!

— Подожди иемного, старое мыкало! — дразнила его Курица. — Я вот только подцеплю еще одного славного червячка, а уж после возьмусь за тебя по-настоящему!

Бык от ярости потерял остатки самообладания: подумать только, жалкая курица говорит о нем, словно о каком-то червячке! Но когда он, наклонив голову, снова ринулся на нее, Курица вспорхнула вверх и села как раз иа кольцо, продернутое через его ноздри. Бык скорчил очень глупую морду, еще более глупую, чем она у него была от природы. Сначала он даже и не понял, что теперь не может ни ударить ее рогами, ни укусить зубами. Совершенно озадаченный он, остановился посреди арены, а Курица в это время принялась сильно клевать его прямо в нос, да так, что иа песок ручьями потекла кровь. Бык мычал изо всех сил, но он никак не мог стряхнуть с себя Курицу.

— Мычи, мычи себе! — закричала она. — Вот сейчас я выклюю тебе твои глупые глаза. Я очень люблю бычьи глаза на обед!

Бык помчался по арене кругами — он бил хвостом по земле и тряс могучей головой, но все без толку: Черная Курица крепко держалась иа кольце и клевала его прямо в ноздри.

— Так! — кудахтала она. — Если ты иемедлеино не упадешь на колени и ие запросишь пощады, я принимаюсь за твои глаза!

Бык понял, что ему иекуда деваться. А Курица меж тем замахнулась своим клювом ему прямо в правый глаз. Ои очень испугался и упал на колени.

— Признаешь ли ты себя побежденным? — спросила Курица.

— Да, — сказал Бык.

— Тогда проси прощения и скажи, что ты просто глупый Бык! — потребовала Курица.

— Я просто глупый бык и я прошу прощеиия! — жалобно сказал Бык.

— Вот так-то лучше! — сказала Курица и спрыгнула с кольца. — Если ты будешь вести себя, как воспитанный бык, я обещаю научить тебя класть яйца.

Глядишь, со временем и из тебя выйдет хоть какой-нибудь толк! А теперь ты еще один маленький поцелуй на прощание!

С этими словами она еще раз основательно клюнула его в нос и зашагала прочь, роя лапой песок и подхватывая клювом уховерток, что пожирнее.

Почтальон из Оранни снова затрубил в свой рожок и объявил, что Курица победила. В качестве приза победительнице подарили чудесную, совершенно нетронутую навозную кучу. Курица была в восторге от такого щедрого подарка, и ее можно понять. Правда, геральдические звери были немного недовольны исходом поединка, потому что все они потеряли свои заклады. Выиграли же только Пеликан и Отто, но большую часть денег получил Орел из Франкфурта.

В то время как все бегали туда и сюда, обсуждая свои выигрыши и проигрыши, в воздухе раздался свист: это прилетела химера, раскрашенная зелеными и красными полосами.

— О, Венденская Химера, ты появилась слишком поздно! — закричал ей Почтальон. — Бой уже закончился, и Курица победила!

— У меня дурные новости! — прокричала Химера. — Эссенский Медведь забрался в нашу страну и украл Деву-Орлицу! И все из-за того, что ленивые Великаны глазели на турнир, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности и охранять границу!

— Мы должны поймать медведя и отобрать у него добычу! — закричал гордый Прусский Орел. — Кто со мной?

Все в один голос заявили, что готовы немедленно следовать за ним, только один Пеликан сказал, что ему надо к его птенцам, а Курица выразила мнение, что охота на медведя — самый глупый вид спорта. Она предпочла остаться со своей навозной кучей и спокойно нести яйца.

Итак, все отправились в путь. Орлы и грифы летели по воздуху, Отто и Почтальон ехали верхом на своих белых лошадках, а олени, львы и быки бежали за ними. Последними в отряде были Великаны, которые снова взяли в руки свои дубины и сильно бранились.

— А кто такой этот Медведь из Эссена? — спросил

Отто Почтальона.

— Это геральдический зверь из Восточной Фризии, — ответил тот, — так же, как и золотая Дева-Орлица. Господин Церемонимейстер однажды выставил его за дверь для того, чтобы дать больше места для прекрасной Девы. Тот же, естественно, пришел от этого в ярость и теперь, чтобы отомстить, украл юную Орлицу, а вместе с нею — четыре золотые звезды.

Местность становилась все более скалистой. Мощные водопады низвергались с гор, могучие ели и сосны становились поперек дороги. На очередном крутом спуске многим пришлось остановиться, и только орлы и грифы смогли лететь дальше, да еще оба Великана на своих длинных ногах продолжали шагать по каменистой осыпи. Один из них посадил Отто к себе на плечо, так что теперь он мог видеть сразу всю местность. Он крепко ухватился за оба уха Великана, чтобы ненароком не кувыркнуться с такой огромной высоты.

Черный Орел из Нижнего Рейна, летевший впереди, вдруг неподвижно завис в воздухе, затем вместе с другими птицами спустился на землю.

— Вот оно, медвежье логово! — закричал он.

У подножия высокой скалы была навалена целая куча костей и черепов. Это были остатки трапез дикого медведя. Немного ниже был расположен вход, из которого доносился густой храп. Вход был заперт изнутри тяжелым обломком скалы, и, как ни пытались могучие Великаны выкатить его наружу, он даже не пошевелился, так что вскоре им пришлось отказаться от своего намерения. Наконец, один из орлов обнаружил вверху еще одно отверстие. Это была воздушная шахта, которая тоже вела в пещеру, однако она была такой узкой, что через нее не мог пролезть ни один из зверей, не говоря уже об огромных Великанах.

— Я могу залезть внутрь! — объявил тут Отто.

— Ты? — издевательски переспросил его Черный Орел.— Да медведь проглотит тебя в один миг!

— Медведь спит! — сказал Отто. — Если он проснется, я быстро вылезу наружу. Прошу вас только не шуметь, чтобы нечаянно не разбудить его. Один из Великанов поднял его вверх, и Отто медленно по-

полз на животе по длинной, темной и узкой шахте. Это было страшно неприятно, потому что в лицо ему все время бил тяжелый запах. Наконец стало несколько светлее, и внизу между камнями он разглядел горящий огонь. Он получше зацепился за скалу, чтобы часом не свалиться вниз, и вытянул вперед голову. Он увидел молодую Деву-Орлицу, которая в одной лапе держала сковородку и была подпоясана большим фартуком. У нее была замечательно красивая головка с длинными золотистыми волосами. И шея ее тоже была человечесокй — во всем же остальном она была обычной птицей, только совершенно золотой. Отто позвал ее: «Пст! Пст!» Когда красавица взглянула наверх и увидала его, она так сильно испугалась, что сковородка чуть не вылетела у нее из рук.

— Тише! — сказал Отто. — Мы пришли, чтобы спасти тебя. Помоги мне спуститься вниз!

Прекрасная Орлица протянула ему одно из своих крыльев, и Отто быстро спустился по нему вниз.

— Там, снаружи, остались орлы, — сказал Отто, — грифы и Великаны. Они хотят освободить тебя!

— Боже мой! — воскликнула несчастная. — Медведь загородил все выходы и входы. Наверное, мне придется навсегда остаться в его пещере! А кто ты, собственно, такой?

— Я сын господина поставщика двора Бендера, — сказал мальчик, — и зовут меня Отто!

— Не хочешь ли кусочек пирога, Отто? — вежливо спросила Орлица. — Мне приходится печь для медведя медовые пироги и пряники. Пряники уже готовы. Этот ужасный обжора заставляет меня служить ему кухаркой!

— Сколько же он платит тебе за такую службу? — спросил Отто и откусил кусочек пряника, который ему очень понравился.

— Две пощечины в день: одну утром, другую — вечером, — всхлипывая, ответила несчастная девушка. — Иногда, когда он бывает в плохом настроении, я получаю и сверх того.

Она принялась громко плакать и утирать слезы своими длинными золотыми волосами. И вдруг из другого конца пещеры раздался низкий и глубокий бас.

— А—у—ау—аах! — потянулся медведь. — Вот это поспал, так поспал!

Отто хотел было быстро ускользнуть наружу через дымоход, но было уже поздно. Лохматый медведь вошел в свою кухню; это был могучий черный зверь, на шее у него красовался широкий серебряный ошейник.

— Черт побери! — закричал он. — Что это за скверный малыш у нас на кухне?

— Извините пожалуйста, господин медведь, — быстро сказала Орлица. — Это мой младший двоюродный брат.

— Вот как! — издевательски сказал медведь. — Двоюродный брат! Я же сказал тебе раз и навсегда, что у своей кухарки я не потерплю никаких братьев! Впрочем мы еще поглядим, на самом ли деле он твоего рода-племени!

И он обратился к Отто с таким вопросом:

— Умеешь ли ты нести золотые яйца?

Мальчик был сильно удивлен этим вопросом и хотел уже было ответить «нет», но тут Дева-Орлица пришла ему на помощь и быстро сказала:

— Ну конечно, господин медведь, он умеет нести прекрасные золотые яйца-звезды. У него это получается гораздо лучше, чем у меня!

— Да ну? — удивился медведь. — Ну, это мы еще поглядим! Я сейчас принесу немного рыбьего жира, а ты, ленивая недотепа, пока испеки мне пирог. Я страшно хочу есть!

Как только медведь вышел из кухни, Отто спросил Деву-Орлицу:

— Зачем ты сказала ему, что я могу нести золотые звезды? За всю свою жизнь я не снес пока ни одной звезды!

— Тсс! — прошептала Золотая Дева. — Не шуми! Если бы я этого не сказала, он бы немедленно съел тебя. Мне и самой приходится нести нести здесь золотые звезды, как самой обыкновенной наседке. Вон там, в углу, висят несколько штук!

Она указала на стену, где, нанизанные на шнур, висели изумительно красивые золотые звезды. Затем она снова взяла свою сковородку, поставила на огонь и стала что тщательно перемешивать в ней. Отто глядел на звезды и только покачивал головой.

— Знаешь. — сказал он, — кладка звезд, наверное, очень неприятиое занятие!

Дева-Орлица вздохнула:

— К всему на свете можно привыкнуть! — сказала она. — Но Медведь такой жадный, ему хочется, чтобы я целыми днями и ночами несла золотые звезды! Вот почему он все время дает мне рыбий жир. И тебя он тоже будет им пичкать!

— Но я терпеть не могу рыбьего жира! — возразил Отто. Эти его последние слова были услышаны Медведем, который как раз возвращался на кухню. В одной руке у него была мерная аптекарская ложка, в другой — большая бутылка с лекарством.

— Так ты терпеть не можешь рыбьего жира, мой мальчик? — пробурчал он. — Ну что ж, тогда получишь ровно иа одну ложку больше!

Он доверху налил мерную ложку, поставил бутылку на стол и, схватив Деву-Орлицу за золотые волосы, притяиул к себе.

— Раскрой клюв! — заревел он, и бедиая девица была вынуждена широко открыть свой рот, в который медведь и влил отвратительный напиток. Только лишь она справилась с этой дозой, как медведь снова наполнил ложку и заставил ее выпить еще.

— А теперь ступай и делай свое дело! — крикнул он ей и засмеялся. — Ну вот и пришла и твоя очередь, мой милый мальчик!

С этими словами он крепко зажал мальчика между коленями.

— Шире клювик, господин двоюродиый братец! — скомандовал он н влил полную ложку рыбьего жира Отто между зубами. Мальчик скорчил страшиую рожицу и ущипнул медведя изо всех сил. Но это ему иисколько не помогло, и в коице коицов ему пришлось проглотить прогорклое пойло.

— Вкусно? — издевательски осведомился косолапый. — Просто прелесть, не правда ли? А? — И тут он влил в Отто еще одну ложку. Но когда пришла очередь третьей, вкус рыбьего жира показался мальчику таким отвратительным, что он не выдержал и закашлялся,отчего часть рыбьего жира пролилась мимо рта. Медведь совершенно спокойно облизал свои лапы и сказал:

— В наказаиие ты получишь еще одну ложку!

Ни вопли, ни рыдания не помогли Отто, и ему пришлось проглотить еще одну ложку рыбьего жира.
— Вот так-то лучше! — сказал медведь. — Ну, а теперь слушайте, что я вам скажу. Если вы сегодня к семи часам не снесете ни одного золотого яйца, я вам покажу! Тебя, замарашка, я ощипаю заживо, тебя же, глупый мальчишка, я слопаю вместе с башмаками и волосами. Запомните это! Ну, а теперь поглядим, что у нас есть на обед.

Он взял пряники и стал пожирать их один за другим. Покончив с ними, он проглотил вкусные медовые булки, которые как раз испеклись. Отто очень хотелось скушать одну такую булочку, чтобы перебить ужасный привкус рыбьего жира, но проклятый обжора не оставил ему ни крошки. Когда же наконец он все это съел, Дева-Орлица должна была утереть салфеткой его огромную пасть. После этого он сказал:

— Сегодня мне понравилась твоя выпечка, поэтому ты можешь получить от меня поцелуй, замарашка!

С этими словами он облизал своим длинным шершавым языком бедной девушке все лицо. Затем он улегся, вытянувшись во весь свой огромный рост, чтобы в который уже раз на дню вздремнуть, а Дева-Орлица должна была своими когтями почесывать его лохматое брюхо.

— Спой мне песенку! — приказал медведь и довольно захрюкал — настолько он был доволен жизнью. Золотая Дева-Орлица запела:

Спи, мой милый, сладкий Миша —
Почешу тебе подмышки,
Голову, затылок, ухо,
Спину, грудь и даже брюхо!

— Брюмм, брюмм! — проскрипел медведь. — Не чеши меня слишком сильно, я боюсь щекотки.

Дева-Орлица продолжала:

Спи, мой славный медвежонок,
Слушай песенку спросонок.
Весь обед ты проглотил,
И теперь лежишь без сил.

— Брумм! — хрюкнул медведь. — Как ты красиво поешь. Пой еще!

Дева-Орлица продолжала:

Засыпай-ка поскорее —
Я звездой тебе согрею
Лапы, пасть, глаза и уши,
Только ты меня послушай!

— Это прекрасно! — пробурчал медведь в полусне. — Но ты уж постарайся, чтобы золотая звезда получилась большая-пребольшая!

Прекрасная Дева-Орлица прогнала с медведя муху, которая хотела сесть ему на нос и запела снова:

Спит лохматый лежебока —
Взбила я постель высоко! —
Засыпают нос и ухо,
Лапы, когти, шея, брюхо.
Спи спокойно, мой красавчик!
Я снимаю блох кусачих
Со спины твоей и уха,
С шеи, лап, когтей и брюха.
Спи, мой Мишка-шалунишка,
Ты сегодня скушал слишком
Много пряников и меда
И шипучего компота.

Медведь уже вовсю храпел. Он громыхал с такой силой, что Отто казалось, будто тридцать девять лесорубов перепиливают тридцать девять толстых елей.

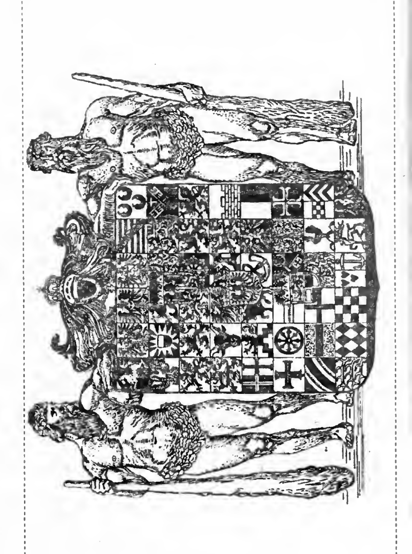
— Знаешь что, — тихо сказал Отто, — у тебя чудесный голос, но как можешь ты ублажать им такого ужасного зверя, как этот Медведь!

— О, Боже мой, Боже мой! — вздохнула бедная Дева-Орлица. — Но ведь я для него просто кухарка и уборщица!

— Нет ли тут где-нибудь поблизости большого камня? — вскричал Отто. — Я проломлю чудовищу голову!

— Нет, что ты, что ты! — испугалась девица. — У него голова будет покрепче любого камня!

И тут Отто услыхал, как снаружи кто-то кашлянул. Он подошел к отверстию шахты, по которому спустился



Schlüssel

zu dem Märchen vom großen preußischen Wappen.

8 Westfalen	6 Posen	4 Schlesien	5 Niederrhein	7 Sachsen	9 Engern
14 Magdeburg	12 Holstein	10 Pommern	11 Lüneburg	13 Schleswig	15 Bremen
		2 Brandenburg			
20 Wenden	18 Jülich	16 Geldern	17 Kleve	19 Berg	21 Kassuben
26 Thüringen	24 Mecklenburg	22 Krossen	23 Lauenburg	25 Hessen	27 Ober-Lausitz
		1 Preußen			
32 Paderborn-Pyrmont	30 Rügen	28 Nieder-Lausitz	29 Oranien	31 Ost-Friesland	33 Halberstadt
38 Verden	36 Osnabrück	34 Münster	35 Minden	37 Hildesheim	39 Kammin
		3 Nürnberg-Zollern			
44 Glatz	42 Mörs	40 Fulda	41 Nassau	43 Henneberg	45 Mark-Ravensberg
50 Veringen	48 Mansfeld	46 Hohenstein	47 Tecklenburg-Lingen	49 Sigmaringen	51 Frankfurt
52 Regalien					

Siehe hierzu das Wappen auf Seite 96.

в пещеру, и прислушался. Одии из Великаиов позвал тихим голосом: «Отто!»

— Я здесь, я слышу, — отвечал мальчик.

— Медведь спит? — спросил Великан.

— Да, его теперь из пушки не разбудишь! — сказал Отто.

— Тогда накииь эту веревку ему иа шею — только так, чтобы оиа ие слетела, — сказал Великан и спустнл в дыру длинный канат толщиной в руку.

Отто ухватился за одии конец каната, а Великаи прочио держал другой. Малчик осторожио завел канат медведю за спиiу, пропустил коиец через ошейник, а птом залез на камеиь и передал его иаружу. В следующее мгновение оба Великаиа одним рваиули канат изо всех своих иемалых сил: ои зазвеиел, как струиа, и плотио прнтяиул Медведя к скале. Ужасный зверь, чей сладкий сн был птревожеи таким неожидаиным образом, начал отбнваться своимн могучими лапами, так что Отто и Дева-Орлица лишь с большим трудом сумели уклониться от его ударов. Бедной Деве-Орлице он даже выбил одио из ее чудиых золотых перьев.

Когда медведь поиял, что ему не вырваться, он прннялся страшно браииться, но Отто только посмеивался над иим. Он сиял со стены прекрасиые золотые звезды и вместе с Девой-Орлнцей прошмыгнул в переднюю комнату пещеры. Там с помощью Девы он снял цепи, которымн медведь закрепил обломок скалы, запнравший ход в пещеру. Велнканы же тем временем успели закрепнть конец каиата, державшего Медведя, на нескольких толстых елях. Освободив таким образом рукн, они взялись за кусок скалы и без особого труда откатили его в сторону. Когда вход был свободен, Велнкаиы вошли в пещеру.

— Ах ты, иепутевый Медведь! — сказал одни Великан. — В иаказанне за свои воровские дела, ты будешь иавечно прнтяиут к скале. Можешь забыть про пряиики и медовые булкн, да и других сладостей тебе уже не видать. Раз в месяц мы будем приносить тебе мешок старых костей!

Медведь жалостно заныл, но другой Великаи сказал громовым голосом:

— Теперь, брат, иачинаем поститься! Ты ие выйдешь отсюда до тех пор, пока твое поведенне ие из-

менится к лучшему.

— Я больше не буду! — хныкал медведь.

Великаны, которые были очень большимн и сильными, но не очень умны, чуть было не поверили ему. Онн хотелн освободить Медведя, но Отто громко рассмеялся и закричал им:

— Не верьте этому прохвосту! Он ведет себя, совсем как мой друг Юпп Кветшбюдель! Когда учитель ставит его в угол, он тут же говорит, что уже исправнлся, но на самом деле у него и в мыслях этого нет, а говорнт он это просто так. Уж я-то знаю это совершенно точно, потому что Юпп сам мне в этом признавался!

Тогда Великаны оставили медведя на привязи и вышли из пещеры, а Отто написал на скале мелом: «Кормить строго воспрещается!»

Все орлы н грнфы и другие звери, которые ждали внизу на склоне, принялись восхвалять Отто и поздравлять его с победой. Мальчику пришлось трясти множество когтей, копыт и лап. Особенно был рад Черный Прусский Орел. Он очень любил Деву-Орлицу, которую у него уже не один раз кралн. На радостях он решил позволнть Отто на себе, и они с мальчиком стремительно взвнлись высоко в облака.

— Куда мне отвезти тебя? — спросил Черный Орел.

— Домой! — сказал Отто. — Я хочу домой.

Орел рассекал воздух могучими взмахами крыльев и летел так быстро, что все другне звери остались далеко позади.

— Адью! Адью! — кричали онн ему издали, а Воздушный Почтальон в последний раз протрубил в свой голубой рожок. Отто еще долго махал им своим носовым платком.

Дева-Орлица летела с рядом, и когда Черный Орел влетел через окно прямо в комнату Отто, она последовала за ними. Отто слез с орла, попрощался с ними обоими и быстреноко юркнул в постель. Он очень устал и потому моментальио заснул.

Однако спустя иекоторое время что-то скользуло по его лицу. Ему было интересно узиать, что бы это такое было, он и чуть-чуть приоткрыл один глаз. Оказалось, что это былн длинные золотые волосы, которые спускались ему на щеку. «Ах»,— подумал ои, — «это наверное, Дева-Орлица. Она сидит у моей постели н

не хочет расставаться со мной». Но когда он открыл глаза пошире, то увидал, что у Девы-Орлицы нет ни крыльев, ни когтей, да и лицо у нее совсем не такое, как прежде, а точно такое же, как у его мамы. И тогда он проснулся окончательно и увидал, что это и на самом деле никто иная, как его собственная мама.

— Ну, милый, как ты себя чувствуешь? — спросила она его. — Ты выздоровел?

— Да, мама, я совсем здоров! — сказал Отто. — Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие длинные золотые волосы?

— Они у меня всегда были! — засмеялась мама.

— Но ведь ты обычно зачесываешь их высоко? — продолжал Отто.

— Конечно, мой милый, — сказала мама. — Но сегодня утром, едва проснувшись, я захотела узнать, как твое самочувствие, так что я не стала делать прическу, а сразу пошла к тебе!

— Мама, ты очень похожа на Деву-Орлицу! — воскликнул Отто.

Но когда мама спросила его, кто такая Дева-Орлица, он быстро выскочил из кровати и сказал, что сейчас он не может ничего объяснить, потому что уже поздно, и ему надо спешить, чтобы успеть на уроки в школу, а про Деву-Орлицу он ей расскажет в следующий раз.

КЛЮЧ

к сказке про большой прусский герб

1 — Пруссия;
2 — Бранденбург;
3 — Нюрберг-Цоллерн;
4 — Силезия;
5 — Нижний Рейн;
6 — Посен;
7 — Раутенбрюке фон Заксен;
8 — Вестфалия;
9 — Энгерн;
10 — Померания;
11 — Люнебург;
12 — Гольштейн;
13 — Шлезвиг;
14 — Магдебург;

15 — Бремен;
16 — Зельдерн;
17 — Клеве;
18 — Юлих;
19 — Берг;
20 — Венден;
21 — Кассубен;
22 — Кроссен;
23 — Лауенбург;
24 — Мекленбург;
25 — Хессен;
26 — Тюрингия;
27 — Оберлаузиц;
28 — Нидерлаузиц;
29 — Орания;
30 — Рюген;
31 — Восточный Фрисланд;
32 — Падеборн-Пирмонт;
33 — Хальберштадт;
34 — Мюнстер;
35 — Минден;
36 — Оснабрюк;
37 — Гильдесгейм;
38 — Верден;
39 — Каммин;
40 — Фульда;
41 — Нассау;
42 — Мёрз;
43 — Хеннеберг;
44 — Глатц;
45 — Марк-Равенсберг;
46 — Гогенштейн;
47 — Текленбург-Линден;
48 — Маннсфельд;
49 — Зигмаринген;
50 — Веринген;
51 — Франкфурт;
52 — регалий.

После того как Отто проскочил между двумя Великанами, он вошел в страну гербов, перейдя через зеленый мост Раутенбрюке фон Заксен (поле 7 на приведенной схеме). Этот мост проходит мимо чистого пруда, на котором растут красные листья Энгерна

(поле 9) Затем он добирается до желтого поля люпинов Шлезвига (поле 13) и Люнебурга (поле 11), где встречает трех Голубых Львов этой страны. Вместе с этими люнебургскими Львами, жонглирующими сердцами, он приходит к серебряному пруду Померании (поле 10), через который его переносит Рыбогриф из Асельдома. Затем они пересекает поле чертополоха и ограду из колючей проволоки Хольштайна (поле 12) и приходят к магдебургскому Пеликану (поле 14). Здесь Отто садится на вестфальскую Белую Лошадь, которая начинает свой путь с красной земли (поле 8) и примерно в области Тюрингии встречается с Почтальоном из Орании (поле 29), который едет верхом на лауенбургской Белой Лошади (поле 23). Затем они вместе едут через большое кладбище старых епископов в Падеборне, а также через Пирмонт, Верден, Мюнстер, Минден, Гильдесгейм, Каммин и Фульду (поля 32, 38, 34, 35, 37, 39, 40). По большому кладбищу с крестами и могилами носится сумасшедшая тачка из Оснабрюка (поле 36). Наконец, они добираются до красно-белого поля Мансфельда (поле 48), где происходит турнир между ханнебергской Курицей (поле 43) и Быком из Нидерлаузица (поле 28). Герольдами в этом турнире служат красно-белые Львы из Тюрингии (поле 26) и Хессена (поле 25), а ставки записывает Белый Орел из Франкфурта (поле 51). На трибуне сидят Олень из Зигмарингена (поле 49), Лев из Нюрнберга(поле 3), Бык из Мекленбурга (поле 24), орлы из Бранденбурга, Пруссии, Силезии, Позена, Кроссена и Нижнего Рейна (поля 2, 1, 4, 6, 22, 5), а также другие геральдические звери. Химера из Венденa (поле 20) прилетает с известием, что эссенский Медведь ворвался в страну и похитил остфризскую Деву-Орлицу (поле 31). Под командой гордого Прусского Орла все бросаются преследовать Медведя. При этом они пересекают Блютфельд (поле 52). Орел из Нижнего Рейна обнаруживает берлогу Медведя, в которую Отто отважно залезает, несмотря на насмешки Черного Грифа из Кассубена (поле 21). Он спасает Деву-Орлицу из Остфризии, и Прусский Орел благодарно переносит его на своей спине домой.

Содержание

Издательство «КЛИП»
директор Марина Васильева
коммерческий директор Тина Корнейчик
редактор Вячеслав Курицын
Агентство «Кубик Ltd»
редактор Федор Еремеев
художник Алексей Казанцев

В книге использованы анонимные переводы начала века, а также переводы Константина Мамаева и Константина Белокурова.

Екатеринбург 1992

Подписано в печать 27.10.92. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 50 000 экз. Заказ № 627.

Отпечатано с оригинал-макета в типографии им. И. Е. Котлякова Министерства печати и информации РФ. 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, 13.